

4

"Двор"

МИИР

ИИ(О)ВЪИИ

Бонгард

ИИ(9)6/4

ИИ(О)ВЪИИ  
МИИИР

4



ИИ(9)6/4





# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 4

Апрель, 1964 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ	5
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Из новой книги стихов. Перевели с литовского Б. Слуцкий, Ю. Левитанский, Б. Окуджава	13
ЛЮДМИЛА ШИКИНА — Полевые цветы. Стихотворение	20
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Двое. Вторая книга романа «Тишина»	21
ИОН ДРУЦЭ — Последний месяц осени, рассказ. Перевод с молдавского	68
Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ — Годы и войны. (Продолжение)	99
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
А. ШАРОВ — Языки окружающего мира...	139
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
И. ОСИПОВ — Воздушный патруль	157
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
БОРИС ИЗАКОВ — Все меняется даже в Англии	171
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Б. ЯКОВЛЕВ — Плюс химизация...	197
Н. ВЕРХОВСКИЙ — Навстречу новой весне. Заметки из Целинного края	215
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. АНИКСТ — О «системе» Шекспира. К 400-летию со дня его рождения	233

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>М. Галлай.</b> Рассказы о спокойной профессии.— <b>Э. Кузьмина.</b> Прочная основа.— <b>В. Портнов.</b> Пути и судьбы.— <b>Ю. Буртин.</b> Свое и «общее».— <b>М. Злобина.</b> Любовь и падение Рикардо Мольтени.	242
<i>Политика и наука</i>	
<b>О. Лаис.</b> Рабочему — об экономике — <b>А. Кадишев.</b> Два командарма.— <b>Е. Дорош.</b> Книга о грозном царе.— <b>И. Желтиков.</b> Американский военный бизнес.— <b>И. Шереметьев.</b> Помощь? Нет, закабаление. — <b>Руд. Бершадский.</b> Пристало ли это «Знанию»?	256
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
Об одном замысле Горького	271
КОРОТКО О КНИГАХ	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

---

## ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

Океан народной любви к Ленину — это не просто метафора. Для каждого из нас Ленин уже давно стал высшим мерилем возможностей человека. С его именем связано представление о высшей справедливости, гуманности, реальной заботе о людях труда, их жизни, их счастье.

Ленин — это мужество борца и вождя, мужество, возраставшее в самые трудные, опасные периоды жизни партии и страны; это ни перед чем не отступающая вера в рабочего человека, в его силы, в то, что он, труженик, перестроит мир; это глубокое уважение к культуре, к таланту художника, бережная забота о подлинно народном искусстве.

Ленин — это огромный авторитет и предельная личная скромность, органическая ненависть к «вождизму», к разделению людей на «простых» и «избранных». Не было предела всенародной любви к нему. И еще при жизни Ленина, хотя и наперекор его скромности, стали мы отмечать памятную дату в апреле — «Ленин день», как писал тогда один из поэтов.

Ленин всегда с нами... И теперь, в годы последнего десятилетия, мы обращались и обращаемся к его книгам, раздумывая над сложными, большими событиями, свидетелями и участниками которых мы являемся.

Свыше сорока лет назад, в 1920—1921 годах, когда в стране царил разуха после двух войн — империалистической и гражданской, — нам удалось ввести в эксплуатацию электростанции общей мощностью в двенадцать тысяч киловатт. Ленин писал по этому поводу: «12 тысяч киловатт — очень скромное начало. Быть может, иностранец, знакомый с американской, германской или шведской электрификацией, над этим посмеется. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний».

Сегодня уже нет в Европе страны, которая могла бы соперничать с нами по достижениям науки и техники. В октябре 1957 года до Земли донесся голос первого советского искусственного спутника. А затем последовали новые победы в покорении Неведомого. Все чаще за океаном слышится вопрос: «Когда же мы наконец догоним русских в освоении космоса?..»

В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС, посвященный сельскому хозяйству. С ленинской прямоотой и принципиальностью партия сказала народу о серьезных ошибках Сталина в руководстве сельским хозяйством, отвергла то, что не соответствовало требованиям жизни, интересам людей труда. И каждый мог убедиться, что у партии слова не расходятся с делом. Снизилась налоги, были подняты закупочные цены на сельскохозяйственные продукты, расширились права колхозников, им была передана техника МТС. В историю страны вошло героическое освоение целины. На только что закончившемся февральском Пленуме ЦК КПСС разработана программа интенсификации сельского хозяй-

ства, резкого увеличения производства удобрений, химизации сельского хозяйства. Она даст свои реальные плоды в самом ближайшем будущем.

На новый уровень поднялось благосостояние советского народа. В нашу жизнь уже вошло как нечто должное и короткий рабочий день, и новые жилища (за десятилетие в новые квартиры переехало сто восемь миллионов человек — половина населения страны), и пенсионное обеспечение, и многое другое, что десятилетие назад казалось еще отдаленным будущим.

Неизмеримо возрос за последние годы международный авторитет нашей родины. Среди народов мира слово нашей страны звучит весомо и значимо — слово справедливое, отвечающее коренным интересам трудящихся всей земли. Настали времена, о которых пророчески писал Ленин, — пришла великая эра крушения колониализма, рвет цепи рабства черная Африка, пришли в движение сотни миллионов людей, и эту великую освободительную борьбу поддерживает Советский Союз.

В это же десятилетие Коммунистическая партия нашей страны, внимательно изучив и обобщив опыт общественного развития, сформулировала ряд новых положений марксистско-ленинской теории. Важнейшие из них: о возможности мирного перехода власти в руки пролетариата, о возможности предотвращения войн, о превращении нашего государства во всенародное. Коммунистическая партия Советского Союза, ее ленинский Центральный Комитет выработали новую Программу, утвержденную историческим XXII съездом, — подлинный Коммунистический манифест XX века.

Самый горячий отклик нашла в народе та благородная и мужественная решимость, с которой партия ликвидировала культ личности Сталина и его тяжелые последствия, восстановила справедливость, вернула доброе имя невинно пострадавшим советским людям.

Враги надеялись, что критика культа личности внесет сумятицу в наши ряды, — их мечты пошли прахом. Напрасно ревизионисты разного толка пытались нажить политический капитал после исторического XX съезда КПСС. Коммунистическая партия дала резкий отпор идейным шатаниям, чуждой идеологии. В борьбе с ревизионизмом кадры партии, все советские люди закалились духовно, выросли в политическом отношении.

Напрасно догматики и начетчики цеплялись и цепляются за косные формулы — ход жизни самым убедительнейшим образом отвергает их сектантский, глубоко ложный взгляд на жизнь. Развитие нашего общества, весь ход истории за минувшее десятилетие неопровержимо доказали истинность ленинского пути и правоту Коммунистической партии Советского Союза.

Минувшее десятилетие — важный период в истории всей нашей социалистической культуры, литературы и искусства.

Ликвидация разрыва между теорией и практикой, общий подъем духовной жизни всего советского общества, борьба против всяческой мертвечины, сковывающей творческую мысль, демократизация общественной жизни страны, торжество ленинских принципов партийного и государственного руководства — все это самым плодотворным образом сказалось на развитии нашей литературы. Сейчас можно со всей определенностью говорить о литературе последнего десятилетия как о качественно новом этапе истории многонациональной советской литературы.

Во времена культа личности Сталина нередко можно было встретить недоверчивое отношение к литературе, ее роль иной раз пытались свести лишь к иллюстрированию известных положений и тезисов. Между тем Ленин, борясь за партийность художественной литературы, за ее высокую коммунистическую идейность, ставил перед ней задачи куда более

ответственные, нежели беллетризация тех или иных тезисов. Ленин призывал нашу литературу самостоятельно исследовать развитие действительности, идти от жизни, от живого опыта, оплодотворять революционную мысль человечества, помогать партии творчески осваивать и преобразовывать мир.

Сегодня все явственнее ощущается повышение ответственности писателя за свое творчество, с каждым годом все активнее проявляется ищущая, исследующая мысль художника, его непримиримость к безыдейности, к описательному протоколированию, серости и посредственности. И по мере продвижения советского общества к коммунизму требования к литературе и искусству будут все больше возрастать.

Славные свершения, которыми мы законно гордимся, — дело наших рук, ума, творчества, дело всего советского народа. Это заслуга партии коммунистов, которая возглавила всенародную борьбу за коммунизм, за ленинский путь развития нашего общества. Это заслуга коллективного руководителя партии — ее Центрального Комитета, который по праву может быть назван ленинским Центральным Комитетом, ибо смело, мужественно проводил и проводит в жизнь ленинские принципы строительства коммунизма.

Партия навсегда покончила с культом личности, осудив его как явление, чуждое самому духу марксизма-ленинизма, всему моральному кодексу советского общества. Однако партия и все мы никогда не отвергали и не отвергаем авторитета руководителей, их выдающейся роли в общенародной борьбе. Марксизму чужда мелкобуржуазная анархическая «уравнительность». В нашем обществе по достоинству ценится деятельность руководителей Коммунистической партии и Советского правительства, их самоотверженный труд на благо трудящихся.

Семнадцатого апреля 1964 года исполняется семьдесят лет верному ленинцу, Первому секретарю Центрального Комитета КПСС и Председателю Совета Министров СССР — Никите Сергеевичу Хрущеву. В этот день все трудящиеся нашей страны, в том числе читатели, авторы, работники нашего журнала, от всего сердца поздравляют Никиту Сергеевича, желают ему здоровья и бодрости на долгие годы.

Трудовая жизнь Н. С. Хрущева — пример беззаветного служения народу, делу партии, делу коммунизма. Когда Ленин писал, что революция поднимет народные низы к сознательному творчеству, он предвидел, что из среды трудящихся вырастут талантливые государственные и политические деятели нового типа. Никита Сергеевич Хрущев вышел из самой гущи народа. Крестьянин по рождению, шахтер по профессии, он с юных лет испытал жизнь труженика, для него родными являются помыслы, думы, надежды людей труда. Их он не забывает никогда: в каждом выступлении Н. С. Хрущева события, люди, произведения искусства, международная обстановка, задачи экономики или политики, достижения науки — все оценивается прежде всего с точки зрения трудового человека, его интересов, его благосостояния. Глубочайшая, органическая связь с народом, привычка всегда советоваться с тружениками, прислушиваться к их голосу — коренная черта коммуниста-ленинца Никиты Сергеевича Хрущева.

Хорошо сказал недавно о Н. С. Хрущеве Фидель Кастро:

«Уважение и симпатию невозможно создать искусственно... Никита Хрущев обладает в огромной степени... способностью вызывать к себе уважение и симпатию, потому что он так же относится к другим... Мое личное мнение о нем: он замечательный руководитель, обладающий исключительными качествами руководителя; я восхищаюсь этими его способностями, которые проявляются во всем. Кроме того, его ум соче-



тается с другими необходимыми для руководителя качествами — юношеским задором, юношеским духом, большой энергией, неутомимостью...»

В основе международной политики нашей партии и государства лежит ленинское учение о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем. Н. С. Хрущев проявил себя энергичнейшим борцом за проведение в жизнь этой политики. Советский народ не раз убеждался в минувшее десятилетие, что в минуты опасных международных кризисов, когда накалялась политическая атмосфера, Н. С. Хрущев неизменно проявлял подлинную мудрость, выдержку и твердость, принимая все меры, чтобы спасти мир от катастрофы. Наш народ по праву видит в нем истинного поборника мира, считающего предотвращение мировой войны важнейшей задачей современности.

Нельзя не отметить личной инициативы, личного политического, гражданского мужества Н. С. Хрущева в той борьбе, которую партия и ее Центральный Комитет вели и ведут против культа личности Сталина и его последствий. Благодаря смелости, решительности Н. С. Хрущева уже в 1953 году был обезврежен такой опасный преступник, как Берия. Известно также, что когда Н. С. Хрущев предложил поставить вопрос о культе личности Сталина на XX съезде партии, то это вызвало самое яростное противодействие защитников старого, фракционеров, бывших тогда членами Президиума КПСС. Твердый ленинец Н. С. Хрущев последовательно отстаивал ленинскую партийную линию. Его доклад на XX съезде вошел в историю нашей партии, историю мирового коммунистического движения как образец партийной принципиальности и политической прозорливости.

Глубочайшим образом заблуждались те, кто считал, что с разоблачением произвола Сталина можно «повременить», что «не надо ворошить старое», что следует отложить все это на неопределенное время. Суть проблемы точно выражена в словах Н. С. Хрущева: «Партия в условиях культа личности была лишена нормальной жизни».

Какой верой в силы народа, партии, какой справедливостью проникнуты слова Н. С. Хрущева: «Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени пройдет после этих событий, тем труднее будет восстанавливать истину. Теперь уже, как говорится, мертвых не вернешь к жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было правдиво рассказано. Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Борьба со сторонниками старых порядков была острой и тяжелой. Фракционеры не сложили оружия после XX съезда. Наоборот, они предприняли попытку столкнуть страну с ленинского пути, возродить порочные методы периода культа личности. Но эти замыслы сорвались — им дали отпор партия, Центральный Комитет, возглавляемый Никитой Сергеевичем Хрущевым.

Выступая в июле прошлого года на митинге советско-венгерской дружбы, Н. С. Хрущев говорил о защитниках культа личности: «Тот, кто хочет поднять Сталина на пьедестал и укрепить его там, хочет не того, чего хочет наша партия, наш народ. Это делают, видимо, те, кому нравятся методы Сталина. Однако мы считаем эти методы негодными. Надо воспитывать уважение к партии и ее руководству не страхом, а завоевывать это уважение любовью народа, его поддержкой кровной связью с народом, надо делить с народом его труд и борьбу».

С поразительной неутомимостью, осведомленностью и творческой инициативой Н. С. Хрущев занимается сложными вопросами деревен-

ской жизни и производственной деятельности колхозов и совхозов. С самым живым интересом следит он и за успехами агрономической науки и за поисками рядовых земледельцев, за деятельностью научных учреждений и за опытами местных специалистов. Настойчиво распространяет он достижения ученых и передовиков сельского хозяйства, умело сочетая теоретическое и практическое решение тех или иных сельскохозяйственных проблем. Как далеко все это от методов руководства Сталина, который не знал и не любил деревни, был оторван от практики сельского хозяйства!

Много сил и энергии отдает Н. С. Хрущев созданию условий для подлинно творческой, свободной от догматической рутинной атмосферы в нашей науке. Успехи советских ученых в исследовании атомной энергии, в покорении космоса, во всестороннем усилении могущества нашей родины привлекли к себе в последнее десятилетие внимание всего мира.

Не случайно те, кто атакуют КПСС, сосредоточили огонь в первую очередь против Никиты Сергеевича Хрущева. «Они,— говорил на февральском Пленуме ЦК КПСС М. А. Суслов,— конечно, не могут не видеть, что именно Никита Сергеевич стоит во главе тех замечательных процессов, которые возникли в нашей партии и стране после XX съезда и обеспечивают успешно продвижение советских людей к коммунизму».

Советские писатели имеют и свои особые основания глубоко уважать и ценить Н. С. Хрущева. Он большой и внимательный друг нашей литературы, постоянно заботящийся об ее успехах. Его выступления по вопросам литературы проникнуты духом доброжелательства и взыскательности, пониманием особенностей литературного дела и основаны на богатом жизненном и политическом опыте.

Верный ленинскому примеру всегда советоваться с народом, Н. С. Хрущев каждый раз при обсуждении важных вопросов, связанных с дальнейшим развитием литературы и искусства, выступал инициатором созыва широких совещаний художественной интеллигенции. На этих встречах господствует товарищеская атмосфера, принципиальная, пусть подчас и резкая, но дружелюбная критика.

Только что минул год со времени предыдущих встреч руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства — встреч, оказавших большое воздействие на творческую деятельность советских художников слова. Принципиально и глубоко был поставлен на этих встречах вопрос о недопустимости мирного сосуществования в области идеологии, о необходимости борьбы против формализма и всяческих видов чуждого народу модернизма в области художественного творчества, о серьезных ошибках, допущенных некоторыми деятелями нашей литературы и искусства, о консолидации всей художественной интеллигенции на принципиальной основе.

Участники этих встреч и все советские литераторы и деятели искусства снова увидели, почувствовали горячую заинтересованность партии в процветании литературы и искусства, заинтересованность в том, чтобы художественное творчество служило народу, помогало ему глубже понять свою историю, свои нынешние дела, перспективу движения вперед.

Главная идея всех выступлений Н. С. Хрущева по вопросам художественного творчества — партийность литературы и искусства. Он горячо и убежденно развивает ленинские положения о том, что литература и искусство являются неразрывной частью общенародного дела, что писатели и деятели искусства — верные помощники партии в ее борьбе за коммунизм, что истинная свобода творчества заключается в служении народу — служении по убеждению и призванию, по велению души и сердца. Назначение литературы и искусства Н. С. Хрущев видит в вос-

создании великого и героического строительства коммунизма, в борьбе за интересы и будущее народа, в утверждении идей марксизма-ленинизма, в непримиримости к чуждой идеологии и всему отрицательному, мешающему рождению нового в жизни. Н. С. Хрущев призывает создавать художественные произведения, проникнутые высокими гражданскими чувствами, пафосом труда и созидания, любовью и уважением к человеку-труженику, зовущие народ вперед, бичующие все смертельное, отживающее.

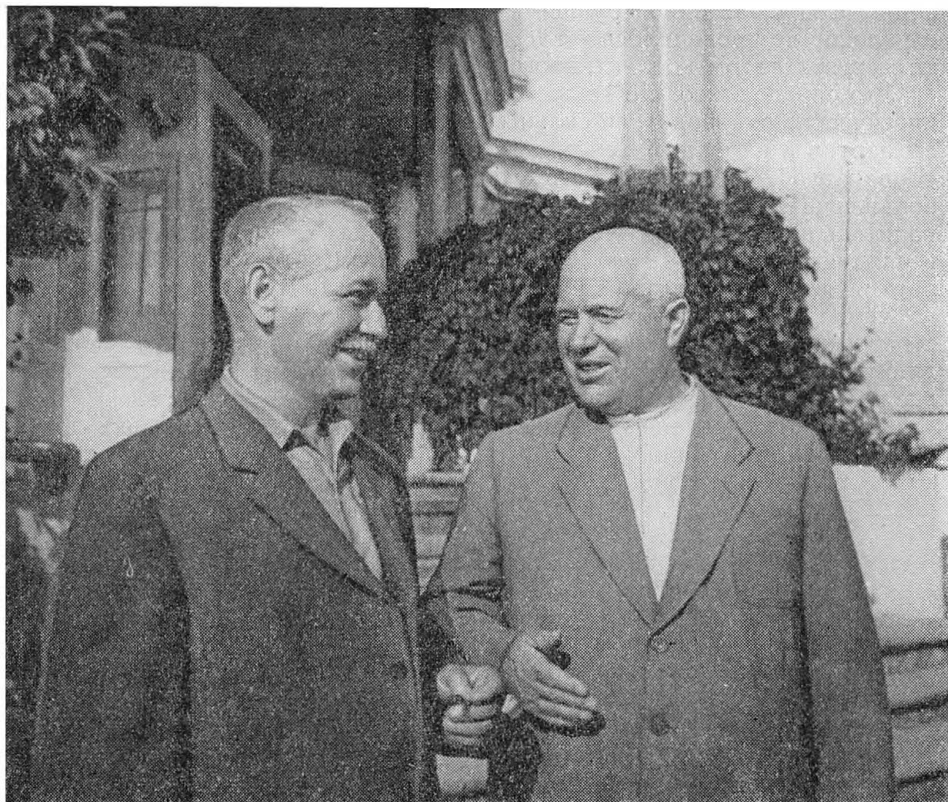
Видя в литературе и искусстве могучее средство познания и преобразования жизни, Н. С. Хрущев постоянно подчеркивает, что свое назначение они смогут выполнить лишь при условии тесной связи с жизнью, развиваясь на путях правды, социалистического реализма. «Мы решительно и непримиримо выступали и будем выступать против одностороннего, недобросовестного, неправдивого освещения нашей действительности в литературе и искусстве,— говорит он.— Мы против тех, кто выискивает в жизни только отрицательные факты и злорадствует по этому поводу, пытается охаять, очернить наши советские порядки. Мы также и против тех, кто создает сусальные, подслащенные картины, оскорбляющие чувства нашего народа, который не приемлет и не терпит никакой фальши».

За правдивость, партийность, социалистический гуманизм Н. С. Хрущев высоко оценил творчество «выдающегося художника слова» Михаила Александровича Шолохова, с глубоким сочувствием отозвался о поэзии Демьяна Бедного, о романах Фурманова и Серафимовича, Н. Островского и А. Фадеева. Горячо поддержал он (и помог их появлению в свет) художественные произведения, в которых «правдиво, с партийных позиций» освещаются тяжелые последствия культа личности Сталина (повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и другие произведения). Надо прямо сказать, что есть еще люди, которые с нескрываемой неприязнью относятся к повестям, кинофильмам, поэмам, в которых с суровой, горькой правдой рассказывается о культе личности и его последствиях. Можно поэтому понять, как дорога поддержка, которую оказали Центральный Комитет партии и лично Н. С. Хрущев таким произведениям.

В своих выступлениях Н. С. Хрущев постоянно подчеркивает, что прекрасные художественные произведения, замечательные духовные ценности созданы во всех республиках Советского Союза. Силу и достоинство советской литературы он видит в том, что она проникнута идеями интернационализма и основана на нерушимой братской дружбе всех народов нашей страны, истоки которой уходят еще в дореволюционное прошлое.

Совсем недавно Н. С. Хрущев писал: «Тарас Григорьевич Шевченко — гениальный поэт, художник, мыслитель — был одним из самых передовых людей своего времени. Общность идеалов, совместная борьба за свободу народа тесно связывали его с русскими революционными демократами, с выдающимися деятелями русской культуры... Творчество великого украинского кобзаря ныне стало достоянием всех народов Советского Союза, оно вошло в золотой фонд нашего великого реалистического искусства».

Горячо ратуя за высокую идейность и правдивость литературы и искусства, Н. С. Хрущев не упускает из вида и заботы о повышении их художественного уровня. На XX съезде партии он говорил, что искусство и литература нашей страны могут и должны добиваться того, чтобы стать еще выше не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству. Необходимость непримиримого отношения к тусклым, серым, скороспелым произведениям он неоднократно подчеркивал



*Н. С. Хрущев в гостях у писателя М. А. Шолохова  
в станции Вешенской в 1959 году*

и позднее. «Верно, что в духовной деятельности предпочтительнее «лучше», чем «больше». Дайте одну книгу, но хорошую», — сказал он на III съезде писателей.

Советские писатели близко к сердцу принимают и глубоко ценят заботу партии о развитии советской литературы, ее руководство литературой. Тем более, что, верный ленинским принципам руководства, Н. С. Хрущев решительно подчеркивает недопустимость администрирования, окриков, мелочной опеки в области искусства. Совсем недавно, выступая с речью об осуществлении решений февральского Пленума ЦК КПСС, Н. С. Хрущев резко критиковал попытки неквалифицированного вмешательства в те или иные области жизни. Высмеивая тех, кто, обладая самым отдаленным представлением о предмете, пытается учить людей дела, Н. С. Хрущев, между прочим, заметил: «Я тоже видел, как художник картину рисует, как Вучетич делает скульптуру. Но видеть — мало. Надо знать, уметь и иметь призвание, особенно в вопросах искусства».

На XXII съезде партии, отклоняя попытки приписать ему исключительные заслуги в проведении важнейших мероприятий партии и правительства, Н. С. Хрущев говорил: «Разрешите, однако, со всей силой подчеркнуть, что все, что говорится в мой адрес, должно быть отнесено в адрес Центрального Комитета нашей ленинской партии, в адрес Пре-

зидиума ЦК. Ни одно крупное мероприятие, ни одно ответственное выступление не проводилось у нас по чьему-то личному указанию, а являются результатом коллективного обсуждения, коллективного решения».

Это справедливо. Но также справедливо и то, что настоящие коммунистические руководители сильны тем, что правильно выражают интересы партии и народа. К таким руководителям и относится Н. С. Хрущев. «Товарищ Н. С. Хрущев, с его неиссякаемой энергией, с его подлинно большевистской страстностью и принципиальностью, — признанный руководитель нашей партии и народа. Он выражает самые сокровенные думы и чаяния советских людей. Ленинскую линию, которую проводит наша партия, нельзя отделить от Центрального Комитета, от Никиты Сергеевича Хрущева. Эта линия подняла на небывалую высоту престиж нашей страны на международной арене, возвысила ее авторитет в глазах трудящихся всего мира. Эту ленинскую линию безраздельно поддерживают все коммунисты и весь народ нашей страны» (М. А. Суслов).

Мы желаем славному ленинцу Никите Сергеевичу Хрущеву долгих лет вдохновенной, кипучей работы на благо нашей родины, мирового коммунистического движения, борьбы за мир во всем мире, на благо родной литературы.

За годом — год, за вехой — веха.

За полосой — полоса.

Нелегко путь.

Но ветер века —

Он в наши дует паруса.

Уверенно идет наша страна к великой цели — коммунизму. Великий Ленин с нами в этом славном походе. Ленинские принципы определяют нашу жизнь. ленинская партия, испытанные ленинцы возглавляют непобедимую армию людей труда. Ленинизм победит!



---

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

## ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

*С литовского*

1

### *В дороге с Лоркой*

Серебряный дельфин «Эр Франс» вынырнул из синего небесного окошка, проплыл между белых облачных льдин и с помощью плавников-крыльев опустился на пористый каменный остров, который стюардесса с точностью картографа определила как Мадрид. Стюардесса поправила синюю пилотку и авторитетно заявила: пассажиры остаются на своих местах, выходить в аэропорт не разрешается. Нам оставалось сидеть и читать. Или сидеть и скучать. Во время стоянки запрещается даже курить. Осточертели слова «не разрешается», «запрещается» — слишком часто приходилось их слышать. Я ехал в страны испанского языка. Поэтому спутником я избрал Федерико Гарсиа Лорку. Поэты могут научить экономике, истории, географии. Это так, к слову. Я раскрыл томик Лорки. Самолет прочно засел на аэродроме, времени было сколько угодно, и на титульном листе книги я сделал первую запись...

\* \* \*

Тиран ненавидит поэта.  
Поэт ненавидит тирана.  
Цыганскую нацию эту  
тираны с земли стирали.  
Но соловьи заливаются  
и, не щадя усилъя,  
освистывают, издеваются  
над фюрером и каудильо.  
Поэты встают спозаранку  
и солнечный лик воспевают,  
но коротышку Франко  
в поэзии — забывают.  
Той, что всего дороже,  
поэт преклоняется набожно.  
А Франко — гнусная рожа,  
поэту его не надобно.

Поэт луной восхищается  
и тучкой, что в небе нависла,  
а слово «воспрещается»  
поэту — ненавистно.  
Покуда синее небо  
над Лоркой лучи простирало,  
его, не менее хлеба,  
питала ярость к тирану.

\* \* \*

О коротышки духа!  
О псевдоклассические фанфароны!  
О надутые архаисты в аксельбантах!  
О современные нероны и чингисханы!  
Вы думаете, что, перевешав и перестреляв поэтов,  
вы беспрепятственно отпляшете свой танец смерти?  
Вы думаете, что, казнив поэта, вы больше  
никогда не услышите правду, которую люди  
говорят о себе устами поэта?  
Вы думаете, что, когда поэт станет прахом,  
будет некому заступиться за человека?  
Поэт поет, даже ставши прахом.  
Виселичная петля не удушит песню.  
Винтовочная пуля не прикончит песню.  
Песня поэта — феникс,  
она возродится из пепла поэта.  
Для вас, коротышки духа, —  
усыпальницы и саркофаги.  
Для поэта — только века.  
Для поэта — живая жизнь.

\* \* \*

Бывают времена, когда слово поэта кажется словом ребенка, непригодным для жизни. Логика практицизма кажется сильнее поэзии. Но как только вам, сильные мира сего, становится потрудней, вам приходят в голову чудачки, пишушие то скорбные, то веселые строфы. А ведь эти чудачки предупреждали вас! Не один властелин смежает ненасытные очи свои, видя умственным взором поэта, за спиной которого стояла костлявая. Увы вам, сильные, увы.

Нет, не вы,  
а песнь торжествует в конце концов!

\* \* \*

Поэтов вы называете мечтателями. Себя — реалистами. Баржи, которые влечет река, вы видите отчетливее. Но поэт всеми порами ощущает прохладу реки, сердечным слухом слышит ее покой, ярость водоворотов и неслышные отзвуки глубинных течений. Кто же знает о реке больше? Увы вам, сильные, увы...

Нет, не вы,  
а песнь поэта торжествует в конце концов!







Моцарт,  
 играй свой реквием  
 на струнах ветра  
 в Пиренейских горах!  
 Встаньте, павшие за революцию,  
*самые лучшие,  
 самые храбрые,  
 самые нежные!*  
 Среди вас Федерико Гарсиа Лорка —  
 не тень и не прах,  
 а пахарь,  
 обходящий с винтовкой  
 поля безбрежные.  
 Ах, по ком звонит колокол,  
 о Мадрид,  
 этот ранний колокол  
 над старинными башнями,  
 где, как барка,  
 плывет мавританская арка?  
 Лорка! — в аэропорт врывается колокол.  
 Лорка! — по аэропорту медь разливает колокол.  
 Федерико Гарсиа Лорка!

*Перевел Ю. Левитанский.*

## Мысль

*У скульптуры Родэна*

Вот сидит человек.  
 Что горит у него на челе?  
 Непокорную голову он кулаком подпирает,  
 словно имя еще не обжитой земле подбирает...  
 И раздумья,  
 как ранний туман,  
 припадают к земле.

Он прекрасен, как Пан обнаженный, в своем естестве.  
 Вот сейчас он поднимется,  
 землю обхватит и вскинет,  
 и она на плече у него удивленно застынет,  
 прикоснувшись слегка к непокорной его голове.

И совсем, как зерно,  
 что уложено в теплую тьму,  
 что во тьме той земной и в тепле том земном созревает,  
 так рождается мысль в голове...  
 Человек прозревает:  
 Он живет... «Для чего?»  
 Он страдает, живя... «Почему?»...

Человек и зерно — их рождает земля и берет.  
 Человек и зерно — видно, в этом их судьбы едины.

И на смену ушедшему  
новый рождается род,  
чтоб искусней, чем прежний,  
вести за себя поединок.

Человек прозревает.  
И нет совершенству конца.  
Кружит жизнь жернова,  
все стремительней кружит, все чаще,  
и все явственней зверя черты исчезают с лица,  
заслоненные болью,  
надеждой,  
страданьем и счастьем.

И когда он сидит, человек, наклонившись к земле,  
подперев свою голову,  
думой своей озабочен,  
это значит, себя самого постигает...

И очень

это важно.

И это

горит на высоком челе.

Человек прозревает, велик и задумчив, как бог!  
Непокорную голову он кулаком подпирает,  
словно к новым грядущим вершинам ключи подбирает,  
словно силы свои собирает  
для новых дорог.

## *Бронза*

Ветер бронзу с деревьев срывает.  
Листьев бронзовых слышится звон.  
Он из бронзы твой бюст отливает,  
и поет, и беснуется он.

Он деревья сперва обнимает,  
собирает охапки листвы,  
и из веточки он выгибает  
четкий контур твоей головы.

Превращает он в плечи и шею  
новых веточек каждый излом,  
и высокое небо, бледнея,  
опрокидывается  
котлом.

И из горла его,  
как из горна,  
льется бронза, остыть не успев...

До краев заполняется форма  
бронзой солнца и бронзой дерев.  
Если грустно глазам моим станет,  
прилетает тот ветер дневной,  
отливает из солнца  
и ставит  
бюст твой бронзовый  
передо мной.

Он, как мастер, на шаг отступает,  
он бормочет на все голоса,  
и из веток тогда проступают  
твои плечи, лицо и глаза.

*Перевел Б. Окуджава.*



---

---

Людмила ШИКИНА

★

## ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

Я цветы полевые с башкирских полей  
От моих земляков, от родного села  
Через Красную площадь несу в Мавзолей,  
Я в пути их три ночи, три дня берегла.

Я не прячу поникших цветов среди роз,  
Я кладу их к подножью гранитной плиты.  
Я запомнила с детства, что Ленин был прост,  
Он, конечно, любил полевые цветы.



---

---

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

## ДВОЕ

*Вторая книга романа «Тишина»*

### Глава первая

— **Т**акси, стой! Стой!..  
Человек выскочил из пустого арбатского переуллка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине, — Константин затормозил; человек закованевшими пальцами стал рвать примерзшую дверцу и не влез — упал на заднее сиденье.

— До Трубной! Быстрей, быстрей!

Константин из-за плеча взглянул на пассажира — молодое, острое книзу лицо спрятано в поднятом воротнике, иней солью блестел на мехе; кожаный и весь будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени.

— Ну, а если поменьше восклицательных знаков? — спросил Константин. — Может, тогда быстрей?

— Быстрей — ты не понимаешь? — визгливо крикнул парень. — Не понимаешь?

Ночной Арбат был глух, пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу, посверкивала изморозь в воздухе, на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой, ритмично пощелкивая, бросался то вправо, то влево «дворник».

— Что ж, поехали до Трубной, — сказал Константин.

Когда после синееющего пространства Арбатской площади без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце: парень, не двигаясь, сидел, сведя руки на чемоданчике, шумно дышал в поднятый воротник.

Ночью в опустошенной морозом Москве — среди вымерших зимних улиц с погасшими окнами и закрытыми подъездами, с сугробами возле ворот и заборов — машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде, и у Константина появлялось едкое ощущение не-реальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью.

Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и когда наклонился к зажигалке, зябкий голос раздался за спиной:

— Дай сигарету, шофер!

Константин, не взглянув, протянул пачку.

Пачка задвигалась в его руке — замерзшие пальцы парня надавили, тупо зашевелились в ней, выдирая сигарету.

— Сейчас до Трубной, до Трубной!

Сзади чиркнула спичка. В зеркальце возникли красные отблески, на миг высветили из темноты худое, беспомощное лицо, сжатое поднятым воротником; парень, наваялся на чемоданчик, с жадностью вбирал дым, тихонько, жалобно перхая при каждой затяжке.

Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин, не торопясь, поправил зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому от наплавивших фонарей стеклу, засвистел сентиментальный мотивчик.

— Перестань свистеть! — раздраженно сказал парень.

— Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? — спросил Константин лениво. — Имеешь понятие, что такое... ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?

— Молчи! Я говорю — а ты вези! Ты слышал? Нет?

Он придвинулся к затылку Константина, полусжатую в кулачок руку положил на спинку сиденья; потом, отклонясь, сжался в углу, затих, будто задремал мгновенно, и только казалось — еле слышно стонал во сне.

«Пацан, — подумал Константин. — Получил двойку в техникуме и расстроился на всю жизнь».

До Трубной ехали молча; Константин, сладко зевая — разморило в тепле, — не оборачивался: за три года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров, и они уже мало интересовали его.

— Ну? Конкретно — место? — сдерживая зевок, спросил Константин на углу Петровки. — Где прикажете остановиться?

— Чего? Чего ты?

— Трубная, — сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся. — Прошу. Доехали, кажется. Прошу вас.

И сразу встретился с резко приблизившимися глазами парня, губы его кривились, ознобно прыгали, трудно выталкивали слова:

— Трубная?.. Трубная?.. Ты подождешь меня здесь, на углу, ладно? Здесь... Твой номер запомнил — 26-72... Ты меня обождешь! И дальше... дальше поедем!

Спеша вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее двадцатипятирублевку, не отдал, а швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша, как голый на морозе. Щелкнула дверца.

— Стоп! — крикнул Константин. И вылез следом, смяв двадцатипятирублевку. — А ну, потомок миллионера, возьми сдачу. И меньше прошу команд. Я не люблю командных интонаций. Аккуратно ладошкой держи монеты — и привет от тети!

— Ты!..

Паренек затоптался около машины, переступая на снегу в модных полуботиночках, и глаза его, ставшие сразу напряженными и плоскими, удивили Константина. Он спросил сухо:

— Ну, можно спокойнее? В чем дело?

Опустив голову, парень дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения; мотнув чемоданчиком, он вдруг заплакал зло, обессиленно, по-мальчишески незащищенно:

— Я за ней, понял — нет?.. Она в Рязань уехала. . Чемодан собрала и уехала! Мне в Рязань надо! Я ее из Рязани привез, женился, а она... Из общежития уехала!.. Понял? Или нет?

— От кого уехала?

— Да от тебя, что ли!.. — срывающимся голосом закричал парень. — Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань! Разве ты не понял? Пять бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну? Ну, шесть сотен хочешь... Всю зарплату отдам! Ну, не понимаешь, да? Мать у меня, старушка... Здесь, на Труб-

ной! Скажу ей — и все! Подожди здесь — и в Рязань! Шесть бумаг отдам!

Константин переспросил:

— Шесть бумаг? Я не ошибся. Кажется, имею дело с миллионером.

— Ну какое твое дело? — упрямо заговорил парень. — Не твое это дело! Твое дело баранку крутить, гроши получать! Моя ведь зарплата! Что тебе?

Константин усмехнулся, в раздумье покусал усики.

— Все понял. В этом случае я бы отвез тебя и даром. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.

— Трусишь, таксист? — крикнул парень. — Трусишь? Да?

— Ты прав.

Константин сел в машину, со скрипом опустил прилипшее от мороза стекло, — парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там в студеном пару, в радужных кольцах горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой.

Константин развернул машину на площади, поехал в центр.

Выезжая на Петровку, он оглянулся — за задним стеклом мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь? — вспомнил он и грудью почувствовал легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане. — Он сказал — трусишь?»

После участвовавших в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал с собой в ночные смены маленький и плоский немецкий «вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее.

В центре он остановил машину возле «Стереокино». Это было удобное место — перекресток путей из трех ресторанов, два из них работали до поздней ночи.

Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра, под мерзлыми тополями одинокую, с заиндевевшим верхом «победу» и, подъезжая, осветил фарами номер такси.

«Михеев, — определил он. — Как всегда, здесь».

Константин вылез из машины, подошел к «победе» и, потеряв на холоде руки, открыл дверцу улыбаясь.

— Ну что — покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету! Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом!

Михеев, парень с широким круглым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сидения тело; разминаясь, поколотил кулаками себя под мышками. Выдохнул вместе с морозным паром:

— Ха! Дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя... Пассажиров, чертей, мороз разогнал, без копейки приеду, ситуация, мать честная! Это ты мне — сигарету?

У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, как бы немигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье -- осторожное.

— Прошу, Илюша, — сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки. — Вот огоньку, же ву при, мой дорогой, спичек нет.

От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты, одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги. Михеев с досадливым кряхтеньем наклонился, поднял, обтер о рукав.



— Брось, — сказал Константин. — Снег, Илюша, не убивает бактерии.

— Так прокидаешься — без штанов ходить будешь. Можно взять, что ль? — Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и с подчеркнутой предосторожностью зажег спичку, прикрыв ее ладонями, прикурил, после этого дал прикурить Константину. — Миллионщик ты, Костяка, честное слово, и откуда рубли у тебя? — заискивающе сказал он. — Дорогие куришь... м... аромат, да и только... одеколон. А я — гвоздики, на жратву еле...

— Ох ты, прелесть чертова! — засмеялся Константин. — Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь? Под матрац? Ну, для чего тебе деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?

— Без порток, а о женьтибе думать? — сказал Михеев. — Жене деньги нужны. Вот тогда...

— Значит, с деньгами женишься, Илюша?

Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тут рассказывали, — заговорил он, — во втором парке шофера убили! Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули и... Триста рублей у него и было-то. видать. — Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтоб не сильно горела. — Удали-ли-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкине. Машину нашли в Перловке. Вот сволочь... Давил бы я их своими руками. Вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают!

— Нашли? — спросил Константин, с усмешкой разглядывая Михеева.

— Чего? Кого нашли-то? — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев. — Они найдут, хрен в сумку. Они невинного скорее найдут. Они голько штрафовать умеют. А чтоб преступника... — Он крепко выругался и снова сплюнул. — А третьего дня одного... из третьего парка — молотком. Череп пробили. А у него — ни копыя. Только из парка выехал... Что с нашим братом делают!

Вся огромная площадь была в слабом свечении зимней ночи — не переставая, сыпалась изморозь, роилась хаотично вокруг белого света фонарей. За бульварчиком проступали тяжелые и угрюмые, с сизыми клочками снега меж колонн очертания Большого театра со вздыбленной в черноту неба квадратной. И было темным, казалось пыстым здание гостиницы «Метрополь». Только одно окно покойно светилось над площадью в высоте этажей. Все стыло в тишине, мороз шевелился, трещал на бульваре, в карнизах кинотеатра. Давно погасшая огромная реклама — бородатое лицо Робинзона Крузо на ней — была, чудилось, посыпана кристаллами.

Константин, присев на крыло михеевской «победы», оглядел площадь, ее мрачную пустоту, спросил:

— Ну, Илюша? Еще какие новости?

Михеев смотрел на гостиницу «Метрополь», на единственное горевшее окно, покуривая в кулак, глубокие складки тоскливо собрались возле рта.

— Какой-то иностранец коньяки-виски пьет или с бабой... занимается... — проговорил он со вздохом. — Вот у кого денег-то! Мне на всяких иностранцев не везет. Ни одного не возил. Я б его пошекотал на счетчик...

Константин задумчиво покусывал усики.

— Ну, ладно, Илюша, кончай ночевать. Пошли искать пассажиров. Первые — твои, вторые — мои.

— С удовольствием! У тебя ведь счастливая рука! — оживился Михеев, затаптывая в снег докуренную до ногтей сигарету. — Ежели б ты... я б с тобой всегда на пару работал. Везет тебе! К ресгорану пойдем?

— Да.

«Уехал ли тот паренек с чемоданчиком? — подумал Константин, идя с Михеевым мимо гастронома, мимо огромных стекол магазина «Парфюмерия» к ресторану «Москва». Снег по-живому визжал под ботинками, звук этот разносился на всю улицу. — Может, стоило все же отвезти его в Рязань?»

— Детей травят, — сказал Михеев.

— Что? — спросил Константин.

— В родильных домах. Родился мальчик — и вдруг раз! — умирает. В чем дело? Оказывается — врачи. Поймали трех. В Перове... Слышал? А то в аптеках еще — лекарства продают. А в них — рак. Раком заражают. Через год — умирают... Одну аптеку закрыли. В Марьиной роще. Арестовали шмуля. Старикашка, горбатый... Американцы подкупили...

— Что за чепуху ты прешь! — Константин насмешливо взглянул на оживленное лицо шагнувшего рядом Михеева. — Ну, что трепешь, сундук?

— Я причем? — Михеев округлил глаза. — Послушай, что люди говорят... Не веришь? Какая же тебе чепуха, ежели...

— Ну что «ежели»? — спросил Константин.

Михеев не успел ответить. Они завернули за угол метро. Перед гостиницей морозный туманец рассеивался клубящимся оранжевым светом ярко и широко освещенных окон, — и внезапно слева с каменных ступеней от дверей ресторана, прорезая тишину, послышался тонкий вскрик.

— Пу-усти-ите!.. — И опять: — Пустите-е!.. Ой, бо-ольно!.. Бо-ольно!..

Михеев, выкатив глаза, как-то сразу весь съежился, дернув за рукав Константина, проговорил:

— Подожди!.. Кричат, что ль?

И, озираясь на ступени, Константин неясно увидел сверху, меж колонн, несколько угловато метнувшихся фигур, непонятно сбившихся в кучу; и сейчас же человеческая фигура вырвалась оттуда, нелепо согнувшись, бросилась вниз по ступеням — человек оскользнулся, упал, покатился по ледяным ступеням, вскрикивая:

— Дима, беги!.. Что же это?.. Дима!.. Не трогайте!

— Что за черт! — сказал Константин. — Драка, кажется?

Оттуда, от колонн, трое кинулись вниз следом за человеком, прыгая по ступеням, зазвеневший резкий голос донесся сверху:

— Сто-ой, мерзавец!

— Морды бьют. Надрались, — хихикнул Михеев. — И откуда деньги?

Человек в черном пальто вскочил, затравленно оглядываясь, позвал шепотом:

— Дима... Дима!.. Беги!.. — И закрутился на месте, словно ища шапку.

Он кинулся по тротуару в ту сторону, где стояли Константин и Михеев, не заметив их, и Константин увидел испуганное белое лицо, черную ссадину на лбу, плоско-курчавые, как у цыгана, слипшиеся волосы. На миг человек этот остановился, хватая ртом воздух, вильнул в сторону, побежал по мостовой к улице Горького.

— Держи-и, держи-и его!..

Трое сбегали по ступеням, поворачивали лица в сторону мечущегося по мостовой человека, и Константин как будто сорвало с места («блатного хмыря ловят!») — и в несколько прыжков он настиг этого петляющего по мостовой, выкинул ногу, почувствовал жесткий удар по голени, и человек с размаху упал грудью вниз, вытянув руки. И в ту же секунду, когда он упал, Константин услышал топот бегущих ног и, переводя дыхание, повернулся на громкие злые голоса за спиной.

— Молодец!.. Ловко!.. Молодец! — прохрипел, подбегая, невысокий, квадратный в плечах человек (плечи подымались, ходили вверх-вниз), плоское и сильное курносое лицо блестело потом.

С бега он тыкнул в грудь Константина тыльной стороной ладони, слегка оттолкнул, проговорил хрипло:

— Спасибо, помог!

И, наклонясь над лежащим лицом вниз человеком, с выдохом ударил его ногой в бок.

— Ты с кем, мокрица?.. А т-тя... произведу в дерьмо!.. На! На! На!..

Низенький этот с озверелым лицом бил ногами по безжизненно распластанному телу, при каждом ударе выдыхая воздух, будто дрова рубил, учашенно, поршнями двигались его локти. Тело на мостовой слабо зашевелилось, задранное к лопаткам пальто сбилось бугром, руки уперлись в снег — и человек, сделав усилие, вскочил и толкнул низенького в подбородок как-то неловко, двумя ладонями. И Константин только сейчас ясно успел разобрать вблизи его лицо — юное и бледное лицо мальчишки лет двадцати.

— Дима, Димочка!..— умоляюще крикнул он, отступая от низенького.— Не бейте Диму!.. За что?..

Набывчив шею, низенький грузно ринулся на него, ударом кулака сбил на мостовую. И затоптался, забегал над ним, носком ботинка ударяя под ребра.

— А-а, ты у меня попоешь! — выдыхал низенький.— Я те покажу Диму!.. А ну, где этот Дима? — разгоряченно крикнул он, оборачиваясь.— Вы нас запомните, гниды!..

Константин почувствовал, что все расплывается перед глазами, все становится нереальным, тусклым, и вдруг ему стало больно и трудно глотать, сразу сохлось в горле.

Смутно увидел, как справа от него, вобрав голову в плечи, растерянно отступая спиной, двигается по мостовой Михеев, а возле него — двое в расстегнутых пальто молча и старательно избивают, гоняя от одного к другому, высокого паренька в короткой куртке. И доносились отрывистые всхлипы паренька:

— За что? За что? Что я вам сделал? За что? Что я сделал?..

— А ну, прочь, подлецы!.. Стой, сволочи! Пр-рочь!..

Константин только краем сознания понял, что это был его голос. Стиснув зубы, он в три шага достиг низенького, яростным ударом заставил его пригнуться, закрыться рукой и тотчас подлетел к тем двум в пальто, что гоняли парнишку в куртке. И отшвырнул их от него. Эти двое, дыша паром, кинулись на Константина, удары в челюсть, потом в грудь оглушили его.

Они наступали с двух сторон, угрожающе и осторожно. Один, кашля, сплевывал на снег чем-то тягучим. И в эту секунду Константин ощутил тишину. Он почувствовал — что-то произошло, неувловимое, не увиденное им. Двое смотрели куда-то мимо него, и когда Константин инстинктивно взглянул на низенького, тот правой рукой суматошно хватал что-то, лапал у себя под пальто — и он в эту минуту все понял.

— Стой, сволочь! Опустит руку! — шепотом крикнул Константин и, лишь в это мгновение вспомнив о пистолете, торопясь, рвущим движением выхватил «вальтер» из внутреннего кармана, шагнул к низенькому.— Назад! Назад, сволочь! Назад-ад!..

— Оружие?..— сидло выдавил низенький, пятясь.— О-оружие?..

— А ну, спиной ко мне — и марш! Бегом! — со злобой скомандовал Константин. И махнул пистолетом.— Бегом, к Манежу! Бы-ыстро!

Заплетающейся рысцей низенький и двое в расстегнутых пальто побежали к Манежу, отбежав метров сто, они остановились.

Чернели силуэты на снегу. Потом долгий милицейский свисток про сверлил ночь; от гостиницы «Националь» приближалась к ним темная фигура постового.

— Быстрей, ребята! Смывайся отсюда! — подал команду Константин, быстро повернувшись к парням. Тот, на мостовой, с лицом в крови, зажимая одной рукой нос, пытался встать; другой, в куртке, помогая ему, тянул за плечи, беспрерывно повторяя сквозь стоны:

— Гоша, Гоша, бежим, бежим... Ты слышишь, быстрей, миленький!..

— Быстрей, быстрей, ребята! — лихорадочно выкрикивал Константин, с особой остротой сознавая, что все это безумие, что он не хотел этого, но ничего уже нельзя изменить. — Ну, что? Что? Вон туда — бегом! На улицу Горького, во двор! Бегом!..

«Я должен сейчас добежать до машины!.. А может быть, там уже кто есть?.. Добегу ли я? Только бы на кого-нибудь не натолкнуться!.. Что я? Где Михеев?..»

Вталкивая пистолет в карман, он рванулся к угловой станции закрытого метро со странно пустыми огромными стеклами, резко завернув, нырнул за угол и мимо безлюдного подъезда гостиницы побежал по тротуару к «Стереокино». Не слышал позади ни милицейского свистка, ни шума погони, ни окриков — все забивало, заглушало собственное дыхание и мысль, колотившая в мозг: «Что же это? Как же это? Только никого бы не было возле машины!.. Только бы!.. Где Михеев?..»

Он остановился на краю тротуара, потирая рукой грудь, увидел: «победа» Михеева, стреляя выхлопными газами, стремительно разворачивалась по кольцу площади, мимо мрачной и темной гостиницы «Метрополь», где по-прежнему в высоте этажей светило одно окно («иностранец коньяки-виски пил»), а его, Константина, машина, вся в блестящих инея, стояла под отяжеленными снегом тополями у конца тротуара.

Он раскрыл дверцу, упал на сиденье, руки и ноги сделали то, что делали тысячу раз. Он боялся только одного — чтобы не промерз мотор.

Мотор завелся... Опустив стекло, глядя назад в проем улицы, откуда можно было ждать опасность, он повел машину по эллипсу площади, сразу же набирая скорость.

А когда выехал за светофор, зубами жадно и торопливо вытянул из пачки сигарету.

## Глава вторая

Константин остановил машину в одном из тихих замоскворецких переулков; сеялся снежок. Свет фонарей сузился, сжался — стал падать конусами, стиснутый с боков мелькающей мглой; справа, за железной оградой, чернея, проступала сквозь снег полуразрушенная каменная церковка, тихая белизна снега не покрывала ее низких куполов.

Машина стояла, мотор бился, сотрясая железный корпус.

Левое стекло было опущено — Константин не подымал его все время, пока сумасшедше гнал «победу», петляя по улицам, — машина вся выстудилась. И Константин чувствовал, что весь продрог, одеревенела левая щека, заоченели пальцы на руках. Он с трудом оторвал их от баранки, засунул в карманы, откинулся на спинку сиденья с зажмуренными глазами. Он ощущал холод на веках от выдавленных ветром слез.

«Где был Михеев, когда я?.. Видел он или не видел? — спрашивал себя Константин, восстанавливая в памяти, как Михеев растерянно топтался на снегу в тот момент, когда низенький подбежал к пареньку, упавшему на мостовую. — Где Михеев? Где Михеев?..»

И он вспоминал, как на Петровке обогнал Михеева, трижды посвегив ему фарами, и потом, выглядывая в окно, видел неотступно мчащуюся следом машину Михеева, желтые качающиеся подфарники. Только перед Климентовским, вплотную притормозив перед светотормом, ненужно мигающим в ночную безлюдность улиц, он с нетерпением подождал, когда подойдет «победа» Михеева; тот притер завизжавшую тормозами машину, опустил стекло, высунул сизо-белое с отвисшей челюстью лицо и ничего не спросил, только губы зашевелились беззвучно.

— В Вишняковский, к церковке! — глухо бросил Константин, понимая, что не должен сейчас отпускать Михеева одного

«Где же был Михеев? Видел ли он, когда я?.. — спрашивал себя Константин, одновременно ощупывая негнушимися пальцами ствол пистолета в кармане.— Что я должен делать с ним? Выбросить? Спрятать? В церковке спрятать? Те трое могли заявить. Могут проверять подряд такси... Обыскать, найти... В церковке спрятать?.. Что сейчас делать?.. Что?»

Он нерешительно вылез из машины, тихо, без щелчка закрыл дверцу. В переулке на двухэтажные деревянные дома, на навесы парадных мягко сыпался снежок, бесшумно ровнял мостовую, укладывался на железную ограду, на каменные столбы, на углами торчащее железо развороченных куполов, косо летел в темные проемы разбитых церковных окон.

«Да, в церкви, в церкви спрятать!..» — подумал он и уже поспешно сделал шаг к закрытым церковным воротам, толкнул их рукой; заскрежетало железо.

Он толкнул еще раз — ворота не поддавались. Константин выругался сквозь зубы, подышал на пальцы, обожженные железом, и, спрятав руки в карманы, стал оглядывать ограду, торопя себя: «Скорей, скорей... А если прохожий?.. Если какой-нибудь постовой... дворник?..»

Завывающий рокот мотора услышал он за спиной и тотчас повернулся. Свет фар побежал, приближаясь, по мостовой в конце переулка, зеленым глазом светил сквозь снежок фонарик такси.

«Михеев?..» Он сразу почувствовал — взмокла спина, увидел, как впритык к его машине подкатила «победа» Михеева, — распахнулась дверца, и Михеев, без шапки, почти вывалился на мостовую, побежал к нему на подгибающихся ногах.

— Корабельников!. Корабельников!.. Ты-и!..

— А шапка, Илюша, где? — как можно спокойней спросил Константин.— В машине?

— Ты... ты что наделал? — набухшим голосом крикнул Михеев и схватил Константина за плечи, потряс, вглядываясь ему в лицо.— Ты... Ты погубить меня захотел?.. Ты зачем пистолетом?.. Откуда у тебя? Ты кто такой?

Он все вглядывался в лицо Константина, тряся, притягивая его за плечи, табачное дыхание Михеева смешивалось с кислым запахом полушубка; выпукло-черные зрачки его с ужасом впивались в зрачки Константина.

— Успокойся, Илюша.— Константин отцепил руки Михеева, проговорил: — И не кричи. Пойдем сядем в машину, подумаем... — И, подойдя к своей машине, раскрыл дверцу.— Лезь. Я с другой стороны.

«Он все видел. Где же он стоял? Почему я его не видел тогда?»

— Что ты наделал, что ты натворил, а? — бормотал Михеев, потирая кулаком лицо.— Господи, надо было ведь мне поехать с тобой! С кем связался!..

— Закури,— сказал Константин, протягивая сигареты.

— Дай-ка спичку... Го-осподи...

— Спички у тебя. Чиркай, ну?

— А-а! Где они?..

— Слушай, Илюша,— заговорил Константин, медленно выдыхая дым.— Кто были те... которые парнишек?.. Не знаешь?

— Почему я знаю! — крикнул Михеев, кашляя от возбуждения.— Люди были — и все!.. Тот, задний, подбежал ко мне, как бешеный, а сам вроде выпимши... Ну я и говорю...

— Что ты говоришь? — быстро спросил Константин.

— Ну и говорю: водители, мол, такси...

— Так,— произнес Константин.— Ну?

— Что — «ну»? Что ты нукаешь? Что ты еще нукаешь, когда делов натворил — корытом не расхлабашь!.. Что ты наделал? Не понимаешь, что ль? Малая девчонка какая!

Михеев замолчал, сжался весь, как бы втискиваясь в сиденье. багровый огонек сигареты, разгораясь, подсвечивал края его раздувающихся ноздрей.

Помолчав, Константин спросил вполголоса:

— Ну, а за что они парнишек... как думаешь?

— Мое какое дело! Я что — прокурор? — внезапно с озлоблением выкрикнул Михеев, и к Константину повернулось его широкоскулое лицо.— Ты зачем пистолетом баловал? Ты зачем?.. Не знаешь, что за эти игрушки в каталажку? Защитник какой! Какое твое собачье дело? И чего ты лез? И зачем ты, стерва такая, пистолет выташил? Откуда у тебя пистолет? Жить тебе надоело?.. На курорт захотел?..

Голос Михеева срывался, звенел отчаянной, пронзительной ноткой; он снова вцепился Константину в плечо, стал трясти его, едва не плача. Молча Константин снял со своего плеча руку Михеева, стиснул ее и сидел так некоторое время, глядя ему в лицо. Михеев тяжело задышал носом, подавшись к нему всем телом:

— Что? Ты что?

— Слушай, Илюша.— Константин с деланным спокойствием усмехнулся, и только это спокойствие, как он сам понимал, выдавало его.— Тебе лечиться нужно. Илюша! У тебя, дружок, нервы и излишне развитое воображение.— Константин засмеялся.— Ну вот смотри — похоже? — И, хорошо понимая неубедительность того, что делает, он нащупал в кармане железный ключ от квартиры, зажал в пальцах, как пистолет, медленно поднес к лицу Михеева.— Ну, похоже, Илюша?

— За дурака принимаешь? — произнес Михеев.— Хитер ты, как аптекарь? А я — дурак, дурак, а дурак. Глаза у меня не на заднице. Ну, ладно, поговорили,— с придыханием добавил Михеев и откинул голову на сиденье. После молчания заговорил уже спокойнее: — Я в тюрьму не желаю. Я еще жить хочу. Я не как-нибудь, а чтобы все правильно... Поехал я, работать надо... Я отдельно поеду, ты отдельно... Вот так... не хочу я с тобой никаких делов иметь.

Михеев заерзал на сиденье, нажал дверцу, вынес ногу в бурке, неожиданно задержался, с прежней растерянностью пощупал голову.

— Эх, стерва ты, из-за тебя шапку потерял. Двести пятьдесят монет как собаке под хвост!

— Слушай, Илюша,— сказал Константин.— Здесь я виноват. Возьми мою. Полезет — возьми. Я заеду домой за старой... Вот померь.

Он снял свою пыжиковую шапку, протянул Михееву, тот взял ее, некоторое время подозрительно помял в руках; натянул, вздыхая через ноздри, сказал:

— А что ж ты думаешь — откажусь, что ль? Нашел дурака! Эх, сваялся я с тобой!.. — И вылез из машины.

Константин подождал, пока Михеев развернет свою «победу» в перулке, потом тронул машину и уже неторопливо повел ее, петляя по

замоскворецким улочкам, в сторону Павелецкого вокзала. Он не знал, куда ему ехать сейчас: то ли к вокзалу — поджидать утренние поезда, то ли вот так ездить по этим переулкам, до конца продумать все, что случилось...

Не переставая, падал снежок, замутняя пролеты улиц. Константин точно и аккуратно останавливался возле перебегающих огней светофоров и с трудом сдерживал себя, чтобы не погнать машину на предельной скорости.

### Глава третья

В конце сорок девятого года Константин перебрался в опустевшую квартиру Вохминцевых, вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый — так хотела Ася; и его освободившуюся холостяцкую «мансарду» немедленно заселили — через неделю комнату занял приятный и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке.

Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачки — поближе к русским пейзажам, — и лишь по праздникам оба бывали в Москве, Константин редко видел их; квартира стала нешумной, казалась просторной, но эта тишина и простор дома почему-то не радовали его и Асю.

В новом своем состоянии женатого человека Константин жил, словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь и лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей, чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо двигалась вокруг стола, ставя к завтраку чашки с каким-то прохладным звоном, и, когда наклонялась над столом, темные волосы по-детски свешивались к подбородку.

И Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, с особой значительностью испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом; и он как бы не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил, прикасаться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью; в ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще не понятного, не испытанного ею; и он слышал иногда еле различимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса: «А тебе обязательно это нужно?»

Он молчал, боясь прикоснуться к ней в эти минуты, смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, на круглую нежную шею, и что-то непонятое и горькое тогда выросло между ними. И когда после такой ночи, проснувшись, смотрел на нее, свежую, уже одетую и будто обновленную чем-то, знал: только что стояла в ванной под душем, и Константин не двигаясь, со смутной болью как бы вновь слышал в тишине те ее слова, знал — сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней чистоты. И он ревновал ее неизвестно к кому, не до конца понимал ее стремление по утрам словно отделаться от той, другой жизни, без которой она, как казалось ему, могла обойтись и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он.

Но он боялся открыть глаза утром и не увидеть Асю.

Тогда сразу портилось настроение, пустота комнат уныло пугала его. Он с тоской оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она

вытиралась. Насвистывая, ходил из комнаты в комнату, не зная, что делать.

Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова: «Знаешь, я еще могу походить год в этом пальто — не беда. Медики вообще народ не форсистый, правда, правда».

В сорок девятом году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с третьего курса, устроился в таксомоторный парк — и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси, а позднее сумеет вернуться в институт.

Константин пришел домой в одиннадцатом часу утра.

Привычная процедура конца смены: сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой — и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег и не торопился с мойкой машины — все делал с обвораживающей улыбкой, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидая машину Михеева — ее не было.

Потом, погретав по румяной щеке Валю, он сказал ей что-то о коварстве румянца (пошлость!) и размеренно выкурил две сигареты в курилке, сидя на скамье возле бочки с водой.

«Победы» Михеева не было.

Ждать уже стало неудобно.

Константин вышел из парка, по обыкновению весело помавав Валеньку, и устало, не спеша двинулся за ворота.

Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями приглушая звуки, движение на улице. Обросшие снегом трамваи, с мохнато залепленными номерами, стеклами, медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели; вместе с ними сигналили побеленные до дуг троллейбусы, пробиваясь сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих.

Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью, но было тяжело дышать, как в воде, давило на уши. Его окутывала полудремота.

«Михеев, — думал он под толчки своих шагов. — Задержался. Это ясно. Не набрал денег за смену... Опоздал... Я позвоню в парк из дома. Ася. Она уходит в поликлинику в десять. Как хорошо, что она ушла! Я все обдумаю... У меня будет время обдумать. Рассказать Асе? Нет, нет! Что же это такое произошло? Ничего особенного. Значит — так».

В парадном он снял кожаную на меху куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридор вошел утомленно — здесь сумрачно, тепло, из кухни душно шел сытый запах квартирных супов.

Он открыл дверь своим ключом.

С улицы сквозь толщину мелькающей пелены не пробивалось ни одного звука. Только глухо просачивались неразличимые разговоры с кухни. И два голоса — мужской и женский — с бесстрастной красотой дикции сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм, — Ася забыла выключить радио.

Константин прошел во вторую комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, подложил руки под затылок; волосы, мокрые от растаявшего снега, охладили голову.

«А что, собственно, произошло? — попытался он себя успокоить, закрывая глаза. — А, черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве... Да станут ли искать? Да что, собственно, произошло?»



Он пригрелся на диване, тяжелая дремота скосила его, понесла, он стал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, все ускоряющемся полете, и позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло, густой снег, летящий в глаза, ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло что-то, должно было произойти... Телефо́н, телефон звонит!..

Константин, очнувшись, поднял голову с валика дивана. Огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал.

«Михеев! — подумал он. — Михеев!..»

Он сбросил ноги с дивана, на ходу кинув сигарету в рот, подошел к телефону. Набрал номер диспетчерской; другой рукой, зажигая спичку, прижал коробок к стеклу стола.

— Валенька,— сказал Константин с ласковостью в голосе,— как там мой кореш Илюша — вернулся?

— Десять минут назад домой ушел,— игриво посмеиваясь, ответила кассирша.— А что, соскучился?

— Тронут сообщением, Валенька,— сказал Константин.— Ну, пока, красавица!

Он говорил пошлость, знал, что это пошлость, но все же говорил так — это освобождало его от чего-то.

Константин положил трубку.

На столе под стеклом лежала фотокарточка Аси — кто-то «щелкнул» из одноклассников (стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку, лицо загорожено книгой от солнца, смеется). Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася со смехом протестовала: «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда!»

Константин смахнул упавший на стекло пепел и, задернув занавеску на окне, только сейчас вынул из бокового кармана маленький «вальтер».

Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой; были выбиты мизерные цифры на металле — «1763», и рядом — знакомое. «Gott mit uns». Над спусковым крючком — никелированный прямоугольничек с монограммой: «Вильгельм фон Кунце».

Изящный этот пистолет напоминал игрушку, ее все время хотелось держать в руках, трогать отшлифованный металл.

«Вальтер» этот попал к Константину в сорок третьем.

Низенький «бээмвэ», без камуфляжа, весь гладко черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село в двух километрах от левого берега Днепра, откуда только что отошли немцы к переправе.

Всю войну он ползал за немецкую передовую в поисках за «языками» на животе и локтях, а эти на машине сами перли ему в руки — и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части, по скатам. Их было трое, немцев. Двоих он уже не помнил, третьего запомнил на всю жизнь. В нем было что-то прусско-театральное, даже виденное уже — сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, две старческие складки вдоль крупного носа; кресты и медали зазвенели под полами черного с пелериной плаща, когда разведчик нестеснительно обыскал его; от оберста пахло духами, он был до бледности выбрит.

Он отдал оружие — «парабеллум» на широком ремне, новенький планшет с картой; когда отдавал все это, нервно пожевывал бескровные губы, но глаза спокойны были, задумчиво выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков.

А на третьем километре этот оберст коротко сказал что-то другому, и тот, сконфуженно улыбаясь потным лицом, залопотал, стал показывать

на ноги, на свой зад, на лес, на землю. И Константин понял: просили от-дых. Оберст сидел на пне, прислонясь спиной к дереву, в распахе непромокаемого плаща неширокая грудь с металлическими пуговицами подымалась дыханием; вдруг маленькая рука скользнула под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, потом что-то блеснуло в руке, поднесенной к лицу, негромко шелкнуло, будто треснуло за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный писто-летик, упал лицом вниз, кашляя судорожно, спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей с головы фуражки. Был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шен.

Он выстрелил себе в рот. Константин не сумел предупредить этот вы-стрел: при обыске в селе разведчики не нащупали плоский писто-летик под ватной набивкой мундира. И Константин не мог простить себе этого. Таких «языков» он не брал ни разу.

Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг ПНШ-I вызвал Константина.

— Люблю я тебя, Костя, и осуждаю, — сказал он, довольно посмеиваясь. — Доставь ты этого оберста — носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты — цены им нет! Возьми-ка вот этот «вальтеришко», помни оберста. Писто-летик-то не так себе — фамильный. С серебром. Считай своей наградой. Беру это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать.

Таким образом стало у него два писто-лета: свой уставной ТТ и этот немецкий «вальтер». Всякого оружия хватало вдоволь, но этот писто-летик был как бы шутовой наградой.

Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации, «вальтер» же не сдал и в Москве: он не мешал ему. Сначала писто-лет умещался в лю-бом кармане, потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томи-ками Тургенева. Но в сорок девятом году было тщательно найдено для него секретное место — в толстом томе Брема он вырезал в серединных страницах гнездо, писто-лет вплотную входил туда, и Брем был спрятан в углу шкафа.

Он стал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем, оглушенного, поставили перед собой (сзади третий железными пальцами сжимал и отпускал сонную артерию на шее). С заученной ловкостью проверили его карманы.

Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать эти чужие натренированные пальцы.

Константин повертел писто-лет в руках, достал из книжного шкафа том Брема — «вальтер» прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брема во второй ряд книг, за старым собранием сочинений Тургенева. И это почти успокоило его.

«Да что, собственно, случилось? — опять подумал он, пытаюсь настро-ить себя на обычную волну. — Все обошлось и прекрасно обойдется. Все в жизни обходилось. Предопределять судьбу смешно. Зачем и для чего?»

Сев на край стола, он взглянул на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не подходили там, затем бархатистый профессор-ский баритон дохнул в трубку:

— Да-а! У телефона.

— Анастасию Николаевну. Кто? Представьте себе, муж.

— Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас. Если потерпите.

Далекий шелчок — это положили трубку на стол, потом неясный го-лос в мембране, и ее голос:

— Костя?

Неужели так просто можно сказать: «Костя?»

— Я жду тебя,— тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку; ветер все прижимал юбку к ее коленям, и жарко, как перед грозой, светило летнее солнце — сколько тогда ей было лет?

— Ты ужасающий экземпляр,— сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему.

— Я жду тебя. Вот... и все,— повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки (о чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца?). Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса.— Я жду тебя. И — как видишь — немного люблю тебя... Чепуха? Дичь? Сентименты? Позвонил муж, оторвал от работы? И лепечет какую-то чепуху. Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить...

— Какой же ты у меня дурачина, Костя! Ужасный! — сказала Ася и опять засмеялась.— Ты просто Баран Иванович, ты понял? Я не буду задерживаться.

— Я жду тебя.

И уже повеселевший, Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил с нижней полочки буфета начатую бутылку «старки». Налив рюмку, он выпил с наслаждением, затем сказал: «Есть смысл» — и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден и почему-то захотелось яичницы с жареной колбасой — последний раз ел вчера в четыре часа дня.

В кухне — тихо, тепло после готовки квартирных завтраков. Снег падал на окна. Методично капала вода из крана.

Константин с грохотом поставил сковородку на плиту, стал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стучаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни — как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды.

Константин взглянул, почесывая нос.

— Это вы, Марк Юльевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую «омегу»?

Марк Юльевич Берзинь, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену переехавший с семнадцатилетней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина; хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.

— Вы напрасно острите, вы понятия не имеете,— сказал он.— Я всегда говорил: мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я, как дурак, расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках.— Марк Юльевич вздохнул.— Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь.

Константин заглянул под стол Берзиня.

— Не очень доходит, Марк Юльевич.

— Дойдет,— кротно сказал Берзинь,— когда пообиваете пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столами, я окончательно расстроил нервы.— Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра.— Вы только взгляните: аккуратно объела сало — и удрала. Как это действие называется?

— Да черт с ними,— засмеялся Константин.— Плюньте на мелочи!

Берзинь вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать, движением брови освободился от лупы

(она упала ему в ладонь) и сейчас же закачал лысой головой, помахал пальцем.

— Это скороспелые выводы! Вы посмотрите — здесь была крупа? Что сейчас?

Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь, носик дергался, обнюхивая стекло, ушки прижаты испуганно, лапки подобраны под себя. Марк Юльевич рассудительно продолжал:

— Она сожрала крупу и не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний. Я не могу допустить — в квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться... Мы — мужчины... Мы это забываем.

— Наверно, — ответил Константин охотно. — Что вы будете делать с этим представителем грызунов? Пристукните ее шваброй. И к черту — в мусор!

Берзинь, поправив на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, начал воинственно ими пощелкивать.

— Где швабра? — спросил он. — Вы совершенно правы!

Марк Юльевич взглянул на швабру, однако все медленнее шелкая подтяжками и как бы в раздумье хмурясь.

— Мм... Нет, — проговорил он.

Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку, — крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юльевича. Он поежился, затем смело вытряхнул мышь из банки в снег, после этого повернулся к Константину с победным видом.

— Вот так мы будем делать.

И с удовлетворением во всем лице своем зашагал из кухни к коридору. Но на пороге, опять храбро выпрямившись всем своим маленьким круглым телом с покатыми плечами, с чуть выступавшим из просторных брюк животом, похмыкав носом, спросил грозно:

— У вас какие часы? Марка?

— Швейцарские. Еще фронтвые.

— Хм, да... Зайдите как-нибудь. Я уверен — в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений.

Двадцать минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване; тепло разливалось по телу, но еще спина никак не могла согреться, только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок — промерз за ночь.

«Быков... Переехал... Сейчас в его комнате Берзинь с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку «старки». Но, кажется, пьет только молоко».

Он поднялся, включил радиолу и стал ходить, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, покоя, удовлетворенности жизнью: у него была Ася, деньги, здоровье, был смешной Берзинь в квартире, эта радиола, книги, свобода, которую давала ему работа в такси...

Константин шелкнул пальцами.

«Что еще нужно человеку, черт побери! Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны: «Три курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный,

но почему вы не в партии? Такие, как вы...» Они позабыли взглянуть в мою анкету: родители — тю-тю, отец жены — тю-тю...

«Спасибо, я еще не дорос». А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик. Рюмка «старки»... Легкомысленный фокстротик и — ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего».

Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся в него и подмигнул себе: «Ну как? А? Живешь?»

«Все прекрасно, конечно. Все отлично будет».

Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, он будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью того: тишиной отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми в страницах Брема лежал «вальтер».

«Выбросить его? Выбросить? Чтоб не было в памяти? К черту! Трусишь, Костя? А что может случиться?»

Он раскрыл дверцы шкафа.

С правой стороны на третьей полке стоял маленький томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в пятидесятом году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на десять лет без права переписки.

«Пятьдесят восемь, пункт десять... Прелестная статейка. А что же, интересно, за хранение огнестрельного оружия? Тоже — прелесть? Ах, вот... За хранение огнестрельного оружия... Так. Пять лет. Пять лет. Пять лет за этот фамильный «вальтер»? Однако — никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое... Михеев? А что, собственно, случилось? Спокойно, как говорят в Одессе. Ша — и не ходи головами, команда была. Никакой фантазии. Вот так и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны — закрутишь шею винтом».

Он захлопнул дверцы шкафа, иронически скривясь, подмигнул своему отражению и, подойдя к буфету, налил еще рюмку «старки» и, крикнув, выпил.

Фокстротик кончился, затихая на пронзительной нотке.

Шипела, скользя по черному диску, игла.

Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на «громко» и лег на диван, вытянулся, просунул руки под затылок, рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца.

Он не услышал стук в дверь — в комнату с виноватым лицом вдвинулся из коридора Берзинь, сложил на животе руки, барабанил пальцами.

— Костенька, я прошу извинить, — у меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И... и не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости... но можно чуть-чуть потише... я еще раз извиняюсь...

Константин улыбнулся.

— Вы знаете, Марк Юльевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему?

— Первый раз слышу.

— Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветочные пятна?

— Ай-яй-яй...

— Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?

— Ужасно, — сказал Берзинь. — Разве?

Взглянув на удивленное лицо Марка Юльевича, Константин опять улыбнулся, пальцем толкнул выключатель радиолы.

— Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему. Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.

#### Глава четвертая

В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».

В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома — томилась бездейственная тишина зимних сумерек, — и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходящую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» — и эти почти привычные по интонации слова ее постоянно вызвали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он пальцами чувствовал Асину кисть в нагретой перчатке.

Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе над крышами, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.

Метро с веселой яркостью пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в перспективе улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.

Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли они то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал улыбки, короткие встречные взгляды — и, почти мучимый завистью, усмехаясь над самим собой, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»

— Костя! Дурачок, ты давно?

Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.

Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемоданчиком. Подбежала с радостно засветившимися глазами, взяла под руку, заглядывая ему в замерзшее лицо.

— Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой... чертик с рожками... даже не улыбнешься? Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.

Он улыбнулся ей.

— Ты хоть на жальчайший миллиметр любишь меня?

Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.

— Ну, если метрически... то на жальчайший километрик! — сказала она. — Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне будет приятно твое внимание. — И спросила, опять заглядывая ему в лицо: — Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?

— Я никак не мог тебя дождаться, Ася. — И сейчас же он добавил полушутливо: — Бывает, когда я не могу тебя дождаться.

— Не оправдался! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?

— Слушаюсь,— сказал Константин с шутливой покорностью.

Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.

Рука Аси легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали плотно ощутимой и твердой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее тела рядом с собой, близкое ее дыхание, когда она говорила. Он думал: «Любит ли она меня?» — и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя — тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке и с чемоданчиком, эдакого знавшего виды опытного малого; ее — тонкую, в узком пальто и с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на себе и на Асе — и усмехался внутренне.

Ася тронула его за рукав.

— Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?

— Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности. Это не шутка, Ася.

— Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Особенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно — почему?

— Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?

— Кто — эти женщины?

— Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя — за десятиклассницу.

— Но у меня накрашены губы,— сказала Ася.— Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?

Он ответил опять полусерьезно:

— Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.

— Какой ты странный, Костя, бываешь!

Асина рука выскользнула из-под его локтя. Она почти машинально сняла с железной ограды бульвара комок пухлого снега, задумчиво сжала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев. В молчании Ася отряхнула перчатку о пальто.

— Костя,— негромко сказала она.— Ты веришь, что ты — мой муж? И что я — твоя жена? Веришь?

Он молчал. «Зачем она спросила это?» — и почувствовал, как от сильно стиснутых на его локте Асиных пальцев, от неожиданных этих слов морозно похолодели волосы на затылке, и он сразу ощутил колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.

— Нет, ты не молчи, Костя, ты ответь,— повторила она.— Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.

— Я?

— И я... — после молчания вполголоса проговорила Ася.— Я даже не представляю иногда: ты, Костя,— мой муж? — Она стояла перед ним, вся вытянувшись.— Прости, Костя, я никак не привыкну... А ты?..

— Да,— сказал он.

— Вот видишь, Костя, как все ужасно получается... Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются? Нет, нет, нет! — заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие.— Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой... потому что... потому что... ну ты понимаешь... А разве это должно быть? — Она

смотрела ему в грудь, трогая пальцем его пуговицу.— Что-то не так, Костя. Я не умею... не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты... Почему это? Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура — и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?

— Да,— повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.

— Идем, а то на нас оглядываются,— сердито сказала Ася и взяла его под руку.— Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда смотрят.

Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю.— сразу изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он давно опасался. Константин хотел заставить себя улыбнуться, сказать просто и ясно то, что мог сказать: «Ася, брось, этого я не слышал. Слова иногда уводят так далеко, что трудно вернуться. Я не имею права обижаться».

Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горле:

— Поступай, Ася... как ты хочешь...

— А ты? А ты? — с досадой перебила Ася.— Ты же старше меня, ты же мужчина... Объясни ты — я выслушаю все.

— Я сам не научусь быть мужем. И я виноват,— ответил Константин.

— Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? — спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».

— Я? Да,— глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: — Ну, а ты, Ася?

— Самое страшное, что я не знаю...

Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.

— Асенька, родная, это просто чепуха невероятная,— с попыткой улыбнуться сказал Константин.

Она ответила, покусав губу:

— Да, это неполноценность. Я чувствую... Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!

— Мы уже дошли,— сказал Константин тихо, с испугом взглянув на ворота.— Я должен... Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас...

Он осторожно освободил ее руку из-под локтя, повернулся и пошел обратно, с напряжением ожидая за спиной ее оклика, но не услышал его.

Шел по переулку, все ускорял шаги; дуло метельным холодком из темноты бульвара, а весь переулок был в ровной пороше, и он видел на тротуаре свежие следы — свои и Асины.

«Зачем она сказала это? Зачем?»

Он остановился на углу, решая — куда идти? — и, засунув руки в карманы, зашагал по улице к перекресткам, к огням, к тесноте Пятницкой, особенно узкой в этом месте, всегда наполненной народом, всегда уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.

На углу тихого и провинциального Вишняковского он мельком взглянул на угрюмую, полуразрушенную церковку, проступавшую в звездном небе куполами, и с притупленной остротой, почти равнодушно вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Случилось другое, вот что случилось!»

Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, чужих улыбок и озабоченности, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался



точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нить логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос: «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? «Не знаю». Она сказала: «Не знаю». Страннее этого ничего нет! Пике... А стоит ли выводить машину из пике?»

Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И садняще шипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него потоку толпы.

Да, все равно нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но ему надо было запастись. Обязательно купить.

На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик с колыхающимися тенями на стекле — не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный,— протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.

— Четыре «примы».

— Костенька?..

Он взглянул. И без удивления узнал в продавщице розовощеку, Шуручку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.

— Костенька, никак ты, золотце? — беря деньги красными пальцами, ахнула Шуручка.— Сколько я тебя не видела! Чего ж ты? Женится небось? А? И дети небось?..

— Привет, драгоценная женщина, вновь ты возшла на горизонте, солнышко ясное! — сказал Константин, рассовывая «приму» по карманам, и улыбнулся ей.— А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?

Они стояли у стойки двое, за его спиной шумели голоса.

— Да что ты, Костенька! — Шуручка прыснула, поднеся руку ко рту.— Да никакого мужа, что ты!.. Откуда? — сказала она со смешком, а у самой брови неприятно свело, как от холода.— Пьяница только какой возьмет!

— Не ценишь себя, Шуручка. Ты — красивейшая женщина.

— Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки... Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!

Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно, с ожиданием подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг он поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но ему внезапно захотелось внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шуручке дружелюбно и стоя отпил глоток пива.

— Все прекрасно, Шуручка,— сказал Константин.— Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи. Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского.— И он сам невольно усмехнулся, добавил: — «На моей дурацкой голове».

Шуручка простуженно засмеялась, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:

— Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!

— Хуже, Шуручка.

— Инженером небось стал?

— Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.

— Ах, какой ты! — не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и с опущенными глазами тряпкой вытерла стойку.— Водочки, может, а? — И наклонилась к нему через стойку с виноватой улыбкой.— Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. Одна я...

— Александра Ивановна!

Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива; из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой с каймой пены на толстом стекле.

— Александра Ивановна, еще одну разрешите? — В голосе была бархатная приятность, умиление; бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбочивы.— Еще... если разрешите...

Шурочка не без раздражения подставила кружку под струю пива, потом подтолкнула ее к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на лену с растроганным выражением.

— Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво.— Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.

— Кто это? — спросил Константин.

— Да не знаю, противный какой-то,— шепотом ответила Шурочка, наморщив брови.— Целыми днями тут торчит.— И помолчала по-прежнему виновато.— Может, придешь, Костенька, а?

Константин с грустью потрепал ее по щеке.

— Я однолюб, Шурочка. К сожалению.

— Ох, Костенька, одна ведь я...

— Рад был тебя видеть, Шурочка.

С треском дверей, с топотом вошла в закусочную компания молодых парней в каскетках и обляпанных глиной резиновых сапогах — видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, спинами загородили ее, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она еще искала глазами Константина, передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей:

— Привет, Шурочка! Всех тебе благ!

Константин вышел из закусочной — из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров,— жадно вдохнул щекочущий горло воздух, зсашагал по Климентовскому.

Пятничкая с ее огнями, витринами, с дребезжанием трамваев, с беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.

Климентовский был тих, весь покоен, снежен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.

Он двинулся по улице — руки в карманах, воротник поднят,— шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться, знал: домой он не пойдет сейчас.

«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную, — думал он, пряча подбородок в воротник. — Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель... И все было бы как надо. Но все ли?»

— Все спешат, все спешат... Бутафория!

Он услышал впереди поскрипывание снега, невнятное бормотание — и поднял голову, вынул руки из карманов.

За углом дровяного склада, возле уличного зеркала парикмахерской покачивался черный силуэт человека, который делал что-то, с пьяной замедленностью двигая локтями.

— Салют! — сказал Константин. — Вы, кажется, что-то ищите?

Человек, не ответив, неверными движениями поправляя шляпу, вглядываясь в зеркало, почти касался его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:

— Ш-шля-ппа — это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутаф-фория! — И качнулся к Константину, приподнял шляпу над головой. — Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад..

Лицо было властное, бритое, с темными мешками под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.

— Все спешили домой, к очагам и чадам... В объятия усталых жен, — заговорил человек с ядовитой убедительностью. — В домашней постели в любовной судороге забытья до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория... Бутафория!..

Он горько засмеялся, все лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало. И Константин сказал с пониманием:

— Банальный конец.

— Как вы?.. — внимательно спросил человек.

— У всех бывали банальные концы, — ответил Константин. — Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю. Из чувства товарищества.

— Где я живу, — повторил человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи. — На земле... На земле. Частичка природы, познающая самое себя. Когито ерго сум! Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена... Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал..

— Кто? — спросил Константин.

— Человек. Профессор Михайлов. Он... Один из всего ученого совета... Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов... А мы... мы предали его. Человека... Мы молчали... Во имя собственной безопасности. Мразы! Отвратительные животные. Похоронили светило с мировым именем. А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании... вы... лжец и догматик!» А мы... не смогли..

— Какого же черта? — пожал плечами Константин. — А впрочем — ясно. Идемте, я вас провожу.

— Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновения мнений. Есть, мягко говоря, директива.

— Где ваш дом?

— Простите, я дойду сам... Я должен прийти, — забормотал человек и стал застегивать пальто, не находя пуговицы. — Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро — наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра... Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я...

— Дойдете? — прерывая, спросил Константин.

Его раздражала вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.

— Бут-тафория, — выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая: — Мы — не интеллигенты, нет!.. Мы — не интеллигенты. Мы — не представители науки. Мы — не соль земли. Мы — не разум народа. Мы — полугаи. Комплекс бутафории!

Константин смотрел на него с удивлением; человек неожиданно вцепился в рукав Константина, прижал трясущуюся голову к его плечу — запахло одеколоном.

— Знаете, — Константин со злостью отстранился. — Что я вам — жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще.. разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили тут, и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ!

Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.

На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью; была снова глухая, тревожная пустота в душе, и он думал, потирая горло перчаткой: «Ася, Ася. Что же?..»

Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипели шаги, у освещенных подъездов вокзала звучали голоса носильщиков, под вывездившим небом разносились мощные гудки паровозов. И он не находил в себе сил встать, идти домой.

### Глава пятая

В коридоре уже не горел свет. Константин в нерешительности постоял перед дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел, тихо опустился на диван, пружины скрипнули.

Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, бело поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настоженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.

Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина непроницаемо стояла во всем доме, и он слышал однообразный стук капель в раковине на кухне.

Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о том разговоре с Асей возле метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом и о том пьяном человеке, с яростью топтавшем свою шляпу возле парикмахерской, но все это ускользало куда-то, и все заслоняла пустынная площадь с квадратным низеньким человеком с сильным курносом лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом, — и Константин пошевелился, сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то со стуком упало на пол, и с мгновенно возникшим испугом он подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана...

— «Вальтер»... — прошептал он и круто перегнулся с дивана, шаря рукой, тотчас ткнулся пальцами в пол, увидел удивленно пепельницу, опрокинутую, с блестящим доньшком, возле дивана.

И с облегчением лег и положил руку на грудь, в ладонь туго ударило сердце.

— Костя? — послышался Асин голос.

Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый сквозь закрытые веки свет ночника колыхался волнами.

— Костя... ты не спишь?..

Он не ответил и не открывал глаз.

— Костя... — Шаги, легкое движение рядом.

Красный свет ночника стал темным — и Константин почувствовал возле подбородка осторожный мятлый холодок поцелуя, дыхание на щеке; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.

— Ты только ничего не говори, — попросил он.

— Костя... очень злишься на меня? — прошептала Ася и виновато — он чувствовал это по прикосновениям ее — потерлась щекой о его щеку. — Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!

— Асенька, обними меня. И — больше ничего.

— Костя, ты знаешь почему?

— Что?

— То, что случилось...

Разомкнул веки — увидел близко ее нетерпеливо поднятые полоски бровей, ее оголенную шею с выемкой у ключицы и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.

— Я боюсь этого... Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.

— Асенька, но ты же врач... Ты должна знать. У тебя перестраивается организм. Я это сам читал в твоём справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.

— ...перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной о н.

— У тебя ничего не заметно, Ася... у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.

— Мне просто иногда страшно. За него.

— Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово — все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.

— Зачем ты это говоришь?

— Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.

Ася легла рядом, с осторожностью прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:

— Я полежу просто так. Только ничего не надо.

— Да. У тебя холодный нос, девочка.

— Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками. Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?

— Нет.

— У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?

— Нет.

Он приподнялся на локте и долго с задержанным дыханием разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут — он поразился этому.

— Асенька, — с усилием проговорил Константин, — ты когда-нибудь чувствуешь, что ты...

— Дурак ты мой, — сказала Ася. — Ты ужасный дурак...

Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.

— Потуши свет, — попросила она, — я тебя прошу.

Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, с радостным ощущением ясного и теплого утра, которое должно было быть в комнате. но, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков с улицы, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипываньем разошедшегося паркета от движений Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за

стены — передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от почти весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.

Была приоткрыта форточка над диваном, — едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загораясь низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окном плюхающие удары.

— Ася! — громко позвал Константин, с наслаждением потягиваясь. — Асенька, весна, что ли? Как там у классиков? «Весна берет свои права...» Нет, эти классики — ребята молодцы!

А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, возле тумбочки с телефоном стояла Ася, уже в рабочем костюме, который она надевала в поликлинику, теребила в пальцах провод, говорила удивленным голосом:

— Да откуда вы говорите? Не нужно звонить — просто заходите... Опять твой Михеев, — сказала она, вешая трубку. — Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что — стеснительный такой?

— Асенька, — проговорил Константин. — Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный — Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?

— Я уже к нему привыкла вчера, — сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо. — Я все же дождусь его... этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?

— Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И, конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек.

Константин, уже одетый, только не застегнута была байковая домашняя ковбойка, с улыбкой подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.

— Ася, я могу поклясться... Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.

Звонок дернулся в коридоре, затрещал и робко смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» — и откашливанье. топот, и в молчаливом сопровождении Аси Михеев — в бараньем полушубке, шапка смята в руках — медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, впришур оглядывая стены.

— Здоров, Константин. — И протянул широкую ладонь.

— Привет, Илюша, — сказал Константин. — Поздравляю.

— С чем это?

— С весенней погодкой.

— Какая там весна! Закрутит еще. — Михеев покосился на Асю, перевалился с ноги на ногу с явным неудобством от ее пристального взгляда. — Извиняюсь, с вами это я по телефону?

— Да. Раздевайтесь и садитесь, — сказала Ася. — Давайте я повешу ваш полушубок.

— Да нет. Мне, значит... вот, — хмуро замялся Михеев, с настороженным намеком глядя на Константина, и неловко, шапкой вытер лоб. — Разговор...

Ася поняла; отвернувшись, сказала:

— Ну, хорошо. Я пошла. Костя, не провожай.

— До свидания, Ася. Я буду встречать.

И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного. Михеев, все стоя, переводил суженные глаза с неприбранного дивана на

книжные полки, с буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.

— Культурно живешь, — проговорил наконец Михеев. — Чисто, книги читаешь. А это — жена твоя? Цыганочка, что ли? Не русская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Не русская, так?

— Французенка, — сказал Константин. — Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!

— Ладно уж...

Михеев, не сняв полушубка, сел, оперся локтем в угол стола, все еще заинтересованно осматривая мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках возле дивана, поерзал на стуле.

— Если б я женился, покрепче женщину взял, — сказал он неестественно веселым голосом. — Былинка больно — жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные — аза-артные! — И он судорожно улыбнулся, на миг показав зубы. — Говорят. Я сам это дело не уважаю.

— А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию, — насмешливо проговорил Константин. — Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.

И, перехватив взгляд Михеева, смяв, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, выпрямился, спросил:

— Ну? Что стряслось?

Михеев притиснул рукой шапку к коленям, произнес, задетый **тоном** Константина:

— Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакали...

— Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «старка».

Помолчав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.

— Не пью я. Завтракал. — И переспросил угрюмо: — Что стряслось, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчера же позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист, деньги сдал. Курю. Глядь — начальник колонны выходит. И директор парка. Чего-то говорят. У директора рожка — что вот эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» Нет, говорю.

— А дальше? — спросил Константин.

— А что — «дальше»! — заговорил Михеев, захлебываясь. — Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить — а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было. дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?

Константин чиркнул спичкой, бросил ее в пепельницу, опять чиркнул, потом вытянул указательный палец.

— Из этого можно стрелять. Илюша?

— Оп-пять двадцать пять! — с горечью покрутил головой Михеев. — Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уж за дурака считаешь?

— Думай, что хочешь, Илюша, — сказал Константин. — Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну сплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?

— А за что меня избивать? Не за что меня избивать, — уверенно возразил Михеев.

— Да неважно, «за что», дьявол бы драл! — Константин махнул рукой. — Ладно, все это некстати!

Он замолчал, уже внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку, подтолкнул пачку сигарет Михееву. Михеев глядел в окно — веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.

— Политика ведь это,— проговорил Михеев.— А знаешь, как сейчас... Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его — цоп! — и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают...

— Какая пушка, Илюша? — перебил спокойно Константин.— О чем ты?

Михеев с сопением оперся локтями о расставленные колени, наклонил лицо, оно залилось багровостью.

— Политика это,— тоскливо повторил Михеев.— Тебе, может, тринтрава, а мне — как же?

— Ты здесь ни при чем, Илюша,— сказал Константин.— Если что — отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не видел. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу — присоединяйся! Бутерброд сделать?

— Аппетиту нет,— произнес Михеев.— В горло не лезет.

— Заранее объявляешь голодовку? — Константин отрезал себе кусок колбасы, положил его на хлеб.— Тебе не пришлось воевать, Илюша?

— Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.

— Так или иначе. Артподготовки нет — сиди, поплеывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял — половины башки не досчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.

— Пропадую я с тобой,— проговорил Михеев.— Ни за чих пропадую. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек! — Михеев поднял багрово-красное лицо, зло глянул на Константина.— Вон сидит... и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь! — Михеев, завозившись на стуле, презрительно помолчал, затем договорил твердо, со злостью: — А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки, что ли?

Константин, расплескивая, отодвинул стакан недопитого чая, произнес с тихим бешенством:

— Сопляк, дубина стоеросовая! — Встал и, подавляя внезапный гнев, потер кулаком лоб: «Что я говорю? Зачем я говорю ему это?» — и, усмехнувшись Михееву, как бы успокаивая и его и себя, заговорил иным, уже шутливым тоном: — Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне: почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?

— Ты чего? — испуганно вскинулся Михеев.— Глупые вопросы. Не знаю!

— Не знаешь, Илюша? — повторил Константин.— В дерьме не разбираешься, а о жизни судишь! Так получается? Ладно об этом, не будем. Оба мы с тобой в жизни ни черта не понимаем. Только вот что, Илюша, никакого револьвера у меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом? Ну, черт знает что может показаться со страху! Нет, никакого револьвера нет! И прошу тебя, Илюша,— успокойся ты!

Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг с жалким упорством заговорил, двигая крупными губами:

— Отнеси ты его... сдай, куда надо. Покайся. Ведь простить могут все же: мало что бывает. Как к человеку пришел, посоветовать, может — опыта у тебя нет. Начнут копать это дело. Не таких ловят.



— Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить,— сказал Константин.— Пойми же меня наконец, Илюша!

— Ну что ж... Я по-человечески хотел посоветовать,— выдавил Михеев и надел шапку, насунул двумя руками на лоб.— Я, видно, политику больше тебя понимаю... Жареный петух тебя еще не клевал, видать! — Запахивая полушубок, спросил тихо: — Ты что ж — может, меня соучастником считаешь?

— Нет.

— Бывай.

— Ну, будь здоров, Илюша! Договорим на линии! — Константин улыбнулся.— Пока!

Но он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев, а потом уже, полчаса спустя, все шагал по комнатам, скрестив руки, подробно, по деталям вспоминая весь разговор с ним, и с охватившим его приступом отчаяния от совершенной им сейчас ошибки он чувствовал озноб и вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты.

«Я не так разговаривал с ним. Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает,— думал Константин неуспокоенно.— Нет, в этом уже невозможно сомневаться. И я не смог его разубедить, да как это можно было? Он видел. Что он будет делать сейчас?»

Все окно не по-зимнему горело солнцем, шлепали капли по карнизу, сбежали по стеклу; с уханьем ударял по сугробам сбрасываемый с крыш снег.

«Хватит. Все. Сейчас я ничего не придумаю. Поздно. Принять ванну, побриться — и все будет великолепно! Все будет отлично! Лучшие мысли приходят потом».

Константин взял полотенце, вышел в коридор; и когда он в раздумье перебрал банное полотенце через плечо, из кухни семенящей рысцой выкатился Берзинь в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках; шипящая салом сковородка была выдвинута в его руках тараном, от нее шел пар.

— Томочка, Томочка, я иду! Вы посмотрите, Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы. Пластинки! Я сам в молодости спал, как слон. Сейчас будем завтракать! Ох, если бы жива была ее мать, Костя!..

Тамара — дочь его, совсем юная девушка, заспанная, еще не причесанная, золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку,— выглянула из дверей бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.

— Па-апа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика! Неужели ты не понимаешь?

И, увидев Константина, смущенно схватилась оголенной рукой за непричесанные волосы, сейчас же прикрыла дверь.

— Да стоит ли... в самом деле? — неприветливо сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную и уже не видел, как Марк Юльевич обиженно и расстроено поправил подтяжку на полноватом плече, глядя на дверь ванной.

## Глава шестая

Стояла оттепель.

В переулках снег осел, потемнел, протаял на асфальте лужицами. в них космато и южно блестело предмартовское солнце, дуло пахучим и мягким ветром, и даже в тени, в голубых затишках крылец еще чистый

снег был ноздревато испещрен капелью. Ветер листал подмокшими афишами на заборах. Сыро тянуло талым снегом мостовых.

Константин возвращался домой после ночной смены, шел по протаянам, под ногами разлетались брызги, голый местаи тротуар дымился на припеке, и было тепло — он расстегнул кожанку, сдернул шарф.

Вид улиц, уже не зимних, с оттаявшими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских (сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки), утренние булочные с сухим ароматом поджаристого хлеба; погромыхиванье за бульваром трамвая; красный кирпич облупленных стен; полумрак чужих подъездов; голуби, стонущие на карнизах; перспектива московских крыш под зеленым небом — все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он любил город: весеннюю суету толпы, чемоданы у гостиниц, вечерние огни окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, запах асфальта в майских сумерках, людское движение возле подъездов театров и кино перед спектаклями и поздними сеансами, любил конец зимы на улицах.

Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж, взглянул на полуразрушенную церковку в переулке. Над куполами с возбужденным шелканьем носились галки, ветер влажно погромыхивал железом; внизу — запустение, прохладные окна, темный и старый камень под солнцем в белом помете птиц, почернел снежок на ступенях.

«Кажется, я хотел спрятать пистолет в этой церковке? — спросил он себя удивленно. — И, кажется, едва не поторопился. Все идет, как надо. Слава богу, все кончилось. И Илюша успокоился, словно бы ничего не было. Да было ли что-нибудь?»

На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку — всю мокрую, на нее капало с крыши. грязные стекла были в потеках, — быстро набрал номер поликлиники.

— Анастасию Николаевну. Кто спрашивает? Представьте, профессор, муж, — сказал он в трубку, с улыбкой разглядывая натоптанный пол; а когда минуту спустя услышал Асин голос, даже приставил ладонь к мембране, как будто подслушивали его. — Аська... Бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору и — ко мне. Я брожу по лужам. И доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни! Окончательно. Ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?

— Костя, ты с ума сошел! — строго сказала Ася.

— Совершенно съехал с катушек. Беспоротно. И на вечные времена. От весны. У меня даже температура. Тридцать девять и шесть! По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется? — ответил Константин. И проговорил с нежным упорством: — Представь, что я соскучился... Я жду тебя. Я соскучился.

— До свиданья, Костя, — сказала Ася спокойно; видимо, кто-то стоял рядом с ней.

— Целую. Кто там торчит около тебя? Профессор? Судя по голосу — у него довольно дореволюционная борода и отчаянная лысина. Так?

— Хорошо, — повторила она и засмеялась. — Пока!

Он, не вешая трубку, долго слышал далекие гудки, потом с удовольствием вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце.

В коридоре возле двери стоял деревянный чемодан, рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин споткнулся об этот чемодан, удивленно нахмурился, и сейчас же мелькнула мысль: приехал Сергей!

Расстегивая куртку, он вбежал на кухню — она была пуста. Он снова повернул в коридор — в это время навстречу ему отворилась дверь Берзиня: Марк Юльевич, излучая сияние, кивал с порога, делая приглашающие жесты.

— Костя, сюда, пожалуйста, сюда! Я услышал, как вы пришли. К вам гость! Вас не было дома, ждал у нас! Пожалуйста! Я рад! Томочка — тоже.

— Ко мне — гость?.. Кто?

— Заходите, заходите!

Константин вошел.

В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке: полосатая сорочка, немолодое лицо с морщинистым лбом, с узким подбородком неровно и распаренно краснело. стакан недопитого чая стоял перед ним на блюде.

Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую с ногами в кресле (свернулась калачиком, подперев кулаком щеку), спросил неуверенно:

— Вы... ко мне?

— Вохминцев, значит, ты? — натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост постаревшего мальчика, через стол выставил руку. — Вроде похоже и не похоже на папашу. Я — Михаил Никифорович, стало быть. Здравствуйте! Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать... Вот, значит, в каком смысле. Сынок, а?

И его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз будто кольнули Константина ошеломляющей догадкой, и он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал растерянно:

— Здравствуйте! Идемте ко мне... Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича.

— Спасибо за чаек, спасибо.

Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Берзиню, затем Тамаре, которая рассеянно протянула пальцы, и ныряющей, но уверенной походкой в поскрипывающих сапогах последовал за Константином.

— Оттуда вы? Давно приехали? — спросил Константин уже ошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол, и поспешно достал из буфета водку. — Вы... Оттуда вы?

— Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит, — опять высоким голосом сказал Михаил Никифорович, скромно, с руками на коленях сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой. — Выпить я могу, так сказать, культурно... Дошибачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так... ежели вы зять с точки зрения законного брака.

Константин, не без удивления его слушая, достал паспорт и глядел, как он с несходящей улыбкой читал, долго всматривался в штампель о браке, а затем сказал с официальной строгостью:

— Извиняюсь, Константин Владимирович. Дело серьезное... Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, го есть на двое суток...

Константин, не ответив, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и так же молча пододвинул ему тарелку с закуской. Смешанное чувство любопытства, беспокойства и опасения сдерживало его от неосторожных вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы между прочим, случайно, уравновешенно.

Михаил Никифорович взял рюмку двумя пальцами — мизинец оттопырен, — вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло, потом деликатно сморщился, стал неловко и сильно тыкать

вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка, из потертого портмоне достал смятый и сложенный вдвое конверт, подал Константину.

— Ежели сына, значит, нету по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича. Да-а... Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть. Да-а...

Константин не мог унять дрожание пальцев, разрывая конверт; положил письмо на стол, медленно разгладил грязный тетрадный листок, испещренный карандашными строчками, скользящими книзу, к обрезу листка,— карандаш в нескольких местах прорвал бумагу.

«Дорогой мой сын! Ася не должна это знать, поэтому я обращаюсь к тебе.

Я все же надеюсь, что через десять лет увижу вас. Теперь я, как многие, жду одного — узнать, что с вами, дорогие мои. Одно слово, что вы живы и здоровы, может изменить в моей жизни многое. Я тогда смогу ждать, надеяться и жить.

И вот что ты должен знать. В Москве 29 января была очная ставка с П. И. Б. Это было нечеловеческое падение, и еще одного человека... (зачеркнуто), которого я считал коммунистом... Но поверь мне, что я все выдержал.

Главное — передай Асе, что я жив, и поцелуй ее крепко.

Береги ее.

Обнимаю тебя. Твой отец.

Сообщать мой адрес бессмысленно.

Напиши несколько слов и передай тому, кто передаст тебе эту записку».

Константин сложил письмо, но сейчас же опять развернул и, будто не веря еще, снова скользнул глазами по фразе: «Еще в Москве была очная ставка с П. И. Б.» — и помедлив, остановив взгляд на этой строчке, почувствовал, как кожу зябко стянуло на щеках, сказал хрипло:

— Что ж, выпьем?

Михаил Никифорович, в ожидании пряменько сидевший на диване — только сапоги поскрипывали под столом,— охотно отозвался высоким голосом:

— С вами-то чего ж не выпить? Ежели по единой! — И руки снял с колен, волосы пригладил с неестественным оживлением. — У нас горькая — страсть редко, по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!

И выпил, опять деликатно сморщившись, покрутил головой, понюхал корочку хлеба, передергивая бодро и живо локтями.

— Хор-роша горькая-то!..

Константин посмотрел на его повеселевшее личико, на грубые темные узловатые руки, на вилку, которую он держал неумело, но уверенно, и его поразила мысль, что, видимо, человек этот — надзиратель, что Николай Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием проговорил:

— Вы охраняете заключенных?

Михаил Никифорович жевал, взглядывая на Константина, как глухой.

— Курил сигаретку-то... — Он вытер под столом руки о колени и взял из пачки сигарету аккуратно, как берут иголку. — Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул зажигалкой.) Эх, зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука. А бензин как?

— Я шофер. — Константин тотчас вынул удостоверение раскрыл его на столе перед Михаилом Никифоровичем. И, перехватив его взгляд,

добавил: — Вы не бойтесь, я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В общем, если не хотите, не отвечайте.— Он потянулся к бутылке.— Выпьем лучше. Вот, за вашу доброгу.— И он прикрыл ладонью письмо на столе.

Наступило молчание.

— Шофер, значит, ты? — Михаил Никифорович, натягивая улыбкой подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачно синенькие глаза казались блестящими.— А вид у тебя ученый... Очки на нос — ну и что твой профессор...— Он вдруг тоненько засмеялся.— Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку. Враги народу...

— Кто враги? — спросил Константин.

Михаил Никифорович сделал жестким лицо, на лбу проступили капли пота, заговорил строго:

— Пятилетки, значит, и строительство, подъем рабочей жизни и колхозы, значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они — профессора, прекрасно образованные, против гениального вождя товарища Сталина. Я что тебе скажу, послушай только,— внезапно поднял голос Михаил Никифорович.— Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут. Фашистов развелось в городах-то ваших — плюнуть негде! И везут их, и везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший... Каторжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?

— Сочувствую,— сказал Константин, прикуривая от сигареты новую.

Видно было — Михаил Никифорович сильно захмелел, обильно влажными стали лоб, лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбочиво, а искательно, будто сочувствия прося у Константина. Узел галстука нелепо сполз, расстегнутой воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.

— Какая же это жизнь? — снова заговорил он, крутя головой.— Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья голова! — засмеявшись вдруг и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович.— Ну, скажи на милость — интерес какой! Язык болтает, голова не соображает, горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..

— Вы рассказывайте...— сказал Константин тихо.

— А чего рассказывать! — перебил Михаил Никифорович, качаясь над столом и смеясь.— Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А? Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?

Легши грудью на стол, Михаил Никифорович потянул Константина за рукав, пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и Константин, в эту минуту хорошо понимая его, с ощущением острого комка в горле невольно отдернул руку. И сейчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку, проглатывая ею этот комок в горле, спросил с трудом:

— А... как Николай Григорьевич? Николай Григорьевич...

— Очень, можно сказать, хорошо.

Михаил Никифорович тоже опрокинул в рот рюмку, со вздохом пожевал корочку хлеба, затем высморкался в носовой платок, зажимая поочередно ноздри.

— Люди там, скажу тебе, разные бывают: один — зверем косится, другой — можно сказать, с пониманием.— Тщательно вытер покрас-

невший носик, сунул платок в карман.— Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: «Спасибо, вы же от себя отрываете». Как человеку. Мы обхождение понимаем, не звери, Константин Владимыч. Какого заядлого когда и постращаешь, чтобы, значит, не особенно. А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят тебя, вражину, поют, одевают — чего ж тебе, шляпы на голову не хватает, такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный, молчит все.

— Как его здоровье? — спросил Константин.

— Очень, можно сказать, хорошее. Два раза в госпитале лечили его, — ответил Михаил Никифорович. — Вернулся — хорошо работал, не отдыхал даже. Об этом, так сказать, сомлеваться нельзя. Месяц назад повел его к пункту, чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал, говорит: «Ничего здоровье...»

Константин молчал. крутил пальцами пепельницу на столе, не поднимая глаз.

Михаил Никифорович встрепенулся вдруг, выражение пьяной расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он обеспокоенно взглянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал плечами и локтями, будто бежать собрался, крикнул высоким голосом:

— Это же время-то сколько! Беседа — хорошо, а дело забыл, пустая голова! Опоздаю я в магазины — баба начисто со света сживет! — И захихикал, двигаясь на диване.— В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда! Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По секрету сказать, никакая командировка у меня серьезная, а в Москву за одежей и так и далее, двое суток мне дали...

Он суетливо вынул потертый портмоне, вытащил оттуда зеленый листок бумаги, развернул перед собой на скатерти озабоченно.

— Купить мне надо, можно сказать. Жене — полшалок, куфайку шерстяную, детишкам — ботиночки, пальтишки, брату — сапоги хромовые. Из продуктов: сахару — пять килограмм, чаю — восемь пачек, колбасы — два килограмма, конфет — один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч? Совет прошу. На два дня я из дому только!

— Где думаете остановиться?

Константин, отъединяя слова, спросил это, в то же время думая об Асе, об этом почти необъяснимом присутствии Михаила Никифоровича здесь, в доме, о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не отпускало его едкое ощущение удушья.

— Сродственников у меня в Москве никого. А с Николаем Григорьевичем разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы... — проговорил виновато Михаил Никифорович, улыбкой натягивая подбородок, и Константин неожиданно перебил его:

— Хорошо. Одевайтесь. Пойдем в магазины. Я покажу... где купить!

Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича — молча и с испугом взглянув на почерк, сразу ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла.

Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро курил, прислушивался, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу — после магазинов ужинали в десятом часу вечера.

Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроившись на диване среди разложенных вещей, пакстов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осове-

лое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой, подбородок вытянулся.

— Дети, конечно, за родителей страдают,— говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович.— И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец против власти делов наворотил, а они слезьми умываются.

«Каких же делов наворотил Николай Григорьевич?» — хотелось спросить Константину и жесткими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков,— думал он, плохо слыша Михаила Никифоровича.— И Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я — все Быков, все от него... И это письмо, и надзиратель. И Николай Григорьевич — враг народа. Что докажешь! Да. Быков... Нет, и от него, и не от него. Очная ставка — знали, кого вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Зачем?.. Очная ставка? И поверили ему, хотели ему верить!..»

— Женщины, говорю, страдают,— повторил Михаил Никифорович, и Константин различил его голос: — ...к эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразница случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликивает. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами шелкают... И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак!» Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте!.. — послышался ломкий и отчужденный голос Аси.

Она вышла из комнаты, стояла у двери, не прикрыв ее.

— Перестаньте! — повторила она брезгливо.

Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием, потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно; в ее опущенной руке белел конверт, и Константин почему-то отчетливо заметил, как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце. И с тревогой быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом: «Что? Что?»

— Передайте отцу это письмо, если сможете! — сказала Ася холодно.— И, если не трудно, ответьте мне одно: он здоров? Я врач и хочу послать лекарства... с вами. Но я должна знать.

— Очень даже, можно сказать, здоров.— Михаил Никифорович деликатно потрогал уголок скатерти.— Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуха много. Очень даже много. Продувает. Скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт...

И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, перебил его:

— Ася, он здоров, Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В сорок девятом у него болело сердце.

— Это я знаю,— сухо сказала Ася.— У меня на столе, Костя, я приговорила все лекарства. Спокойной ночи.

Она повернулась и вышла в свою комнату, не кивнув Михаилу Никифоровичу, не взглянув на него, и он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую холодность, взял оставленное Асей письмо со стола и, засовывая его в кожаный портмоне, произнес с ноткой обиды:

— Сурьезная... жена ваша.

Он помолчал, затем, не сдержавшись, вздыхая глубоко и шумно, потупясь, пощупал пальцами полу лежавшего на диване детского пальто, отдернул руку и стал тереть колени под столом.

— Лекарствов, можно сказать, не надо бы, — внушительно покашляв, заговорил он. — У нас кто этими лекарствами баловать начинает — лечивается до больницы.

— Завтра я отвезу вас на вокзал, — сказал Константин и поднялся, давая сигарету в пепельнице. — Вон там подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи.

Ася уже лежала в постели — ладонь под щекой, возле развернутая книга на подушке, — не мигая, смотрела в стену, на зеленоватый круг от ночника.

Константин разделся и лег рядом, после молчания сказал:

— Теперь мне кое-что ясно.

— А мне — ничего, ни-че-го... — шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях, — был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь. — Боже мой, Быков, очная ставка... И этот надзиратель у нас в квартире. И хоть бы что... Все смешалось. Как же так можно жить? — Она повернулась к Константину, оперлась на локоть, глаза, отыскивая его взгляд, требовательно блестели ему в глаза. — Ты слышал, что он говорил! Я не могу это представить. Что-то делается ужасное... Почему, Костя? Для чего? Почему?

— Асенька, — проговорил Константин. — Можно, я потушу свет?

Он погасил ночник и снова лег на спину, подложив кулаки под голову, чернота сжала комнату, лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зеркалом, отбрасывал блик в темь потолка; из-за стены доносилось всхрапыванье, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе с гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.

— Он спит, — с отчаянием сказала Ася. — Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?

— Трое.

— Нет. Если так — тогда страшно! Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех... кто поверил ему! Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть ему в глаза! Именно в глаза!..

— Ася... — тихо сказал Константин.

Он прижался лицом к ее груди и с каким-то замирающим ошущением от своей беспомощности сейчас робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею.

— Асенька... ты плохо меня знаешь. Я знаю, что делать, — убеждающе сказал Константин. — Этот Быков еще пострижется в монахи. Ничего не проходит даром. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще повалится у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу!

Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:

— Не надо, не надо этого говорить! Не смей! Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один! Ты ничего не должен делать, ни-че-го!



В полночь Константин встал; лунный косяк передвинулся по комнате — теперь твердо освещал дальнюю стену, были видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, ровен, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, задержав движение, невольно оглянулся на спящую Асю и потом, одеваясь, все улавливал ее дыхание сквозь шуршание своей одежды.

«Не надо, не надо этого говорить!» — звучало в его ушах, как через однотонно заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и эта давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее, а после, когда она заснула, он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту, замлело, затекло все тело; и когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным и непоколебимым.

«Еще ничего не случилось, — убеждал он себя. — Я в этом уверен. Еще ничего не случилось. Пистолет... Спрягать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас, сейчас. Зачем я рискую?»

Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа, и с осторожностью открывая, приподнял створки — они легонько скрипнули в тишине комнаты, — отодвинул книги и достал толстый том Брема: как в дыму, гладко поблескивал в нем под лунным светом «вальтер».

Он сунул его во внутренний карман пиджака, с колющим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, а ощутив это, оглянулся через плечо на тахту — Ася спала. Постоял немного.

И опять, опасаясь скрипа двери, на цыпочках, поспешно вышел в другую комнату. И тотчас с грохотом натолкнулся на отлетевший стул, с грудой одежды поставленный перед порогом. Сразу же оборвался храп, взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны, — Михаил Никифорович с испугом вскрикнул:

— А? Кто?

Константин, от неожиданности выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей со стула, торопливо стал подымать ее, в то же мгновение гупо зашлепали по полу босые ноги — он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках.

Михаил Никифорович в исподней рубашке, в кальсонах синей тенью стоял перед ним, выкатив остекленные страхом и луной глаза, повторял одичало:

— Ты что это? А? Как можешь?

И рванул к себе пиджак из рук Константина, сжал его в горстях, проверил что-то, твердыми пальцами скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом:

— Ты что же, а? Как можешь? Документ тут был, а? — И схватил Константина за локоть.

— С ума сошли, черт вас возьми! — Константин с резкостью перехватил жилистую кисть Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану, тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой. — Вы что — опупели? Сон приснился? — шепотом крикнул Константин. — Какие документы? А ну — проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?

— А? Зачем? — прохрипел Михаил Никифорович и уже, опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване, желтые руки замельтешили над пиджаком, достал зашуршавшую бумажку, жадно взгляделся в нее под лунной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися

штрипками, потерянно забормотал: — Это что ж я? С ума тронулся? Аха-ха-ха! Извините, Константин Владимыч, извините меня за глупые слова...

— Тише вы! Жену разбудите! — не остывая, выговорил Константин. — Спите лучше! И положите пиджак под голову, если боитесь за документы. А дверь не баррикадируйте!

— Извиняюсь, извиняюсь я...

Константин, не ответив, повернул ключ в двери, вышел в темный коридор и, не зажигая света, прошел в кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре.

Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры.

Всхрапыванье, посвистыванье носом доносилось из комнаты. «Позавидуешь — он все же с крепкими нервами», — подумал Константин.

Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное.

Через двадцать минут вернулся со двора.

Он спрятал «вальтер» в сарае, под дровами.

Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал с шофером, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен, изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце.

Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу.

Возле подъезда вокзала Константин с облегчением и сухо простился с ним.

### Глава седьмая

Когда Константин вошел в насквозь пропахший бензином гараж — в огромное здание времен конструктивизма тридцатых годов, с уклонными разворотами на этажи, вразнобой гудевшими моторами перегоняемых машин, с шумом, плеском воды на мойке, возле которой вытянулись очередью прибывшие с линии «победы», — он, прищурился от дневного солнца, увидел в закутке курилки человек семь шоферов заступающей смены.

Стояли, сидели на скамье перед бочкой, покуривая и смеясь, лениво сплевывали в желтую воду с плавающими окурками, переговаривались заглушаемыми гулом моторов голосами — как всегда, отдыхали перед линией.

Белое и морозное февральское солнце отвесно падало сквозь широкие стекла.

Михеев сидел на краешке скамьи — локти на раздвинутых коленях, — мял в руках Константинову шапку, заглядывал вовнутрь ее, казалось — не участвовал в разговорах; круглое, плохо выбритое лицо было угрюмым.

— Привет лучшим водителям! — сказал Константин, пожимая руки всем подряд, а Михеева еще и ударил ладонью по плечу. — Как, Илюшенька, настроение? Что ты видишь в доньшке моей шапочки?

Слова эти вырвались почти неожиданно, однако он произнес их с испытывающим ожиданием — Михеев резко вскинул глаза на Константина, сомкнул пухлые губы, — и Константин также неожиданно для себя сказал оживленно:

— Недавно под настроение махнули с Илюшей «головными приборами». Он оторвал мою пыжиковую, я его — заячью. Пришлось ее поставить на комод, как клубок мыслителя. Показываю соседям по квартире. Ажиготаж. Крики «ура». Выломали дверь. Был запрос из исторического музея. Не успеваю снимать телефонную трубку. Что делать, братцы?

В курилке засмеялись. Михеев, не разжимая губ, молчал, наклонясь, только кончики ушей, полуприкрытые волосами, заалели, ярко видимые под солнцем.

— За мной, Илюша, в воскресенье сто грамм с прицепом и даже с двумя, — произнес Константин, садясь между Михеевым и пожилым шофером Федором Плещеем, удобно развалившимся на скамье.

— Его на маргарине не проведешь. Он тебя, Костя, разгуляет на твои деньги! — отозвался Плещей и скосил на Михеева глаза, ясные, твердые, независимые. — Ну, выдай-ка, Илюха, последнее сообщение. Стоит ли масло покупать в магазинах и лекарство в аптеках? Ну? Откровенно! С плеча лупани! Ты хорошо обстановку в стране понимаешь.

Было Плещею лет сорок пять, тяжелый, крупный, даже грузноватый, с толстой шеей и уже белеющими висками — от фигуры его, от умного и как бы неотесанного лица с большим носом веяло самоуверенностью человека, знающего себе цену.

Работал он когда-то в грузчиках и, может быть, вследствие этого и его нестеснительной прямоты, особенно густого баса, звучавшего иногда на все этажи гаража, сумел прочно и независимо поставить себя в парке. Иные, боясь, называли его горлодером, другие с уважением прислушались к нему.

— Так как же, Илюха? — повторил Плещей. — Масло можно покупать — или отравили его... эти самые? А? Или разве одну касторку можно? Расскажи-ка! Что говорил мне — сообщи всем. Полезно для высокой бдительности. Мы, брат, разных пассажиров возим. Ухо надо пристрелять. А? Ну, нажми на акселератор — и рубани за жизнь! И все станет ясным!

— Вы всегда разыгрываете и преувеличиваете, Федор Иванович, — сказал шофер Акимов, с укором взглядывая на Плещея.

— Добряк! — захохотал Плещей. — Иисус Христос! Где у тебя венчик, Акимов?

Михеев поерзал, обеспокоенно перевел глаза с Акимова на рябоватое лицо Плещея, с Плещея на молча раскуривавшего сигарету Константина.

Акимов — бывший летчик, — без шапки, светловолосый, в короткой меховой куртке с молниями, стоял, прислонясь к бочке, с серьезной задумчивостью покусывал спичку. Сказал:

— Ну что мы все время Илюшу разыгрываем? Хватит.

— Майор милиции вынул лупу и посмотрел на физиономию пострадавшего, — вставил дурашливо Сенечка Легостаев.

С бутылкой молока в руке Легостаев топтался на цементном полу, легонько выбивал шегольскими полуботинками чечетку и в перерывах отпивал из бутылки — подкреплялся перед линией. Младенчески розовый лицом Сенечка выглядел старше своих лет из-за вставных передних зубов, делавших его лицо наглым и отчаянным.

Сенечка кончил выбивать чечетку, навалился сзади на плечи Акимова, ухмылкой выказывая стальные зубы, спросил:

— Слушай, Илюшенька, а не... этих ли отравителей у нас искали? Директор и механик по машинам шастали, опрашивали насчет стоянок и всяких происшествий?

Константин быстро посмотрел на Легостаева.

— Что, всех? — Константин пожал плечами. — Меня нет. Бог милостив от разговора с начальством.

— Да и тебя сегодня кадровик искал, — отхлебнув из бутылки, добавил Легостаев. — И, конечно, Илюшу. С самого утра бегал тут Куняев. Но тебя-то наверняка повышают, Костя! А Илюшу — как чикагского детектива. Дадут пару кольтов. Пиф-паф! Налет на аптеки!

— Уверен — повышают. А почему нет? — сказал Константин. — Давно жду министерский портфель. Но только вместе с Илюшей. Отдельно не согласен.

Михеев наклонился ниже, тиская шапку, локти упирались в колени; уставяся в пол, замкнуто молчал.

«Значит, его вызывали! — взглянув на Михеева, подумал Константин. — Так! Значит, меня и его. Обоих...»

— Сопи, сопн, — похлопав Михеева по спине, снисходительным басом произнес Плешей. — Это помогает. А у меня, знаешь, дети масло едят. У меня четверо пацанов. С аппетитом.

«К кадровику? — думал Константин. — Вызывали в отдел кадров? Зачем? Для чего я понадобился?» И уже смутно слышал, что говорили рядом, но, сдерживая себя, по-прежнему сидел, невозмутимо развалиясь на скамье между Михеевым и Плешеем, цедил дымок сигареты.

— Да что вы, друзья, атаковали Илюшу? — сказал удивленным голосом Константин. — Парень он — гвоздь. Молоток.

Плешей обнял Константина за плечи, тиснул с силой:

— Во-во, почти все знает, как в аптеке!

— Пресс! — согласился Легостаев и хохотнул. — Сам видел: в пельменной он масло жрет, аж затылок трясется на третьей скорости.

— Чего напали, отбой нет! — внезапно зло огрызнулся Михеев и неуклюже встал, напружив шею. — А ты, Легостай, молчи! Знаю, как пассажиров под мухой с бабами знакомишь! С постигосподами... Чего ощерился? — Обернулся к Плешее: — Говорить с вами нельзя, Федор Иванович! Странно вы как-то разговариваете!

И пошел, раскачиваясь, к машинам, надевая на ходу шапку, оттопыривая алеющие уши.

— Обиделся никак — за что, кореш? — крикнул Легостаев и пошел рядом с ним, размахивая бутылкой, стал объяснять что-то, снизив голос.

— Ну что вы сердите парня? — сказал Акимов, защелкивая молнию на куртке. — Есть люди, которые не понимают шуток, — ну и что? Я с ним одну комнату снимаю. Во Внукове. Честное слово, он обижается.

— Молоток, говоришь? — Плешей, точно не расслышав Акимова, опять стиснул плечо Константина. — Молоток, да не тот. Не обтешется никак. Трепло! — Он ладонью разгладил рябинки на лице, затем постучал пальцем по скамье. — А? В Москве, говорит, мальчиков в родильных домах умерщвляют. Врачи, мол, и все такое. Все знает. Спасу нет. Орел, воронья перья. Так, Костя, или не так?

— Не совсем уверен, Федор Иванович.

— Вы очень уж его прижимаете, в самом деле, Федор Иванович, — вставил миролюбиво Сенечка Легостаев, подходя. — Больно он злится на ваши слова... Переживает. Ну его в гудок!

— Чихать я на обиды хотел, Сенечка, левой ноздрей через правое плечо! Мещанскую темнотищу из него выколачивать надо! — подымаясь со скамьи, грудным басом загремел Плешей. — В затишках говорить не умею. Не мыш я, Сенечка, чтоб под хвост шуршать!

— Не совсем уверен, Федор Иванович, — повторил Константин и опустил окурки в бочку.

— Это в каком смысле? — не понял Плешей.

— В том же... Значит, меня вызывали в кадры?

— Я-то тебя не разыгрываю! Давай к Куняеву, — крикнул Легостаев. — Повышают, видать, студентов!

Отдел кадров находился в самом конце коридора.

Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов, здесь всегда была тишина с запахом пыли и засохших чернил, с таинст-

венным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса — сразу овеивало непривычной официальной устойчивостью, стук пресс-папье казался секретным и значительным, как и поставленная печать на справке.

В то время, когда Константин постучал: «Можно?» — и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом (на плечах серели невыгоревшие полосы от погон), листал папку, разглаживал листы, скуластое лицо было неподвижным, прямые волосы свешивались на лоб.

— Вызывали? — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф. — Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь?

— А, товарищ Корабельников! — Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми сумрачными глазами. — Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь.

Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая — протезная, в кожаной перчатке — мертво, неудобно уперлась в край стола.

— Это, товарищ Соловьев, наш шофер Константин Владимирович Корабельников, — сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.

Константин, садясь, мельком глянул туда, различил меж шкафами, за столиком в нише, сухощавого молодого человека в костюме с прямыми плечами; пальто и шляпа висели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо улыбаясь — мягкая улыбка засветилась на его лице, — сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой.

— Очень приятно, Константин Владимирович.

И отошел к столику, снова стал читать бумагу, внимательно наклоняя ее к свету окна.

Константин сказал, преодолевая наступившее молчание:

— Слушаю вас.

Куняев со стуком положил руку-протез на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, потирая его, спросил с шутилой фамильярностью:

— Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?

— Мм... как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев.

— Хм!..

— Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством. И отделом кадров, — сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно — можно было понимать как угодно.

Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался Куняев, словно щекой почувствовав эту улыбку, передвинул пресс-папье на столе и тоже слегка раздвинул губы.

— Ну, ну! Все шутите, товарищ Корабельников! Вот вас в парке за это и любят. Это хорошо. Умная шутка украшает жизнь... создает бодрое рабочее настроение. С шуткой, как говорится, работается веселее...

— Не всегда, — сказал Константин со смертельным желанием закури́ть, особенно оттого, что на шкафу висело: «Курить воспрещается», оттого, что на столе Куняева не было пепельницы, оттого, что не мог нащупать цель своего вызова.

Его неприязненно настораживало, что Куняев, против обыкновения, был не один, и, как казалось, не глазами, а щекой, плечами, всем телом своим ощущал присутствие этого молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.

— Так вот... н-да... зачем я тебя вызвал,— стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, неумелую улыбку и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И вынул из папки, подал через стол Константину анкету.— Уточнить кое-что хотел. Посмотри насчет наград. И насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка.

Куняев положил ладонь правой руки на стол, стал сосредоточенно глядеть в папку, занятый следующей анкетой, прямые волосы спадали на выпуклый лоб.

— Уточнить?..— Константин прикусил усики, помолчал.— Угу...

— Читай анкету, товарищ Корабельников. Читай внимательно.

В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно скользнул глазами по анкете.

Давний почерк, синие домашние чернила, вспомнил: анкету заполнял еще в сорок девятом году. Он быстро нашел графу «Когда и кем награжден» — все ордена, медали были вписаны («все в порядке, но — что же?»), и тотчас отыскал вопрос о родственниках: «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «Отец жены, Вохминцев Николай Григорьевич, арестован органами МГБ в 1949 году». «Так вот в чем дело!» Следствие длилось девять месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич будет осужден на десять лет. Тогда еще не верилось! И он и Ася узнали об этом в пятидесятом...

«Что же — повторяется история с Сережкой? Значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины? Этот молодой человек уточнил? Зачем он здесь? Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван? Но почему... именно сейчас, сегодня, а не год, не пять дней назад? Почему сегодня?»

— Насчет наград — все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный разведчик» или «отличный парень»,— сказал Константин, заставляя свои глаза блеснуть невинно-весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева.— Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после девятомесечного следствия осужден особым совещанием на десять лет по статье пятьдесят восемь. Это я узнал в пятидесятом году. Впрочем, это неважно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать?

— Не важно, утверждаешь? Это как раз важно! — сухо произнес Куняев, из-под лба взглядывая на Константина.— Чего уж тут шуточки шутить. Не до шуток. Анкета — твое лицо. А лицо-то каждое утро умывают, а?

Константин, вынув сигарету, помял, стряхнул крошки табака с колен. Сказал:

— Что меняет... если я впишу «осужден»?

Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки, пальцы правой руки нервно зашелкали по протезу.

— Что — шестнадцать лет тебе? Мальчик?

И, сразу замкнувшись, покосился в угол комнаты — на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.

— Ты что — несовершеннолетний? Ответственности нет? — повторил Куняев жестко.

— Анкеты — всегда стихия,— вздохнул Константин.— Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?

Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, словно только сейчас услышав разговор, ясно поглядел на Константина и Куняева, сказал несильным голосом, примирительно:

— Бывает. Забыл товарищ Корабельников. Это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев?

Достав из кармана коробок, он подошел к столу, с исчезающей доброжелательностью зажег спичку, поднес к сигарете Константина.

Константин поблагодарил взглядом, молча предложил сигареты. Куняев с отвращением дунул перед собой, отгоняя дым, но не сказал ничего.

— Благодарю вас, я не курю.— проговорил молодой человек и вежливо кивнул Куняеву.— Извините, пожалуйста. Не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем минут десять? Вы, Константин Владимирович, в пять заступаете? Ну, я не оторву у вас время.

Он, подвинув стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на вышедшего из комнаты хмуро-замкнутого Куняева, подождал, пока затихли шаги за дверью. И потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь, руку Константина, заговорил мягко:

— Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через девять месяцев следствия. Ну, вы запоздали сообщить. Это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите... Вы, наверно, удивляетесь: «Кто это со мной говорит?»

Молодой человек ловко вынул карандаш из стаканчика, поставил на край стола перед Константином.

— Можно сюда пепел... Я представляюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что. Вы служили в разведке во время войны?

— Да. Это записано в анкете.

— Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы, живой человек, анкета — это бумага, так сказать.— Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиками пальцев прикоснулся к стаканчику, куда Константин излишне старательно стряхивал пепел с сигареты.— Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?

— Да.

— И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверно, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?

— Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими.

Соловьев, подняв перед собой белые ладони, ласково перебил его:

— Я понимаю. Но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?

— Шесть. Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете — точно.

— Ради бога! — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев.— Вы опять об анкете. Я хочу говорить о жизни, а вы об анкете! — Он даже оттопырил розовую губу.— Я вас не утомил? Мне кажется, вы чересчур скромничаете. Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград,— какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство. Ведь почти каждый офицер-разведчик награж-

дался или холодным оружием, или же... огнестрельным. Я тоже немного поевал, не так, как вы, конечно, но знаком... Приходилось... встречаться и с офицерами разведки.

— Конкретнее прошу. Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? — Константин с беспечным видом стал рассматривать кончик сигареты.

«Михеев!.. Да, Михеев!» — мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все связи этого разговора, но чувствующего эти связи, и мгновенный страх незаметно и бесшумно надвигающейся ловушки ощутил он.

Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно-чистую, без следов волоса кисть, лицо длинно, бело, интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами.

Высокие залысины научного работника, доцента, над залысинами чуть курчавились барашком темные волосы — узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами, — и он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева — и, представив и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик от карандашей, он подумал еще: «Михеев! Он разговаривал с Михеевым. Я спрошу у него сейчас документы. Я спрошу!.. Но какой смысл в этом, какой?»

— Почему вы задали этот вопрос: награждался ли я оружием? — спросил Константин с наигранным изумлением. — Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!»

— Почему я задал этот вопрос? — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора. — По долгу службы. Я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего! Это — обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы тысяча девятьсот сорок четвертого года. Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете записано вашей рукой, что вы награждены оружием, пистолетом «вальтер» за номером... одну минуту... — Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана листочек бумаги, развернул. — Пистолетом «вальтер» за номером тысяча семьсот шестьдесят три, — добавил он ровным голосом. — Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть. Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету. И все было бы кончено. То есть все встало бы на свои места. Вы могли его сдать или не сдать — это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?

— Я действительно был награжден пистолетом «вальтер», — сказал Константин. — Но в сорок пятом году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет.

Соловьев неслышно положил ногу на ногу, охватил щиколотку пальцами.

— У вас, конечно, есть документ о сдаче оружия?

— Какие могли быть документы в сорок пятом году, когда началось повальное движение славян на родину?



— Но... дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.

— В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще.

Соловьев замолчал, свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо, четко просвечивал курчавый мысок над белым высоким лбом, и этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем, блеснула короткая улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая — Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов.

«Михеев!.. Михеев!..» — опять подумал он снова и резким жестом стряхнул пепел не в стаканчик, а мимо него.

Соловьев снял руку с щиколотки и спокойно придвинул стаканчик к Константину.

— Лучше сюда, — сказал он.

И встал тотчас, словно показывая этим, что разговор закончен. Однако он не снял с гвоздика шляпу и пальто, а подошел к столу в нише, положил ладонь на блестящее стекло: ладонь казалась бескостной — выгибалась назад; он глядел на свою руку и молчал.

— Константин Владимирович, — опять заговорил он ласково, — наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради бога, не подумайте, что это меня касается. Ради бога! Я готов забыть свои вопросы, простите великодушно. Но другое касается меня. — Ладонь Соловьева замерла на стекле. — Меня, как советского человека, и вас, разумеется, как советского человека и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного. Разведка — ведь это бдительность, я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь

— Ну вот, видите. И здесь, Константин Владимирович, мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно. Вы — уважаемый человек, вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию — почти инженер, начитаны, разбираетесь в людях...

— Не много ли достоинств вы записываете на мой счет? — перебил Константин. — Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете.

— Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души... очень вам верю! — проникновенно, с подчеркнутой доверительностью в голосе произнес Соловьев и обернулся к Константину. — Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди. Очень хорошие люди... Но... в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы... Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность. Как называют, темные пятна прошлого... Правда ведь? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать... Вот, например, шофер Легостаев... Сенечка вы его зовете... — Соловьев опять сел на стул против Константина, при слове «Сенечка» развеселившись, и снова повторил с оттенком юмора «Сенечка», как бы пробуя это слово на вкус. — Веселый, хороший варень, верно ведь? А ведь что говорят: знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, развозит их по каким-то темным квартирам... Правда разве это? Ну, просто мальчишеская легкомысленность!.. Ну, что вы скажете об этом?

— Не знаю. Не замечал.

— Да, конечно, это не все знают, — согласился Соловьев с готовностью. — Да, да... С молодежью разговаривать по меньшей мере трудно, тем более — воспитывать... Ох, молодежь, молодежь! Еще хочу поговорить с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович. Сиг-

налы тоже бывают ошибочны, неточны... Есть у вас... уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плешей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив... ну, в некоторых серьезных вопросах, — говорят, конечно, с преувеличением... Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал, — Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давась от услышанного мужского анекдота, — его даже... его ядовитого язычка... побаивается ваш директор... Гелашвили. Верно ведь?

— Не знаю. Не замечал, — повторил Константин.

Его обматывала, туго и клейко опутывала паутина слов, тихо и ровно стягивающих, как невидимая сеть; в них не было ни осуждения, ни требовательного допроса — в них был только намек на смешливое, снисходительное любопытство немного знакомого с людскими слабостями человека, который не хочет ничего осложнять, ничего преувеличивать. Но сквозь текучую паутину слов, сквозь эти туманно мерцающие полупросы Константин с напряжением угадывал нечто такое, что не касалось уже его (это он ожидал все время разговора), а было ощущение, что его тихо и вежливо прощупывают, осторожно прощупывают его связи и отношения к Легостаеву и Плешее; и Константин вдруг с отчаянной наглостью наклонился вплотную, прямо глядя в мягкие глаза Соловьева, произнес:

— А можно без езды по проселочным дорогам? Скажите, для чего этот разговор?

— Ну что ж, давайте, — живо и весело согласился Соловьев неожиданно для Константина, и Константин с зябким холодком и напряжением во всем теле увидел, как зашевелились близкие губы Соловьева, потом услышал конец фразы: — ...понял, что вы достаточно умный человек!.. И я очень хотел, чтобы вы, именно вы, бывший разведчик, помогли нам...

— Кому — «нам»? — быстро спросил Константин.

— Мне. — Соловьев кивнул, подтверждая и поправляясь. — Мне. Человеку, обязанному воспитывать людей, Константин Владимирович.

— То есть, — снова перебил Константин серьезно, не отрывая взгляда от лица Соловьева. — То есть... что я должен делать?.. Я не понял.

— Вы понимаете, Константин Владимирович, — произнес Соловьев и не спеша носовым платком вытер пальцы, провел по бровям, по ямочке на подбородке.

— Вы ошибаетесь, — вполголоса сказал Константин. — Должен вам сказать... Я работаю с отличными ребятами и ничего такого не замечал, не видел!

— Константин Владимирович! — укоризненно проговорил Соловьев и развел руками, покачал головой. — Ай-яй-яй, я с вами разве ссорюсь?

— Простите, — сказал Константин и поднялся. — Простите... Мне можно идти? У меня в пять — смена.

— Одну минуточку. — Соловьев тоже встал. — Потерпите одну секундочку.

Он взял Константина за пуговицу кончиками пальцев, покрутил и нажал на нее, как на звонок; доброжелательной мягкости не было на его лице — сказал твердо:

— Да, хорошие ребята. Не сомневаюсь. Но как вы относитесь к тому, что у одного из ваших шоферов есть огнестрельное оружие, которое он пускает в ход с целью угрозы? Как вы назовете это, Константин Владимирович? Потом разрешите еще вопрос. После войны вы работали шофером у некоего Быкова Петра Ивановича?

— Да, работал, а что?

— Вы не ответили на первый вопрос.

Безмолвно Соловьев склонил набок голову, точки зрачков обострились, застыли, прилипнув к зрачкам Константина, этим молчанием и взглядом испытывая его.

— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьев! — глухо проговорил Константин, беря с сейфа шапку. — Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вы сами говорили: сигналы бывают ошибочны. Так разрешите мне идти?

Не отводя зрачков от лица Константина и не меняя позы, Соловьев проговорил отчужденно и размеренно:

— К сожалению, я уже ничем не смогу вам помочь. Если кое-что подтвердится! До свидания, Константин Владимирович. На этой бумажке мой телефон. Возьмите. Может быть, пригодится. Желаю вам счастливой смены. Надеюсь, этот разговор был между нами...

«Михеев!.. — подумал он. — Михеев!..»

В парке не было ни Плещея, ни Акимова, ни Сенечки Легостаева — выехали на линию.

Знакомый звук моторов, не прекращаясь, толкался в стекла, в цементный пол, в стены; эхом хлопали дверцы; усталой развалочкой шли шоферы от прибывавших машин, толпились возле окошечка кассы, считали деньги, со смешком вытаскивая их из всех карманов, держали путевые листы; нехотя переругивались с дежурным механиком, шупающим царапины на крыльях, ударяющим носком ботинка по скатам. Были обычные будни, к которым Константин привык, которые были такими же естественными, как сигареты в кармане.

Но Константин, выйдя из коридора отдела кадров, сразу почувствовал какое-то резкое смещение, какую-то угловатую и тусклую неверность предметов, испытывая странное отъединение от всего этого, точно и звуки, и голоса, и машины, и лица шоферов, и солнце в окнах — все было временным, непрочным, не закрепленным в своей привычной и живой реальности.

«Михеев!.. — подумал он, ища глазами. — Михеев!»

И Константин даже обрадовался: «победа» Михеева ожидала на выезде, и он возле стоял. Была видна спина его, широкий и тугой наклоненный затылок. Михеев тряпочкой аккуратно протирал капот, закраины крыльев, но локти двигались с остановками, сонно, и спина, обтянутая полшубком, казалось, тоже спала.

«Вот он, Михеев! Вот он...»

Константин остановился за его спиной, глядя на его заросший затылок, на крепкую плоскую шею.

— Люблю я тебя, Илюша, и сам не знаю за что! — проговорил Константин и сзади с силой уронил руку на плечо Михееву.

Тот, ссутулясь, испуганно обернулся, длинные волосы щеткой легли на воротник, зеленоватые глаза округлились.

— Ты что? Зачем меня?.. Ты что?

И Константину показалось — Михеев ждал его.

— Ничего страшного. А все же мне кажется, что ты сволочь, верно? — проговорил Константин, не отпуская напрягшееся плечо Михеева. — Очень похоже, Илюша! Я не ошибся?

Михеев вырвал плечо, ошетилившимся медведем отпрянул в сторону, щеки побелели.

— Ты чего пристал? Сильный, что ли? — придушенно выкрикнул он. — Драться будешь? — И суетливым движением раскрыл дверцу ма-

шины, схватил гаечный ключ с сиденья.— Не подходи! Я тебе — смотри! Пристал!..

— А ну — сядь!

Константин с нажимом взялся за покатые плечи Михеева, заставил его тяжело сесть на подножку — дверца уперлась ему в локоть той руки, в которой был ключ, — и пошел к своей машине с невылитой, тошнотворной в эту минуту ненавистью к Михееву, к себе, к своему бессилию.

— Константин Владимирович!

Он оглянулся — от курилки пробирался среди машин Вася Голубь, его сменщик, совсем мальчик с мускулистой фигурой гимнаста; приблизился, сияя весь. Он грыз вафлю, раскрытую пачку протянул Константину.

— Подкрепитесь! Лимонная. Ждал вас, ждал! Запоздали. Я вам даже записку написал, в машине оставил. С драндулетом все в порядке, немного тормоз барахлил — подтянули. Возьмите вафлю, какие-то лимонные стали выпускать! Как у вас перед сменой?

— Прекрасное настроение, — сказал Константин и взял вафлю. — Все хорошо, Вася.

Выехав из парка, он откусил кусок от вафли. Вкус ее был приторно вязок, душист, как тройной одеколон. Он выбросил вафлю в окно, закурил терпкую и горькую сигарету.

*(Окончание следует)*



---

---

ИОН ДРУЦЭ

★

## ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ

*Рассказ*

**Т**онким серебристым узором сеется дым над старой черепичной крышей. Растоплена печь и у соседей слева, и в домике справа топят. Медленно, с опаской, как бы не доверяя безветренной погоде, задымилась крыша всей деревни, и дальше за ней, во всех разбросанных вдоль огромной долины селах поднимаются то черные, то серые столбы дыма и, мягко ввинчиваясь в вечернюю синеву, тают где-то высоко над степью. Пахнет свежим хлебом, поют петухи. Настала осень, а осенняя пора в Молдавии — это время гостей.

И они едут. Вот небольшой, юркий пригородный состав застучал по степи. Длинные властные гудки будоражат все окрест. Взволнованные предчувствиями, выходят сельские женщины к порогам, к калиткам, к перекресткам и, приставив ладошку козырьком, выцветшими от солнца глазами высматривают своих гостей.

Вот засветились меж холмами давно не крашенная крыша вокзала и четыре высоких тополя, обнявшихся над ней. С минуту и крыша и тополя стоят, как бы раздумывая, затем снялись с места, поплыли навстречу поезду, и сердце застучало, заныло, просит, чтобы ненароком не забыть его в вагоне. Сколько бы я ни возвращался, как только покажется наш вокзал, начинаю гадать — остановится поезд, не остановится... Знаю, что он остановится, но все-таки волнуясь, и страх этот живет во мне еще с войны, с тех пор, когда мы возвращались наугад товарняками.

Машинист, видать, затормозил слишком поздно, и состав остановился далеко от вокзала, в поле. Приехавшие спрыгивают прямо на железнодорожную насыпь, летят кубарем, рассыпая свои нехитрые покупки. Пока они их подбирают, с перрона стартуют отъезжающие и, пролетев стометровку, с ходу прыгают на ступеньки вагонов, хватаются за поручни. В ту же секунду поезд трогается, только двигается он не вперед, а катит обратно. Проехав около ста метров, состав снова останавливается, на этот раз прямо у перрона, как это водится на железных дорогах. Но теперь никто не сходит, никто не садится. И посадка и высадка кончились.

Уже лет пятнадцать неизвестно с чего проходящие через нашу станцию поезда останавливаются дважды. Крестьяне из окрестностей упражняются в прыжках, в беге на короткие дистанции, но не жалуются, считая верхом нахальства требовать от поезда, чтобы он остановился там, где им удобнее.

Поезд наконец отправляется. Выпрыгнувшие пассажиры долго и приветливо машут ему вслед, благодарные за то, что их посмешили, после чего, обогнув по узкой тропинке здание вокзала, выходят на небольшой

перекресток, нечто вроде площади. В жидкой грязи лежат разбросанные тут и там камни. Ловко прыгая по ним, приехавшие входят в огромную, удивительно просторную для такого маленького местечка чайную. В большом зале пустуют выстроенные в три ряда столики. В конце зала несколько кабин, тоже пустующих, а приехавший люд празднует свое возвращение, не отходя от буфетной стойки.

Когда-то здесь был райцентр. Теперь его ликвидировали. От былых славных времен осталась одна чайная, но ходят слухи, что и ее со временем закроют. Крестьянам из соседних колхозов представляется, что такого унижения им не пережить, и, откуда бы то ни было возвращаясь, они сразу бегут к чайной узнать, как дела. Слава богу, пока все хорошо.

Опять тот же никогда не высыхающий перекресток; сразу за ним начинается узкая, наспех вымощенная дорога. Высокий детина торгует соленой рыбой, поставив бочку прямо на улице, пять разномастных котлов сидят напружинившись под заборами и обиженными глазами следят за продавцом. Старый репродуктор, висящий на одной петле под стрехой ветхой избушки, передает урок гимнастики. Пятилетний мальчуган; нахлобучив на себя милицейскую фуражку отца и вооружившись его свистком, поднимает ничем не вызванную тревогу, а тем временем отец торопливо копает картошку на огороде.

На окраине, сразу за последними домиками, стоит у обочины выдавший виды грузовик. В кабине дремлет молоденький шофер с лицом, унылым от рождения. Идущие с вокзала крестьяне залезают в кузов, не спрашиваясь, — небось, куда ни поедет, все ближе к дому. Унылый шофер, переборов дремоту и проследив некоторое время за тем, как они садятся, вдруг заводит машину и уезжает, оставив половину людей на дороге в великом недоумении.

Осень уже на исходе, на дорогах сыро, редко где побежит за машиной тучка пыли. А ей, мятежной, хочется пыли, и она гонит, гонит вовсю. Ломанная и отремонтированная бесконечное число раз, эта машина тем не менее сохранила способность по-мальчишески уливаться своей скоростью и все ей на этом свете ничо чем.

Из-за покатога холма выглядывает окраина деревни, вернее, в голубой дымке появляются дрожашие крыши двух крайних домиков. Ведет в деревню исхоженная за долгие годы, по-деревенски верткая тропинка. Пока она взбирается по склону холма, голубая дымка рассеивается, и крыши уже не дрожат. Теперь оба домика уже видны целиком каждый со своим обликом, со своим достатком. Заходящее солнце вспыхивает огромным пожаром то в окнах одного, то в окнах другого, и создается впечатление, что домики, дурачась, играют с огнем.

Много лет тому назад, когда я покидал этот край, меня не провожали. Единственные, кто пошел за мной до самого вокзала, были эти два домика с окраины. Я много думал о них. теперь мы с ними большие друзья, хотя, к стыду своему, я до сих пор не знаю, кто в этих домиках живет. Может, какие-нибудь недруги по школьной скамье, может, какие-нибудь родственники, а может, совершенно незнакомые мне люди, приехавшие в нашу деревню после моего отъезда.

Деревня начинается сразу с гребня холма и, мягко скатываясь, уходит далеко на юг. По-осеннему остывший солнечный диск дрожит на закате, узкими переулками возвращаются с поля усталые колхозники. У одного перекрестка дерутся подростки из-за проколотого, валяющегося рядом футбольного мяча. Две благообразные старушки идут крошечными шажками вдоль деревни, весело переговариваясь. Увидев старую, наполовину разрушенную церквушку, они останавливаются, крестятся и идут дальше молча. Молодая девушка достает воду из колодца, смуглый парень подходит, а девушка, не оборачиваясь, все выбирает ведро, и

крупные слезинки, скатываясь по ее щекам, летят в сумеречную глубину колодца. У нас, оказывается, по-прежнему глубоко, на всю жизнь, влюбляются.

Далеко внизу, в конце узенького переулка, стоит, прислонившись к калитке, старушка. Теперь старая черепичная крыша не дымится. Не топят соседи справа и слева; только высоко над деревней повис серой пеленой вечерний дым. Старушка ждет обещанных гостей и, чтобы не терять времени зря, вяжет кому-то рукавицы. Вместе с ней вышли к калитке встретить гостей старая дворняжка, петух и сонная кошка. Стоят все у ее ног и не то дремлют, не то ждут.

Это наша старая и добрая мать. Мы не знаем, сколько ей лет, да и сама она этого толком не знает, потому что, как она говорит, ее годы — это ее дети. Если спросить, кого она ждет, старушка растеряется. Она уже до того заждалась нас всех, что в памяти у нее все мы перепутались, и она сама не знает, кого ждет. Но если ее спросить, откуда она знает, что мы приедем, она расскажет свои сны, достанет колоду потрепанных карт и даже покажет то место, где стоял петух, когда он пел свою песню.

А день уходит, деревня начинает расплываться в сумерках. По узенькому переулку, на котором стоит наш домик, возвращаются с поля пастухи, следом за ними плетутся овцы. Идут женщины, возвращаются с сахарных плантаций. Изредка проедет то машина, то телега. Старушка уже не вяжет — не видно петель. Стоит и ждет. По ее расчетам, гости должны вот-вот нагряться, и действительно: собака побежала по переулку кому-то навстречу, за ней и кошка. Засветилось улыбкой морщинистое лицо нашей старушки. В глубине переулка замелькала знакомая ей с девичьих лет остроконечная шапка. Правда, приближалась эта шапка не как обычно, а что-то уж очень весело.

Как только наступает осень, наш старик начинает возвращаться по вечерам выпивши. Не такой уж он охотник до вина, но осенью вино дешевое, любителей выпить много, все ищут собутельников, а отец, человек мягкий по натуре, дает себя уговорить кому только не лень. Теперь для матери самое главное — уложить его в постель. В своей бесконечной, наивности она думает, что, кроме нее, никто не видел отца выпившим, и спешит спасти еще раз его репутацию. Но теперь это не так просто. К заборам уже прилипли любопытные соседки, потому что водворение в дом подвыпившего мужика — увлекательнейшее зрелище в молдавских селах.

Взволнованная, слабая, она норовит взять отца под руку, а тот не дается, ломается. То подмигивает соседкам, то уронив шапку, не хочет ее надевать, а то даже пристукивает каблуками, припоминая какой-то танец.

— Погоди, погоди, дай покажу людям танец. Только один я помню его — никто больше не покажет.

Но вот и железная кровать. Отец садится, глядит на плавающий перед ним в густом тумане стол и отрицательно мотает головой. Ужинать он не собирается. Стол на него не обижается, но расставленные на столе блюда начинают передвигаться, всячески заманивая старика. Отец держит себя стойко и на все ухищрения стола отрицательно качает головой. В конечном счете тарелка со сливами, вывалившись из тумана, падает на пол и разбивается вдребезги. Подняв черепок, изучив его внимательно, старик говорит укоризненно:

— А еще с цветочками была!

Вкрадчивый скрип пружин наводит на него сонливость. Рядом на кровати заманчиво белеет огромная подушка, старик разминает ее, она его манит, да ведь нельзя лечь, не разувшись, — баба взвост. А с другой стороны, и ботинки никак не снять: только он наклонится — начинает

крутиться каруселью весь наш старенький домик. Испытав все известные ему способы избавления от собственной обуви, отец сердито кричит:

— Эй вы, черти! Ну, кто быстрее разует? Тому конфета будет.

Это он нас зовет. Как только выпьет, забывает, что мы давно выросли и разлетелись по белу свету. Виною тому, может быть, завернутая в бумажку конфета, которую он таскает в карманах. Мы не идем, и диву дается старик — с чего это его детям расхотелось сладкого? Кто это их так разбаловал?

Некоторое время спустя старые, привыкшие ко всякой работе руки начинают снимать ботинки. Самодовольный отец дразнище медленно ищет по карманам конфету. Потом различает сквозь туман ссутулившуюся у его ног старушку, и ему становится неловко. Вырвав из ее рук ботинки, он решительно склоняется над ними и валится на пол. Потом, очутившись снова на кровати, спрашивает:

— А куда дети подевались?

Мама сообщает ему шепотом, чтобы не вспугнуть счастье:

— Приедут. Запомни мои слова. Вот-вот нагрянут.

Отец долго смотрит то на ее недовязанную варежку, то на свои ботинки и наконец принимает решение:

— Ну, тогда я их подожду.

Поздней ночью, когда засыпают и поля, и деревни, и вся степь кругом, бледный свет керосиновой лампы все еще теплится в нашем окне. Отец по-прежнему сидит на своей кровати, сонная мать стоит рядом, и вид у нее такой убитый, словно это она сама вечером напоила отца и теперь жалеет об этом. Отец, ошупав левое предплечье, жалуется:

— Вот тут, у самых связок, ломит. Неужто я падал!

Мама ошупывает то, что отец называет связками, и вдруг улыбается.

— А что, если послать им телеграммы, что ты при смерти?

Каждой осенью мы получаем из дому вести, полные самых трагических предчувствий. Чуть свет мама будит уснувшую у аппарата телеграфистку. Долго возится со стандартными бланками, потому что сочинять телеграммы — это сущее мучение для нашей старушки. Она каждого из нас любит по-своему, каждому хочется написать что-то особенное, еще не высказанное, а на это у нее не хватает ни умения, ни денег.

Заполнив наконец все бланки и передав их телеграфистке, она остается еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что телеграфистка не забыла их отправить. А отец в это время мечется в жару на железной кровати и просит хотя бы капельку воды. Измученный жаждой, с трудом приподнявшись на один локоть, он стучит прохожим в окошко. Дробно отзванивают стекла, а кругом ни души. Но нет, услышала соседка, чистившая картошку у крыльца. Побежать сразу она не может и кричит что-то другой соседке, а та тоже занята, передает третьей.

Отец таки заболел. Человек он такой честности, что даже пошутить не может, не признает, и, если мама припугнет нас телеграммами, он тут же сляжет, видимо, для того, чтобы не стыдно было в глаза посмотреть нам при встрече. А если уж сляжет, температуры ниже сорока не признает.

Первая ночь болезни — самая трудная. Отец бредит в жару, и чудится ему, что дом у нас полон соседок. У каждой по два ведра свежей воды, каждая просит отведать у нее водичку. Отец выпивает ее целыми ведрами, рассказывая в то же время, что, собственно, произошло у нас в доме.

— Сглупил я на старости лет, вот ведь какое дело! Наживи я добра, дети часто стали бы спрашивать о моем здоровье. Не успел бы я чихнуть, а они тут как тут. Что находишь, не нашил добра, и вот ведь какое дело...

На второй день у наших ворот стоит машина скорой помощи. Молоденький врач считает у старика пульс и в то же время ухаживает за смаз-



ливой фельдшерницей, готовящей уколы. В сенях и комнатах полно соседок. Маме, бегающей по разным делам то на улицу, то снова в дом, становится все труднее и труднее пробиваться сквозь эту толпу соседок.

К вечеру небо заплывает тучами, всю ночь сверкают молнии, но ни грома, ни дождя. Только к полудню начинает моросить мелкий осенний дождь. По единственной ведущей с запада в нашу деревню тропинке поднимается грузная сорокалетняя женщина, чем-то похожая на отца. Несет две большие, тяжелые кошелки. Едва увидев крыши двух окраинных домиков, она опускает кошелки и, заломив руки точь-в-точь, как наша мама, причитает голосом, похожим на мамин. Из всех нас, шестерых, поверила телеграмме одна Маринка. Она кончила всего два класса и слепо верит всему, что написано на бумаге.

Под вечер отец забывается ненадолго тяжелым, тревожным сном, а проснувшись, видит у изголовья Маринку. Собственно, саму Маринку ему не удастся разглядеть, для этого нужно повернуться, а на это у него не хватает сил, и он лежит, разглядывает ее руки. Маринка, истолковав по-своему, этот взгляд, тут же выпораживает кошелки. Ставит рядом с подушкой отца несколько банок с вареньем, сушеные фрукты, соленый арбуз, всевозможные пряники. Не выдержав этого зрелища, отец, набравшись сил, поворачивается на другой бок, лицом к стенке, и подбородок нашей Маринки начинает горько, обиженно дрожать.

Отец ее недолюбливает. Лет двадцать тому назад он выдал ее замуж в соседнюю деревню, и ему не нравится, что она там не прижилась. До сих пор Маринка не может забыть свою родную деревню. Наведывается сюда часто — то за фруктами, то за лаской, то за местными сплетнями, и этого ей отец не может простить. По его понятиям, куда бы судьба ни забросила наш род, он должен там прижиться.

Маринка остается дома на несколько дней. Днем она помогает матери по хозяйству, а по ночам они дежурят у постели больного, сидя вдвоем на маленькой скамеечке. К полуночи у отца, как правило, поднимается температура и он начинает бредить. Чудится ему красивый, солнечный день, народ столпился в нашем дворе, а они с матерью встречают нас у ворот. Мы возвращаемся на машинах, летим на быстрых конях, прилетаем самолетами, а бедные наши старики едва успевают обнимать и целовать нас.

На завалинке сидят лучшие, каких только можно себе представить, музыканты. Отец, бровью заказав мелодию, берет нас за руки, ведет кругом перед всей деревней, показывая танец, который только он один и помнит. Он уже совершенно счастлив, но, нечаянно наступив кому-то на ноги, он просыпается, видит у изголовья двух женщин и просит воды.

Утром, когда Маринка набирает воду у колодца, а мама рубит хворост, наглый петух снова взбирается на порог. Похлопав крыльями, он трижды, как в добрые старые времена, кукарекает. Несколько удивившись, что вместо пшеницы в него стали бросать камнями, палками, он, будучи не робкого десятка, переждав эту атаку, снова хлопает крыльями, предвещая нашему дому огромное число долгожданных гостей.

Впервые за эти четыре дня болезни отец, приподнявшись, садится на кровати. Похудел, осунулся, и, бледный, небритый, он чем-то похож на нарисованных в нашей церкви святых. Долго разглядывает свои бледные, обессиленные руки и, низко опустив голову, шепчет неожиданно сердито и зло:

— Что ж, если так, я сам навещу их. Я спрошу, как же это получается?

После обеда, съев привезенный Маринкой арбуз, отец принимается прикапывать лозу на приусадебном винограднике. Скоро наступит зима, с этим надо спешить, а он — единственный работник в доме. Бессильна

и бестолкова, как никогда, лопата, которой он копает, да только отец — человек терпеливый, он обучает ее заново всему, что нужно в хозяйстве.

К вечеру Маринка спускается по тропинке, возвращаясь в свою деревню. Идет, улыбаясь, что-то бормочет про себя — должно быть, сочиняет ту полную драматизма историю, которую принесет в свою деревню. И скажет она своим соседкам, что еле застала отца в живых. Спасла его маленьким соленым арбузом. Соседки охотно поверят, и, кто знает, может, так оно и было.

Еще через день наша мать хлопочет, счастливая, у печи — готовит нам гостинцы. Дымятся свеженькие, горячие, испеченные по унаследованному от бабушки рецепту пряники, и тут же, не дав им остыть, мать упаковывает их в большую плетеную корзину, перемешивая то с грушами, то с яблоками, то с орехами. Ее старческие глаза блестят от возбуждения, и кажется ей, что все мы тут рядом исходим слюнками, ждем — не дождемся гостинцев. А отец тем временем, сидя на завалинке, гладит себя по макушке. Увы, когда молдаванин сам себя ласкает — значит, у него ни копейки в кармане, и у отца их в самом деле нет. Еще осень, колхоз не рассчитывается за трудодни, подзанять не у кого, и тогда волей-неволей отец решается.

Вечером он в правлении колхоза. Сидит в бухгалтерии, в уголке, так, чтобы никому не мешать, и ждет, когда кассир откроет по своим надобностям кассу. После нескольких неудачных попыток он наконец заметил кучку скомканных рублей на верхней полочке и тут же бежит в кабинет председателя. Достает заранее написанное заявление, но председатель даже не утруждает себя чтением. Едва покосившись, он беспомощно пожимает плечами — откуда, мол, я их возьму, деньги-то. На отца это не производит никакого впечатления. Подождав некоторое время и оставшись с председателем с глаза на глаз, он доверительно сообщает ему:

— Товарищ председатель, я ведь кое-что знаю... Подпишите эту бумажку, чтобы завести мне копейку в кармане, а то вам несдобровать. Я много чего знаю.

Председатель возмущен в высшей степени. Председатель, кажется, готов избить отца, позвать народ, позвонить в милицию, а между тем вваливаются люди с другими делами, и он, простив отца, забывает о нем. Зато отец его не забывает. Отец держит заявление наготове, подсовывая его председателю каждый раз, когда тот берется за ручку, и в конце концов эта охота за подписью увенчивается успехом.

Бог его знает — то ли председатель помнит, что стоящий перед ним колхозник заработал своим горбом деньги, которые просит, то ли он помнит еще нас, своих товарищей по школьной парте, и уступает в память нашей старой дружбы. Но, конечно, может также случиться, что отец действительно кое-что знает.

Наконец старик готов в дорогу. Стоит у калитки в новом дешевском костюме, с большой, тяжелой кошелкой. Мама тут же рядом, дожидается чего-то положенного ей по закону семейной жизни. но отец нерешителен, косит глазом то вправо, то влево. Переулок пуст, и в соседних дворах ни души, а он все никак не решится. При всех отъездах самое трудное для отца — это попрощаться с матерью.

Собравшись наконец с духом, он гладит се руку и, совершенно растерявшись, отправляется в дорогу.

— Смотри не балуй этого чертова петуха.

По деревне отец идет важной, степенной походкой. Каждый встречный хочет узнать, куда это он собрался; отец охотно всем объясняет, и видно, что ему доставляет огромное наслаждение рассказать своим односель-

чанам, куда это он идет. Выходит он из деревни большой, восточной, дорогой. Поднявшись на крутой холмик, садится передохнуть под одиноким, разбитым молнией орехом — с одной стороны он светится зеленью, с другой стоит обугленный вот уже несколько лет. Отсюда как на ладони видна вся наша деревня, только кажется она маленькой, и отец этим забавляется. То соберет в кучку все домики, колодцы, заборы, то заново вернет все на свои места. Куда бы отец ни уезжал, он уходит восточной дорогой и под этим орехом сидит минут пять. То ли он выясняет для себя, откуда он отправляется в путь-дорогу, то ли наказывает своим ногам, куда они должны его вернуть, когда настанет срок. Потом, вздохнув, встает, идет медленным, крепким шагом пешехода и постепенно сливается с серой осенней пахотой.

По голым полям бродит облезлая, бывавшая в переделках бездомная собака. Почуввав вдали человека, она пулей пускается вдогонку. Отец даже не замечает, когда она увязывается за ним — вдруг видит, бежит по его следу дворняжка, покорно, низко опустив голову, точно выросла у нас во дворе, невероятно привязана к старику и теперь сопровождает его в дороге.

Остановившись, отец разглядывает ее долгим, сочувственным взглядом. Собака тоже смотрит на него. Отцу становится жалко собаку — кругом одна пашня, голодно и неудобно. Поставив кошелку, он склоняется над ней, а собака, подкравшись ближе, умильно виляет хвостом. Правая рука старика вдруг сворачивает мимо кошелки, идет правее, ищет на земле твердый комок, и, сообразив, чем дело пахнет, дворняжка отскакивает, несется пулей, а отец, выпрямившись, берет кошелку и идет своей дорогой. Отсутствие достоинства — это то, чего он никогда никому не прощает.

Перемахнув крутой подъем, дорога опускается в огромную долину, эта долина, мягко извиваясь меж холмами, тянется далеко на юг. Кругом выщипанное скотиной до самых корешков пастбище. Старый, наполовину прогнивший мостик, мутная речушка со звучным именем — Кайнары, разбросанные тут и там на ее берегах кустики желтой ракиты. У старого моста отец сходит с дороги, идет вниз по речке, и следы его новых ботинок с удивительной покорностью повторяют мельчайшие изгибы реки. Кайнары — это друг его детства, и старику доставляет большую радость эта встреча.

Долиной идти хорошо, тут полное затишье, но вдруг из-за очередного поворота показывается старый колодец. Отец, удивленно смахнув шапку на затылок, останавливается. На сером, почерневшем от времени журавле колодца сидит неподвижно, словно нарисованная, черная ворона. Старик, презирая этих прожорливых птиц, ищет чего-нибудь, чтобы запустить в ворону. Спешит к колодцу, на ходу подбирая и швыряя в нее все, что только попадает под руку. После удачно брошенного камушка ворона, свалившись с жерди, мягко скользит на коротких ошипанных крыльях и тонет в соседней пахоте.

Отец принимается исследовать колодец. И грустнеет старик, потому что колодец в жалком состоянии. В сумрачной глубине чернеет крошечный пятячок живительной влаги, но этот родник испоганен брошенными кем-то палками. Стояк, на котором качается журавль, прогнил совершенно, остальное поросло мхом, и так горько, так обидно делается старику. Обнаружив похожий на скамеечку, наполовину вросший в землю камень, он садится, хрютя по-стариковски, и вместе с этим возгласом — «о-хо-хо-хо» — будто замирает все вокруг. И солнце повисло, зажатое тучами, и голые кусты раки не шелхнутся, и даже мутные воды Кайнары замерли в русле.

Привал. Отец отдыхает. Когда он отправляется навещать нас, то всегда идет этой долиной, и здесь, у колодца, нагоняет его первая усталость. Теперь, присев, он, может быть, отдыхает, а может, вспоминает, как много лет тому назад ехал он жарким летом на высокой, груженной пшеничными снопами телеге. Пить хотелось ужасно. Там, у скалы, был в ту пору родник и стояла там, склонившись над водой, молоденькая девушка с глиняным кувшином. Отец попросил напиться, и с этого влажного кувшина началась жизнь всех нас шестерых.

Родник у каменной скалы засыпан, теперь и не отличишь, где он там был, а со скалы медленно скатываются чистые капли осенней влаги. По выгоревшей, выеденной скотиной траве медленно текут, переливаясь серебристой чистотой, крошечные ручейки. Добравшись до Кайнары, влившись в его мутные воды, они уходят далеко на юг. А отец по-прежнему стоит у колодца, низко, горько опустив голову.

Привал. Старик отдыхает. А может, вспоминает, как много лет спустя в память об их первой встрече выкопал он этот колодец. Долгую осень мок здесь под дождями, перерыл все кругом, но добрался до родника такой чистоты и свежести, что люди из окрестных сел называли колодец его именем.

Не верится старику, что вырытый им колодец только и годится что для черной вороны. Приподнявшись с камня, он заново начинает его исследовать, и на этот раз кажется ему, что все не так уж плохо. Внутренняя обшивка колодца еще крепка. Бросив камушек, он прикинул глубину воды, и ему даже показалось, что видно там, под водой, как клокочут родники, поднимая крошечные тучки песочной пыли. И все-таки вид у этого колодца жалкий, и он стоит, не зная, чем помочь.

Отец отдыхает. А может, вспоминает, что отсюда, из этой долины, начинались его три гектара, та полоса земли, с которой он подбирал каждый колосок, чтобы выкормить свою семью. Знал бы он тогда, что мы разлетимся по свету и не сможем приехать, когда он на старости лет сляжет, знал бы тогда — еще больше любил бы нас в детстве, и в этом-то суть, и в этом-то горе.

А осенью дни коротки: не успело солнце показаться людям на закате — и вот уже нет его, уже бегут по полям вечерние сумерки, и нужно спешить. На старом журавле опять сидит, как неживая, черная ворона, а отец, выбравшись из этой долины, плетется по свежей пахоте. Идет грустный и беспомощный, низко опустив голову, потом однообразный, скучный рисунок пахоты чем-то заинтересовывает его. Он долго приглядывается к крутым отвалам борозд, останавливается, кладет кошелку, роет руками свежую, влажную землю. и опять весело светятся его карие когда-то глаза. Глубоко вспаханное поле всегда возвращает ему хорошее настроение.

Посреди этого моря сплошной пахоты виднеется раскинувшаяся на ровном месте деревушка. Остановившись у крайней усадьбы, повесив на чей-то забор кошелку, отец начинает приводить себя в порядок. Счищает с рук прилипшие крошки чернозема, расчесывает, пропускает сквозь пальцы свои влажные седые волосы и вообще придает себе вид, соответствующий высокому положению гостя.

Сама деревушка на редкость ладная и уютная. Хоть и не очень богата, все в ней сделано удивительно ловко, крепко, на долгие годы. Отец идет медленным шагом, постоянно оглядываясь, — ему очень нравится эта деревушка, и, не будь нашей старой деревни, он, пожалуй, перебрался бы сюда.

Здесь, в Фрумушике, живет старший из нас, Андрей. Когда заходит о нем речь, отец начинает забывать, что и Андрей рос когда-то в его доме. То, что было, было давно. Теперь Андреи поседел, у него у самого

женнхи и невесты в доме, ему самому уже под пятьдесят. И все-таки, собравшись навестить нас, отец начинает круг с Фрумушки, чтобы по-толковать с умным, хорошим человеком, которого он любит, сам уже не помня с какой стати.

Девушка-подросток, пересекая двор в непомерно больших галошах, видит плывущую над гребнем забора остроконечную шапку отца и вбегает в дом.

— Мамо! Наш мулдуван иде!

Фрумушка — деревня сплошь украинская, и наш отец, человек на редкость уступчивый, до сих пор не может примириться с тем, что ни сноха, ни внуки не говорят на его языке. Что до отца, то он принадлежит к той категории молдаван, которые не в состоянии усвоить никакого языка, кроме своего родного.

На порог того домика, куда забежала девушка, выходит низенькая женщина с запорошенным мукой передником, с голыми до локтей, облепленными тестом руками. Узнав отца, она широко улыбается, кричит что-то соседке слева, оповещает соседку справа и наконец, высоко, театрально подняв руки, идет к калитке:

— Мамонько моя ридная...

Отец чинно ступает по вымощенной камнем тропинке, показывая свое уважение к этому двору. Входит он в дом не через обычную, а через парадную дверь. Открывает им парень лет шестнадцати, аккуратно, чистенько одетый. Поцеловав протянутую отцом руку и тут же уловив немое распоряжение матери, он утвердительно кивает и выбегает за калитку с новым велосипедом. Осень уже на исходе, время катаний на велосипедах давно миновало, но этому парню, видать, недавно его купили, и вот он мучается. Шагов десять проедет, затем идет, толкая машину впереди себя, потом, глядишь, снова сядет.

Недалеко за деревней белеет длинное здание механических мастерских. Из густого сумрака гаража, из-под большого, наполовину разобранный трактор вылезает крепкого сложения человек и идет, на ходу разглядывая вентиляторный ремень. Внимательно, несколько строго выслушав парня, он, словно недовольный тем, что его оторвали от работы, вскинул брови, а поняв, в чем дело, подошел к парню и, обнаружив пятнышко на его чистом костюме, соскреб. Расчесал красивый пшеничный чуб сына, словно перед тем, как самому встретиться с отцом, он сначала должен явиться перед стариком в аккуратном облике своего сына. Наконец, обнаружив в руке вентиляторный ремень, он согласно кивает и снова лезет под разобранный трактор. Работает медленно, ловко, с наслаждением, точно ему и спешить некуда. Временами, правда, легкая улыбка засветится в уголках губ, но тут же гаснет. Только пристроив ремень на место, он широко улыбается и кричит кому-то лежащему под соседним трактором:

— Слышь, Петро! Старик мой приехал.

Потом, выбравшись из-под машины, вымыв руки в ведре с бензином и аккуратно вытерев их ветошью, Андрей идет медленно к деревне, словно, пока он мыл руки, запомнил, что у него гости.

А отец между тем сложил на столе кучками (по количеству внуков) гостинцы и стоит растерянный, потому что внуки застыли у порога как одеревеневшие. Не то стесняются, не то ломаются. Входит жена Андрея с двумя большими подносами. Крупные, как с выставки, фрукты, сдоба разной выпечки, со всякими художествами. Гостинцы старика вмиг поблекли. Жена Андрея готова была снова побежать по делам, но ее остановила подозрительная тишина в доме. Некоторое время, глядя то на сложенные кучками гостинцы отца, то на столпившихся у порога детей,

она прикидывала, что произошло. Потом высоко, трагически подняла руки:

-- Мамонько моя ридная!!

Одним подзатыльником переместила свое семейство ближе к отцу, другим заставила взять гостинцы, поблагодарить, отведать и быстро в окружении всего потомства исчезла. Оставшись один, не видевший всех подзатыльников, отец несколько удивился торопливости своих внуков, но сказал, самодовольно поглаживая себя по макушке:

— Ничего, все хорошо.

Андрей наконец подходит к своему дому. Идет размеренной, установившейся на все случаи жизни походкой. У закрытого сельмага он останавливается, чтобы расшифровать смысл вдетого в кольца, но еще не зашелкнутого замка. Означает это, что время продавца вышло, но что ему еще следует добрать до плана, и, если у кого есть деньги — он не гордый, может вернуться к прилавку. Андрей ждет минуты три, потом из соседнего домика выходит грузная женщина с накинутой на плечи фуфайкой. Фуфайка новая, с ярлыками, ее еще надлежит продать.

Через пять минут Андрей уже хлопочет, как насадка, вокруг своих покупок. Две бутылки водки, три бутылки вина, колбасный круг и белая шелковая рубашка. Как все это донести — один господь знает. Продащица приходит помочь. Рассовывает товары по карманам, а карманы Андреевых брюк — это одно из величайших чудес. Все товары утонули да еще остался место, чтобы, если у человека озябнут руки, можно было их согреть.

Жена Андрея так разошлась по хозяйству, что за нею прямо не уследишь. Подметает, стирает, готовит стол, кормит трех поросят, моет руки, достает из погреба моченые яблоки, и, занимаясь всеми этими делами с поразительной ловкостью, она находит время, чтобы каждые две-три минуты навестить сидящего в комнате отца и рассказать ему очередную историю из своего неистощимого запаса фрумушкинских новостей. Начинает она их каждый раз с одних и тех же слов:

— Мамонько моя ридная!

Говорит она с той же быстротой, с какой вообще делает все на свете, и отец, решительно ничего не понимая по-украински, улыбается, согласно кивает головой:

— Ничего, все хорошо.

Идя домой, Андрей старается обходить всех подозрительных односельчан, попадающихся на его пути, но вот высокому сухошавому детине не понравилось, что его обходят. Окликнул Андрея, подошел. Стали о чем-то тихо говорить, потом долговязый уловил вкусный запах колбасы. Согнувшись в поясе, ощупал карманы Андрея и высоко, недоуменно вскинул брови. Андрей, скупо улыбувшись, сообщил, в чем дело, и пошел своей дорогой, а долговязый тут же побежал к сельмагу, точно не у Андрея, а у него гости.

Жена Андрея тем временем подтянула резерв. Две ее соседки, стоя на пороге, чинно качают туловищами взад-вперед, точно поют народные песни, и что-то рассказывают старику. Временами забегают жена Андрея, чтобы подкинуть еще что-нибудь в разговор, а отец, глядя в окошко (чего это Андрей так долго не возвращается!) и улыбаясь, подкивает соседкам:

— Ничего, все хорошо...

Теперь Андрей добирается домой задами усадеб, но вдруг из-за высокого стога сена вынырнул толстяк и, застегивая на ходу ширинку, остановил его. Поговорили о том о сем, после чего Андрей с очень занятым видом пошел своей дорогой, а толстяк остался на месте — что-то ему

показалось подозрительным. Присмотревшись чуть топорщившиеся карманы Андреевых брюк, подбежал и тоже пощупал их.

Теперь двери сельмага широко открыты. Продавщица скинула с себя не проданную еще фуфайку, торговля идет бойко; из сельмага выходят односельчане Андрея, счастливые и довольные всем на свете.

Почти всю ночь отец сидит за столом на почетном месте в подаренной Андреем белой рубашке, а кругом идет гулянка. Около восьми пар гостей, по-братски обнявшись, сидят за столом, поют «Распрягайте, хлопцы, коней», поют так, что мелкой дрожью отзванивают стекла в окнах. Отцу, должно быть, тоже мерещится девушка, которая выйдет рано утром по воду, он тоже поет вместе со всеми, хотя видно, что он не знает ни слов, ни мелодии. В редкие минуты тишины, застенчиво улыбаясь, он поддакивает установившемуся кругом праздничному настроению:

— Ничего, все хорошо...

Под утро гости расходятся по деревне, веселясь и балагуря всюду, жена Андрея забежала к спящим в маленькой комнате ребятишкам и, склонившись над их кроватками, вздремнула, а в комнате, где недавно еще шла гулянка, остались только двое — отец с сыном. Им так много нужно сказать друг другу и так мало у них на это времени осталось, что они сначала просто сидят молча. Потом Андрей низким, прустуженным голосом запекает молдавскую песню, и отец вздрагивает от неожиданности. Когда-то давно это была его любимая песня, но с годами она ушла, и отцу просто не верится, что одному из сыновей удалось ее сберечь.

Рано утром жена Андрея стоит у калитки бледная и грустная. Она устала. Очень устала. А кроме того, она искренне любит нашего отца. Беспомощно повисли две огромные, почти до колен руки, и она механически-печально повгоряет про себя:

— Мамонько моя ридная...

А отец уже вышел из деревни. Идет медленно, с достоинством, очень довольный таким приемом. Рядом идет задумчиво самый старший среди нас, и думает он тяжелую свою думу о моторах внутреннего сгорания. Далеко за деревней, там, где начинается новое шоссе, они прощаются. Отец растроганно целует Андрея в лоб, Андрей же, белло пожав ему руку, скупно улыбнувшись, поворачивается, идет напрямик по пахоте к еле виднеющимся вдали колхозным мастерским. Отец стоит на обочине нового шоссе и, не мигая, провожает сына. Удаляясь, Андрей становится все меньше, его плотная фигура растворяется в серой мгле осеннего утра, почти исчезает, но ни разу сын не обернулся, чтобы посмотреть — ушел отец или стоит еще там. И думает старик про себя, что нелегко хлеб тракториста, что эти промасленные гайки если уже завладеют тобой, то на долго.

...А время идет, осенние дни коротки. Отец поплелся дальше, но идти по новому шоссе оказалось трудно. Местами дорога мощена, местами перерыта машинами, с мелкими кучками гравия по обочинам — не успели вымостить. Потом с какой-то высоты новая дорога медленно, величественно начала спускаться и спускалась многие километры. Посмотреть — дорога вроде ровная, а пешеход чувствует спуск, и отец радуется. Долго спускается эта дорога, и то польза.

На половине спуска отца обогнала груженная мешками телега. Ездовой кивком предложил подвезти, но отец, мельком взглянув на усталых, взмысленных лошадок, поблагодарил за приглашение, однако не сел. Потом стали спускаться телеги одна за другой, но все они дальние, груженные хлебом. Ездовые приглашают его без конца, а упрямый старик, жалея скотину, благодарит, благодарит всех и продолжает идти пешком.

Километра через два, там, где кончается спуск, кончается и это новое

шоссе, передавая своих ходоков широкой асфальтированной дороге. Асфальт — это слишком дорогое лакомство для бесхитростных телег: по асфальту теперь летят груженные хлебом машины, и телеги, ожидая своей очереди, выстраиваются длинной кривой цепочкой. Отец не может так сразу изменить телегам, выбрав себе более знатных попутчиков. Ему, чудаку, хочется заступиться за них, и, став на самый краешек асфальтированной дороги, подняв руку, он голосует в надежде, что хоть одна машина затормозит и, пока он переговорит с шофером, телеги переползут на асфальт и займут дорогу. Придуманно это хорошо, да ведь в кабинах тоже не дураки сидят.

Пока отец, рискуя собой, стоит на самой кромке асфальта и борется за права деревенских телег, ездových, обнаружив старое русло дороги неподалеку от асфальтированного шоссе, свернули, полпелесь по ней на север, и отец, выругав про себя бестолковых ездových, пустился и сам в путь-дорогу. Идет, низко опустив голову, задумавшись о чем-то, и так он вышагивает много километров, ни разу не оглянувшись.

Из-за высокого холма неожиданно выросла свежая, еще не прокуренная труба сахарного завода. Отец, передвинув шапку на затылок, облегченно вздохнул — кажется, добрался. Чуть в стороне от дороги по осеннему шуршал ржавяющей листвой жиденький перелесок. Старик долго что-то соображал, потом, решившись, пошел напрямик по пахоте к перелеску, ощупывая на ходу поясной ремешок и воровато оглядываясь.

Дело в том, что у Николая — брата, живущего здесь в райцентре, — есть уборная в доме. Отец, стесняясь ею пользоваться, перед тем, как навестить сына, всегда заглядывает в этот перелесок.

У входа в райцентр, сразу за переездом, десяток рабочих в лихорадочной спешке меняют рельс в железнодорожном полотне. Отец подходит к ним, чтобы погадать вслух: успеют рабочие до прихода поезда — не успеют. Кажется ему, что не успеют. Бросившись к ним на помощь, он в то же время предлагает им несколько весьма дельных, по его мнению, советов. Рабочие охотно передают ему конец тяжелого нового рельса, но советы пропускают мимо ушей, и, оскорбленный, отец уходит. Идет вдоль железнодорожной насыпи по жиденькой, бледной травке; после этих твердых, мощных, заваленных грязью дорог ему удивительно легко идти по травке.

Недалеко за вокзалом, вокруг зернохранилищ и у открытых буртов, — большое оживление. Нескончаемые вереницы машин и телег, груженных хлебом, стоят в очереди у весов, а сыпать уже некуда, потому что все вокруг засыпано хлебом. Горы кукурузных початков, крытые брезентом холмы пшеницы... На каждом пятачке земли, на котором можно было сыпать, сыпали так, что и ступить уже негде. Машины и телеги терпеливо ждут, а с востока и с запада спешат стать в очередь другие машины и телеги.

Отец замер. Он потрясен. Где-то в этом море зерна есть с десятка мешков хлеба, выращенного руками старика, но их теперь никому не найти, не отличить, как не отличить в Черном море дунайские воды от вод Днестра. Это кажется ему удивительным, и глядит он на это зрелище и не наглядится.

У одной весовой будки возникает скандал. Огромная толпа, сбившись плотной кучей, горланит вовсю. Из другой толпы, стоящей рядом молча, то и дело выступает какой-нибудь смельчак, который хочет примирить враждующих. Едва пробившись в плотный круг, едва начав что-то бормотать, он как бы растворяется в этом сборище, и снова каждый орет о своем.



Отцу тоже не дают покоя лавры примирителя. Храбро лезет он, что-то выкрикивая, а через минуту вылетает с одной-единственной пуговкой на пиджаке. Когда здесь заспорят о хлебе, лучше не соваться.

Тем временем маленький паровозик подогнался к открытым буртам цепочку пустых вагонов. Едва вагоны остановились, и в ту же самую минуту пшеница, взлетев вверх, тонкими струйками полилась в них. Удивленный таким способом погрузки, старик спешит посмотреть, как это делается. По дороге он спотыкается, наступив на свалившиеся с какой-то машины початки. Подняв их, тут же чувствует непреодолимое желание спрятать их в кошелку, но, заметив в толпе милицейскую фуражку, поспешно бросает початки в вагон.

Вагоны не загрузили еще и наполовину, когда рядом раздался оглушительный железный скрежет. На дороге за зерноскладами лежит опрокинутый грузовик, рассыпались три тонны подсолнечника, и тут же рядом дымится автомашина с приплюснутым мотором. Шоферы, грузчики и просто зеваки толпой бегут посмотреть, как милиционер будет составлять акт. Бежит туда и старик.

Это великое зрелище убранного зерна будит в отце голодного волка, и хочется этому волку, до смерти хочется черного, казенной выпечки, купленного в магазине хлеба.

Отец, опасно переступая через вокзальную сеть путей, выходит на главную улицу райцентра, занимает очередь в магазине за хлебом. Потом он ходит с большой румяной буханкой хлеба, ищет, где бы ему присесть так, чтобы поесть вволю, а присесть негде. Чайная тут маленькая, народу полно, в вокзальном буфете тоже негде присесть. Далеко за зерноскладами беспорядочно лежит наскоро выгруженный лес, и десяток мужиков, устроившись на бревнах, отреченно едят купленный в магазине хлеб. Присаживается к ним и отец. Кругом воют и стонут буксующие грузовики, лязгают буферами составы, гудят паровозы, но отец уже ничего этого не слышит. Он ест.

Наевшись досыта и вымыв руки у вокзальной колонки, отец берет кошелку и спешит дальше. Городок сахарного завода — удивительно приятное зрелище, но невероятно похожие друг на друга домики начинают сбивать старика с толку. И по левой, и по правой стороне улицы — такие же шифером крытые крыши, совершенно одинаковые дымоходы из красного кирпича, одинаковый рисунок окон и дверей, одной и той же краской выкрашены заборы и калитки. Отец идет все медленнее, медленнее и наконец останавливается, совершенно растерянный.

Номер квартиры Николая — сорок семь, отец это хорошо помнит, но как выглядят эти две цифры — забыл. Грамоте он учился на старости, и если волнуется — забывает решительно все, чему учился.

Приметив наконец приделанные у входа знакомые звонки, отец радуется. Звонки разные: одни прибиты высоко, другие — низко, одни круглы по форме, другие — продолговаты. Выбрав из всех один, чуть треснутый, прибитый высоко, словно хозяева ожидают в гости одних верховых, отец звонит.

Николай, самый веселый и озорной среди нас, сидит в ванной и парит ноги в теплой воде. Услышав звонок, он тут же поднял руку вверх, приветливо замахал ею, как бы говоря: «Здравствуй, родной мой, здравствуй», но сам и не думает выходить открывать. Простояв некоторое время на крыльце, усомнившись, отец снова бродит по поселку. И обидно и чудно ему, до чего похоже все кругом. Попробуй тут выпивши попасть к себе домой. В каждом дворике — по восемь молодых яблонь, по четыре совершенно белых курицы, по одной паре старой обуви у входа. Хотя на том крыльце, куда он уже заходил, стояла пара невероятных размеров галош; отец возвращается к треснутому звонку. Николай, сидя

в ванной, поднимает обе руки вверх, трясет кистями в знак того, что он от всей души приветствует гостя, но открывать не идет. Рассердившись, отец кричит тем властным, свирепым голосом, каким он кричал на нас лет тридцать тому назад, когда мы бегали без штанишек:

— Мэй, Коля, мэй!

Бедный Николай! Ему, видать, больше всех доставалось, потому что и через тридцать лет этот голос совершает с ним чудеса педагогики. В мгновение ока он выскакивает на улицу, обнимает отца и только после этого, отпустив, хмурится: а с какой это стати, скажите на милость, орут на него, как на маленького? И отцу нелегко: нехорошо, конечно, так кричать на взрослых сыновей, тем более когда приходишь к ним в гости.

— И как это ты, отец, надумал навестить меня?

Николай всегда удивляется, когда приходят к нему в гости. Он никогда никого не ждет.

— Да сидели мы как-то со старухой и — давай, говорю...

— Что ж, раз приехал — давай заходи...

Злые языки утверждают, что Николай — самый состоятельный в нашей семье. Сладкое все любят, и кладовщик на сахарном заводе — должность хорошая. Правда, гостить у него — одна морока. Как только заявится гость, в доме начинаются ссоры. Насколько Николай любит приbedняться, настолько его жене нравится, чтобы о них ходила молва как о богатых.

Поздоровавшись с отцом, жена Николая тут же забегала, начала прибираться по комнате. С ходу прикрывает платком пару швейных машин, поправит занавеску на окне, укрыв в то же время полотенцем новый приемник, но делает она все это с подчеркнутой ленцой, так, чтобы отец все-таки приметил и запомнил, что она там прятала. Николай, раздосадованный глупым бахвальством своей жены, говорит ей мученическим голосом:

— Аника!

— Что?

Чисто ангельское недоумение, и Николай предлагает отцу:

— Пошли на кухню. Там теплее.

Усадив отца, он тут же открывает маленькую кладовку, перетаскивает в кухню всякое старье: изношенную обувь, разбитый бочонок, какое-то тряпье на меху. Отец долго и придирчиво рассматривает это старье — в своем хозяйстве он бы не стал возиться с ним, но Николай садится рядом, принимается как бы в шутку за починку, и его ловкие, умные, белые руки заражают деятельностью угловатые, смуглые, старческие руки отца. Николай — самый трудолюбивый среди нас. Он не представляет себе человека сидящим просто так, в должности гостя, и, чтобы не избаловалась родня, если кто заходит к нему, заставляет работать...

Некоторое время они молча работают. Слышно только, как дышат: Николай хватает воздух чуть вздрагивающими ноздрями сочно, шумно, а отец просто раз в две-три минуты шумно вдыхает. Они долго работали вместе, отец с сыном, у них есть что вспомнить. Отдавшись воспоминаниям, то один, то другой улыбаются. Потом Николай говорит:

— А помнишь, отец, как однажды мы с тобой...

Им есть что вспомнить. Когда Николай вырос, сам отец тоже был еще в силе. Они делятся воспоминаниями, но прожитые годы были трудными, горькими, и как-то незаметно разговор становится сухим, колким. Отец в гостях, ему неудобно нападать, он все чаще помалкивает, и это выводит Николая из себя. Он становится желчным, бросает починку и затевает одну из давно забытых в нашей семье ссор. Николай считает себя самым обиженным среди нас. Теперь он в который раз поясняет отцу, почему он на него в обиде. Его, оказывается, чаще всех пороли,

одежку ему шили из самого дешевого материала, учебников ему не покупали, заставляли ходить к другим учить уроки, а при женитьбе дали самую плохую землю. Есть в этом много правды, много неправды, но отец, чтобы не обострять спор, отвечает односложно:

— Такое было, сынок, время...

Поздно вечером они садятся ужинать там же, на кухне. Едят жареную рыбу, мамалыгу и брынзу со шкварками. Николай хвастает:

— Национальная еда.

Потом, угостив отца рюмочкой промышленного спирта, от которого у старика перехватывает дыхание, спрашивает:

— Как там наш Андрей? Забыл, верно, свой родной язык?

С трудом отдышавшись, отец тут же бросается защищать Андрея:

— Отчего же? Они все понимают по-молдавски.

— Ни хрена они не понимают.

После ужина Николай стелет отцу там же, на кухне. Кончив с этим скучным делом, он садится на корточки и, пока отец раздевается, следит наметанным глазом: что бы взять с него за свои старые обиды? Заметил у старика болтающийся на поясе красивый перочинный ножик и потянул его к себе. Ножик ему понравился. Упрятав его в свой карман, он принес отцу взамен какое-то старье, и, несколько сдобрив себя этим обменом, он уходит, пожелав отцу приятных снов.

Всю ночь отец переживает полузабытые, разбуженные Николаем драмы. И кажется ему, что всю свою жизнь он прожил не так, и становится ему душно тут на кухне, и уснуть он не может всю ночь. А на второй день чуть свет, не примирившись после вчерашней ссоры, они стоят на окраине райцентра. Маленькая автобусная станция совершенно пуста. По асфальтированной дороге только-только начинается движение — то проедет машина, то проползет причудливый комбайн новой конструкции, то мотоцикл застрекочет. У Николая, с тех пор как он стал кладовщиком на заводе, неисчислимо количество знакомой техники. Гордо, с достоинством став на обочину дороги, он устраивает как бы смотр, и действительно, все проезжающие тормозят возле него, чтобы обменяться с ним шутками. Об отце он совершенно забыл — только когда увидел удаляющийся автобус, сообразил, что отец уезжает, и на всякий случай помахал кепкой. Небось не обидится. Свой человек.

По-осеннему скупое, еле-еле дымятся поля, пригретые первыми лучами восходящего солнца. Широкое асфальтированное шоссе, мягко извиваясь, уходит далеко на юг, и автобус, наслаждаясь этой утренней прохладой, летит на недозволенных скоростях. Пассажиров всего одна единица, ответственность не бог весть какая.

Отец, должно быть, часто путешествовал в битком набитых автобусах, так что теперь, оказавшись в совершенно пустом салоне, стоит растерянный, ума не приложит, как бы ему подзанять про запас пару скамеек. На одной, передней, он устраивает кошелку, на другую кладет шапку, а сам устраивается на заднем сиденье, занимая таким образом четыре места сразу. Сквозь боковое стекло сочатся теплые лучи, и старик, греясь на солнышке, блаженно шурится. Иногда поздней осенью выдастся по-летнему теплый денек, и велика тогда радость братьев-молдаван.

Изредка автобус тормозит на остановках, широко открывает двери, в которые никто не входит, а старик, греясь на солнце, предупредительно качает головой — он еще не сходит, ему еще ехать. Потом из-за поворота показывается небольшая деревушка, рассыпанная вдоль шоссе. У остановки стоят, дожидаясь автобуса, с полсотни колхозников, груженых связками домашней птицы, корзинками с фруктами, овощами. Стоят, аккуратно выстроившись в очередь, мирно шелкают семечками,

но шофер подъезжающего автобуса, злодей, каких мало, останавливает машину метров за сто до остановки. Лихо подзакрутив усики, он выскакивает из машины так, чтобы толпа его не заметила, и тут же исчезает в переулочке.

Стоявшие в очереди колхозники удивляются: чего это шофер остановил там автобус? Неужто, пока они тут стояли, начальство перенесло остановку? Плюнув на очередь, они бросаются каждый со своей ношей к автобусу. Увидев издали старика в машине, они приветливо машут ему шляпами, и, несколько озадаченный этим нашествием, отец робко им отвечает. Толпа с ходу вклинивается в заднюю дверь, но дверь заперта. Перебегают к передней, а толку мало. Шофера в кабине нет, и пятьдесят обманутых колхозников, сотня натруженных, остервенелых кулаков, барабанят по кузову машины, требуя, чтобы им открыли. Отец, приняв весь этот гнев на свой счет, беспомощно пожимает плечами: бог его знает, как они тут открываются! Но, оказывается, колхозники все знают, они показывают ему, как это делается, всячески поощряя старика, и в конечном счете отец решается. У задней двери он пытается пропустить пальцы через затянутую резиной щель, потом переходит к передней двери и долго колдует над ней, а толку мало.

Пятьдесят сердитых колхозников начинают возмущаться его беспомощностью. Один корчат ему рожи, другие грозят кулаками, и, совершенно растерявшись, отец собирает свои вещи, скромно усаживается, занимая, пока не поздно, свое законное место. Это окончательно выводит из себя столпившихся у автобуса колхозников: они поднимают такой шум и гам, что, кажется, разнесут и машину и старика. Отец в ужасе. Хотя он считает себя истинным молдаванином, но его прошибает холодный пот, когда он видит много молдаван, собравшихся вместе.

Переулками возвращается шофер, обгладывая на ходу остатки куриной ножки. И вот колхозники, перелезая друг через друга, вваливаются в автобус, и машина трогается. По обоим сторонам шоссе растут высокие липы — они стоят, обнявшись, над дорогой, бьют оголенными ветками по крыше автобуса, по окнам, а водитель гонит вовсю, наверстывая упущенное время. Автобус переполнен, и отец, конечно же, среди тех, кому не хватило места. Пятьдесят колхозников поносят его последними словами, а старик все оглядывается в поисках защиты. Смотрит с некоторой надеждой на спину водителя, потом, уловив в висящем над шофером зеркальце его лицо, ругается про себя, потому что шофер, хмурясь, грозит ему пальцем, как бы говоря: разве можно, дедушка, так обходиться с народом?

Через несколько километров показывается другая деревушка, тоже рассыпанная вдоль шоссе. На самом краю деревни — обнесенный высоким забором, только что начавший собираться базар. У остановки вывалились из машины все пятьдесят бунтарей, каждый со своим товаром, и вот автобус снова в пути с одним-единственным пассажиром. Отец уже не садится. Стоя, он размышляет об одной из сложнейших проблем современности: что такое личность и что такое толпа.

Обогнув высокий курган, шоссе спускается к густому лесу, но у первых же дубов, чего-то испугавшись, сворачивает снова в поле. У поворота, там, где густая тень дубов добирается к асфальту, выглядывает из лесу старенький, запущенный крестьянский домик. Напротив, через шоссе, заросший камышом пруд и нескончаемые стаи домашней птицы двигаются в двух направлениях: одни из дому идут к пруду, другие, покупавшись, возвращаются. И те и другие, перейдя дорогу, находят нужным поклевать асфальт. Автобус еле двигается, водитель сигналил то протяжными, то короткими гудками, а птицам наплевать — хоть ты длинными, хоть короткими сигналь.

Это зрелище путешествующих птиц приводит старика в полную растерянность. Наконец, собравшись с духом, он стучит в кабину водителя. Тот, раздосадованный утками, гусями и индюками, свирепо оглядывается: чего еще этому старику? А ему пришло время сойти, но, выпрыгнув, отец сначала подобрал хворостину, отогнал птицу, освободив дорогу для машины. Потом, проведив автобус, печально, как после большого проигрыша, вздыхает.

Здесь в лесничестве живет Антон — самый честный и самый странный среди нас. Уже лет пятнадцать отец не переступал порога его дома, и столько же времени сам Антон не показывался в родительском доме. И чудно и горько старику, что, не поссорившись, не обидевшись друг на друга, они с каждым годом уходят все дальше в разные стороны — отец и его сын.

Покашливая для храбрости, отец направляется к лесной сторожке, внимательно глядя себе под ноги, потому что кругом насколько видит глаз — сплошной куриный помет. Из-под старого дуба показалось несколько хрюшек. Чавкая желудями, они внимательно следят за отцом маленькими, заплывшими жиром глазками. Отец ценит хорошо откормленных свиней, сало — это надежный товарищ черному хлебу, и, заманив к себе хавронью, кладет ей руку на спину, с тем чтобы прикинуть приблизительную толщину сала. Это тоже важно знать, но в ту самую секунду, когда его рука касается хрюшки, из-за сторожки выскакивают две собаки и молча свирепо бросаются на него. Отец отбивается ногами, полной гостинцев кошелкой, а собаки отчаянны, так и норовят искушать. Из дома выходит благообразная горбатая старушка с маленькой скамеечкой под мышкой. Слеповато шурясь, она ставит скамейку рядом с крыльцом, садится, как в театре, и лениво следит за этим забавным зрелищем — две бешеные собаки, бросившиеся на беспомощного старика.

Видя такое дело, отец начинает отступать в глубь леса, все оглядываясь, нет ли какой палки. Наступив на длинную крепкую жердь, он тут же бросается в наступление. Собаки скулят, прося защиты, и только тогда сидевшая у крыльца старушка отзывается:

— Пшли вон!

Виновато, послушно поскуливая, собаки исчезли за стареньким домиком, а отец смотрит долгим взглядом на старушку, словно хочет сказать: сволочь ты последняя после этого! Идти, однако, нужно к ней. Он идет, но, остановившись в десяти шагах, искренне удивляется тому, что узнает ее. То, что он ее помнит, это ему кажется в порядке вещей — странно то, что узнает. В молодости он служил у нее пастухом. Была она в ту пору много моложе, владела шестьюдесятью гектарами, двумя корчмами и паровиком.

— Добрый день вашему дому!

Старуха смотрит на него безразличным взглядом, зевает и ничего не говорит в ответ. Отец припоминает, что и в то время, бывало, она не очень охотно отвечала на приветствия. Была она, что верно, много моложе, щеголяла плотными бедрами, и люди не обижались. Когда, однако, это было!

«Что за черт, я как будто сказал «добрый день?»»

Сидя на скамеечке, старуха начинает массировать свои старые, дряблые ноги, вкусно причмокивая при этом.

— Вот и ножки уж не несут. Если присесть прямо на земляшку — ни за что не встану сама. Со скамейки легко поднимаюсь, вот и приходится таскать ее с собой. По какому делу-то пришел?

Они незнакомы. Отцу никогда еще не удавалось застать Антона дома, и некому было сказать этой старушке, что стоящий перед ней

человек — родной отец лесника. Сам отец всячески скрывает свое родство с ней, презирая ее еще с тех пор, когда служил у нее пастухом. Была она тогда, это верно, моложе и красивее.

— Лесника нету дома?

— Строиться, что ли, надумал? За лесом пришел?

— Хорошо бы пару кубометров.

— Деньги при тебе? Или, может, тоже в долг?

Похлопывая себя по карманам, отец изрекает самодовольно:

— Вот они у меня где.

Старуха долго шурится, словно хочет сквозь ткань разглядеть, не врет ли он. Потом, неопределенно махнув куда-то рукой, советует:

— Иди вот так, в ту сторону. Если не найдешь, сам он наскочит на тебя.

Видя, что отец уходит вместе со своей жердью, добавляет:

— Брось палку. Собаки пугаются и трусят потом.

После этого она зевает, показывая, что у нее не осталось решительно ни одного зуба, а отец улыбается: как же, нашла дурака! Уходит, волоча за собой спасительную жердь. Потом вспоминает, что так и не ошупал у хрюшек сало. Возмутился: с каких это пор, скажите пожалуйста, отец не может осмотреть хозяйство своего сына? Направился снова к чавкающим под дубом хрюшкам, но в ту же секунду выскочили обе собаки и бросились на него. Обороняясь, отец отступает в лес, собаки неотступно следуют за ним, и хриплый лай стихает, углубляясь в лес.

Старушка поднимается с маленькой скамеечки, думает вслух: что же ей нужно было еще делать? Ах, да! Вынесла из дому полведра пшеничного отсева, высыпала перед домом и, странно прищелкивая, стала созывать кур. Набежало огромное, неисчислимое множество птиц, и, усевшись на скамеечке меж ними, старушка принялась на ощупь искать, какой из них завтра суждено снести яичко, какая проживет вхлостую. Она их, конечно, путает — тех, которых уже проверила, с теми, которых еще нужно проверять. Она их путает, да их невозможно не спутать, но старушка все же работает быстро, со сноровкой, по какому-то заранее намеченному плану. И только очень внимательный глаз может уловить, что она начала выживать из ума.

Постарела, а все еще хочется ей нажить побольше добра. Уж нет сил даже для того, чтобы с земли подняться, а все еще копит. В сороковом году их выселили. Отбыв лет двадцать в Сибири, похоронив там мужа и четверых детей, она вернулась домой с шестнадцатилетней внучкой. Правда, в саму деревню, поделившую ее хозяйство, она не захотела вернуться и некоторое время моталась вокруг, пока однажды ночью не ткнулась в эту сторожку. Наш Антон был в ту пору вдовцом, и ни одной птицы не было тут в лесничестве.

Возвращаются из лесу собаки, облизывая на ходу помятые отцом бока. Из далекой лесной глуши доносится раскат ружейного выстрела. Старушка вздрагивает, потом, плюнув себе за пазуху, чтобы нечистый дух, воспользовавшись этой секундой замешательства, не завладел ее помыслами, крестится, встает, берет свою скамеечку и входит в дом. В маленькой лесной сторожке невероятный беспорядок. Единственная мебель — старая железная кровать. Света мало, а из сумрака белеет бесконечное количество кошелок с яйцами. Их очень много, и старушка принимается их сортировать, бессмысленно перекладывая из одной кошелки в другую.

Эта старая железная кровать и женила нашего Антона вторично. Тогда, ночью, впустив их, он постелил им на полу камышовую подстилку, но шестнадцатилетней девочке не понравилось на полу. В полночь, когда старушка захрапела, она перебралась к Антону в кровать.

Недели две она щедро ласкала его по ночам, потом, обокрав вчистую, исчезла, а старушка вот уже три года дожидается своей внучки и со скуки наживает добро, чтобы добавить к тому богатству, которого у нее давно нет.

Волоча за собой длинную жердь, отец идет по лесу, воинственно оглядываясь: ну, где еще там бешеные собаки? Вид у него тупой, удрученный — какой бывает у застенчивых людей, вынужденных обстоятельствами к таким поступкам, которых они по своей воле никогда бы не свершили.

У порога зимних выюг лес грустно, задумчиво дремлет. Полное безветрие кругом, но настали сроки — и крупный багряный дубовый лист, бесшумно отделившись от веток, мягко покружив над землей, тает в золотистом, шуршащем море. Сухо шелкнет сорвавшийся с высоты желудь, изредка мелькнет летящая низко меж стволами птица, и снова тихо кругом. Тишина стоит густая, сочная, одуряющая, шаги отца шуршат, словно не один человек, а целые полки идут. Это трудно вынести живому человеку, и временами старик останавливается, чтобы передохнуть, осмотреться. И кажется ему, что дубы, заглядывая через плечи друг друга, косятся на него сердито и недоверчиво.

Теперь, поздней осенью, лес уже никому не верит, никому не друг. Он верил людям, когда наступала весна, он любил нас, когда мы ходили за грибами и земляникой, он нашептывал целыми ночами в пору сенокоса. Теперь пора великой лесной красоты миновала, лес стоит оголенный, сиротливый, и если приблизится кто, лес встречает хмуро и недоверчиво, давит немислимой для живого существа тишиной.

Отцу никогда не нравилось бродить по лесу поздней осенью, да еще в одиночку. Теперь, измотанный, он останавливается после каждых четырех шагов, чтобы решить: идти ли дальше, тут ли подождать сына или, может, вернуться обратно? Он долго стоит и думает, идти уже и сил не хватает. Потом в этой давящей со всех сторон тишине появляется просвет. Где-то совсем близко треснул сучок. Рядом с отцом на шуршащей листве стоит высокая тень самого послушного, самого чудачкавого среди нас.

— Ну, с добрым днем тебя, сынок!

Антон, богатырского сложения лесник с перекинутым через плечо ружьем, смотрит на отца по-детски большими, по-детски густо-синими глазами. Хочет что-то сказать, а с чего начать — не знает, и он очень красив, когда, растерявшись, ищет нужного ему слова.

— Я, знаете ли... Очень хорошо, как же...

Встречать гостей Антон никогда не умел. Лево́й рукой жмет правую руку отца, потом правой — левую, пока не теряется совершенно. Видя такое дело, отец начинает встречу сначала:

— Ну, здравствуй, Антон!

Вдруг приученный к лесной тишине слух Антона схватывает доносящиеся откуда-то издали удары топора. Его большие детские глаза грустнеют, и весь он как-то сразу сникает, словно эта сталь с каждым ударом рубит его самого.

— Вот ведь народ, повалят весь лес. Вы устали с дороги?

— Что ты! Я автобусом ехал.

— Ну, тогда пошли, пока его не вырубил.

Насколько он с виду крепок, настолько плаксив, этот наш Антон. Послушать его, так завтра единой зеленой веточки не останется во всей Молдавии. Лес, однако, он любит, знает о нем великое множество интересных вещей, и, если кто из наших заглянет к нему в гости, он затаскает его по лесу до изнеможения.

Чтобы доставить ему удовольствие, отец любит то одним дубом, то другим, расспрашивает о тонкостях, которые могут знать одни лесники. Антон очень доволен, они то идут, то стоят говорят, то затеряются в густой чаще, а то, глядишь, снова вынырнут. Они, видать, долго скучали друг по другу, они довольны, им очень хорошо вместе, но не дает им покоя тот злополучный топор. Как только донесутся редкие, звучные удары — Антон втягивает голову в плечи и жмурится, как от дикой боли.

Он был у нас самым послушным. В раннем детстве пас скотину в лесу, когда это было ему положено, так сказать, по долгу службы. Потом подростком ходил пасти ее вместо нас, и еще всякий раз, когда некого было посылать, отец посылал его. И лес отомстил, забрав у нас Антона.

Видя, как его преследует этот злодейский топор, отец, сжалившись над ним, предлагает:

— А не сбегать ли нам туда, пугнуть ружьем?

Только и нужно было деликатному Антону, чтобы сам отец предложил это, — теперь старик еле поспевает за ним. Перебравшись через темный, сырой овраг, они забирают куда-то влево, потом в густой чаще Антон останавливается. Говорит отцу:

— Вот тут... Еще сегодня утром тут был дуб.

— Куда же он мог деваться?

Разгребая листья, Антон высвобождает свежий, слезящийся пень, несколько ниже, в ложбине, закопаны срубленные топором ветки. Вернувшись к пню и присев на корточки, Антон принимается считать круги на нем. Говорит отцу тихо и печально:

— Мой ровесник. Тридцать восемь кругов.

Старику просто непостижимо:

— Не может того быть!

Но их в самом деле тридцать восемь кругов. Правда и то, что Антону тридцать восемь лет. Выяснив меж собой все это, они садятся рядом, грустные и одинокие. Чтобы успокоить, обласкать Антона, отец начинает копаться в кошелке, выбирая для него самые вкусные, самые красивые гостинцы. Кладет их на пень, как бы засыпая ими тридцать восемь кругов. Здесь, в лесу, испеченные мамой пряники — чудо из чудес. Антон бесконечно счастлив, что у него сегодня гости.

— Мама пекла?

— Мама, кто же еще. Ты-то помнишь ее?

— Если приснится, с полгода после этого вижу ее прямо перед собой. Потом снова начинаю забывать, пока звать не приснится.

— Что же ты не приедешь погостить? Она, поди, ослепнет скоро, все высматривая вас.

Антон беспомощно оглядывается:

— На кого я брошу лес?

Ест он с удивительным, встречающимся только среди лесников аппетитом, и, глядя на него, отец вспоминает, что в этот день маковой росинки во рту у него не было. А есть хочется — сил никаких нету! Вытащив из кошелки оставшийся кусок черного, казенной выпечки хлеба, он начинает его ошипывать, всячески скрывая голод.

— Пожую с тобой за компанию. Есть неохота — недавно обедал.

Антон, подозрительно последив за ним, спрашивает:

— Были у меня в лесничестве?

— Был. Как же!

— Хорошо теща приняла вас?

— Ничего. Как полагается.

— Чем угостила? Небось яичницей?

— Кажется, яички были на столе...

Призадумавшись, горько вздохнув, Антон говорит:



— Я вот не могу к ним притронуться. Воротит от одного запаха.

Уже само это воспоминание перебивает ему весь аппетит. Поднявшись с земли, Антон любовно рассовал оставшиеся гостинцы по карманам, отец берет кошелку, и они уходят дальше. Идут долго, все углубляясь в лес. Разморенный сказочной тишиной и спокойствием, отец сонно плетется за Антоном, потом замечает в каком-то дальнем просвете, среди дубов, окраину какого-то поселения.

— Антон, как же ее зовут, эту деревушку?

— Нэсэдены.

— Красивое имя! Сходим давай. Может, и стопочку там раздобудем!

Антон чем-то смущен.

— У нас, отец, еще полочки не было...

— Что за беда! Я ведь угошаю!

Антону совсем не хочется идти в Нэсэдены, но отцу осточертел этот лес и прогулка в деревню не дает ему покоя.

— Ну, идем, ничего с ним не станется, с этим лесом.

На их счастье, день воскресный, праздничный, и нэсэдены, собравшись небольшими кучками, стоят у перекрестков, у калиток, мирно беседуя о том о сем. Появление старика с сыном вызывает несказанное оживление. Каждый старается затащить их к себе в гости. Один ведет в свой дом, остальные идут гурьбой, всячески отговаривая, заманивая их к себе. В одном доме они пьют свежее вино и закусывают орехами, в другом тоже пьют вино, но закусывают куриным студнем, потом попали куда-то на крестины. Отец, повеселев после первого стаканчика, смотрит на всех добрыми, влюбленными глазами, все ему мило и любо в этой деревне. Единственное, что несколько омрачает его радость, это какой-то глупый обряд провожания гостей в Нэсэдах. У калитки, прощаясь с ними, хозяева отводят Антона на пару слов, что-то шепчут ему, на что бедный Антон молча втягивает голову в плечи. Глядя на все это, отец возмущается: что за идиотская привычка расстраивать гостей на прощание?

А в общем, они чудно погуляли в Нэсэдах и под вечер сытые, порозовевшие от выпитого вина возвращаются лесом. Идут молча, стараясь не спугнуть покой поздней осени, и теперь даже отцу начинает нравиться лес в эту пору. И вдруг точно гром среди ясного неба — где-то совсем рядом раздается удар топора, и молчаливым шелестом высохшей листвы отдается эта боль по всему лесу. На этот раз отец решается дать бой. Сняв у Антона ружье с плеча, приняв стойку «к бою», как это делали солдаты в первой мировой войне, он бежит на стук топоров, на ходу ошупывая ружье и соображая, как из него стреляют. Несколько озадаченный и смущенный его решительностью, Антон плетется за ним.

Выстрел. Отец останавливается, поджидая Антона, чтобы спросить, отчего ружье само по себе выстрелило. А тем временем в ста шагах от него, вздохнув в последний раз листвой, молодой дубок свалился. Несколько колхозников, вспотевшие от этой быстрой рубки, сняли с себя старые шляпы, приветливо улыбнулись отцу, как бы намекая на знакомство с ним.

Отца, однако, на этом не возьмешь. Выпросив у Антона новый патрон, он все еще соображает, как бы ему перезарядить ружье, но эти многочисленные ухмылки воров выводят его из себя:

— Чего они, Антон, оскалились?

— Это же нэсэдены, отец.

Старик потрясен. Мигом выветрилось все хорошее настроение. Говорит тихо, только для Антона:

— А как ведь угошали, а как обнимали нас!

Отец возвращает ружье леснику. Они поворачивают обратно. Идут молча, торопливо, как бы убегая от этого позора. Они уходят, а лесу остается расплачиваться за то, что отец полдня погостил у сына. Урожай виноградной лозы уничтожает вековую заросль леса, земля опустошает саму себя. Непостижимо, но это именно так.

Под вечер они стоят уже далеко за лесом на обочине шоссе. Стоят грустные, виноватые в чем-то. Ждут попутной машины. Наконец Антон, после долгих размышлений, говорит отцу, стыдливо глядя куда-то в сторону:

— Ты прости меня, отец, что я не смог, как полагается, принять тебя. Невезучий я. Вот, даст бог, избавлюсь от этих хлопот, съезжу за получкой, и потом, если заглянешь...

Глубоко тронутый его словами, отец говорит, низко опустив голову и пряча навернувшиеся на глаза слезы:

— Если бы все сыновья принимали родителей, как ты меня принял, то на каждой былинке цвели бы яблоки и зрел виноград.

Остановился грузовик с полным кузовом мелких, недавно постриженных овец. Из всей домашней скотины отец больше всего жалуется овец. Залез, сел меж ними, как заправский пастух, машина тронулась, а наш брат Антон стоит еще долго, до самого заката, на обочине дороги. Смотрит на восток, туда, куда уехал отец, и так сильно, так до боли хочется ему уехать, уйти, хоть поползти за ним. Нет, это мы сами придумали, что лес украл у нас Антона. Мы его сами оставили там, а он до сих пор стоит и ждет, когда мы придем и заберем его туда, куда уж и дорог нету — в давно минувший мир нашего детства.

К вечеру из пор белого каменистого берега выплыли живописные окрестности Сорок — небольшого приднестровского городка. Нежась в лучах негреющего осеннего солнца, город дремлет у подножья каменного обрыва на берегу реки. Свинцово-тяжелые воды Днестра дышат предзимним холодом. На пологом берегу высится громоздкая, старая, но все еще красивая крепость. Потрясенный, отец прогуливается вокруг этого средневекового памятника, считает про себя бойницы и, охваченный воинским пылом, гордо, как полководец перед битвой, разглядывает окрестности.

А время идет, день на исходе, и отец выходит на берег Днестра, усаживается на пятачок полувывсохшей травки и чувствует себя куда как хорошо в обществе огромной реки и древней крепости. Вкрадчивый шелест днестровских вод нагоняет на него дремоту. Он долго, по-юношески удивленно следит за этим величественным зрелищем движения вод, и оживают в его душе старинные песни его предков.

Отец, кажется, ни разу не купался в Днестре. Он, вероятно, даже не знает, с какого конца удочки держать. И все-таки каждый день своей жизни, каждый миг он знал, что, если идти к востоку, через тридцать с лишним верст выйдешь к водам Днестра. У каждого народа есть своя великая река. У нас, молдаван, есть Днестр. И весной, во время разлива, и в жаркие месяцы лета, когда почти пересыхает русло, Днестр для нас остается неизменно большим, красивым и могучим.

Сняв ботинки, закатав брюки до колен, отец подходит к самой воде, становится на полоску влажного песка. Временами Днестр покрывает ценной волной его ноги, и эта осенняя холодная вода вдруг выпрямляет старику плечи, заставляет выше поднять голову, придает живость, обобщает и углубляет все те житейские заботы, что волнуют старика. В мгновение ока свершается сказочное превращение, и вместо измотанного доверьями и нуждами старика, только что присевшего неподалеку отдохнуть, стоит на берегу гордый, полный могучей силы и великих замыслов человек.

Шуршит песок под чьими-то ногами, и отец оборачивается. Со стороны пляжа идет, покачивая своими полными бедрами, молодуха в купальнике. Бедра — это то, что отца особенно волнует в женщинах. Спешно прихорашивая себя, покашливая для пушей храбрости, он выходит ей навстречу. Девушка, несколько удивленная его решительным видом, останавливается. Отец, разглядывая ее загорелые колени, спрашивает:

— А что я у вас хотел спросить...

Девушка кокетливо щурит глазки:

— Вы меня хотели спросить? Может, ваш сын интересовался?

Бросив беглый, издевательский взгляд на закатанные до колен брюки, она уходит, так же заманивающе раскачивая бедрами, а отец стоит совершенно растерянный. То посмотрит на древнюю крепость, то заглянет на величавую реку, то пощупает закатанные до колен брюки и еще раз проводит взглядом удаляющуюся красотку.

В городе старик первым делом идет в парикмахерскую. Стрижка тянется очень долго. На его макушке вдруг восстал хохолок, и замученный вконец парикмахер просто ума не приложит, как с ним быть. То подстрижет, то закрутит, то уложит, а толку никакого. Старик, вытащив руки из-под белой повязки, показывает парикмахеру, как надлежит ему поступить с вихорком — приласкать, пригладить, упрятать куда-нибудь.

У входа в городской парк отец сидит на высоком стуле, отдав свои ботинки чистильщику. Когда тот, сдув последние воображаемые пылинки, отпускает его, отец, перед тем как заплатить, снимает ботинки, придирчиво оглядывает со всех сторон обувь и, обнаружив несколько пятен, не доведенных до положенного блеска, возвращает чистильщику ботинки. Колхозник зарабатывает деньги трудно и если уже выложит копейку, то требует первоклассный товар.

С начищенными ботинками старик долго бродит по узким безлюдным переулкам Сорок. Приглядывается ко всем калиткам, потом, выбрав себе одну низенькую, открывает ее, снимает пиджак, вешает на калитке, как обычно вешают одежду на спинке стула, и, поплеывая в ладони, чистит его. Непосвященному человеку может показаться, что старик увлекся этой красавицей в купальнике, но в действительности он и думать о ней забыл. Дело в том, что Серафим, младший из нас, еще студент, собирается жениться, и отцу не хотелось бы показаться перед будущей невесткой рангом ниже, чем он на самом деле.

С полчаса уходит на поиски ветеринарного техникума, потому что каждый год студенты переходят с курса на курс, а сам техникум — из одного помещения в другое. Теперь, хоть и удается найти здание сравнительно легко, толку мало. Техникум безмолвствует. Окна и двери широко открыты, в классах две старушки моют полы, в коридорах развешаны новые плакаты — то продольные, то поперечные разрезы коров, лошадей, овец, и, ужаснувшись этой бойне, отец уходит.

В общежитии Серафима тоже нет. В большом двухэтажном здании ни души. Вид бесконечного количества аккуратно заправленных кроватей нагоняет на старика сонливость, но, спускаясь по лестницам, он вдруг слышит рядом, во дворе, дикий крик восторга истинных болельщиков.

На трех площадках студенты играют в волейбол. Играют вместе — и парни и девушки. Пасы отличные, удары мощные, вой оглушительный, и отец, прогуливаясь вокруг сеток в поисках своего младшего сына, увлекается игрой и начинает тоже болеть. Потом он слышит веселый, задорный голос:

— Что, старик, не помер?

Улыбаясь, отец отрицательно качает головой, но Серафим это вряд ли видит. Он играет у самой сетки. Прыгает высоко, удары его сильные, мощные, и, выиграв очко, кричит старику:

— Погоди, вот обыграем врачей, тогда нацелуемся!

Следя за игрой сына, отец хитро, незаметно для других подмигивает ему, сообщая, когда нужно вбивать гвозди на территории прогивника. Серафим бьет, выигрывает очки, и отец несказанно рад.

Серафим — его большая любовь. Парень он живой, учится хорошо, несмотря на то, что те несколько коров из нашей деревни, которых он взялся вылечить, подошли. В ветеринарии, как и в любом живом деле, всякое бывает. К тому же был он тогда на втором курсе, а коровы, как на грех, болели недугами, которые преподавались только на четвертом.

В густых сумерках, когда уже трудно установить, нарушаются или не нарушаются правила, игра кончается. Медленно оседает пыль на площадках, сиротливо, примиренно качаются множество раз латанные сетки, и Серафим наконец, поздоровавшись со стариком, ведет его усталой походкой в общежитие. Перед входом он отводит старика в сторону и доверительно шепчет:

— То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами.

— Закон. Как же!

— Понимаете, жениться надумал. Как вы считаете?

Серафим еще с седьмого класса надумал жениться и до сих пор никак не уgomонится. Мы часто подшучиваем над его женитьбой, но отец не позволяет себе никаких двусмысленностей с детьми. Старик размышляет долго, словно от его ответа в самом деле зависит судьба сына. Потом говорит полушепотом:

— Что ж, если ты решил, то, как говорится, в добрый час.

Серафим по-бабьи притворно вздыхает:

— Хорошо бы, отец, а то извелся я этим кошмарным моральным одиночеством!

Через минутку он спрашивает веселым, озорным голосом:

— Показать ее?

Отцу, ясное дело, хочется взглянуть на невестку, и вот они в женском общежитии. Серафим, каким-то чудом успевший уже умыться и переодеться, бегаёт по длинным коридорам, раздаёт направо и налево привезенные отцом гостинцы, а сам отец, увлекшись каким-то плакатом, стоит, уткнувшись лицом к стенке, потому что такого количества красивых барышень он еще не видел в своей жизни. Одни стирают, другие гладят, третьи куда-то бегут, а иные просто стоят в коридоре и ждут, чтобы им сказали, до чего они хорошенькие.

Вернувшись откуда-то, Серафим для храбрости хлопает старика по плечу. Из длинных сумрачных коридоров появляется молоденькая девушка, видимо впервые надевшая спортивные брючки и поэтому ужасно смущающаяся. Увидев отца, она останавливается, вопросительно смотрит на Серафима, а тот, злодей, став боком к старику, как бы говорит: понятия не имею, кто такой. Потом, как только девушка подходит, говорит безжалостно, точно с плеча рубит:

— Познакомься с моим отцом.

Покраснев до ушей, окинув Серафима свирепым взглядом, она, едва протянув кончики пальцев старику и что-то пробормотав, тут же убегает в густой сумрак коридора. Спускаясь по лестницам со второго этажа, Серафим вводит старика в курс дела:

— Молоденькая, с первого курса, но характер у нее — прелесть!

В маленьком скверике Серафим останавливается возле скамеечки, на которой сидят три девушки, и знакомит всех трех с отцом. Как только отошли, отец спрашивает:

— Какая из них?

Серафима это мало тревожит:

— Чего спешить? Поживем — увидим.

В городском Доме культуры, бросив старика в узком коридоре, возле сваленных в кучу старых декораций, Серафим бежит в танцевальный зал. Свободных девушек нет, все они танцуют, но это его нисколько не смущает. Остановив танцующую пару и взяв девушку, он, не пройдя с ней и круга, выводит ее из зала, ведет по узкому коридору и знакомит с отцом. Затем, оставив девушку перед стариком, тут же летит обратно и ведет знакомить другую. Через некоторое время, когда он спешит по коридору с высокой накрашенной блондинкой, отца уже нет возле сваленных в кучу декораций. Старик не выдержал.

Глубокой ночью Серафим, сидя за столом, готовит уроки у крошечного ночника, а отец лежит, уютно устроившись на студенческой кровати, и блещет гордостью, счастьем блещут стариковские его глаза. И думает теперь отец: что за бедовый, что за отчаянный парень вырос в его доме!

Рано утром, когда город еще спит, они идут вдвоем по пустынным переулкам. У городской кассы аэропорта, открыв маленькую калитку, садятся на длинную, нарочно поставленную тут скамейку. Отцу что-то не по себе, он долго, упорно думает о чем-то. Вытащив из кармана оставшиеся рубли, деликатно отвернувшись, чтобы не совращать деньгами сына, он начинает их считать, все больше и больше разочаровываясь. Серафим, невероятно любопытное существо, чуть приподнявшись со скамейки и заглядывая через плечо отца, считает вместе с ним. Дело, конечно, сложное. Недолго уговорить старого человека впервые полететь самолетом. Труднее помочь ему, когда у него денег на билет не хватает. Серафим думает, как ему быть. Горько вздохнув в знак своих больших материальных затруднений и чуть отвернувшись, достает свой кошелек. Потрясенный отец, чуть приподнявшись со скамейки, заглядывает через его плечо. Сын, оказывается, состоятельнее отца, и это, в общем, понятно. Серафим на редкость трудолюбив, он терроризирует все кишиневские газеты стихами о своей первой любви. Изредка случается, что какая-нибудь газета не выдерживает его натиска.

Серафим честно, по-мужски делит с отцом свое богатство. Старика очень неловко брать у своего любимца деньги, и он, в сомнении разглядывая небо, спрашивает:

— Слушай, а не может так случиться, чтобы самолет сорвался с высоты и врезался в какой-нибудь овраг?

Серафима смешит до слез эта деревенская наивность.

— Вам-то что! За все отвечает летчик!

После восхода солнца около шести невыспавшихся и потому недвольных всем на свете пассажиров садятся в маленький двухмоторный самолет. Наш отец поднимается последним по трапу. Он, кажется, еще не решил про себя: лететь или, может, лучше не лететь? На последней ступеньке, вдруг что-то вспомнив, он круто поворачивается и кричит стоящему у трапа Серафиму:

— Ты, сынок, если еще случится играть в мяч, не бей плашмя, а вдарь вот так, кулаком, и будет куда грознее!

Серафим глубоко разочарован:

— Вы меня учите?

Отец растерянно улыбается, хочет свести это замечание в шутку, но у него из-под ног выхватывают лесенку, и старик спешит в самолет. Оглушительно взвыли моторы, забила мелкой дрожью полувисохшая трава, и самолет, похожий на птицу с подбитым крылом, побрел по полю. На старте стихнув, как бы вздремнув перед дорогой, он тут же оглушительно взвыл и, почти сразу оторвавшись от земли, полетел.

Сонные, потерявшие к тому же и землю из-под ног, пассажиры чувствуют себя отвратительно. Один отец бодро ходит по самолету, словно

ему и горя мало — взлетела эта штука или все еще пасется на аэродроме. То, что самолет, набирая высоту, валится в воздушные ямы, только веселит его, напоминая о давно минувшем детстве, о веселых праздничных качелях. Развернув билет, старик ходит по самолету и спрашивает, куда ему присесть. Один из шести пассажиров, по виду сельский учитель, ищет что-то в карманах дрожащими руками, и, чтобы избавиться от маячащего перед ним старика, хватается за полу пиджака и, рванув к себе, усаживает рядом на пустующей скамейке. Отец тут же драчливо поднимается, тщательно исследует то место пиджака, за которое его ухватили, потом осуждающе смотрит на учителя, точно говорит ему: а я принял было вас за образованного человека! Убедившись, что пиджак в целости, он садится на ту же скамейку, но садится сам, без чьей-либо указки. Даже тут, в воздухе, свобода для старика — это первейшая забота.

На несколько секунд в самолете темнеет, потом с такой же неожиданностью проясняется. Отцу это кажется забавным. Рядом крохотное круглое окошечко, и, прильнув к нему, отец замирает, замороженный увиденным зрелищем. Тяжелые седые горы без камня и песка, без пастбищ и пастухов медленно плывут в бескрайнем синем просторе. Самолет слепо лезет на них — одну срежет мотором, другую распорет крылом, и все как будто очень довольны: самолет летит, тучи плывут своим путем, солнце скупое, по-осеннему греет, а небо синее-синее, как в сказке.

Отец ищет, с кем бы поделиться, но кругом ни одного достойного этих царских зрелищ молдаванина. Все шесть пассажиров сидят, как наседки, не шелохнувшись, и один старается не замечать другого, чтобы и тот в свою очередь не очень глазел. Старик возвращается к окошку. Бог с ними, с попутчиками, хоть бы самому насмотреться.

Далеко под крылом самолета, в серой дымке, медленно извивается зеленая черноголовая ящерица. Несколько цветее — длинный серый ремешок, на нем висят, как нанизанные, две цветные бусинки. Тоненькая ниточка дыма посреди вспаханного поля, кучки разномастных крыш, собранных то тут, то там по ложбинам. Старик кажется озабоченным: неужели это все, что осталось от всей республики, от целого народа? Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, он повторяет про себя все увиденное и вдруг удивленно присвистывает, потому что только теперь увиденная картина становится осмысленной. Он возвращается к окошечку проверить, и, конечно, так оно и есть — ящерица оказалась поездом, длинный ремешок — шоссе, две бусинки — это два автобуса. Только народу не видно, пусто кругом.

Странное дело, но теперь отец начинает жалеть, что полетел самолетом. Прожив всю свою жизнь там, на земле, нет смысла глядеть на нее еще с такой высоты. Ему кажется, что один бог может смотреть на землю и не видеть людей.

Самолет, разворачиваясь, ложится то на правое крыло, то на левое, земля то становится на дыбы, то проваливается куда-то, и отец отворачивается от окошка. Оставшиеся полчаса пути он сидит не шелохнувшись, благородный и мудрый. Высота, что ни говорите, обязывает. Теперь отец объясняется в любви нашей матери, соседям, всей деревне и вообще всему миру. На двухкилометровой высоте он загорелся к ним такой жгучей, неистовой любовью, какой не испытывал ни разу за семьдесят лет жизни там, на земле.

В кишиневском аэропорту выходят из самолета шесть бледных, усталых в дороге пассажиров и просветленный в этом полете старик. Потом у выхода из вокзала отец просиживает несколько часов подряд не шелохнувшись. Люди улетают в Москву, Ленинград, в Болгарию и Румы-

нию. Не успев прилететь, они садятся в другие машины и снова отправляются в путь.

Врожденная склонность к полету — это редко встречающийся божий дар. И тем горше, когда этот талант обнаруживается у семидесятилетнего старика. Дарование есть, но нет самого человека, он, рожденный летать, всю жизнь пешочком проходил по земле и состарился. Вот так-то.

Подошел милиционер и подбадривающе похлопал старика по плечу. Отец встал, порывшись в кармане, вытащил рубль, но, оказывается, дело было не в этом. Просто там, у выхода с аэродрома, не положено сидеть, и пока милиционер объясняет, в чем дело, старик наконец сообщает, что он уже в Кишиневе. Выходит через здание вокзала, садится в маленький запыленный автобус. После полета такая машина — сущее издевательство. Едет автобус мучительно медленно, отец сидит у окошка и ждет, когда наконец покажется город. Окраина нашей столицы очень похожа на обычную деревню, и, дожидаясь, когда за этой нескончаемой деревней покажется город, старик задремал.

А в Кишиневе стоит красивый, в меру прохладный, в меру солнечный день. Вдоль тротуаров бегут густые ряды все еще зеленых каштанов, солнечные блики, просочившись сквозь зелень, прыгают по густому потоку пешеходов. Потом шофер маленького автобуса резко тормозит, и отец просыпается. Длинные неподвижные ряды автобусов и троллейбусов на центральном проспекте, прервано все движение, и потоки пассажиров бегут выяснять каждый для себя, что случилось.

На площади Победы соревнуются детские сады Кишинева. Трехколесные велосипеды стоят выстроенные в ровные ряды. Выстрел — и трех-, четырехлетние спортсмены пыхтят на дистанции, а мамы-болельщицы стоят рядом и переживают на всю площадь. Отец восхищен этим зрелищем, он даже заметил красный беретик, который, по его мнению, должен победить. И действительно, малыш в красном берете вырвался вперед, но потом, случайно обнаружив конфету у себя в кармане, свалился с велосипеда. Теперь отцу нужно отыскать другого претендента на первенство, но, взглянув на солнце, он погрустнел. В Кишиневе много всяких диковин — но на то, однако, и дана мужику голова, чтобы не терять попусту время.

Длинный пятиэтажный дом на центральной улице. Старик входит во двор, блаженно улыбаясь всем встречным, словно все они, живущие в одном доме с его сыном, его лучшие друзья. Поднявшись на второй этаж, он тут же спешит нажать кнопку звонка, но, что-то вспомнив, виновато опускает руку и стоит у двери, прислушиваясь. Какой-то чужак сказал ему, что самое страшное для писателя — это когда его отрывают от работы. Поэтому, говорили ему, они не доводят до конца и одной трети начатых ими книг. А отцу, ясное дело, не хочется, чтобы из-за него я не кончил еще одной книги.

Пишущей машинки не слышно, и он тихо, виновато стучит. Никто не отвечает, и он стучит вторично. Потом стал звонить долго, тревожно, а ему все не отвечают, и он поник, опечалился. Эх, отец! Сколько раз я ему писал, что меня этой осенью не будет в Кишиневе, что я уехал в Москву — старик этому не может поверить и, оказавшись в Кишиневе, спешит ко мне.

Огорченный, он сходит по лестнице, выходит через ворота, смешивается с толпой на тротуарах, привнося в живой городской ритм пешеходов медленный, измеренный другими заботами темп. Идет долго по центральной улице, никуда не сворачивая, и то затеряется в толпе, то снова вынырнет. У низенького здания центральной молдавской газеты останавливается. Чему-то радуется. Уже лет десять, как я не рабо-

таю в этой газете, но отец, верно, думает про себя: вдруг зайдет, откроет дверь, а я сижу как ни в чем не бывало за своим столиком?

В редакции, как всегда перед зимой, идет капитальный ремонт. Стулья сложены горкой, на столах лежит кирпич, на запыленном пылью полу без конца трещат телефоны, а по коридорам бегают литработники с корректурой, с читательскими письмами. Хоть и ремонт, газета выходит ежедневно. Открыв поочередно все кабинеты и убедившись, что меня нет, отец уходит. Уже у самого выхода он вдруг слышит за спиной:

— Эй, старина!

Курьер редакции, только что присевший выпить свой обеденный чай, узнал его. Они долго, с достоинством приветствуют друг друга, потом отец, увидев стакан горячего чая и сделав испуганное лицо, спрашивает курьера:

— Неужто перешел в другую веру?

В ответ на это удивление курьер хлопает себя по карманам, как бы говоря: ну, решительно ни копейки! Отец, предварительно оглянувшись, дабы не наскочило слишком много любителей, таинственно кивает к выходу.

В небольшом пивном баре напротив редакции отец берет бутылку столового вина, наливает два стакана и выжидательно смотрит на курьера. А тот, хоть и свой, деревенский человек, тянет душу. Пьет вино долго, со вкусом, потом, намазав кусок хлеба горчицей и посыпав еще солью, принимается говорить, возмущаясь по мере того, как наедается горчицей. От него отец узнает, что плохи мои дела. Лежит в редакции двухподвальная статья, и разносят меня в этой статье так, что не остается камня на камне.

Отец, следя за категорическими жестами курьера, демонстрирующего разрушительную силу статьи, втягивает, как и Антон, голову в плечи, косится на всех входящих в пивную, словно все они прикладывали руку к этой статье. Потом, то ли от того, что в пивной накурили много, то ли от услышанных новостей, отцу становится невмоготу, и он уходит, оставив курьера с недопитой бутылкой. Идет медленно, останавливается у каждой газетной витрины, ищет злополучную статью. И думает теперь старик, что зря я взялся за это дело. Если бы, послушавшись его, поступил в школу милиции, вгонял бы теперь в холодный пот других, вместо того чтобы у самого колени дрожали.

На одном перекрестке из окон переполненного, уже трогającegoся с места троллейбуса отец слышит:

— Привет, старина!

Троллейбус снова останавливается. С трудом протиснувшись, выходит молодой человек. Отец припоминает его и тут же, заведя в первый двор, дрожащим голосом начинает пересказывать все, что ему стало известно обо мне. Молодой человек долго хохочет над страхами старика, потом деликатно берет его под руку и, прогуливаясь с ним по чужому двору, начинает сам излагать существо дела.

Старику очень повезло встретить моего старого приятеля по газете. От него он узнает, что от написанной до напечатанной статьи — все равно что от земли до неба. И потом, даже если и появится статья, это еще ровно ничего не значит! Кто сказал, что член Союза писателей боится здоровой, нормальной, доброжелательной критики? В подтверждение этой мысли мой старый друг приглашает отца в ту же пивную, напротив редакции, берет бутылку того же столового вина. Растроганный отец выкладывает перед ним гостинцы, которые полагались мне, и оба очень довольны. В заключение мой старый товарищ предлагает отцу несколько помятых бумажек, и старик долго соображает: брать их, не



братъ. Подумал, что, если друзья еще возвращают мне долги, надо думать, мои дела не так уж плохи. Берет деньги больше для того, чтобы успокоить себя.

В сумерках, на ходу сев в битком набитый поезд, с трудом перелезая через связки чужого багажа, отец вспоминает, что и сам собирался сделать какие-то покупки в Кишиневе. Теперь запомнил, что именно он хотел купить, но, переходя из купе в купе и разглядывая чужие покупки, он в конце концов обнаруживает у одной старушки, скромно сидящей в уголке, ту самую тарелку, которую собирался купить в Кишиневе. Подсев к ней и разглядывая тарелку, отец начинает плести ей какие-то небылицы, старушка мечтательно улыбается и в конце концов уступает ему свое сокровище. Пока она завязывает в платочек полученные деньги, отец благоразумно решает перейти в другое купе — неровен час, еще передумает.

Основная часть пассажиров — колхозники из близлежащих к Кишиневу сел, и через час-другой вагоны совершенно пустеют. Отцу становится скучно сидеть одному, и он отправляется в поиски попутчика. Встретив в соседнем купе такого же старичка, он подсаживается к нему, для знакомства показывает только что перекупленную у старушки тарелку. Тому тарелка нравится, и он в свою очередь достает полдюжины чайных стаканов, показывает их отцу, и последнему, конечно, стаканы очень по душе. Выпивка — это такое дело, что никто не знает заранее, что разобьется потом: одни бьют тарелки, другие — стаканы.

Поздней ночью в вагоне выключили свет, оставив дежурить только бледно-синие лампочки. Пассажиры, которым еще долго ехать, уютно свернулись на казенных постелях, спят разъезды и вокзалы на пути, сидя дремлют проводницы. Только два старика, согретые свежей дружбой, в чем-то схожими заботами своими, тихо переговариваются. Сначала один рассказывает долгое свое житье-бытье, а другой слушает, сочувственно кивая головой, потом другой рассказывает, а первый решительно со всем соглашается.

Теперь отец, вернувшись, долго будет гадать, как там устроится его попутчик, имея четырех взрослых дочерей, а тот в свою очередь, припоминая свою поездку в Кишинев, будет громко осуждать нас, всех шестерых.

Рано утром, на рассвете, засветилась меж холмами черепичная крыша нашего вокзала, показались четыре высоких тополя, паровоз прогудел свое прибытие, а отец стоит у входа бледный и гадает: «Неужели так-таки и не останится».

Далеко за вокзалом, почти в поле, летит по железнодорожной насыпи купленная отцом тарелка. Следом за ней летит отец. Догнав тарелку, долго барабанит по ней пальцем и чрезвычайно доволен, что тарелка цела. Тем временем поезд, возвратившись к перрону, останавливается во второй раз.

Проводив поезд, отец, ясное дело, идет узнать, не закрыли ли чайную. Она еще в строю, эта чайная, и старик выпивает по этому поводу сто граммов. Потом, перебравшись через грязный перекресток, спешит в поле. На окраине два грузовика ждут пассажиров, но отец, ощупью сосчитав оставшиеся в кармане деньги, решает плестись пешком.

А осень уже на исходе. Небо сплошь затянуто тучами, моросит мелкий дождь, но земля промерзла глубоко и идти очень скользко. Отец думает о том, что, когда неделю тому назад он отправлялся в дорогу, было теплее, теперь холод пробирает до костей, и он спешит, идет огромными шагами, широко размахивая, как на косовице, руками.

В первой же деревне он вдруг останавливается. К нему каким-то чудом прорвался же необычайно задорная, хмельная от веселья танце-

вальная мелодия. Отец слушает, как будто удивляясь, и, пока он ее слушает, она завладевает всем его существом. Увы, отец у нас музыкант от рождения, и самый незамысловатый мотив может заманить его.

Отложив свое возвращение, отец спешит по переулкам, пока не наталкивается на сельскую свадьбу. Около двухсот разнаряженных колхозников стоят, заполнив весь двор. Десяток музыкантов, сидя на завалянке, разошлись вовсю, и на промерзшей, застеленной старой соломой земле разгорается танец. По установившейся кругом тишине отец догадывается, что танцует и хозяин, у которого справляют свадьбу. Все танцоры удивительно похожи на седого старика, танцующего рядом с женихом. Танцуют не очень хорошо. То ли из робости, то ли из чрезмерного уважения, но все пятеро копируют старика, и тот, чтобы раззадорить их, нет-нет да и выкинет какое-нибудь коленце на радость глязеющей публике. И думает отец, что теперей уж ни за что не соберет он нас, чтобы показать танец, который только он один и помнит. Все мы, слава богу, здоровы, кусок хлеба у нас есть, но только что-то случилось, после чего немислимо собрать нас кругом, чтоб, взяв за руки, танцевать.

И вот старик снова в дороге. Идет быстро, потому что осенью погода переменчива, ни за что не узнаешь, во что может обернуться моросящий сверху дождик. На окраине другой деревушки он снова останавливается, изумленный. Увидел в одном садике огромную яблоню — голые ветки, ни единого листочка, а на ветках плоды еще гроздьями висят. В самом конце осени да вдруг неубранные яблоки! Прислонившись к забору, отец долго, недоверчиво разглядывает их. Рядом лает собачонка, на крыльцо выходит сухошавый человек, чуть моложе отца. Старик наш удивленно переминается с ноги на ногу.

— Если вам не в обиду, скажите, как они держатся, яблоки эти?

— А у них, видишь ли, хвостики!

Хозяин диковинного дерева идет в сад, срывает крупное яблоко, подходит и протягивает отцу. Старик долго разглядывает это чудо, потом, стыдливо почесав затылок, просит:

— Уж если вы хотите порадовать, то дайте еще одно. Старушка у меня дома и, право, ни во что не верит...

Тот, несколько смущенный своей недогадливостью, возвращается к яблоне. Потом оттуда спрашивает:

— Может, кроме старухи, еще кто есть?

Низко опустив голову, отец вздыхает и медленно, преодолевая огромную, неведомую ему ранее боль, отрицательно качает головой.

К своей деревне он добирается под самый вечер. На окраине села, у первого же колодца стоит девушка с двумя полными ведрами. Она стоит, одетая в легкое платье, в старом свитере с короткими рукавами, стоит посиневшая от холода. Как только доносятся совсем близко шаги старика, она, ловко подхватив ведра, быстро переходит перед ним дорогу. Потом, поставив ведра у родительской калитки, говорит, улыбаясь большими черными глазами и как бы даже завидуя ему:

— Теперей вам правда очень повезет...

Отец вздрагивает, словно этот тоненький голосок вернул его из какого-то далекого мира. Улыбается. Теперей он наконец дома.

— Да мне, дочка, уже повезло!

А наша старая мать по-прежнему стоит у калитки, выжидая нас. Тихо дымится крыша старенького домика, топят и соседи справа и слева, и вся деревня теперь, поздней осенью, топит. Мама стоит у калитки, смотрит, не мигая, вдоль дороги и, вздрогнув, вдруг улыбается. В переулке показывается остроконечная шапка отца. Но, последив за ней еще

некоторое время, мать горестно всплескивает руками: о боже, опять возвращается выпивши. И семенит к нему навстречу.

Поздней ночью из серо-черной высоты неба начинает прилетать и долго кружить над степью первый снег. Все замерло, как в час великого противоборства, а снежинки медленно кружат, приближаясь к тому месту, на котором лежать им зимушку целую. За первыми снежинками пошли другие, и снег все валит и валит. Запорошенная снегом огромная долина, колодец с журавлем и неподвижная ворона. Мягко стелются снежинки над холодными водами Днестра, кружатся веером в глухих лесных оврагах, и по центральной улице Кишинева, по тротуарам девственно белеет первый снег. Идет снег и у нас во дворе. Побелела крыша, и завалинки, и весь двор.

Ушла осень, а вместе с ней кончилась пора гостей в Молдавии. Теперь уж, когда пойдет речь о нас, уехавших, наши близкие задумчиво улыбнутся и подумают вслух:

— Даст бог, будущей осенью увидимся...

А на второй день чуть свет по занесенному снегом двору проходит наш гордый, дерзкий петух, и, с ходу прыгнув на порог, хлопнув крыльями, он трижды, по-библейски, на всю окраину поет. Милая ты моя птица! Если мне когда-нибудь суждено будет вернуться, я привезу тебе два мешка чистой пшеницы и множество расчудесных курочек, чтобы сохранить навеки твой веселый, мудрый род.

*С молдавского перевел автор.*



---

---

Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ

★

## ГОДЫ И ВОЙНЫ\*

### 5. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

**П**ятнадцатого марта 1918 года нам было объявлено о расформировании нашей дивизии и демобилизации личного состава. Только солдат, прошедший по дорогам войны с ее первого дня, может понять наше ликование. Живы! Едем домой!

Мой путь домой лежал через Гатчину, Петроград, Москву. В мирное время в Петрограде я не был; сейчас улицы очищались от снега только в самых необходимых местах, в окнах торчали трубы времянок, по вечерам город плохо освещался, еще с ночи большие очереди за хлебом выстраивались у булочных. Но чувствовалось, что город заряжен огромной энергией.

После пяти с половиной лет отсутствия, 25 марта я оказался в родной Шуе. Радость встречи с родителями была омрачена известием о гибели на фронте двух моих братьев. Родители сильно постарели. Огорчались, что не могут встретить меня по-праздничному — кроме картошки, у них ничего не было. Я успокоил их, сказав, что привез свой солдатский гостинец, и, развязав мои свертки, вынул семь фунтов свиного сала, четыре фунта хлеба и пять фунтов сахара — все, что досталось мне при дележке полкового склада. Преподнес все это матери. Потом развязал вещевой мешок и вытряхнул подарки — ситец для матери и сестер. Не досталось ничего лишь отцу и младшему брату — мужских вещей я не припас. Но брат сказал, что у него подарок от меня давно есть — он носил мою одежду и обувь, которые я оставил, уходя на военную службу.

Утром, осматривая хозяйство, я увидел, что если дом и надворные постройки и раньше требовали ремонта, то теперь пришли в полную негодность. Отец стал стар, младший брат еще плохой работник, так что вся тяжесть хозяйства ляжет на меня. Но больше всего беспокоило меня то, что идет весна, а семян для посева, кроме картошки, нет. Купить зерно здесь трудно, да и денег на покупку не хватает, очень дорого просят.

Отец мне сказал, что соседи ездили в Казанскую губернию и оттуда привезли зерно, выменяв его на ситец. Услышав это, мать и сестра сейчас же предложили отдать все, что я привез. Но я этого не хотел, да и мало было бы для такой цели. У меня еще осталось немного денег, на которые можно было купить в городе ситца. Через две недели я вернулся из Казанской с зерном на семена и на помол для хлеба. В поездке мне помогло удостоверение демобилизованного фронтовика — оно обеспечивало мне не только бесплатный проезд, но и сохранность груза, ибо в целях пресечения спекуляции на дорогах работали заградотряды, отбиравшие продовольствие.

Управившись с севом, мы решили отремонтировать свой ветхий дом. Лес для ремонта получили бесплатно. Тяжело было с доставкой, но помогли соседи. Труд-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

но было подвести новый рубленый фундамент под дом, но и на этот раз оказался мир не без добрых людей.

В деревне меня считали грамотным и много на свете выдавшим человеком и поэтому выбрали меня в члены волносполкома и волкомбеда. Работал я там с увлечением, чувствуя ответственность перед односельчанами, ждавшими от меня какой-то помощи.

Ко мне обращались с множеством вопросов, интересовавших в то время народ: что это за люди, которые пошли на такое дело, как свержение царя? Зачем две революции, разве не довольно одной, чтобы дать землю? Очень интересовались все Лениным, его жизнью, работой, замыслами на будущее. Я рассказывал все, что знал; теперь мне понятно, насколько упрощенно отвечал я на некоторые вопросы и как часто желаемое выдавал за действительное: тогда казалось, что победа социализма во всем мире совсем близка, потому что народы скоро поймут, где правда, и господам придет конец...

Но в стране разгорелась пламя гражданской войны, и я оказался одним из тех, кто должен был идти защищать добытую народом власть.

Мое решение было принято, когда я узнал об обращении партии и правительства к рабочим и крестьянам: все силы на борьбу с Деникиным, не приостанавливая наступления на Урале и в Сибири.

Мать плакала: мы уже потеряли двух сыновей, пусть повоюют те, кто не нюхал еще пороха. Сестры, помогая матери, плакали еще усердней. Отец лежал больной на лавке, молчал и лишь временами тяжело вздыхал. Наконец он сказал: «Перестаньте плакать. Санька воевал четыре года — и ничего с ним не случилось, бог даст, не случится и на этот раз. Дом мы почти обстроили, Михаил у нас уже стал большой... Не терзайте Санькино сердце, ему и так нелегко!» Обращаясь ко мне, он сказал: «Ты, сын, решил правильно. Если за царя воевал, то кто же советскую власть защищать будет, как не мы?» После этого он снова замолчал.

Распрощавшись с родными и знакомыми, я отправился в Шуйский военкомат...

Службу в Красной Армии я начал с 1919 года красноармейцем, потом командовал взводом, эскадронам, а в боях с белополяками в 1920 году командовал уже полком и Отдельной башкирской кавалерийской бригадой. Если раньше, в царской армии, было лишь поговоркой: «Плох тот солдат, который не надеется стать генералом», то при советской власти в Красной Армии эта возможность — стать генералом — была для солдата реальной.

Во время гражданской войны я, к сожалению, никаких записей не вел, и многое теперь забылось. Забылись и имена многих отважных, прекрасных, преданных нашему общему делу людей, с которыми пришлось воевать. Потому расскажу лишь самые характерные из тех эпизодов, которые сохранились в моей памяти.

Это было в августе 1919 года. Деникинцы наступали на Киев с юга, а петлюровцы с запада. Кавалерийский эскадрон Крепостного киевского полка, в котором я находился, оборонял подступы к Киеву со стороны местечка и железнодорожной станции Бровары. Сначала мы оборонялись спешенными, а потом получили приказ атаковать залегшего перед нами противника в конном строю. Несмотря на то, что наш эскадрон был малочисленным, мы атаковали, да еще так удачно, что захватили позиции и взяли пленных. В этом бою моего коня прострелило двумя пулями. Вместе с ним и я упал в канаву, где находился белогвардеец, которого мой конь, падая, чуть не придавил; он тут же сдался. Лишившись коня, я снял седло, положил его на плечи пленному и приказал ему идти в указанном мною направлении. В то время потеря коня, да еще и седла, считалась для кавалериста большим несчастьем: за неимением запасных коней и седел это нередко кончалось тем, что кавалериста отправляли в пехоту. Но в этом бою у нас выбыло из строя людей больше, чем лошадей, а потому к вечеру я получил нового коня, еще лучшего.

На другой день я был послан для связи с соседом. Поскольку я уже имел немалый боевой опыт, то понял цену словам командира, когда он сказал: «Сосед должен находиться вон в том лесу или на его опушке».

Спокойно преодолев поле, я подошел к лесу с большой осторожностью. Когда вошел в него, то вскоре услышал песенку и, остановившись, нашел глазами того, кто ее пел. Это был человек в гражданской одежде, с винтовкой за плечами, с большим красным бантом на груди. На мой вопрос, где находится наша ближайшая пехота, он ответил: «Иди по опушке, там увидишь».

Проехав еще с полверсты, я увидел человек тридцать пеших. Они кричали и крепко ругались. Винтовки у них были за плечами, и казалось, они собираются куда-то идти и о чем-то не могут сговориться. Приблизившись, я различил слова: «А что ты нам сделаешь? Пошел ты... Без тебя обойдемся» и т. п. Не доходя до них шагов тридцати, я спросил: «Вы такого-то полка?» Получил дружный и утвердительный ответ. Последовал и встречный вопрос: «А тебе что надо?» Не отвечая на их вопрос, я спросил, кто из них командир. Ответил тот, кому группа возражала и угрожала. Он попытался подойти ко мне, но несколько человек его грубо удержали. Подозрение, возбужденное уже во мне отдельными услышанными фразами, заставило меня подготовиться ко всему. Это было не лишним: ко мне подошел один из наиболее активных крикунов, взял мою лошадь за уздечку и предложил мне сойти. Обнажив клинок, я категорически приказал: «А ну, оставь коня!» — и взмахнул клинком. Он увернулся от удара, а я поскакал к опушке. Мне несколько раз выстрелили вслед. Наутро мы узнали, что от левого соседа, находящегося в лесу, взвод пехоты перешел к белым, убив своего командира. Понятно, что меня ожидало, если бы я слез с лошади.

В те годы в Красную Армию проникали порой анархические, полууголовные, а то и прямо бандитские элементы, причинявшие много зла.

Когда мы отходили под напором денкинцев к Чернигову, в нашем эскадроне было много молодых рабочих, добровольно пришедших в армию и ранее в войсках не служивших. Они были готовы умереть за наше общее дело, но не умели как следует стрелять, рубить, ездить на коне, о строе и боевых порядках конницы имели смутное представление. Командир эскадрона и политрук у нас были людьми исключительной преданности делу революции, и любое затишье между боями они стремились использовать, чтобы научить своих подчиненных самому необходимому. Однажды командир эскадрона проводил с нами занятия. Оказавшись во время перерыва вместе с ним в стороне от строя, я сказал ему, что обучать лучше не так, как обучает он, а как написано в кавалерийском уставе. Командир выслушал меня внимательно и сказал: «Я в коннице не служил, устава конного не знаю. Попробуй позаниматься сам — я посмотрю, как у тебя получится». Занятие провел я. Командир пристально следил за мной и по окончании сказал: «Учил хорошо, впредь по конному делу заниматься будешь ты, а стрелковое дело я возьму на себя». Вечером он подозвал меня к себе и тихо спросил: «Слушай, да ты не из этих ли, не из бывших?..» Получив отрицательный ответ, он успокоился.

Наш эскадрон под давлением превосходящих сил белых вынужден был оставить село Ядуты и отошел в соседнее село. Командир получил нагоний от начальства и приказ вновь овладеть Ядутами. В то время я уже пользовался у него известным авторитетом, и он мне сказал: «Как же нам быть?»

Сначала надо было произвести разведку. Нас, желающих, оказалось трое. План был прост: кустарником, огибавшим село справа, выйти в его тыл и у работающих в поле крестьян узнать, сколько белых вошло в село. Когда мы вышли из кустарника, я спросил работавшего неподалеку крестьянина: «Сколько белых в селе?» Он ответил: «Дуже богато». Я называл цифры сто, триста, пятьсот человек, и ответ был один: «Бильше, бильше»... Вернувшись к товарищам, я поделился полученными сведениями. Они решили, что мы узнали достаточно, чтобы не атаковать село одним эскадром. Но мне пришла в голову мысль — проско-

чить село, ворвавшись в него с тыла, и лично убедиться, сколько это «дуже богато»; я рассчитывал, что противник не успеет сделать по нас и выстрела. Несмотря на то, что мой план был, можно сказать, бесшабашным, он был принят товарищами без спора.

К селу мы подъехали шагом, потом перешли на рысь, а по улице скакали га-лопом, обнажив клинки и громко крича «ура». Белых в селе было действительно очень много: одни сидели около хат, другие группами ходили по широкой улице. Но, увидя нас, они, как брызги из-под лаптей, разбегались во все стороны и скрывались в огородах и садах. Мы так и рассчитывали, что нас примут за головных отряда, атакующего село с тыла, и не посмеют на нас напасть.

Когда мы еще занимали это село, командир нашего эскадрона помещался в доме священника; мы были уверены, что и теперь в этом доме, лучшем во всем селе, находятся офицеры или штаб; у нас кружились головы от успеха, и мы решили довести его до максимума. Подлетев к половскому дому, мы с Николаем соскочили с лошадей, бросили поводья Сереже, вбежали в дом... и увидели лишь зады офицеров, удиравших в сад! Мы взяли по небольшому чемоданчику, а я прихватил еще револьвер, лежавший на столе.

Снова помчались по селу с криками, держа в левой руке поводья и чемодан, а в правой обнаженный клинок. Мы знали, что главная опасность ожидает нас на выходе из села в сторону наших войск: белые, находящиеся в охранении, должны быть готовы к открытию огня. Но их так ошеломила наша выходка, что мы проскочили мостик через ручей на окраине, не услышав ни одного выстрела, и только когда находились уже в трехстах метрах от села, стали раздаваться сначала отдельные выстрелы, а потом был открыт пулеметный огонь.

Невредимыми вернулись мы в свое село, да еще с трофеями. В чемоданах оказалось чистое белье, и это было очень кстати: запасного белья мы не имели и очень страдали от насекомых. Револьвер же, хотя и устаревшей системы, я сохранил до 1937 года, он был памятью о молодости и о нашей дерзкой выходке.

Вскоре после этого случая я стал командовать взводом.

Наш эскадрон влился в кавалерийский полк 60-й стрелковой дивизии. Однажды полк наступал на одно село, но успеха не имел. Несколько командиров собрались на дороге около командира полка Акулова, обсуждая создавшееся положение. Уже стемнело, надо было думать о ночевке: возвращаться назад было далеко, а ночевать в поле холодно. Командиры считали, что нужно еще раз попытаться захватить село.

Я предложил, при атаке села с фронта, атаковать одним эскадроном во фланг. Командир полка, покуривая трубку, подошел ко мне и спросил: «А ты кто такой?» — «Командир взвода третьего эскадрона», — ответил я. «Так ты говоришь — эскадроном во фланг?» Я ответил утвердительно. Тогда командир сказал, что село будем атаковать снова через час тридцать минут, и, обращаясь ко мне, добавил: «А ты попробуй со взводом пробраться и ударить во фланг или с тыла, да наделай побольше шуму».

В селе, о котором шла речь, одна улица шла с севера до церкви и две улицы шли от церкви на юг и юго-восток. Путь отхода противника лежал на юг. Когда полк начал атаку, наш взвод ворвался в ту часть села, которая ответвлялась на юго-восток; с криками и стрельбой мы захватили первые десять хат, тесня слабо сопротивлявшихся белогвардейцев к церкви. Через час противник оставил село, и мы в нем заночевали.

Трудно сказать, велика ли была помощь, оказанная нашим взводом в овладении селом, но с тех пор командир полка меня стал замечать, и вскоре я получил в командование эскадрон.

В конце 1919 года я был принят в партию. В то время я ничего не знал о марксизме, но знал хорошо, что Ленина глубоко ненавидят все богатые люди и их прихвостни, потому что Ленин всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализ-

мом, за создание светлого будущего для рабочих и бедняков. Я уже давно был убежден, что идти нужно только за Лениным, быть вместе с коммунистами. Но именно такое понимание высокого звания коммуниста заставляло меня откладывать вступление в партию. Я думал так: коммунист должен, как Ленин, жить для других, а я еще не дорос до этого, мне хочется жить и для себя, жить лучше, чем живу сейчас. Потом я понял, что если смогу когда-нибудь стать лучшим, чем я есть, то в этом мне поможет работа в одном строю с товарищами по партии, под руководством Ленина. И если придется умирать, то пусть уж я умру коммунистом.

Первого марта 1920 года сформированная из отдельных кавполков 17-я кавалерийская дивизия была переброшена под Новоград-Вольнск. Наш полк, получивший теперь наименование 100-го кавполка, занимал район деревень Катюха, Клара и села Андреевичи. Наш эскадрон оборонял село и железнодорожную станцию Андреевичи, потом под напором противника мы отошли в деревню Катюха.

Мне казалось, что 17-я кавалерийская дивизия должна восстановить положение, и я был очень рад, когда командир нашего полка обратился ко мне с просьбой подыскать проводника, хорошо знающего этот лесной и хуторной район. У меня на примете был человек, который ранее сам высказывал подобное желание, но он находился в селе Андреевичи, захваченном теперь белополяками. Я заявил, что могу привести его. Командир полка обратил мое внимание на сложность и опасность этого предприятия, но все же согласился.

В следующую ночь с одним красноармейцем я отправился в путь. Ночь была светлая, мороз небольшой. Шли лесом без дорог, по просекам и азимуту. Расстояние в семь километров прошли за два с половиной часа. Вышли на опушку леса и увидели село; ближе на бугорке, возле дороги, стояла мельница. Дальше мы пошли ложнойю. Когда мы очутились в двухстах шагах правее мельницы, то заметили около нее двух польских часовых.

В селе — ни звука. Нам нужно было выйти к церкви, так как около нее проживал нужный нам человек. В окнах хат, с виду получше других, горели тусклые огоньки. Заглянув в одно окно, я увидел спящих на полу солдат. Незаметно подошли мы к нужному нам домику и тихо постучали в окно. Только после третьего раза услышали шushingанье. Наконец мужской голос из хаты спросил: «Что надо?» Назвав его по имени, я сказал свою фамилию. Снова молчание, потом тихий разговор — и дверь открылась. Я вошел, а красноармейца оставил у двери в укрытии. Когда я объяснил цель прихода, жена моего знакомого заплакала: «Как это можно идти в ту сторону? Не пущу!» Муж ее уговаривал, потом замолчал и наконец сказал мне: «Хорошо, пойдём. А ты, жена, не плачь. Я скоро вернусь». Мы стали прощаться. Я сказал женщине, что мы дадим за услугу хорошего рабочего коня, но она хватала мужа за шею и, горько плача, повторяла: «Не пущу, не пущу». Я уже начал опасаться, что муж раздумает, но он коротко сказал ей: «Если будут спрашивать, скажи — ушел покупать лошадь. Да запри за нами дверь». Мы вышли.

Спустя двое суток дивизия выступила двумя колоннами. Наша колонна из двух полков, пользуясь указаниями проводника, удачно прошла лесными дорогами в тыл и уничтожила небольшой вражеский гарнизон в деревне, но выстрелы разбудили противника в соседних деревнях, и мы были встречены огнем. В то же время противник оказался за нашим правым флангом, а позади нас через болотистую долину тянулась гать, на которой остановился наш обоз на полозьях и на колесах.

Вой затянулся. Противник, получив подкрепление, стал нас теснить к гати. Положение становилось критическим. Я предложил командиру полка послать в тыл врага один-два эскадрона, чтобы отвлечь его внимание, а тем временем очистить от обоза гать и обеспечить себе отход. Командиры полка и дивизии этот план одобрили и дали мне еще один эскадрон.



Используя перелески, мы обошли фланг и пошли по тылам наступающих войск противника. Он почувствовал наше появление в своем тылу, болезненно на это реагировал и не только прекратил наступление, но и повернул главные силы на запад против нас. Наше положение было исключительно тяжелым: мы скакали узкой, растянувшейся колонной по дорожке между жердевыми заборами с обеих сторон. Противник, наступая, обстреливал нас справа во фланг с расстояния в триста — четыреста метров. Я повернулся, чтобы посмотреть на скачущих за мной, и, увидев лишь немного людей, подумал: где же остальные? В тот же момент почувствовал сильный удар в голову, потекла кровь из уха и по щеке. Я даже не заметил, как выпал клинок из моей руки. Я только понял, что ранен в голову, что могу скоро потерять сознание. Грязной полкой шинели зажал ухо и щеку, но продолжал скакать. Мне казалось, что жить осталось минуты, и я подумал о тех, кто был со мной: не выбраться им без меня из тыла противника, погибнут они... Я громко сказал тому, кто был ко мне ближе других: «Видите впереди высокие деревья? Скачите до них, круто поверните налево и держитесь на восок, тогда выйдете к своим». После этого мне стало легче на душе. Ко мне подскакали двое красноармейцев, готовые подхватить меня, если буду падать. Но мы уже достигли деревьев, а я все еще держался в седле. Нас перестали обстреливать. Мне помогли сойти с лошади, кое-как перевязали, и мы стали поджидать оставших.

Выслав дозор вперед по нашему пути, мы тронулись на восток и через три часа присоединились к своим. Возвращаясь, я был озабочен большими потерями в двух пошедших со мной эскадронах и ругал себя за то, что не отпустил вовремя проводника. Когда подъехал к командиру полка, то в первую очередь спросил о проводнике. Командир ответил, что проводник отпущен домой с обещанной ему лошастью. Потом, доложив о своих действиях и больших потерях, я с великим счастьем узнал, что временно подчиненный мне эскадрон и часть моего эскадрона, которых я считал погибшими, вернулись, попав под сильный обстрел, обратно и уже более часа находились в полку. Комполка сообщил, что наш удар по тылам был весьма удачным: белополяки прекратили наступление и мы получили возможность спокойно отойти. Потерь в двух эскадронах было, против моих ожиданий, немного — один убитый и пять раненых, в том числе я. Мое ранение оказалось сквозным: входное отверстие находилось в правой щеке ниже глаза, а выходное пришлось за ухом, но кость не задело, самочувствие у меня было бы хорошее, если бы не большая потеря крови.

Лежа на госпитальной койке, я много раз вспоминал момент, когда был ранен. Опять война заставляла меня размышлять! Почему, ожидая смерти, я не испытывал сожаления, что расстаюсь с жизнью? Почему не вспомнил о родителях и родном доме, о самых близких сердцу людях?

По-видимому, мысль о тех, кто со мной вместе сражался и мог погибнуть от пуль врага, настолько мной тогда завладела, что уже не оставалось в душе свободных сил, чтобы думать о себе. Кроме того, очевидно, я думал в ту минуту именно о самых близких моему сердцу людях, потому что в бою нет людей ближе товарищей по оружию.

А может быть, мне удалось уже хоть чему-то научиться, принадлежа к партии Ленина?

Я добросовестно проверял себя: что нового появилось во мне? И хотя ничего определенного я на этот вопрос ответить не мог, самая мысль о том, что я, Санька Горбатов, коммунист, что я принадлежу к партии Ленина, давала мне удовлетворение.

В житомирском госпитале я пролежал две недели и 1 апреля вернулся к себе в полк, который находился в селе Каменный Брод, юго-восточнее Новоград-Вольнска.

После отхода за Днепр 17-я кавалерийская дивизия была расформирована, за ее счет были сформированы два кавалерийских полка и переданы: один — в 7-ю стрелковую, а другой — в 58-ю стрелковую дивизии. Я был назначен заме-

стителем командира кавполка 58-й стрелковой дивизии, а фактически им командовал, поскольку командир полка товарищ Акулов длительное время болел. Наш полк оборонял восточный берег Днепра южнее Дарницы, почти до Триполья.

В первые дни июня, когда Первая конная армия и фастовская группа перешли в наступление на правобережье, а севернее Киева был форсирован Днепр 7-й стрелковой дивизией и Башкирской кавбригадой, наш кавполк получил приказ командира 58-й стрелковой дивизии Княгницкого форсировать Днепр между Киевом и Трипольем. Долина реки в этом районе была шириной до трех километров, поросла кустарником, ее пересекало множество протоков, наполненных вешней водой. Западный берег реки был командным, то есть высоким.

Мы отправились с комиссаром полка Шумиловым, начальником штаба и командирами эскадронов на рекогносцировку. Проехали по берегу и пришли к единому мнению: форсировать реку в конном строю невозможно из-за быстрого течения, не говоря уже о том, что за рекой надо будет еще преодолевать протоки, а полк полностью утратит боеспособность, ибо до того берега доплывут лишь единицы. Наше мнение было доложено командиру дивизии. Последовал короткий, но ясный ответ: «Под страхом расстрела командира полка форсировать реку. Княгницкий». Мы снова выехали к реке и еще больше утвердились в своем мнении. Но приказ есть приказ! Что же делать?

Когда-то я переплывал Волгу у Кинешмы. Конь у меня был лучше других. Я решил сделать пробу на себе и своей лошади: уж если мне не удастся переплыть, то другим тем более это будет не по силам. «Если утону,— думал я,— комдиву некого будет расстреливать, а остальные спасутся от верной и напрасной гибели». Место форсирования было выбрано там, где ширина реки была примерно метров четыреста, а в трехстах метрах от берега из реки выступала длинная песчаная коса, на которой можно было сделать передышку. Я решил плыть налегке: разделся донага, с лошади снял седло. Как только лошадь, потеряв землю, поплыла, я спустился с нее, левой рукой держась за гриву, а в правой держал повод. Отплыв метров двадцать пять, мы очутились в настоящем водовороте. На воде вились воронки, лошадь течением отбросило, она поплыла против течения, сильно забив передними ногами. Опасаясь быть ушибленным, я отпустил повод. Воспользовавшись этим, лошадь поплыла к своему берегу и, выйдя на него, отряхнулась и заржала от радости.

«Поплыву все-таки на правый берег,— решил я,— посмотрю своими глазами, что он и прилегающая к нему местность собой представляют».

Весной того года я еще ни разу не купался и плыл первый раз. Вода оказалась довольно холодной, и это, а также желание поскорей попасть на песчаный остров и передохнуть заставляло меня усиленно работать руками и ногами. При малейшей попытке отдохнуть меня быстро относило вниз по течению. Чтобы попасть на песчаную косу, я вошел в воду на триста метров выше ее, но просчитался и, не проплыв и половины расстояния, поравнялся уже с головной частью косы. Меня начал вдвойне пробирать холод от боязни, что мне не попасть на остров для передышки. Однако чем усиленней я работал руками, тем больше уставал, а когда переставал работать руками, то еще быстрее проносился мимо песчаной косы. Вот я уже поравнялся с ее концом, а меня отделяло от него еще метров пятьдесят... Меня охватил дикий страх: на отмель я не попадаю, а до берега не доплыву, потому что выбился совершенно из сил и к тому же одну ногу начала сводить судорога, которой у меня раньше никогда не бывало. Трудно описать безнадежность, которую я пережил, когда смотрел на песчаную косу, делая последние, вероятно совсем ненужные, редкие взмахи усталыми руками.

На этот раз я очутился перед неизбежной и близкой смертью один на один и переживал свой последний час совсем по-иному, чем тогда, под Новоград-Волыньским, когда за мной скакали товарищи. Оглядываясь назад, я видел красноармейцев, командиров, которые ходили по берегу и, конечно, не знали о моих предсмертных мучениях и переживаниях. Вопреки своей всегдашней уверенности, что

на войне меня не убьют, я думал теперь, что вот приходится умирать так глупо и рано, и горько пожалел родителей, которые уже лишились двух сыновей, а теперь будут оплакивать меня, третьего.

Я чувствовал, как силы меня покидают, и вдруг — вот радость-то! — ноги коснулись песчаного дна, а вода не закрыла мне рта: под водой тянулась песчаная отмель. Как только я почувствовал землю, боль от судороги в ноге стала утихать, и, хромя, я пошел в сторону песчаного острова, а дойдя до него — повалялся на согретый солнцем песок.

Сердце радостно билось от сознания, что я жив. Чувствуя возвращение сил, я все-таки решил не плыть дальше к тому берегу, до которого было всего метров сто — сто пятьдесят, а вернуться обратно.

Мое внимание привлекли невнятные выкрики товарищей с нашего берега. Они размахивали руками, показывая вниз по течению, в сторону Триполья. Присмотревшись в том направлении, я увидел сначала дымок, а потом и броневой катер поляков, который поднимался к нам. К этому времени я уже отдохнул и согрелся и теперь находился в более выгодных условиях: берег будет у меня все время перед глазами, он не строится, как песчаный остров. Я плыл спокойно влоботорота по течению, не спеша и, к моему удивлению, доплыв до своего берега, почувствовал, что еще остался запас сил.

Я быстро оделся, и мы скрылись в зарослях. Польский катер подошел к месту, где мы перед этим находились, солдаты сошли на берег и открыли из пулемета стрельбу по кустам, но без всякого результата. Потом они вернулись на катер и ушли в Триполье.

Когда я донес командиру дивизии обо всем случившемся днем, он больше не настаивал на форсировании реки.

До 19 августа 1919 года Отдельная башкирская бригада (27-й и 28-й кавполки) входила в состав колчаковской армии и находилась в селе Туркмен, в районе Верхне-Уральска. 19 августа революционно настроенные солдаты и офицеры арестовали контрреволюционных офицеров и под командой товарища Муртазина перешли на сторону Красной Армии. В короткое время башкиры сумели зарекомендовать себя стойкими бойцами за советскую власть.

Первый башкирский кавполк также был сформирован колчаковцами. Он перешел на сторону Красной Армии в начале 1919 года, уничтожив офицеров, не согласных служить народу. Позднее этот полк был переброшен в район Петрограда, где хорошо себя показал, отважно сражаясь против Юденича, и был награжден от Петрограда почетным Красным знаменем.

Отдельная башкирская кавбригада двухполкового состава в апреле месяце 1920 года была переброшена с Восточного фронта в район восточнее Киева; в тот же район из Петрограда 15 мая был переброшен 1-й башкирский кавполк, влившийся в бригаду третьим полком.

Двадцать восьмого мая бригада ликвидировала крупную банду севернее Киева и за ее счет значительно пополнилась конским составом. 1 июня форсировала Днепр, овладела местечком Горностайполь и рядом деревень. Потом, совместно с 7-й стрелковой дивизией, подчиняясь ее исключительно смелому и способному командиру Голикову, успешно наступала, форсируя реки Случь, Горынь, Стоход и другие, а 15 августа овладела городом Устилуг на реке Западный Буг.

Вскоре после овладения городом Ковель я был назначен командиром Отдельной башкирской кавалерийской бригады.

Бригада далеко оторвалась от стрелковых соединений, форсировала Западный Буг, овладела Грубешовом. Поляки, спешно покидавшие город, оставили на винокуренном заводе большой запас спирта и водки. Об этом я узнал по громадному количеству пьяных, бродящих и валяющихся на улицах. Прибыв на двор винокуренного завода, я увидел ужасную картину поголовного пьянства. Шум, крик, ругань стояли просто ошеломляющие. Люди, забыв обо всем на свете, плотно облепив огромные чаны, отталкивая друг друга, всеми способами доставали спирт.

С большим трудом склад и двор завода очистили от людей, заперли и к ним поставили караул. Но через час караул был уже пьян, а спирт тащили не только красноармейцы, но и городские жители. Пришлось открыть донные отверстия и спустить спирт и водку на землю.

Через три-четыре часа гарнизон был пьян, даже командиры ходили очумелые и сонные, — мне казалось, что я один остался трезвым.

Я отправился на городскую каланчу, чтобы с нее посмотреть, не подходит ли противник с какой-либо стороны. С большим нетерпением ожидал, когда испарятся винные пары из голов моих подчиненных. Никогда часы не казались мне такими длинными, как в этот раз.

К счастью, противник не появился. Больше в бригаде не было таких случаев. Наоборот, башкиры всегда показывали высокую дисциплинированность и в бою и в быту. Силен, однако, зеленый змей!

На короткое время фронт стабилизировался. Наши войска удерживали плацдарм за рекой Западный Буг, западнее Устилуга. Два полка нашей бригады занимали оборону, а третий полк находился в резерве. Правее нас оборонялась пехота.

Получили приказ — с утра следующего дня перейти в наступление, овладеть населенными пунктами, находившимися в двадцати пяти километрах от нас. В этот день мы продвинулись на восемь километров, но получили уведомление, что пехота еще не готова к наступлению и оно переносится на утро следующего дня. Не желая оставаться с открытыми флангами, мы на ночь вернулись в исходное положение.

На следующий день наступали в том же боевом порядке.

Через тридцать минут после того, как скрылись последние эскадроны двух полков, выехали и мы с комиссаром Кузьминским. С нами был комендантский взвод из восемнадцати всадников. Поднявшись на довольно крутой берег Западного Буга, мы направились на северо-запад, чтобы пересечь путь третьему полку и с ним следовать за двумя передовыми полками. Навстречу нам показались тридцать всадников, шедших на нас слева. Шли они разомкнувшись, рысью, а увидя нас, перешли на шаг. Нас удивило появление всадников, идущих на восток в боевом порядке. Всмотревшись, узнали в них поляков. Посчитали их за разведку противника, проникшую в наш тыл, и решили атаковать, хотя нас было меньше: ведь противник-то в нашем тылу! Я скомандовал: «Взвод, строй фронт, шашки вон, за мной в атаку марш, марш!»

Поляки остановились. Когда же мы были от них в двухстах метрах, то увидели, что вслед за ними из балки выходит большая колонна всадников. Тогда я скомандовал: «Налево, кругом!» — и мы стали отходить на галопе в село, из которого вышли.

Уходя, я решил доскакать до середины села и оттуда дорогой, идущей на север, проскакать в деревню, где находился 3-й полк, чтобы с его помощью ликвидировать неприятеля в нашем тылу. Дорога эта проходила по узкой промоине с крутыми берегами. Нас преследовало человек семьдесят. И вот, к нашей радости, мы увидели всадников сорок, едущих нам навстречу шагом. Я подумал: вероятно, в полку уже все стало известно и это его передовое подразделение идет нам на выручку. Но идущие нам навстречу конные, видя нас и скачущих за нами во весь опор поляков, посчитав очевидно, всех за своих противников, испугались. Назад повернуть они не могли и постарались дать нам дорогу. Пытаясь свернуть с нее, они лезли на крутые берега узкого оврага, некоторые даже падали с лошадей. А в тот момент, когда мы уже проскакивали мимо них, я узнал не своих башкир, а растерявшихся поляков!

Мы оказались в поле. Комендантский взвод с комиссаром Кузьминским направился на восток, в сторону Устилуга, а я с ординарцем — в ту деревню, где находился наш полк. Большая часть поляков преследовала комиссара, а человек пятнадцать — меня. После продолжительной скачки наши кони уменьшили ход, и я с удовольствием увидел выходящий из деревни полк и выкаченные пулеметы,

Однако они стали обстреливать все перед собой — и поляков и меня. Только когда поляки отстали, а я продолжал скакать к деревне, стрельба прекратилась. Велико было смущение командира полка, когда он узнал своего комбрига!

Поле было быстро очищено теми из наших кавалеристов, у которых были лучшие лошади, но в это время нам вышла навстречу колонна противника, и наши вырвавшиеся вперед кавалеристы начали отходить. Стоя на бугре, я видел всю эту картину. По данному мною сигналу все наши стали собираться ко мне и строиться в одну шеренгу, лицом к противнику, всего до двухсот пятидесяти всадников. Старший из польских офицеров тоже собирал к себе своих, и у него оказалось примерно такое же количество конников, построенных в одну шеренгу. Я и польский офицер находились впереди своих всадников, нас разделяло расстояние в два-три десятка шагов, а шеренгу от шеренги — в пятьдесят шагов. В тишине были слышны только команды, моя и польского офицера: «Вперед, в атаку», да еще позвякивание стремян и обнаженных клинков при движении разгоряченных коней. Но ни та, ни другая шеренга не решалась броситься в атаку первой. Я не исключал возможности, что польскому офицеру удастся воздействовать на своих раньше, чем мне, и начать атаку, и я хорошо понимал: кто бросится первым — у того полная победа, а кто опоздает — тот будет бит...

Мы оба повторяли свои команды уже охрипшими голосами, а шеренги не двигались. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, но я вдруг поступил очень странно — поднял клинок кверху и вложил его в ножны, не спуская глаз с польского офицера. Я уловил на его лице довольную улыбку: вероятно, он посчитал, что имеет дело с бывшим царским офицером, антисоветски настроенным, и подумал, что я подготавливаюсь к сдаче в плен. Я же выхватил револьвер, дал шпоры коню, выстрелил в офицера и закричал: «Вот же тебе, пся крив!» Помню, я выстрелил в него три раза. Офицер быстро повернул свою лошадь на задних ногах и стал удирать от меня. Его примеру хотели последовать все, кто были за ним. Но если этот маневр удался офицеру и фланговым, то стоящим в сомкнутом строю всадникам повернуться было невозможно. В то же время на них бросилась наша шеренга. Противник, всецело занятый тем, чтобы повернуть лошадей, почти не сопротивлялся и оставил около двухсот человек пленными, в том числе двух офицеров. Таков был результат трех револьверных выстрелов!

В наших войнах 1918—1920 годов действия кавалерийских отрядов, подобные здесь описанным, были нередки; они случались и во время больших массированных наступлений Первой конной или Червоного казачества как частные эпизоды. Теперь этого рода стычки всадников кажутся седой стариной...

Память невольно отбирает из прошлого то, что так или иначе, какой-то стороной вошло в мою последующую жизнь. Два случая, две мои ошибки я вспоминал через много лет, когда сам очутился в положении человека, считающего себя жертвой чужой ошибки.

В штабе бригады командиром разведки был Виноградов. С первого взгляда он мне не понравился: рыжие волосы, одна нога короче другой. Он окончил Гатчинское военное училище еще при царе, был грамотным и умным военным, обязанности свои выполнял добросовестно — но при всем этом я почему-то относился к нему с недоверием. Однажды при отступлении, после ночевки я с пятью всадниками уходил из села последним; за мной в четырех километрах следовал лишь разъезд. На дороге за селом я увидел прихрамывающего человека, идущего с чемоданом в руке. Я узнал Виноградова. У меня мелькнула мысль: «Хочет попасть в плен к полякам! Только не рассчитал, не знал, что я остался позади него...» Меня взяло такое зло, что даже выругать его или плюнуть в его сторону не хотелось, и я подумал: «Пусть остается, одним гадом будет меньше!» Проезжая мимо, я не сказал ему ни слова, но обратил внимание на его смущенный вид.

На следующей ночевке я вдруг увидел его. Выяснилось, что он спал в хате, где остановился, а проснувшись, узнал, что все уже ушли, и заторопился дого-

нять части. Мне было стыдно встречаться с ним: ведь я проехал мимо него молча, не захватил даже его чемодан, нести который ему, хромоту, было очень трудно. А главное, я заподозрил его в таких подлых намерениях... Этот мой поступок долго не давал мне покоя.

Задумался я и над тем, что иногда первое обманчивое впечатление может засесть надолго, даже после того, как ты понял свою ошибку. Работая с Виноградовым вплоть до 1923 года, я видел его старание и добросовестную службу. Но вот он уехал в отпуск в Башкирскую республику, а по возвращении в ту же ночь был арестован и увезен в Жиготмир. Там, обвиненный в шпионаже, он сидел пять месяцев в камере смертников. Особый отдел сообщил мне, что Виноградов во время отпусков каждый раз бывал в Польше и, очевидно, работает на Пилсудского. У меня вновь шевельнулась мысль, что вот ведь — первое впечатление было верным. А еще через месяц, вернувшись в полк, товарищ Виноградов доложил мне, что был арестован по ошибке, и рассказал следующую историю. Когда он возвращался из отпуска, вместе с ним в купе ехал какой-то человек, с которым он в дороге познакомился и играл в шахматы. Этот новый знакомый оказался работником ЧК, а житомирская ЧК давно разыскивала Виноградова с таким же именем и отчеством. И вот, просидев пять месяцев, Виноградов был вызван к следователю. Войдя в комнату, он увидел там, кроме следователя, какого-то гражданина, который, пристально посмотрев на вошедшего Виноградова, сказал: «Нет, это не он, того я знаю хорошо». Через трое суток Виноградова отпустили.

А вот другой случай и совсем как будто иной — но чем-то близкий к рассказанному.

В 1920 году, во время одного большого привала в лесу, мне доложили, что поймали молодого поляка. Когда от него потребовали объяснений, почему он находится в этом лесу, молодой человек сказал, что искал пропавшую корову, что он крестьянин села, которое находилось от нас в трех километрах. На мой вопрос, сколько лет живет он в названном селе, он ответил: всю жизнь. Но когда я ему предложил назвать окружающие села, он не смог назвать ни одного. Желая его притупить, я сказал бойцу: «Расстрелять!» Тут же меня отвлекли другим делом. Через несколько минут я вспомнил о задержанном. Зная дисциплинированность башкир, я вдруг испугался, как бы они действительно его не расстреляли, и приказал вернуть поляка. Но в это время я услышал выстрелы, и мне доложили, что «шпион расстрелян». На девяносто девять процентов я был уверен, что это шпион. Но несмотря на то, что за годы войны мне приходилось своей рукой убивать, колоть, рубить, эта нехватка одного процента для полной уверенности заставила меня сильно пожалеть о моем неосмотрительном приказании. С тем же чувством я вспомнил о нем и восемнадцатью годами позднее.

Наша бригада участвовала в последних боях с белополяками.

Нам стало известно, что с 24 часов 18 декабря 1920 года начнется перемирие и будет зафиксирована линия, занимаемая нашими войсками и войсками противника. Накануне мы наметили себе план действий с целью захватить как можно больше территории и к вечеру 17-го левым флангом продвинулись на тридцать пять километров до города Старо-Константинов, но в это время на правом фланге поляки перешли в наступление и отгеснили нас на несколько километров. К ночи положение было восстановлено. На следующий день утром, выполняя приказ, я отправился в местечко Любар к польскому генералу для установления линии, занимаемой обеими сторонами. При мне были два политрука эскадронов в качестве ординарцев и трубач с белым флагом. У линии польской обороны меня встретил польский офицер и проводил на квартиру генерала.

Оставив сопровождающих у ворот, я вошел в небольшой одноэтажный дом. Сначала поздоровался за руку с генералом, а потом и с его двумя денщиками, возившимися с большими генеральскими чемоданами. При этом генерал сделал мне замечание, сказав: «Здесь не место агитировать за советскую власть».

Когда стали устанавливать линию, занимаемую войсками, генерал упорно на-

стаивал на том, что их часть находится в восьми километрах восточнее Любара. «Да, она была там до пятнадцати часов, — сказал я, — но теперь эта часть, взятая нами, находится уже в ста километрах от Любара и шагает на Киев в качестве пленных». Генерал спросил, сколько захвачено нами пленными. «Более пятисот человек да много убитых», — не задумываясь ответил я. Генерал стал что-то подсчитывать, а я в это время ругал себя за то, что, называя количество пленным, преувеличил его зачем-то. Но, подумав, генерал согласился. Моя и его карты с обозначением линии фронта были нами подписаны.

На другой день рано утром прибежал ко мне запыхавшийся старшина комендантского взвода и взволнованно доложил: «Товарищ комбриг, в нашем селе поляки. На вопрос, сколько их, он ответил: «Два вооруженных». Я приказал привести их ко мне. Поляки рассказали, что их часть трое суток находится в лесу, неподалеку от нас, офицер прислал их узнать, началось ли перемирие.

Один из полков бригады был поднят по тревоге, с ним я направился в указанный лес. На поляне увидел много поляков, оружие их было составлено в козлы, одни ходили группами, другие завтракали, а третьи грелись у костра. Я приказал старшему офицеру сложить оружие на их повозки, построиться и следовать с нами. В селе, проходя мимо меня, офицер скомандовал «смирно», солдаты прошли, как на параде, повернув головы в мою сторону, а потом на ходу, к великому нашему удивлению, довольно стройно спели «Интернационал». Очевидно, это были те, кого мысленно подсчитывал польский генерал.

За бои с белополяками я был награжден орденом Красного Знамени.

После окончания войны с Польшей наша бригада была переведена южнее для борьбы с петлюровцами. Выйдя в район города Литин, мы были подчинены прославленному в боях, способнейшему из кавалерийских начальников товарищу В. М. Примакову, который командовал Первым конным корпусом. В состав корпуса входила 8-я Червоно-казачья дивизия и начавшая формирование 17-я кавдивизия. Поскольку в 17-й кавдивизии был штаб дивизии и один полк, нашу бригаду товарищ Примаков подчинил командиру 17-й кавдивизии.

Покончив борьбу с петлюровцами, наша бригада вышла из подчинения Примакову. Я был назначен начальником по ликвидации банд в трех уездах — Тульчинском, Брацлавском и Гайсинском, а весной 1921 года, выполнив задачу, бригада была реформирована в отдельные эскадроны и поставлена на польскую и румынскую границы. Я находился при 15-м эскадроне, получив командование им, в городе Каменец-Подольский. Отдельные эскадроны оперативно подчинялись командирам погранотрядов.

В то время начинали носить знаки различия. Начальник погранотряда носил ромб и, увидев меня без знаков различия, приказал их пришить. Следующий раз он увидел меня с двумя ромбами и сделал замечание: неужели я не умею отличить ромб от квадрата? Я ответил шутя: «Ну, не все ли равно? Раз уж пришел, перешивать не буду». Он повысил голос и потребовал, чтобы я пришел себе три квадрата. Тогда я сообщил ему, что командиру отдельной бригады положено носить два ромба. Мы посмеялись и стали хорошими друзьями.

В конце ноября 1921 года был получен приказ: все эскадроны башкир снять с границы и вновь влить в 17-ю кавдивизию, позднее переименованную во 2-ю кавдивизию Первого конного корпуса Червоного казачества, которой командовал Д. Шмидт. За лето 1921 года прошла большая демобилизация, а потому из башкир был сформирован 12-й Башкирский кавалерийский полк, и я был назначен командиром его, остальными доукомплектовали 7-й кавалерийский полк.

Башкирской бригадой было проведено за время гражданской войны много удачных боев. Многие из башкир отдали свою жизнь за дело революции.

К сожалению, я не вел тогда никаких записей и забыл имена и фамилии наших отважных людей. Но сильно врезались в мою память исключительно смелый, инициативный командир 27-го кавполка Файзуллин Хусаметдин Шаранович; командир 1-го кавполка Ашранов — неторопливый, расчетливый и бесстрашный; командир полка Мартазин Ибрагим, который погиб смертью храбрых еще до моего при-

бытия в бригаду, но знакомый мне так, как будто я с ним встречался — столько я слышал хорошего о нем от многих башкир; Гасапов Усман — волевой, честный и боевой командир. Отличной репутацией пользовались политработники — комиссар бригады Кузьминский, комиссары полка Кучаев и Комалов Гали. Вся бригада хорошо знала отважных и преданных нашему делу командиров эскадронов Ишмуратова, Заянчурина, Казанбаева, Гафурова. А сколько еще было людей, фамилии которых я не могу припомнить? Многие из них уцелели от вражеских пуль во время войны, но погибли в 1937—1938 годах...

По окончании войны и борьбы с бандитизмом я не думал, что останусь в кадрах Красной Армии. Считал, что в мирное время найдутся командиры, более грамотные и знающие военное дело лучше, чем я. Но волею судеб и партии я остался в кадрах и службу до сих пор.

## 6. В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Первого марта 1921 года за № 504 был объявлен приказ Реввоенсовета Республики, в котором говорилось:

«1. В основу оценки соответствия лиц комсостава с занимаемыми должностями и представления к продвижению... ставить боевые качества и преданность советской власти. Если аттестуемый начальник в своей настоящей должности был способен управлять своей частью при боевой обстановке революционной войны и при этом проявил себя преданным работником советской власти, то это вполне определяет как его пригодность к занимаемой должности, так и возможность продвижения на высшую...»

2. С особым вниманием относиться к оценке тех начальников, которые выдвинулись на командные должности из красноармейской среды во время революционной войны... они особенно ценны для армии. Если теоретические познания в военном деле этих лиц невелики, то необходимо стремиться поднять их военное образование...

3. Не допускать, чтобы лица комсостава, не имеющие боевого стажа, но опытные в деле обучения войск... получали бы преимущества перед начальниками, проявившими особые способности управления войсками в боевой обстановке...»

В соответствии с этим приказом, подписанным Э. Складанским и С. Каменевым, я был оставлен в кадрах армии и назначен командиром полка.

В 1912 году, когда я начинал службу солдатом, полк располагался в казармах и конюшнях, подрядчики доставляли на полковой двор сено, дрова, на склады регулярно поступало продовольствие, обмундирование, имелись манежи, столовые, тиры, стрельбища, для офицеров — квартиры; учеба шла по твердо установленным планам и порядкам.

В 1922 году полк был расквартирован по деревням и все прочие условия были соответственными; это требовало от командира несравненно большей работы. Тревожило меня и то, что в школе я учился всего три зимы, а мои соседи, командиры полков, имели среднее или хотя бы незаконченное среднее образование. Правда, некоторое свое преимущество перед ними я видел в том, что мне уже тридцать лет и десять из них проведены на военной службе. Значит, надо учить своих подчиненных тому, что знаю сам, и по-настоящему учиться самому, решил я.

Не все шло гладко — при соревнованиях на фигурную езду, на высшую выездуку лошади мы уступали первенство соседям, и мне приходилось слышать от командира дивизии: «Горбатов не любит манежа, он увлекается полем», — это было даже записано в моей аттестации того времени; но я упорно не считал это недостатком и получал полное удовлетворение при разборах полевых учений, проводимых старшими начальниками.

Зимой 1925 года меня вызвали в Москву, на совещание высших кавалерийских начальников. Сидя в купе мягкого вагона, я через открытую дверь увидел



проходившего по коридору высокого, плотного человека в военной шинели. Мне показалось в его фигуре что-то так давно и хорошо знакомое, что даже холодок по спине пробежал. Я быстро встал и вышел, чтобы увидеть этого человека в лицо. Да, я не ошибся — это был он, бывший штабс-ротмистр Свицерский, который так безжалостно обучал нас, молодых солдат, в 1912—1913 годах.

Когда я напомнил ему о себе, он сказал:

— Мне очень приятно возобновить с вами знакомство. — И, показывая на мои знаки различия, такие же, как у него, добавил: — Рад видеть, что учение пошло вам впрок.

— Да, ваша учеба не пропала даром, за это вам спасибо, — ответил я.

Он был председателем ремонтной комиссии, закупающей для армии лошадей в наших республиках и за границей, и ехал на то же совещание, что и я. Узнав, что я командир кавалерийского полка, он спросил, нет ли у меня претензий по поставляемому нам конскому составу, и к слову заметил, что комиссаром в ремкомиссии работает у него Силиндрик, член партии с 1905 года. Я ответил, что Силиндрика хорошо знаю, он когда-то был в нашей дивизии комиссаром одного из полков, а претензий к ремкомиссии не имею.

После этого Свицерский стал часто заходить в наше купе. Иногда казалось, что он чувствует себя неловко — вероятно, пытался вспомнить, не был ли я одним из тех, кого он избивал, и боялся, как бы я не рассказал об этом в Москве. Однако, встретившись на совещании с Силиндриком, я сказал, что знаю Свицерского по 1912—1915 годам, но о его отношении к солдатам умолчал. Силиндрик отозвался о Свицерском очень хорошо, сказал, что однажды в Германии Свицерскому предлагали остаться там директором государственного конного завода, соблазняя большим окладом, и что он ответил на это так: «Когда была революция в России, то некоторые из наших офицеров бежали к вам. А когда она будет у вас, куда побежите вы? Нет, я одну революцию пережил, с меня хватит».

На третий день совещания Свицерский пригласил меня к обеду, и я согласился: мне было интересно посмотреть, как он живет. В старые годы среди солдат ходили слухи, что он очень богат.

Теперь он жил с женой в двух комнатах, где было тесно от мебели и сундуков, нагроможденных до потолка. «Вероятно, уплотнили», — подумал я.

За столом все было хорошо, пока я не отказался пить вино, несмотря на то, что хозяин произнес тост за Красную Армию и за мое здоровье как одного из ее представителей. Он никак не хотел поверить, что военный человек не может выпить вина, и мой отказ принял как личную обиду. Пришлось попросить его поверить, что я действительно не пью не только вина, но даже пива, и в то же время признаться, что сперва чувствовал к нему некоторую настороженность, так как помнил его чрезмерно суровое отношение к солдатам.

— Но поверьте, — сказал я затем, — меня очень обрадовало то, что я узнал о вашей добросовестной работе при советской власти. Считаю, что никто не вправе помнить то, чего вам не хотелось бы помнить из прошлого, и что советская власть не останется у вас в долгу.

Он встал и крепко пожал мне руку. Разговор сразу стал непринужденным.

Я сказал ему, что солдаты считали его очень богатым человеком и меня удивляет, почему он не за границей. Он чистосердечно ответил:

— Мой отец был патриотом и держал деньги только в русских банках, а вы знаете, что получилось с этими деньгами. А главное, мы все время жили в Москве. Если бы оказались на юге, то, возможно, и совершили бы ту же глупость, что и другие, и разделили бы горькую участь эмигрантов.

В те годы все военные учились. Одни — в академии, училищах, на курсах, другие использовали для учебы время, положенное для отдыха, — это те, кого начальники не отпускали на учебу: «Подожди, чего тебе учиться, я за тебя неученого и двух ученых не возьму...» Не отпускали и меня.

Давно это было, но я все еще вспоминаю те времена — исключительно дружную и слаженную работу всего состава полка, начиная с младшего командира и кончая самыми высокими начальниками. С каким энтузиазмом боролись все за высокие показатели в учебе, как мало было даже самых незначительных проступков, а уж о преступлениях редко и слышно было! Гауптвахта по большей части пустовала, военному трибуналу судить было некого. Тогда не старались побольше наказывать, чтобы поднять дисциплину, а все внимание отдавали созданию моральных условий, предупреждающих проступки, и этим занимались все — не только командиры и политработники, но и члены трибунала, следователи, врачи, каждый член партии и комсомолец. Помню, как сильно я переживал малейшее указание командира дивизии или других начальников на тот или другой недостаток в работе полка, как лишался аппетита и сна, думал, почему же я не смог заметить этот недостаток сам.

Наконец осенью 1925 года послали меня на кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасск, на отделение командиров полков. Начальником курсов был старый знакомый, А. Г. Голиков, тот, что во время войны с белополяками командовал 7-й стрелковой дивизией и той конной группой, в составе которой я командовал полком, а потом Отдельной башкирской кавалерийской бригадой. Окончив курсы, я вернулся в свой полк.

Много раз нас привлекали к военным играм в округе, и я всегда удивлялся молодости командующего округом И. Э. Якира, его умению так высказываться на разборах, чтобы ни у кого не закружилась голова от успеха и чтобы не был подорван авторитет кого-либо из командиров. Говоря о правильном решении, он, бывало, не только отметит, что оно соответствовало сложившейся обстановке, но укажет и на неиспользованные возможности; разбирая решения, не удовлетворившие его, всегда постарается найти в них хоть крупинцы положительного, приведет примеры других возможных решений. Веру в свои силы у подчиненных он всегда оберегал. Возвращаясь с этих игр, я всегда чувствовал себя обогащенным новыми знаниями.

В 1928 году, вскоре после киевских маневров, в которых я участвовал в качестве командира отдельно действующего кавалерийского полка, был получен приказ о назначении меня комбригом в 3-ю кавдивизию. Это назначение мне было приятно потому, что я уже семь лет прокомандовал полком, мне уже казалось, что этого достаточно.

Осенью 1930 года я снова был послан на учебу, на этот раз в Москву, на Высшие академические курсы. Учили там основательно, и мы жалели, что курс длится всего десять недель. После окончания его, возвращаясь в дивизию, мы рассуждали о том, как многому можно научиться за год, а тем более за три года в академии и как счастлив тот командир, кому выпадает эта возможность.

В начале 1933 года меня назначили командиром 4-й кавалерийской дивизии, штаб которой дислоцировался в городе Луцке, но через три дня после того, как я прибыл туда, мне позвонили из Главного управления кадров: получилась досадная ошибка — я назначен не в эту дивизию, а в 4-ю Туркестанскую горнокавалерийскую, которая находится в Туркестане. Через семь дней я был уже в Ташкенте, у командующего войсками округа Дыбенко.

Дивизия дислоцировалась в трех гарнизонах: Мерв, Байрам-Али и Кушке, у афганской границы. (Когда-то в Кушку посылали за провинности, а потому среди командиров ходила поговорка: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».)

Спустя год после моего назначения сюда дивизию проверяла окружная комиссия во главе с заместителем командующего войсками. К нашей общей радости, дивизии дана была хорошая оценка. Многие из командиров и начальников получили подарки и денежные награды. Я был награжден двухмесячным окладом и приглашен на заседание Революционного Военного Совета СССР в Москву. Мы заняли первое место в округе среди кавалерийских дивизий.

За второй год моего командования наша дивизия получила отличную оценку и заняла первое место среди всех дивизий округа. Снова ряд командиров и начальников получил различные поощрения, в том числе и я.

Осенью 1935 года нас проверял командующий округом М. Д. Великанов, заслуженно пользовавшийся славой одного из лучших советских военачальников. Дивизия подтвердила прежнюю отличную оценку, закрепила за собой и на сей раз первенство в округе и заняла четвертое место во всеармейском конкурсе кавдивизий. Кроме обычных поощрений, я был представлен к ордену.

В эту пору жизни у меня было прекрасное настроение, и казалось, ничто не может омрачить его.

Вспоминается переход дивизии через горные перевалы из района восточнее Самарканда в Таджикистан. Мы имели с собой верховых и вьючных лошадей, но большую часть пути шли пешие, ведя коней в поводу по крутым тропам.

Жутко было идти узкой тропой над пропастью, где на глубине пятисот—семисот метров текла в ущелье река. Лошади так близко прижимались к скале, что казалось — вот-вот оборвут часть седла или вьюка. Бывали места, где две лошади разойтись не могли; приходилось высылать вперед людей, чтобы предупредить идущих навстречу. Одна из вьючных лошадей сорвалась и покатила вниз; даже лошади сочувствовали ей, тяжело и громко вздыхая. Счастье еще, что повод не увлек вместе с лошады вьюковогожатога...

Трудны были подъемы, еще труднее спуски. Мы с облегчением вздохнули, когда вышли на колесную дорогу, хотя и на плохую. Но какая неописуемо красивая и дикая природа представала перед нами с высоких перевалов! Все было нам ново — и страх, и эта красота гор. И нам было хорошо.

Однажды после ночевки в пустыне мы встретили туркменскую семью. Было очень раннее, еще прохладное утро. Остывшие за ночь пески не излучали тепла, поэтому воздух был прозрачен, и далеко на горизонте, в розовом свете восходящего солнца, четко были видны фигуры идущих людей. Мы ехали навстречу и скоро встретились с ними. Впереди шел мужчина, он нес на руках мальчика лет трех-четырёх, а за спиной мешок с каким-то имуществом; вокруг пояса и через плечо мужчины обмотана была веревка с привязанной на конце бутылкой, чтобы доставать воду из колодца. За ним гуськом шли трое детей: два мальчика лет по восьми-девяти и девочка лет шести. Последней шла женщина, согнувшаяся под тяжестью домашнего скарба, да еще вдобавок несшая на руках совсем маленького ребенка. Люди были худые, сожженные солнцем до черноты, все оборванные, босые, страшно уставшие.

Они, когда-то ушедшие в Иран к своему роду, снова перешли нашу границу, чтобы не умереть с голоду. Они рассчитывали пройти от Серакса до Мерва за восемь дней, но за семь дней прошли немногим больше половины этого расстояния. Еды и питья у них уже не было, они двигались все медленней, а ближайший колодец был такой глубокий, что всей их веревки не хватило бы даже до зеркала воды. Им оставалось еще идти четверо суток...

Думаю, если бы мы их не встретили, не снабдили продовольствием, водой и тонкой крепкой бечевой с жутелком, не дали бы им старую палатку. — они просто погибли бы, не на другой, так на третий день.

Никогда не забуду радость, сверкавшую в их красных, воспаленных глазах. На прощание мы показали мужчине, как ближе идти, и обещали через трое суток их догнать. Действительно, на четвертый день мы увидели их уже в двадцати пяти километрах от Мерва, под кустом, около колодца. На куст была наброшена палатка, и вся семья сидела под ней. Ребяточки побежали нам навстречу. Они были бодрые, веселые и, главное, сытые. Мы довели их до города, отдали им оставшийся сахар, консервы, сухари.

В тот же день, когда мы впервые встретили эту семью, к вечеру повстречался нам в пустыне одинокий, отлично одетый всадник на добром коне. Солидный, свернутый кругами канат до четырех сантиметров толщины был приторочен к его сед-

лу с одной стороны и ведро — с другой. Поговорив со встречным, как того требует «пустынная вежливость», мы разъехались с ним в разные стороны. Невольно сравнивали мы экипировку всадника и семьи, встреченной раньше, но в то же время думали, что трудно ему будет вытянуть ведро с водой таким тяжелым канатом с такой глубины. Как бы они не перетянули его!

В начале мая 1936 года, когда в Туркменской кавдивизии дела шли так хорошо, внезапно был получен приказ о назначении меня командиром 2-й кавдивизии, в которой я до осени 1928 года семь лет командовал полком.

В Киеве, когда я явился к Якиру, он сказал мне:

— Фашизм в Германии становится все наглее. Ко всему надо быть готовым...

Я тоже это чувствовал и поэтому порадовался, что во 2-й дивизии больше техники, чем в Туркменской, — вместо бронетанкового дивизиона в ней был уже танковый полк с новыми быстроходными танками, более качественная артиллерия, один из полков с лошадей пересел на машины и т. д.

Над нашей кавдивизией шефствовала Коммунистическая партия Германии. Вильгельм Пик, подолгу находившийся в Москве, как член исполкома Коминтерна, приезжал в нашу дивизию на каждый праздник 1 мая и 7 ноября.

В ноябре 1936 года вечером он был у меня на квартире. Во время ужина он провозгласил тост за будущую встречу в освобожденном от фашизма Берлине. Так как я никогда не пил, за меня вышла моя жена.

В то время исполнение этой мечты казалось бесконечно далеким. Забегая вперед, скажу, что в 1945 году, когда я был командармом и по совместительству комендантом Берлина, товарищи Пик и Ульбрихт прибыли к нам в штаб. Мы сели за стол, Пик сказал:

— Помните тысяча девятьсот тридцать шестой? Я пил за встречу в Берлине, а вы не выпили. Так давайте выпьем сейчас за состоявшуюся встречу!

И я выпил первый в своей жизни бокал вина.

В конце лета 1936 года были проведены маневры в районе Шепетовки с выброской парашютистов. Маневрами руководил Якир, присутствовали Ворошилов, Буденный.

После маневров в Киеве были проведены большие конные соревнования. Вечером на собрании в зале Киевского оперного театра появились все маршалы Советского Союза. Встреча тружеников Украины с высшими представителями армии была теплой и искренней. Никто не предчувствовал, что некоторых маршалов мы видели тогда в последний раз...

И еще одно воспоминание, относящееся к той же поре. В марте или апреле 1937 года я был делегатом на областной партийной конференции в Виннице. Она мне очень запомнилась. Слово для приветствия было дано колхознице, собравшей тысячу центнеров свеклы с каждого гектара. Пока «тысячница» приветствовала конференцию, голова моей соседки, тоже колхозницы, наклонялась все ниже и ниже, и я заметил на ее глазах слезы.

— О чем вы грустите? — спросил я. — Ведь она ничего плохого не сказала.

— Вы не знаете... — ответила она сквозь слезы.

Успокоившись, она рассказала мне:

— Я тоже давала слово собрать свеклы по тысяче центнеров с га, а своего слова не сдержала, собрала только по девятьсот шестьдесят центнеров. Вот почему я плачу, хоть меня и чествуют.

Я был поражен ее совестью. Невольно сравнивал я себя и ряд знакомых офицеров с этой колхозницей: мы-то так не переживали, когда что-то у нас не до конца получалось с выполнением обещания... Не раз я потом приводил в пример эту колхозницу своим подчиненным, которые, обещав добиться отличных показателей, получали лишь удовлетворительные или хорошие оценки и не стыдились этого.

## 7. ЧЕРНЫЙ ГОД

В один из весенних дней 1937 года, развернув газету, я прочитал, что органы государственной безопасности «вскрыли военно-фашистский заговор». Среди заговорщиков назывались крупные советские военачальники, в их числе Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский.

Это известие меня прямо-таки ошеломило. «Как могло случиться, — думала я, — чтобы люди, игравшие видную роль в разгроме иностранных интервентов и внутренней контрреволюции, так много сделавшие для совершенствования нашей армии, испытанные в дни невзгод коммунисты, могли стать врагами народа?» В конце концов, перебрав различные объяснения, я остановился на самом ходком в то время: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит». Этот вывод имел кажущееся основание в том, что М. Н. Тухачевский и некоторые другие лица, вместе с ним арестованные, происходили из состоятельных семей, были офицерами царской армии... «Очевидно, — говорили тогда многие, строя догадки, — во время поездок за границу, в командировку или на лечение, они попали в сети иностранных разведок».

На Киевской окружной партийной конференции мы, делегаты, заметили, что И. Э. Якир, всегда веселый и жизнерадостный, выглядел за столом президиума сосредоточенным и угрюмым. Многие объясняли себе эту мрачность тем, что, по слухам, его переводили командующим в Ленинградский военный округ, меньший, чем Киевский. А через несколько дней нам стало известно, что в поездке, где-то под Москвой, Якир был арестован как участник «заговорщицкой группы Тухачевского». Для меня это был ужасный удар. Якира я знал лично и уважал его. Правда, в глубине души у меня еще теплилась надежда, что это только ошибка — «разберутся и освободят». Но об этом говорили лишь между собой только очень близкие люди.

Вскоре в Киевский военный округ прибыло новое руководство. Член Военного Совета Щаденко с первых же шагов стал подозрительно относиться к работникам штаба. Он приглядывался, даже не скрывая этого, к командирам и политработникам частей и соединений, а вскоре, вкупе с Особым отделом, развернул весьма активную деятельность по компрометации командного состава, которая сопровождалась массовыми арестами командно-политических кадров. Чем больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену. Но в то же время как этому было и не верить? Печать изо дня в день писала все о новых и новых фактах вредительства, диверсий, шпионажа...

Когда в начале августа 1937 года командир нашего 7-го кавкорпуса Петр Петрович Григорьев был срочно вызван в Киев, командиры дивизий насторожились. Узнав, что он возвращается в Шепетовку в субботу вечером, я позвонил его жене, Марии Андреевне, и сказал, что приеду к ним в воскресенье.

Приехав к Григорьевым с моей женой, я застал их в весьма грустном и подавленном настроении. На вопрос, зачем его вызывали в Киев, Петр Петрович ответил, что в окружной партийной комиссии ему предъявили обвинение в связях с врагами народа.

Мы собрались уезжать, Мария Андреевна заплакала, а Григорьев, пожимая нам руки, сказал:

— Кто знает, увидимся ли еще?

Желая как-то успокоить Григорьевых, я сказал Петру Петровичу:

— Ну уж тебе, потомственному рабочему, беспокоиться нечего! Выкинй мрачные мысли из головы. Там разберутся.

Но мы сами уехали от Григорьевых грустные и весь путь до Старо-Константинова молчали, думая, конечно, об одном.

Назавтра мы узнали, что Григорьев арестован. В тот же день во 2-ю дивизию, которой я командовал, прибыл начальник политотдела корпуса Богданов. Он со-

брал дивизию на митинг и объявил, что командир корпуса «оказался врагом народа».

«Оказался» — это было в то время своего рода магическое слово, которое как бы объясняло все: жил, работал — но вот «оказался»...

На митинге было предоставлено слово и мне. Я сказал, что знаю товарища Григорьева более четырнадцати лет. За это время мы вместе боролись с антипартийными уклонами. Никаких шатаний у Григорьева в вопросах партийной политики не было. Это один из лучших командиров во всей армии. Если бы он был чужд нашей партии, это было бы заметно, особенно мне, одному из ближайших его подчиненных в течение многих лет. Верю, что следствие в деле Григорьева разберется и его невиновность будет доказана.

Выступавшие после меня ораторы подчеркивали чрезмерную, как они говорили, придирчивость Григорьева, то есть на самом деле его деловую требовательность, и выискивали недостатки в его работе.

После митинга начальник политотдела корпуса Богданов и начальник политотдела дивизии Куликов упрекнули меня в «либерализме». Лишь моя жена — одна из всех людей, бывших на митинге, — сказала, что я выступил правдиво и правильно.

Дня через два мне доложили, что командир 7-го кавалерийского полка нашей дивизии отдал своего прекрасно выезженного коня, завоевавшего первенство на окружных соревнованиях, уполномоченному Особого отдела, который даже не умел хорошо ездить на лошади. Никогда не мог бы я прежде подумать, чтобы этот командир мог унизиться до такого поступка. Вызвав его к себе в штаб, я сказал ему:

— Вы, по-видимому, чувствуете за собой какие-то грехи, а потому и задабриваете Особый отдел? Немедленно возьмите обратно коня, иначе он будет испорчен не умеющим с ним обращаться всадником.

На другой день командир дивизии доложил мне по телефону, что мое приказание выполнено.

Прошел еще месяц. Приказом командующего округом я был освобожден от командования дивизией, а вскоре и исключен из партии штабной парторганизацией «за связь с врагами народа». Меня отчислили в распоряжение Главного управления кадрами Наркомата обороны. Все мои попытки отстоять себя в окружной парткомиссии оказались безуспешными. Посоветовавшись с женой, мы решили уехать из Старо-Константинова в Москву. Прибыв туда, мы на первых порах устроились в гостинице ЦДКА, а после того, как пришли наши вещи, мы их сдали на склад НКЮ, а сами, с разрешения Главного управления кадрами, уехали в Саратов к родителям жены. так как жить в гостинице нам было не по карману.

Мой тесть Александр Васильевич Веселов и его добрейшая жена Любовь Сергеевна встретили нас очень радушно. Александр Васильевич был в то время начальником службы движения в управлении Рязано-Уральской железной дороги. Вместе с ними жили дочь Лена — студентка мединститута, и сын Сережа — ученик средней школы. Семья занимала трехкомнатную квартиру, и одну из комнат любезно предоставили нам.

Положение мое продолжало оставаться неясным еще несколько месяцев. Наконец в первых числах марта 1938 года я был вызван в парткомиссию Главного политуправления и восстановлен в партии. В связи с этим ко мне резко изменилось отношение и в управлении кадрами. Через два с половиной месяца, 15 мая, мне был вручен приказ о назначении на должность заместителя командира 6-го кавкорпуса, которым командовал Г. К. Жуков. Радости нашей не было конца. Правда, я с гораздо большим удовольствием пошел бы командовать соединением, так как по своему характеру предпочитаю самостоятельную работу, но мне ее не дали. «Видимо, — подумал я, — опала с меня не совсем снята. Ну, ничего...»

Мы отправились в город Осиповичи, где в то время находился штаб 6-го кавкорпуса. Командир корпуса принял меня хорошо и поселил нас во втором этаже особняка, где жил сам. Соскучившись по работе, я быстро включился в дело.

Вскоре Г. К. Жуков получил назначение на должность помощника командующего округом по коннице и уехал в Смоленск, оставив меня временно командовать корпусом. Я предполагал, что буду утвержден в этой должности, но моя надежда не сбылась. «Значит, мое подозрение, что опала с меня не снята, подтверждается», — подумал я.

В сентябре кладовщик штаба корпуса доложил мне, чтобы я получил причитающееся по зимнему плану обмундирование; когда же я пришел к нему на другой день, он со смущенным видом показал мне телеграмму от комиссара корпуса старшего политрука Фоминых, находившегося в это время в Москве: «Воздержаться от выдачи Горбатову планового обмундирования». Вслед за этой странной телеграммой пришел приказ о моем увольнении в запас...

Забегу вперед. Через двадцать три года, весной 1962 года, в кругу генералов и офицеров ко мне подошел генерал-лейтенант, который сказал:

— Я чувствую, товарищ Горбатов, что вы меня не узнаете. Я Фоминых, бывший комиссар шестого кавкорпуса, теперь давно в отставке, живу в Ленинграде.

— Да, товарищ Фоминых, я вас сперва не узнал, но мне все-таки показалось, что где-то я вас видел. А теперь я вас вспомнил. Особенно мне запомнилось, как вы, будучи комиссаром корпуса, в звании старшего политрука, прислали из Москвы телеграмму, рекомендующую воздержаться от выдачи мне обмундирования. Через несколько дней я был уволен из кадров, а затем вы знаете, что случилось...

Фоминых не рад был, что возобновил знакомство.

Итак, 15 октября 1938 года я выехал из города Осиповичи в Москву, чтобы выяснить причину моего увольнения из армии. К наркому меня не допустили. 21 октября начальник Главного управления кадрами Е. А. Щаденко, выслушав меня в течение двух-трех минут, сказал: «Будем выяснять ваше положение», а затем спросил, где я остановился.

Днем я послал жене телеграмму: «Положение выясняется», а в два часа ночи раздался стук в дверь моего номера гостиницы ЦДКА. На вопрос: «Кто?» — ответил женский голос:

— Вам телеграмма.

«Очевидно, от жены», — подумал я, открывая дверь. Но в номер вошли трое военных, и один из них с места в карьер объявил мне, что я арестован. Я потребовал ордер на арест, но услышал ответ:

— Сами видите, кто мы!

После такого ответа один начал снимать ордена с моей гимнастерки, лежащей на стуле, другой — срезать знаки различия с обмундирования, а третий следил за тем, как я одеваюсь. У меня отобрали партийный билет, удостоверение личности и другие документы. Под конвоем я вышел из гостиницы. Меня втолкнули в легковую машину. Ехали молча. Трудно передать, что я пережил, когда меня мчала машина по пустынным ночным улицам Москвы.

Но вот закрылись за мной сначала массивные ворота на Лубянке, а потом и дверь камеры. Я увидел каких-то людей, поздоровался и в ответ услышал дружное «здравствуйте!».

Их было семь. После непродолжительного молчания один из них сказал:

— Товарищ военный, вероятно, думает: «Сам я ни в чем не виноват, а попал в компанию государственных преступников...» Если вы так думаете, то напрасно. Мы такие же, как вы. Не стесняйтесь, садитесь на свою койку и расскажите нам, что делается на белом свете, а то мы давно уже ничего не знаем.

Мои товарищи по несчастью особенно интересовались положением в гитлеровской Германии. Позднее я узнал, что все они — в прошлом ответственные работники. Произвели они на меня впечатление культурных и серьезных людей. Однако я пришел в ужас, когда узнал, что все они уже подписали на допросах у следователей несусветную чепуху, признаваясь в мнимых преступлениях за себя и за других. Одни пошли на это после физического воздействия, а другие потому, что были запуганы рассказами об истязаниях.

Мне это было совершенно непонятно. Я говорил им: ведь ваши оговоры приносят несчастье не только вам и тем, на кого вы лжесвидетельствуете, но также их родственникам и знакомым. И, наконец, говорил я, вы вводите в заблуждение следствие и советскую власть.

Но мои доводы были для них неубедительны. Некоторые из них придерживались странной «теории»: чем больше посадят, тем скорее поймут, что все это — вреднейший для партии вздор.

— Нет, ни при каких обстоятельствах я не пойду по вашей дороге, — сказал я, и, так как они доказывали мне свою правоту, у меня сначала пропало к ним сострадание, а потом я почувствовал даже отвращение к этим трусам. Я так рассердился, что сказал им:— Своими ложными показаниями вы уже совершили тяжелое преступление, за которое держат в тюрьме...

На это мне иронически ответили:

— Посмотрим, как ты заговоришь через неделю!

Трое суток меня не вызывали, на четвертый день вечером отвели к следователю. Свернув мои биографические данные и посадив меня напротив, он дал мне бумагу, ручку и предложил «описать все имеющиеся за мной преступления».

— О моих преступлениях мне писать нечего, — ответил я.

— Нечего! — сказал он. — Сначала все так говорят, а потом подумают хорошенько, вспомнят и напишут. У тебя есть время, нам спешить некуда. Кому писать нечего — те на свободе, а ты пиши.

Он вышел из комнаты.

Прошли часы. Увидев, что я ничего не написал, следователь удивился:

— Ты что, разве не понял, что от тебя требовалось? Имей в виду, мы шутить не любим. Так изволь выполнять! Тебе не выгодно портить со мной отношения. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь у меня не написал. Понятно?

Он снова вышел из комнаты.

Приблизительно через час, увидев, что я не пишу, следователь сказал:

— Ты плохо себя повел с самого начала. Жаль! Ну что ж, подумай в камере.

Два дюжих «вохровца» водворили меня в камеру. Как только за хлопнула дверь, меня засыпали вопросами: «Что спрашивали? Как отвечал? Что показал?»

Выслушав меня, они пришли к выводу, что метод допроса не изменился. Мне нужно ждать следующих вызовов, на которых я или начну писать, или меня повезут в Лефортово.

Прогноз подтвердился. Через сутки, когда повторилось то же, что на первом допросе, следователь повел себя крайне грубо, ругался и угрожал отправить меня в Лефортово. В тот же день я был вызван еще раз на короткое время. Разговаривал со мной уже более «высокий чин». Он предложил мне писать показания, а услышав мое твердое «не буду», также начал ругаться и закончил угрозой:

— Пеняй на себя.

На следующий день открылась дверь камеры, вошедший спросил:

— Чья фамилия на букву «Г»?

Я назвал свою фамилию. Всем стало ясно: меня повезут в Лефортовскую тюрьму. Мне сочувствовали, давали советы и желали всего хорошего.

Сев в черную глухую машину, я услышал, как зашумел мотор, как хлопнулись ворота. До моих ушей долетал иногда немного говор и смех на улицах. Потом я услышал, как открылись и хлопнулись ворота Лефортовской тюрьмы. И вот я оказался в маленькой, когда-то одиночной камере. Там уже были двое. Три койки стояли буквой «П».

Мои соседями оказались комбриг Б. и начальник одного из главных комитетов Наркомата торговли К. Оба они уже написали и на себя, и на других чепуху, уверяя, что иного выхода нет. От их рассказов у меня по коже пробегали мурашки. Не верилось, что у нас может быть что-либо подобное.

Мнение моих новых коллег было таково: лучше писать сразу, не подпишешь сегодня — все равно подпишешь через неделю или через полгода.



— Лучше умру, — сказал я, — чем оклеветать себя, а тем более других.

— У нас тоже было такое настроение, когда попали сюда, — отвечали они мне.

Прошло три дня. Начались вызовы к следователю. Сперва они ничем не отличались от допросов на Лубянке. Но, убедясь, что я писать не буду, следователь прошипел:

— Напишешь. У нас не было и не будет таких, которые не пишут!

В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил: представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил? Потом этот начальник сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» — и вышел из комнаты.

На этот раз я долго не возвращался с допроса.

Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:

— Вот! А это только начало.

Товарищ Б. тихо мне сказал, покачивая головой:

— Нужно ли все это?

Допросов с пристрастием было пять с промежутком по двое-трое суток; были случаи, когда я возвращался в камеру с посторонней помощью. Затем дней двадцать мне дали отдохнуть. Больше всего я волновался, думая о жене. Но вдруг я получил передачу — пятьдесят рублей, — и это дало мне основание верить, что она на свободе. Мои товарищи по камере считали передышку в допросах хорошим для меня предзнаменованием...

Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять. Во время одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему не только теперь, но и тогда, когда я был в его руках. Думаю, впрочем, что он это хорошо знал. Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обесиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь». Выдержал я эту муку и во время второго круга допросов. Но когда началась третья серия допросов, как захотелось мне скорее умереть!

Однажды товарищ Б. меня спросил:

— Неужели тебя и это не убеждает, что твое положение безвыходно?

— Нет, не убеждает, — ответил я. — Умирать буду, и буду твердить: нет и нет!

Наконец меня оставили в покое и три месяца не вызывали на допросы. В это время я твердо верил в свое освобождение. Случалось, что я стучал в дверь и требовал начальника тюрьмы или прокурора. Разумеется, эта дерзость не всегда оставалась безнаказанной. Но надо же было как-то скоротать время!

Много передумал я за эти три месяца. Впервые не пожалел я, что родители умерли; по крайней мере они не дожили до моего ареста. Много думал я о жене. Ее положение было хуже, чем мое. Ведь я находился среди таких же отверженных, а она — среди свободных людей, и как знать, может быть, среди них найдутся такие, что отвернутся от нее как от жены «врага народа»... Эта мысль не давала мне покоя.

Помню — это был предпоследний допрос, — следователь спросил меня, какие у меня взаимоотношения с женой. Я ответил, что жили мы дружно.

— Ах, вот как. Ну тогда мы ее арестуем и заставим ее писать на себя и на тебя, — заявил следователь.

Как я ругал себя за откровенность! Но меня успокаивало то, что я продолжал ежемесячно получать передачу по пятьдесят рублей. Значит, жена на свободе.

Позднее я узнал: последнюю мою телеграмму, отправленную в день ареста, она получила. Прошло несколько дней, от меня вестей не было. С каждым днем ее беспокойство росло. Наконец она пошла к новому командиру корпуса.

— Вероятно, его куда-нибудь послали.— сказал А. И. Еременко.

Восьмого ноября она решила ехать в Москву. Перед отъездом она снова зашла к командиру корпуса.

— Если бы Александра Васильевича арестовали, я бы об этом знал,— сказал Андрей Иванович. Однако он пригласил к себе начальника Особого отдела и в присутствии моей жены высказал опасение, не арестован ли я.

— Если бы это случилось, мы бы об этом знали и давно сделали бы на квартире обыск,— взглянув на Нину Александровну, ответил начальник Особого отдела.

Девятого ноября жена приехала в Москву. Знакомые сказали ей, что с 20 октября они меня не видели и думали, что я уехал домой, в Осиповичи. В гостинице ЦДКА ей ответили только, что я убыл 22 октября. Но когда жена уходила, ее обогнала в коридоре девушка и, не останавливаясь, тихо сказала:

— Его арестовали в ночь на двадцать второе.

Выйдя в сквер, что напротив гостиницы, жена опустилась на скамейку, долго там сидела, плакала и обдумывала: что же ей делать? Решила идти на Лубинку. Оттуда ее послали в справочную. Дождавшись своей очереди, она спросила:

— Где мой муж?

— А почему вы думаете, что ваш муж арестован?— задали ей встречный вопрос.

— Потому что долго не имю от него известий,— ответила она.

— У нас вашего мужа нет.

Однако ей дали адреса всех тюрем, кроме Лефортовской, и сказали:

— Ищите сами, нам о нем ничего не известно.

В тюрьмах и на пересыльных пунктах ей давали тот же ответ. Наконец, обойдя весь круг, она снова пришла в справочную НКВД и встала в очередь. Здесь она случайно встретила женщину, которая посоветовала ей ехать в Лефортовскую тюрьму и научила, как все разузнать. Войдя во двор тюрьмы, жена подошла к окошечку и обратилась к дежурному с просьбой принять передачу для Горбатова. Окошечко захлопнулось. Через некоторое время тот же дежурный спросил у жены паспорт и взял пятьдесят рублей. Так она узнала, что я в Лефортовской тюрьме. После этого жена зашла к нашим хорошим московским знакомым, обо всем рассказала и уехала в Осиповичи.

В дороге жена надумала уехать из Осиповичей в Саратов, к своей матери, чтобы вместе с ней мыкать горе: дело в том, что 30 апреля 1938 года был арестован отец моей жены, а несколько раньше, в 1937 году, и ее брат, инженер. Работу в Саратове, думала она, найти будет легче, чем в Осиповичах. Возвратясь домой, она сказала о своем намерении командиру корпуса. Он одобрил ее решение, помог жене с переездом — это было редкостью в то время! — и выразил свою уверенность в том, что я невиновен. Мы и сейчас с большой благодарностью вспоминаем благородный поступок товарища Еременко и его гражданское мужество, едва ли не более трудное, чем мужество на поле боя.

В ночь перед выездом жены, около двух часов, в дверь квартиры кто-то громко застучал. Домработница, плача, сказала:

— Это за вами, Нина Александровна,— и не хотела открывать дверь.

Собравшись с силами, жена быстро сбежала по лестнице и спросила:

— Кто там?

В ответ два полупьяных голоса наперебой спросили:

— Где здесь гостиница?

Опустившись на ступеньки лестницы, жена горько зарыдала. Тем временем работница, проклиная ночных гуляк, указывала им дорогу в гостиницу.

Прибыв в Саратов, жена нашла свою мать на окраине города, где она снимала комнату с дочерью и сыном, так как после ареста мужа их выселили из квартиры. Об арестованном брате ничего не было известно (позднее узнали, что в то время он уже погиб), а отцу особое совещание определило быть пять лет в концлагере. Продавая вещи, посланные багажом из Осиповичей, жена получала скуд-

ные средства на жизнь и на помощь мне и отцу. Не раз она устраивалась на работу, но через несколько дней, узнав, что ее муж, отец и брат «враги народа», ее увольняли без объяснения причин.

Все это я узнал впоследствии, когда вышел на волю.

После трехмесячного перерыва в допросах, 8 мая 1939 года в дверь нашей камеры вошел человек со списком в руках и приказал мне готовиться к выходу с вещами. Радости моей не было предела. Товарищ Б., тоже уверенный, что меня выпускают на свободу, все спрашивал, не забыл ли я адрес его жены, просил передать ей, что он негодяй, не смог вытерпеть, подписал ложные обвинения, и просил, чтобы она его простила и знала, что он ее любит. Я ему обещал побывать у его жены и передать ей все, о чем он просит. На прощание мы обнялись и расцеловались.

Радостный шел я по коридорам тюрьмы. Меня остановили перед боксом. Здесь мне приказали оставить вещи и повели дальше. Один сопровождающий ушел с докладом в какую-то из дверей. Через минуту меня ввели в небольшой зал: я оказался перед судом военной коллегии.

За столом сидели трое. У председателя, сидящего посередине, я заметил на рукаве черного мундира широкую золотую нашивку. «Капитан 1-го ранга», — подумал я. Радостное настроение меня не покидало, ибо я только того и хотел, чтобы в моем деле разобрался суд.

Суд длился четыре-пять минут. Были сверены моя фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Потом председатель спросил:

— Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?

— Я не совершал преступлений, мне не в чем было сознаваться, — ответил я.

— Почему же на тебя показывают десять человек, уже осужденных? — спросил председатель.

У меня было в тот момент настолько хорошее настроение и я был так уверен, что меня освободят, что я ответил в свободной форме, в чем впоследствии горько раскаивался. Я сказал:

— Читал я одну из книг Виктора Гюго. Там сказано, что в шестнадцатом веке на британских островах привлекли к ответственности одиннадцать человек за связь с дьяволом. Десять в этой связи сознались — правда, после пыток, — а одиннадцатый не сознался. Тогда король Яков приказал этого одиннадцатого сварить живьем в котле, чтобы по навару доказать, что и он, бедняга, имел связь с дьяволом. По-видимому, — продолжал я, — те десять, которые сознавались и показывали на меня, испытали то же, что испытали те десять англичан, но не захотели испытать то, что суждено было одиннадцатому.

Судьи, усмехнувшись, переглянулись между собой, а председатель — кажется, Никитченко по фамилии — спросил сидящих рядом:

— Как, все ясно?

Те кивнули головой.

Меня вывели в коридор. Прошло минуты две. Меня снова ввели в зал и объявили приговор: пятнадцать лет заключения в тюрьме и лагере плюс пять лет поражения в правах.

Это было столь неожиданно, что я где стоял, там и опустился на пол.

В тот же день меня перевели в Бутырскую тюрьму, в камеру, где сидели только осужденные, ожидавшие отправки. Войдя, я громко поздоровался и представился по-военному: «Комбриг Горбатов». После Лефортовской эта тюрьма показалась мне санаторием. Правда, в камере, рассчитанной на двадцать пять человек, было более семидесяти, но здесь давали ежедневно полчаса прогулки вместо десяти минут через день в Лефортове. Староста указал мне место с краю — у двери и параша. Когда я занял свои пятьдесят сантиметров на нарах, сосед спросил:

— Сколько дали? Подписал ли предложенное?

— Пятнадцать плюс пять. Ничего не подписал.

— Репрессии применяли?  
— В полном объеме.  
— Сижу давно, по разным камерам, но не встречал не подписавших, — сказал сосед. Задумался и добавил: — И здесь вы первый.

С этого момента я стал заметным человеком в камере.

По мере того как одни уходили, а другие приходили, я становился уже старожилом и продвигался от параша и двери ближе к окну.

Староста камеры был выборным из числа тех, кто пробыл долго. Уходя, он рекомендовал преемника. Обязанности старосты были немалые: он следил за правильной раздачей хлеба, сахара и другой пищи, разбираал ссоры, разнимал драки (они были редки). Он нес какую-то долю ответственности перед администрацией тюрьмы и в некоторой степени отстаивал интересы заключенных.

В нашей камере были люди различных профессий и специальностей, они много знали и, собираясь на нарах кучками, вели интересные беседы. Никто из нас не знал, куда он попадет. Предполагали, что на Крайний Север или Дальний Восток. Поэтому особенно мы прислушивались к тем, кто когда-то работал в отдаленных местностях Союза, кто лучше знал географию.

Среди моих сокамерников я действительно оказался единственным, кто не сочинял сам и не подписывал протоколы, состряпанные следователем. Все остальные оклеветали себя и других. И чего только не было в этих «романах»! Один, например, сознался, что происходит из княжеского рода и с 1918 года живет по чужому паспорту, взятому у убитого им крестьянина, что все это время вредил советской власти и т. п. Многие, узнав, что мне удалось не дать никаких показаний, негодовали на свои вымыслы и свое поведение. Другие успокаивали себя тем, что «всему одна цена — что подписал, что не подписал: ведь Горбатов тоже получил пятнадцать лет плюс пять». А были и такие, что просто мне не верили...

И вот наконец большинству из нас было приказано готовиться к выходу с вещами. Потом нас повезли на платформу одной из железных дорог и усадили в товарные вагоны. Все молчали и думали в это время кто о чем. Я все еще почему-то верил, что правда восторжествует и я буду на свободе.

Когда миновали Волгу, стало ясно — везут в Сибирь. В Свердловске, в пересыльной тюрьме, нам впервые было разрешено купить бумагу и написать письма — «только чернилами и ничего лишнего». Я написал в Саратов по сохранившемуся в памяти адресу матери моей жены, уверенный, если жена и не вернулась к родителю, это письмо ей оттуда перешлют. Сообщил, где нахожусь и что, вероятно, через несколько дней мы тронемся дальше. Просил не горевать, думать о себе и не ездить в Свердловск — все равно меня там не застанет... Многие из нашей группы написали близким, чтобы они приехали в Свердловск повидаться. К некоторым родные приехали, повидали несчастных, передали продукты. Но именно этого не хотели я и те мои товарищи, которые просили близких не приезжать, догадываясь, в каком бедственном положении они находятся сами.

Моя жена, удрученная тем, что очередные пятьдесят рублей, посланные в адрес Лефортовской тюрьмы, вернулись к ней обратно, поехала в Москву. В справочной НКВД ей сообщили, что я осужден как нераскаявшийся и неразоружившийся преступник на двадцать лет, но с правом переписки и что, когда доеду до одного из лагерей в районе Магадана, вероятно, ей напишу. Поскольку она «молодая и интересная», пожелали ей «скорее выйти замуж». Как ни противно ей было выслушивать эти наглые советы, она оценила слово «нераскаявшийся», так как узнала таким образом, что я не подписал сознания в возведенных на меня ложных обвинениях. Она отправилась к юристу, составила и послала жалобу в Верховный суд. Добилась свидания с Главным военным прокурором. Тот развел руками, но одобрил подачу жалобы. Возвратясь в Саратов, она получила мое письмо из Свердловска, написанное десять дней тому назад. Но меня эта возможность дать о себе весть не могла удовлетворить. Я был уверен, что жена не знает о моем по-

ведении на следствии и о направлении на Колыму. У одного из пяти уголовных, едущих с нами в вагоне, был небольшой кусочек графита, который он утаил при обыске: он согласился продать его за две пачки махорки. Выписав из лавочки эти две пачки и две книжечки папиросной бумаги, я отдал ему махорку, взял карандаш и написал на тонких листочках письмо, пронумеровав каждый листок. Конверт я сделал из бумаги, в которую была завернута махорка, и заклеил его хлебом. Чтобы письмо не унесло ветром в кусты при выброске из вагона, я привязал к нему корку хлеба нитками, которые вытащил из полотенца, а между конвертом и коркой вложил рубль и четыре листочка с надписью: «Кто найдет конверт, прошу приклеить марку и опустить в почтовый ящик». Проехав какую-то большую станцию, я устроился у окна вагона и опустил письмо, когда миновали последнюю стрелку; я опасался, что, если письмо поднимут при свидетелях, оно не будет отправлено по адресу, а попадет туда, куда оно менее всего должно было попасть.

Спустя два года жена мне рассказывала, что получила это письмо без марки и почтового штемпеля. Оно влило в нее новые жизненные силы и помогло еще упорнее бороться за мое освобождение.

...А в то время, как жена хлопотала за меня, наш поезд медленно увозил нас на восток. Для санитарной обработки наш печальный эшелон останавливался в Новосибирске, Иркутске, Чите. Боясь, как бы во время мытья в бане меня не обокрали уркаганы, я мылся правой рукой, а в левой держал деньги. Помню — это было в Иркутске, — вымывшись, мы шли одеваться. Неожиданно один из уголовных подножкой повалил меня на пол, а двое других разжали мой левый кулак и стняли деньги под громкий смех одних и гробовое молчание других заключенных. Протестовать и жаловаться было бесполезно.

В пути мы видели много воинских эшелонов с войсками, артиллерией, танками и машинами на платформах. Мы не знали, куда эти эшелоны следуют: может быть, началась война с Японией? Я думал, что, если японцы прикуют наши силы к Востоку, немцы ударят с запада... Все возможные события мы как-то связывали с нашей судьбой. Одни говорили: если начнется война — будет нехватка продовольствия и мы погибнем; другие говорили: нет, тогда нужны будут люди, умеющие воевать, и нас освободят; третьи уверяли, что теперь нас на Колыму не повезут, так как путь туда закрыт. Больше, чем собственная судьба, военных в нашей среде волновал вопрос: если действительно началась война, то сколько будет излишних потерь в войсках, которые лишались в связи с арестами опытных командиров?

За Нерчинском воинских эшелонов мы уже не видели. Я подумал: вероятно, войска передвигаются в Монголию. Действительно, в это время начались военные действия на Халхин-Голе. О них я узнал много позже.

Наконец в начале июля 1939 года нас привезли во Владивосток и разместили за городом в деревянных бараках, обнесенных колючей проволокой. Там было много заключенных, прибывших ранее. Нас продержали здесь дней десять. Стало ясно, что, во-первых, войны с Японией нет, а во-вторых, что везут нас на Колыму. Задерживали нашу справку потому, что ждали другие эшелоны, чтобы заполнить большой корабль.

Однажды я услышал голос дежурного по лагерю:

— Кто хочет пойти на работу, носить воду в кипятильники?

Соскучившись по работе, я немедленно изъявил желание и боялся, как бы кто не перехватил эту работу; на мое счастье, конкурентов не оказалось. Воду для заключенных кипятили в двенадцати походных военных кухнях старого образца, стоящих неподалеку от барачков, а водопроводная колонка была оттуда примерно в ста метрах. Очувшись в стороне от общей сутолоки, не видя грустных лиц и не слыша вздохов, я, насколько можно, успокоился, расправил плечи и с большим удовольствием стал трудиться. Погода была хорошая, светило солнце, дул приятный ветерок. Расстегнув ворот гимнастерки, я подставлял ветру грудь, с упоением вдыхал свежий воздух и думал: спасибо вам, солнце и ветер, за то, что вы милостивы к нам, невинно осужденным...

Заключенный по «бытовой» статье, бригадир рабочих у кипятильников, видя мое усердие, сказал, что всегда будет звать меня на работу. Я был рад: мне здесь нравилось и я старался всю, работал днем и ночью, уходя в барак лишь на поверку и поесть.

Как-то утром пришла за кипятком большая группа женщин. У каждой было в руках по два ведра. От них я узнал, что прибыл эшелон женщин; осужденных по статье 58. Командир 7-го навкорпуса Григорьев был арестован; не исключено было, что среди арестованных находится его жена. Еще будучи на свободе, я слышал о том, что часто арестовывали сперва мужа, а потом жену. Я спросил женщин, нет ли среди них Марии Андреевны, жены командира корпуса Григорьева.

— Нас так много... Мы не знаем, есть ли среди нас такая, — сказала одна из женщин. — А что ей передать, если ее увидим?

— Скажите ей, чтобы пришла за кипятком завтра утром, ее хочет видеть Горбатов, бывший командир дивизии.

— Хорошо, поищем, спросим, — раздался голоса.

Когда на следующий день утром женщины пришли за кипятком, среди них оказалась не жена Григорьева, а ее племянница, которая воспитывалась у них с малых лет, а затем вышла замуж за начальника Особого отдела дивизии Бжеззовского. Сперва арестовали ее мужа, а потом вскоре и ее.

— Вот где встретились, Александр Васильевич, — сказала она через проводочный забор.

— Да, Любочка. Не ожидал увидеть вас когда-нибудь в такой обстановке. Ее обвинили в шпионаже, осудили, и она следовала на Колыму.

Наш пересыльный лагерь пополнялся все новыми людьми. Затем нас перевезли в бухту Находка, на пароход «Джурма», и мы отплыли в Магадан.

Еще большая тоска охватила несчастных людей, когда корабль удалился от материка. Даже меня, ни на минуту не терявшего надежды, временами охватывало чувство обреченности.

Сидели мы в трюме, в отдельных отсеках. Время от времени нас выводили на палубу подышать свежим воздухом. Однажды во время прогулки мы видели, как наш транспорт проходил через ворота Лаперуза: справа виднелся японский берег, а слева была южная оконечность Сахалина, захваченного японцами в 1904—1905 годах. Нас охватила какая-то тревога, мы даже говорили от волнения тихо. Я думал в то время, что если не освободят нас до войны с Германией и Японией, которую я считал неизбежной, то во время войны отсюда не вырвешься, так как эти ворота закроются для пароходов и останется единственный и маловероятный путь — по воздуху.

До пролива Лаперуза погода стояла хорошая, а когда вошли в Охотское море, начались штормы, наш океанский пароход бросало, как щепку. Хотя меня и меньше мутило, чем большинство спутников, я страдал от духоты: на палубу нас не выпускали, потому что капитан и начальник конвоя опасались, как бы кого не смыло водой: потом счет не сойдется — и отвечай!

В Охотском море со мной стряслось несчастье. Рано утром, когда я, как и многие другие, уже не спал, ко мне подошли два уркагана и вытащили у меня из-под головы сапоги. Сильно ударив меня в грудь и по голове, один из уголовных с насмешкой сказал:

— Давно продал мне сапоги и деньги взял, а сапог до сих пор не отдает.

Рассмеявшись, они с добычей пошли прочь, но, увидев, что я в отчаянии иду за ними, остановились и начали меня снова избивать. Уркаганы, глядя на это, смеялись и кричали: «Добавьте ему», «Чего орешь, сапоги давно не твои». Лишь один из политических сказал:

— Что вы делаете, как же он останется босой?

Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил их мне.

Я не раз слышал в тюрьме рассказы о скотской грубости уголовных, но, признать, никогда не думал, что они в присутствии других заключенных могут вот так безнаказанно грабить. Как бы там ни было, я лишился сапог. Охрана во главе

с начальником ладила с уркаканами, поощряла их склонность к насилию и пользовалась ими для издевательств над «врагами народа».

Наконец мы прибыли в Магадан — центр Колымы. После кое-какой «санобработки» и разбивки по группам всех нас, кроме явно больных, направили на отдельные прииски, в пятистах — семистах километрах от Магадана.

Нет сомнения, что большая роль в освоении и эксплуатации Колымского края принадлежит заключенным — с тех пор, конечно, как сюда стали посылать так называемых «врагов народа» — людей высокой квалификации в самых различных отраслях труда и привыкших трудиться не за страх, а за совесть. Но нет сомнения и в том, что эти же люди могли бы принести пользу неизмеримо большую, если бы они не были удручены неотвязной мыслью о незаслуженном унижении, если бы их не терзала тревога за судьбу близких, если бы они жили в человеческих условиях и если бы их трудовыми усилиями распоряжались знающие и добросовестные руководители, а не упоенные случайно доставшейся им бесконтрольной властью «надзиратели».

Пройдет еще много времени, прежде чем в полной мере будет оценен этот период в истории нашей страны. Пройдут года... Цель моего рассказа — поведать молодому поколению о людях, не потерявших даже в этих условиях веру в справедливость, в нашу великую ленинскую партию и родную советскую власть, хотя многие из этих несчастных потеряли надежду вернуться когда бы то ни было на свободу. Но встречались среди нас, заключенных, и такие люди, которые потеряли веру во все самое дорогое для советского человека и, думая лишь о том, как бы выгородить себя, шли на все, что угодно было негодяям, действительным врагам коммунизма и советского народа. Свое отступничество некоторые из этих трусов прикрывали всякими «философиями». Так, например, моим соседом по нарам был в колымском лагере бывший начальник политотдела одной железной дороги, который даже хвалился тем, что оклеветал около трехсот человек. Он говорил то, что мне уже случалось слышать в московском тюрьме: «Чем хуже, тем лучше — скорее все разъяснится». Кроме того, в массовых арестах он видел какую-то «историческую закономерность», приводил примеры из времен Ивана Грозного и Петра Первого... Хотя я не скрывал моего крайнего нерасположения к этому теорегизирующему клеветнику, он всегда старался завести со мной разговор. Меня это сначала злило, потом я стал думать, что он ищет в разговорах успокоения своей совести. Но однажды он вывел меня из терпения, и я сказал:

— Ты и тебе подобные так сильно запутали клубок, что распутать его будет трудно. Но все равно распутают. Если бы я оказался на твоём месте, то давно бы повесился.

На следующее утро его нашли повесившимся. Несмотря на мою большую к нему неприязнь, я долго и болезненно переживал эту смерть.

В июле 1939 года я попал на прииск Мальдяк, что в шестистах пятидесяти километрах от Магадана. Везли нас на машинах пять суток, первые четыреста пятьдесят километров по выбитому шоссе, а остальные двести — по грунтовой дороге. Дорога проходила по сильно всхолмленной местности, поросшей лиственницей, осиной, березой и кустами кедровника. Во время остановок мы с жадностью набрасывались на спелые кедровые шишки и запасались ими на дорогу. Углубляться в лес не разрешалось под угрозой смерти.

Поселок при золотом прииске Мальдяк состоял из деревянных домиков в одно—три окна. В этих домиках жили вольнонаемные служащие. В лагере, огороженном колючей проволокой, было десять больших, санитарного образца, двойных палаток, каждая на пятьдесят—шестьдесят заключенных. Кроме того, были деревянные хозяйственные постройки: столовая, кладовые, сторожка, — а за проволокой деревянные казармы для охраны и там же шахты и две бутады для промывки грунта.

В нашем лагере было около четырехсот осужденных по 58-й статье и до пятидесяти уркаганов, закоренелых преступников, на совести которых была не одна

судимость, а у некоторых по нескольку, даже по восьми ограблений с убийством. Именно из них и ставились старшие над нами.

Грунт для промывки золота добывался на глубине тридцати пяти—сорока метров. Поскольку вечная мерзлота представляет из себя крепкую, как гранит, массу, работали шахтерскими электрическими отбойными молотками. Вынутый грунт подвозился на тачках к специальному подъемнику, поднимался по стволу на-гора, а затем доставлялся вагонетками к бутарам.

Наш прииск был на хорошем счету: там добывали за сутки по нескольку килограммов золота, а были дни — правда, редкие, — когда снимали даже десятки килограммов. Попадались и довольно крупные самородки; сам я их не видел, а только слышал о них, мне удалось найти лишь три маленьких самородка, самый крупный из которых весил сто пятьдесят граммов.

Некоторые из старожилов-заклученных были настоящими старателями. Они спускались в шахту с водой и лотком для промывки грунта и редко когда не намывали двадцати пяти—тридцати граммов золота. Я часто наблюдал, как они осматривают стены шахты, иногда освещая их дополнительно карманным фонариком. Найдя подходящее место, эти мастера своего дела начинали отбивать грунт и промывать его в лотке. Был случай, когда один из таких старателей не выходил из шахты семьдесят часов. Еду и воду ему приносили в шахту. В результате за это время он намыл около двух килограммов золота.

Работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть плохое питание. На более тяжелую работу посылали, как правило, «врагов народа», на более легкую — «друзей», то есть уркаганов. Из них же, как я уже говорил, назначались бригадиры, повара, дневальные и старшие по палаткам. Естественно, что то незначительное количество жиров, которое отпускалось на котел, попадало прежде всего в желудки «друзей». Питание было трех категорий: для невыполнивших норму, для выполнивших и перевыполнивших. В числе последних были «друзья». Хотя они работали очень мало, но учетчики были из их же компании, они жульничали, приписывая себе и своим выработку за наш счет. Поэтому уголовники были сыты, а мы голодали.

На зиму палатки, где мы жили, утеплялись толстыми стенками из снега, топка железных печей не лимитировалась — сколько принесем дров из леса после рабочего дня, столько и сожжем. Морозы в сорок—шестьдесят градусов в этих местах — обычное явление. Бежать было некуда, поэтому выход за проволоку особенно не контролировали. Пойдешь, бывало, к охраннику, скажешь: «Иду за дровами» — и выходишь за проволоку свободно. Если хочешь поесть сверх того, что дадут в столовой, сначала принесешь дров хозяину какого-нибудь деревянного домика — за это получишь кусок хлеба, больше или меньше, в зависимости от объема твоей вязанки. Но так как многие из вольнонаемных приезжали работать «туда» из-за «длинного рубля», то они не особенно были щедры и лишней корки хлеба не давали. Конечно, и среди них были добрые люди, и работой на них мы дорожили как единственной возможностью подкормиться, но у них почти всегда имелись свои постоянные носильщики и пильщики дров. Бывали и такие случаи. Нас и уркаганов наряжали за дровами. Мы, «враги народа», шли в лес, а уголовные поджидали нас недалеко от лагеря, отбирали дрова, в лучшем случае со словами: «Мы вам поможем поднести». А мы, не имея права возвращаться без дров, снова шли в лес за три километра. Но бывало и хуже, на кого попадешь: и дрова отнимут, и вдобавок избьют, а били сильно, со злобой, приговаривая: «Ты коммунист, ты защищал советскую власть, так вот тебе благодарность!»

Вскоре со мной приключилось несчастье: стали пухнуть ноги, расшатались зубы. А если сляжешь как больной — тогда беда: исход будет один... Я пошел к врачу. Обязанности врача исполнял фельдшер, осужденный за какую-то безделицу на десять лет. Человек он был порядочный. Фельдшер записал меня в инвалиды и устроил сторожем для охраны летней бутары. Эта работа считалась привилегированной: там не нужно было гонять тяжелую тачку и вагонетку — только посматривай, чтоб не растащили сухой лес на топку палаток. В сторожах я пробыл две



недели. Сидел в сделанном мною из снега укрытии, жег в нем небольшой костер. У меня были кирка и топор, я ими откалывал куски от пеньков, стаскивал их в свой снежный домик и поддерживал огонь.

Работа была нетрудная, и я не раз благодарил в душе доброжелательного фельдшера. Но ноги продолжали пухнуть и стали как бревна, а колени перестали сгибаться. Пришлось снова идти к фельдшеру. Он полностью меня «активировал» как инвалида и написал заключение об отправке меня из Мальдяка в лагерь, что в двадцати трех километрах от Магадана. Теперь все зависело от начальника лагеря. На мое счастье, он утвердил акт, и в конце марта 1940 года я оказался под Магаданом. Это, и только это, спасло меня от неминуемой гибели. К моему великому сожалению, я забыл фамилию фельдшера, который работал в то время на Мальдяке, но чувство благодарности к нему я сохранил навсегда.

Когда я в первый раз прибыл из Владивостока в Магадан, окрестности города показались мне дикими. Но теперь, после того как я пожил в Мальдяке, район Магадана показался мне уютным и воздух там совсем другим — как будто я попал в ноябре из северных окраин в Сочи.

Разместили нас в большом барачном лагере у подножья гор. Четыре дня нас, обессиленных болезнью и долгим, трудным путем, на работу не посылали. Быстро, как сон, промелькнули эти четыре дня отдыха. Потом снова взялись за работу — носить на себе или стаскивать волоком с гор за четыре километра по 0,54 кубометра древесины в день.

Читателям будет трудно представить себе картину, как по склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей бредут исхудалые люди, не люди, а тени, и, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед, напрягая последние силы, тянут древесину. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной местности, а при самом незначительном подъеме он становится просто непосильным. Люди спотыкаются, падают, встают и снова падают, но груз трогается с места лишь тогда, когда приходит на помощь кто-нибудь другой, сзади идущий. Так доставляется древесина в лагерь.

Работать становилось день ото дня тяжелее. Вечерами судили и рядили, почему это. Одни говорили:

— Доходим, братцы.

Другие уверяли:

— Всему причиной долгожданная весна, она влагой снег пропитала, из-за этого и тянуть древесину стало труднее, от этого и ноги так болят.

— Всему причиной, братцы, плохой харч, — авторитетно замечал третий. — Он не лучше, чем на Мальдяке, а работа одинаково тяжелая.

Что же делать? Объявить, что болен, нельзя было: урежут хлеб, а чем будут лечить? От всех болезней одно лекарство — настой хвои. Тогда уже одна дорога — под бугор! Значит, тяни, пока сможешь...

Как-то во время четырехдневного отдыха мы рассказывали друг другу свою прошлую жизнь. Рассказывал и я свою. Один из слушателей, квалифицированнейший инженер Л. И. Логинов, спросил меня:

— А теперь, Александр Васильевич, не бранишь себя за честный труд? Не настроило тебя по-другому решение шемакина суда?

— Нет. Если бы пришлось начать жизнь сначала, я бы повторил ее, хотя бы и знал, что окажусь на Колыме. Если бы оказался на воле, то снова бы служил, хоть сверхсрочником, в роте или эскадроне. А суд, что с него взять? Ему так кто-то приказал...

— Иного ответа я от тебя и не ожидал, — сказал Леонид Игнатьевич и добавил: — Я тоже так. Согласился бы всю жизнь быть простым рабочим, но только на воле и чтобы знали, что я ни в чем не виноват.

Однажды мне снилось, что пришел приказ о моем немедленном освобождении, что все знают об этом приказе, но проходят дни, недели, а его мне не объявляют. Как я поносил начальство! После оклика «поднимайся!» был рад, что это только сон. Иначе за мои речи не избежать бы мне прибавления срока... Однажды

мне пришлось пережить прискорбный случай. Получив от жены очередной денежный перевод, я решил полакомиться и соблазнился на покупку у одного из уркаганов коробки рыбных консервов. В то время как я доставал из платка деньги, к нам подошли еще два уркагана, выхватили у меня платок с деньгами и под смех остальных спрятались в толпе людей, шедших в столовую. Не так было жалко денег, как пачки писем от жены и ее фотографии — их вместе с деньгами выхватили у меня из рук эти мерзавцы: ведь каждое письмо я перечитывал множество раз, а оставаясь один, глядел на фото. Этих злодеев я встречал, просил вернуть хотя бы фотографию, но они лишь смеялись. Когда я вскрыл банку, то вместо рыбы обнаружил в ней песок.

Заключенные по-разному реагируют на тяжелый труд. Одни, едва добравшись до нар, сразу же отдаются сну, хотя и тревожному; другие, ворочаясь с боку на бок, долго не засыпают. Я спал плохо. На работе не было времени отдаваться думам, а ночью, при тусклом освещении, думаешь о прошлом, настоящем и будущем.

Вспоминал я и Бутырскую тюрьму. Как тогда мечталось поскорее попасть если не на свободу, то в какой-либо лагерь, работать, дышать свежим воздухом! Но я никогда не предполагал, что есть такие лагеря, как наш. Теперь, голодный, лежа на нарах, я мечтал: как бы хорошо попасть в тюрьму хоть дней на пять, отлежаться, отдохнуть в тепле, досыта поесть хлеба!

Много думал о жене: как трудно ей, многострадальной, сразу лишиться отца, брата и мужа. Вспоминал о том, как мы с ней жалели арестованных наших знакомых, не подозревая, что и наше горе стоит уже за дверью.

Но больше всего мои думы были заняты судьбой моей родины. Если бы, думал я, арестовали только меня — это было бы мое личное горе. Но арестовано столько самых преданных и способных работников всех специальностей! Это уже горе всей страны. Считая неизбежной и близкой войну, я думал: как будут вести бои и операции только что выдвинутые на высокие должности новые, не имеющие боевого опыта командиры? Пусть они люди честные, храбрые и преданные родине, но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат, корпусом — командир полка, а армией и фронтом — в лучшем случае командир дивизии или его заместитель... Сколько будет лишних потерь и неудач! Что предстоит пережить стране в связи с этим!

Мучил также и такой вопрос. Неужели наши руководители верят в то, что столько советских людей вдруг стали продажными, встали на путь шпионажа в пользу империалистических стран? На ком же в таком случае держалась и держится советская власть? Нег, этого быть не может! Но опять вставал проклятый вопрос: так что же случилось? На этот вопрос я ответа не находил...

Уголовников в нашем лагере было много, и, как на Мальдяке, они работали мало, а жили хорошо. Один из этих субъектов давно приставал ко мне, чтобы я продал ему свою шерстяную гимнастерку. Этот уркаган был старостой в одной из палаток, он получал и раздавал заключенным хлеб, так что у него всегда были «излишки». Однажды я получил от жены письмо. Она уведомляла меня, что мне послана вещевая посылка, в которой я получу новую гимнастерку, брюки, белье, сапоги, а также и сухую колбасу. Это письмо я показал уркагану и сказал:

— Ту гимнастерку, что на мне, я продать не могу, а продам тебе ту, которую получу, но при условии, если будешь снабжать меня дополнительным хлебом.

— Хорошо, буду давать пайку по шестьсот граммов в день, — ответил он и, надо отдать ему справедливость, добросовестно выполнял обещание.

Но я знал по длительному опыту, что хорошие вещи до меня не доходят — всегда я получал не те, о которых писала жена, а некоторые посылки не получал совсем. Поэтому, не очень-то надеясь получить то, о чем писала жена, я был уверен, что и лишний паек хлеба, позволяющий держаться на ногах, я буду получать недолго. Надо было заблаговременно искать какой-либо работы полегче. При содействии заключенного М. М. Горева, который имел некоторый служебный вес, заведя частью мастерских, я устроился колоть дрова и кипятить воду в

кипятильнице. Эта работа была мне по силам, да и работать можно было в тепле. По соседству с кипятильником находилась хозяйская часть лагеря, в котором работал бухгалтером некто И. Егоров, бывший финансовый работник Ярославля; я с ним познакомился и предложил постоянно убирать и подметать его канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. Егоров согласился и был не в накладе. Не ошибся и я: сметая со столов крошки, корочки, а иногда и кусочки хлеба в свою торбу, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод.

Недалеко от места моей работы были расположены землянки с картофелем, морковкой и луком, находившиеся в ведении Егорова. Я и здесь работал (голод — не тетка!), систематически помогая перебирать овощи. Так как у меня шатались зубы и я не мог грызть сырую картошку и морковку, то я смастерил себе терку: нашел кусочек белой жести и пробил гвоздем дырочки. Теперь я мог есть сырые овощи, и мои зубы стали укрепляться, а опухоль ног пошла на убыль. Я получил возможность даже кое-чем помочь своим товарищам по несчастью, в том числе Л. И. Логинovu.

Однажды я получил письмо от жены. Она писала, чтобы я не беспокоился о ней: она здорова, получила нетрудную, хорошо оплачиваемую работу — контролером на заводе; с работой уже освоилась, товарищи по работе и начальство ею довольны. (На самом деле, как я потом узнал, все это было только фантазией. Была она в это время без работы.) Но все-таки она решила приехать в Магадан, чтобы поступить на работу здесь, быть ближе ко мне, ей уже обещали дать пропуск.

Меня это испугало. Немедленно я написал жене два почти одинаковых по содержанию письма и послал их с промежутком в семь суток, надеясь, что хоть одно из них дойдет. Радуюсь, что она получила хорошую работу, я категорически возражал против ее приезда в Магадан и, в свою очередь пойдя на ложь, сообщал, что уезжаю на дальний прииск. Я убеждал жену — и в деловом смысле это была правда, — что она нужнее мне там, недалеко от Москвы.

Когда в конце концов я поправился и набрался сил, наступило короткое колымское лето. И больных и здоровых, жаждущих занять мое теплое местечко у кипятильника, было очень много. А в это время происходил набор на рыбные промыслы. Туда я и записался одним из первых. Через неделю, распрощавшись со своими приятелями, я оказался в поселке Ола, на берегу моря. Там я встретил своего товарища, бывшего командира 28-й кавдивизии Федорова, который теперь работал, как когда-то его отец, кузнецом. Обнялись и обменялись новостями. В Оле было неплохо, режим там был более слабым, заключенные свободно ходили по поселку, и мы часто виделись с Федоровым.

Через несколько дней кликнули клич: кто хочет ехать в тайгу косить траву сроком на месяц? Я изъявил желание немедленно.

Четыре человека — я и три уркагана — получили косы, грабли, принадлежности для отбивки кос, продовольствие на неделю: хлеб, крупу и соль, а также рваную сеть. Уложили все это добро на повозку и тронулись лесом вверх по реке Ола. Через двое суток мы нашли большую поляну с высокой густой травой и на ней обосновались. Построили из веток шалаш, покрыли его накушенной травой, сделали загон для лошади недалеко от шалаша, заготовили дров и разожгли в шалаше дымный костер, чтобы изгнать тучи комаров и мошек. Затем закинули рваную сеть в ручей и расположились на ночевку.

Рано утром меня разбудило фырканье лошади. Я подумал, что она отбивается от гнуса, и уснул снова. Но проспал я недолго, а когда вышел из шалаша, то обнаружил пропажу трех караваев хлеба, которые лежали в повозке; мы потеряли три четверти хлебных запасов... Следы — примятая трава — вели от повозки к лесной опушке. У самой опушки трава была сплошь примята, как будто на ней лежали, и здесь же валялись хлебные крошки. Кто же здесь был? Сначала я подумал на бежавших заключенных, но увидел свежий помет какого-то зверя. Разбудив своих товарищей, я рассказал им о происшествии. Пришли к выводу, что это

не иначе, как проказы Михаила Ивановича Топтыгина. Мои товарищи были озабочены: чем же мы будем питаться целую неделю? А я думал о другом: Топтыгин хорошо позавтракал сегодня, теперь он знает адрес, обязательно придет завтра и, не обнаружив хлеба, как бы не принялся за нашего коня, а потом и за нас.

Наше настроение было испорчено. Но делать нечего — нужно было принимать-ся за работу. Я пошел к ручью за водой и попутно заглянул в сеть. Радости моей не было конца: в сети я нашел с десяток рыб — горбуши и кеты! На мой крик прибежали товарищи и вытащили сеть с неожиданно большим уловом. Рыбу вы-брали, а сеть снова забросили в ручей.

Завтрак получился у нас на славу, необычно сытный. Особенно вкусной пока-залась уха, в которой вместо крупы была сварена икра. К хлебу мы даже и не при-коснулись. После сытного завтрака принялись за работу уже в хорошем настрое-нии. Погода нам тоже благоприятствовала, и мы забыли о страшном соседе.

Обязанности повара, уход за лошадьё и разведка покосных угодий — все это было возложено на меня.

На рассвете следующего дня меня снова разбудила лошадь. Она храпела и била ногами в землю. С трудом разбудив своих молодых товарищей, я выскочил из палатки и увидел медведя. Он на задних лапах поспешно уходил к опушке леса, а в передних, прижав к груди, уносил мешок с отрубями. Уходя, он часто огля-дывался на наш шалаш. Увидев меня, мишка остановился, повернулся ко мне мор-дой и осторожно, как будто боясь, что может рассыпать содержимое, поставил мешок на землю. Но мешок повалился. Стоя на задних лапах, мишка начал пере-минаться. Мне было неясно, хочет ли он извиниться, как пойманный с поличным, или собирается пойти «на кулачки». На мой крик из шалаша выскочили мои това-рищи. Я сказал: «Возьмите в руки хоть косы!» Двое из них потянулись за косами, что висели на шалаше, а третий (младший), подняв камень, пустил его в зверя. Камень глухо ударился в живот вора. Он, как будто обидевшись, отвернулся, опу-стился на все четыре лапы и медленно побрел в лес, все время оглядываясь на нас. Мы напустились было на товарища, бросившего камень, но услышали в ответ: — А кто еще знает, что было бы, если бы я не бросил камень.

Так закончилось наше первое знакомство с Топтыгиным.

В этот же день посчастливилось мне увидеть его супругу и деток. Приготовив рыбный обед, я пошел полакомиться черникой: в лесу ее было очень много. Вдруг метрах в двухстах от меня я увидел медведицу, которая плескалась в ручье с сын-ком или дочкой. Другой отпрыск сидел на берегу и щурился на яркое солнце. Медведица вытолкнула детеныша из воды, затнала, толкая мордой, в воду другого медвежонка и начала его мыть. Потом они все уселись на берегу сушиться. Вдруг медведица подняла морду, нюхая воздух, огляделась по сторонам, вся семья под-нялась и тихо пошла в лес. Я, стоя за кустами, наблюдал, забыв даже страх, и очень сожалел, что эту семейную идиллию не видели мои товарищи.

Третья встреча с медведем произошла у меня на четвертый день. Я шел по лесу в поисках новых укосных площадей, то и дело наклоняясь за черникой. Вдруг я услышал хруст веток и, разогнув спину, к ужасу своему, увидел идущего метрах в ста от меня медведя, очень похожего на первого знакомого. Увидев меня, мишка тоже остановился. Признаться, я дрожал от страха. Вероятно, он тоже узнал меня. Но он чувствовал себя здесь, видимо, уверенно, как хозяин; постояв немного, он пошел дальше. Может быть, почуяв мой испуг, он этим и удовлетво-рился, доказав тем, что не имеет против меня злых намерений.

Тут у меня неожиданно мелькнула мысль: сильное животное, а проявило такое благородство, которого не хватало многим ничтожным людям из тех, кто встре-тился на моем пути за последние два года...

Больше наши лесные хозяева к нам в гости не приходили.

Из трех уркаганов, которые со мной работали, двое были матерьями преступ-никами, а третий — еще совсем молодой человек, лет двадцати двух, не больше.

После работы мы обычно сидели в шалаше, поддерживали огонь в костре и болтали, кому что придет в голову.

Старший — Алексей, по кличке Обрубок, был невелик ростом, широк в плечах, со скуластым, некрасивым лицом и обладал большой физической силой. На его левой руке не было трех пальцев. Он был угрюм и неразговорчив. Однажды с трудом выдавил из себя: «Имею на своем счету два крупных ограбления, первое с одним убийством, а второе — с тремя». А когда я спросил его, где он потерял три пальца, он только усмехнулся и посмотрел на своих товарищей.

— Расскажи, расскажи ему, Алексей, и мы еще разок послушаем, — сказал младший.

— Ну и расскажу. Пальцы я потерял в лагере, но не на Колыме, а еще раньше. Играл я в карты, проигрался, денег уже не было, поставил на карту хороший костюм — не мой, конечно, а тот, который был на политическом, — и проиграл. Костюм я был намерен забрать ночью, когда новичок его снимет, ложась спать, а отдать должен был до восьми часов утра. Но политического в этот же день увезли в другой лагерь. Собрался совет наших старейшин, чтобы определить мне наказание. Истец потребовал лишить меня всех пальцев на левой руке. Совет предложил два пальца. Поторговались и согласились на трех. Я положил руку на стол, истец взял палку и пятью ударами отбил у меня три пальца.

Все это Обрубок рассказал хладнокровно, а в заключение добавил:

— У нас тоже есть законы, да еще покрепче, чем у вас. Провинился перед своими товарищами — отвечай.

Второй уркаган, по имени Борис, носил кличку Карьерист. Эту кличку ему присвоили в одном из северных лагерей за то, что он выдал себя за крупного злодея, у которого на совести шесть убийств и пять крупных ограблений. Ему поверили и назначили старшим. Когда выяснилось, что он просто вор-одиночка, его с треском сместили с должности старосты и присвоили ему кличку Карьерист...

Третьего, самого молодого, звали Вася, а клички он еще не удостоился. Его история такова: двух лет остался без матери. Отца на Украине повесили белые. Воспитывался у тетки, убежал от нее, был беспризорником, попал в обучение «вот к таким, как эти», — он показал пальцем на сидящих рядом «друзей». Вместе с ними участвовал в ограблении сберегательной кассы; сначала поймали одного, а потом и всех. Суд дал двенадцать лет с отбыванием наказания на Колыме.

— Все это случилось потому, — объяснил Вася, — что не было у меня родителей и что убежал от тетки.

Ругал он себя и сильно раскаивался в своих поступках. Жалел я Васю и верил в его искренность. Работал он хорошо. Меня он звал «папаша». Когда мы оставались вдвоем, я старался вселить в него уверенность, что если он сумеет сохранить себя в лагере, то на свободе обзаведется семьей и проживет счастливо. Я старался уберечь его от дурного влияния Обрубка и Карьериста, рассказывал ему о величии, справедливости и гуманности нашей большевистской партии. Он задал мне однажды вопрос:

— А почему же и вы, папаша, попали сюда?

— Оклеветали нехорошие люди, — ответил я.

Это он понял и мне поверил.

Однажды наш небольшой коллектив, особенно Вася, попросил меня рассказать о себе — о детстве, молодости, военной службе. Рассказ мой им понравился, и они просили рассказывать дальше и со всеми подробностями.

Мои рассказы они слушали с интересом, задавали много вопросов, а потом горячо обсуждали поступки как мои, так и других людей. Вася с грустью говорил: как хорошо расти в семье, иметь родителей, пусть даже бедность и суровый отец. Как ни странно, Карьерист в большинстве случаев разделял его мнение. Обрубок редко вмешивался в наш разговор. Но когда речь шла о моем детстве, он проворчал:

— Я бы такому отцу... Так много работать и так жить... Нет, лучше уж сидеть в тюрьме!

Самое глубокое впечатление на моих слушателей произвел рассказ о том, как я первый раз полюбил и по доброй воле расстался навсегда с любимой и любящей меня девушкой. Вася и Карьерист удивлялись моему отношению к Оле и одобрили меня. Обрубок процедил сквозь зубы:

— Ну, уж это не по-моему. Я смотрю так: хоть час, да мой!

Но я заметил, что во время моего рассказа и у Обрубка взгляд смягчился и потеплел. А когда я окончил все рассказы о своей жизни до самого ареста, он неожиданно сказал:

— Пожалуй, и я бы согласился на такую жизнь, какую прожил ты, Александр Васильевич.

В конце третьей недели нам привезли продукты — хлеб, крупу, соль и отруб-би. Заключение, привезший продукты, проверил и похвалил нашу работу, все записал и передал задание на следующие недели.

Привезенный им хлеб оказался совершенно сырым и несъедобным. Мы возмутились и вернули хлеб, сказав, чтобы он отвез его обратно и показал, кому следует. Приехавший человек отозвал меня в сторону, разъяснил лагерную обстановку и сказал:

— Что горячатся те трое — это неудивительно, с них взятки гладки. Но вы имеете пятьдесят восьмую статью. Ваш протест могут расценить как бунт, неповиновение и подстрекательство, а за это припают дополнительно пяток, а глядишь, и десяток лет. Я сам вижу, что хлеб есть нельзя, но другого сейчас вам не пришлют, все равно придется ждать неделю. Так лучше оставьте его у себя и не заставляйте меня выполнять неприятную для меня миссию — ведь я такой же, как вы!

Но мои сожители никак не хотели оставлять хлеб и всячески ругались. В конце концов возникла была вынужден взять хлеб обратно. Мы подарили ему четыре большие рыбины.

Пять дней я мучился, прикидывая, что нам может быть за это, и поделился опасениями с тремя членами группы.

— А при чем мы тут? — сказал один из уркаганов (уже не помню кто). — Хлеб не понравился комдиву, а мы и не такой ели...

Только тут я понял всю серьезность предупреждений возникла.

Мы питались прекрасной свежей рыбой. В это время кета и горбуша поднимались из моря по рекам и притокам на нерест. Мы даже перестали есть горбушу, брали из нее только икру, а ели кету, приготавливая из нее уху.

Однажды, хорошо пообедав, мы пошли сгребать сено и вновь увидели нашего старого знакомого. Мишка, упершись передними лапами в обрывистый берег ручья, внимательно всматривался в воду.

— Вероятно, готовится к свиданию, — пошутил я, — вот и смотрится в воду, как в зеркало.

Но мишка бросился в воду и начал барахтаться в ней.

— Нет, видно, она ему изменила или не понравилась ей его физиономия, — сказал Вася, — вот он и решил с горя утопиться.

Мы продолжали наблюдать, спрятавшись в кустах.

Мишка пошел по ручью и на задних лапах вышел из него, где берег был пологим. В передних лапах он держал трепыхавшуюся большую рыбу, сел, закурил и укрылся в том лесу, через который мы должны были идти. Мы не знали, далеко ли он ушел, не знали и его намерений, а потому решили после обеда отдохнуть и переждать, пока он уйдет подальше. Эта встреча с лесным хозяином была у меня последней.

С покосом у нас все обстояло благополучно; высокие копны сухого, душистого сена росли и росли, погода была хорошая — в общем, мы чувствовали себя, как на курорте, и хорошо отдохнули. У меня, однако, не выходила из ума история с возвращением хлеба.

И вот в неурочное время, среди недели, пришла к нам повозка. Незнакомый возница передал приказ начальника лагеря: «Горбатову вернуться немедленно!» Почему — он сам не знал.

Я распрощался со своими товарищами по работе, пожелал им сокращения срока и в дальнейшем честной жизни. Вася расстался со мной как с родным отцом и дал слово выполнить все, что я ему советовал. Я же в тревоге отправился в путь. Дойдя до сплавищников леса, ничего нового там не узнал. Утром спустился на одном из плотов к селению Ола, где находился лагерь.

Прежде всего я пошел к своему товарищу Федорову, рассказал ему историю с хлебом. На мой вопрос, что он думает о причине моего возвращения, он ответил, что ничего об этом не слышал, «но думаю, — добавил он, — твои дела плохи».

В еще большей тревоге я пошел к начальнику лагеря. К моему удивлению, он принял меня хорошо. Разговор со мной он начал издалека. Сначала расспросил, как идет заготовка сена. Я доложил, и он остался доволен нашей работой. Затем с усмешкой спросил, знаю ли я причину моего возвращения в лагерь. Хотя у меня и напрашивался ответ: «Знаю», но я твердо ответил:

— Нет, не знаю.

— Вы командовали дивизией, ваша фамилия Горбатов, зовут Александр Васильевич, имеете пятнадцать плюс пять лет?— спросил начальник.

Получив ответ, он сказал:

— Вас вызывают в Москву для пересмотра дела.

— Вы это серьезно говорите, не шутите?— переспросил я.

— Да, серьезно, и рад за вас.

Первое обращение на «вы» со стороны начальства за все это мучительное время было верным доказательством того, что это не шутка.

— Очень благодарен вам, гражданин начальник, за такое приятное сообщение. Я все время ждал его.

— Нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключенному. К сожалению, это случается редко, — заметил начальник.

На прощание он добавил:

— Нужно быть готовым завтра утром отправиться на катере в Магадан. Мой совет: будьте осторожны в разговорах и поступках, пока не доедете до Москвы.

На прощание он пожал мне руку.

От начальника я пошел к Федорову, чтобы поделиться с ним сверхрадостной новостью. По дороге встретил того возницу, который привозил продукты и увозил обратно не принятый нами хлеб. Увидев меня, он спросил, почему я так рано вернулся с сенокоса. Я поделился с ним своей радостью. Он сказал:

— Как это было удачно, что я не повез ваш хлеб обратно в лагерь, а часть его скормил лошади, остальное выбросил. Чего доброго, это могло бы повредить вашему хорошему настроению.

Я поблагодарил его крепким объятием без слов.

Тяжело было расставаться с Федоровым и другими товарищами, остающимися в лагере. Все они проливали горькие слезы, лишь у меня одного слезы были горькие за них и радостные за себя. Все они просили «сказать в Москве», что они ни в чем не виноваты, а тем более не враги своей родной власти. Кто стал бы меня слушать?.. Удаляясь на катере, я долго видел их, стоящих на берегу, машущих руками.

Позднее я узнал, что жена не переставала обивать пороги НКВД, прокуратуры, Верховного суда и Наркомата обороны. Наконец 20 марта 1940 года она получила конверт со штампом Верховного суда. Долго она не решалась его вскрыть, а открыв, заплакала: ее уведомили, что пленум Верховного суда отменил приговор в отношении меня и предложил пересмотреть мое дело заново. Большую роль в этом сыграло выступление в мою защиту С. М. Буденного на пленуме Верховного

суда. Он сказал, что знает меня как честного командира и коммуниста. Об этом я узнал от одного из военных прокуроров, который тоже был на этом пленуме.

Жена писала мне не раз о решении Верховного суда, но одни письма до меня не дошли совсем, а другие были исчерканы цензурой.

Путь мой в Москву тянулся долго; из поселка Ола я выехал 20 августа 1940 года, а в Москву, в Бутырскую тюрьму, попал только 25 декабря. Нас долго не отправляли из Магадана, долго томили в бухте Находка и на пересыльных пунктах в Хабаровске, Чите, Иркутске, Новосибирске и Свердловске. С каждого этапа я посылал жене письмо.

Вера моя в благоприятный исход дела была абсолютной. Она не поколебалась даже от того, что на пересыльных пунктах мне встречалось много людей, возвращающихся после пересмотра их дела обратно в лагеря.

В Магадане сдущих на переследствие собралось около ста человек. Нас использовали на работах — правда, менее тяжелых. Боясь заболеть и отстать от партии, предназначенной к отплытию последним перед зимой морским рейсом, мы старались экономить силы, а потому, пользуясь привилегией «преступников под вопросом», как могли, уклонялись от работ.

Наконец на том же пароходе «Джурма», который нас привез сюда, мы отчалили от горестных берегов. Как и в тот раз, бушевало Охотское море, и мы снова испытали неприятности от качки. Но не было уже того строгого режима, как тогда, когда нас везли в лагеря: мы часто торчали на палубе. Радость наша проявлялась во всем — и в движениях и в разговорах: мы радовались свежему ветру, широким далям, даже громадам волн. Все мы стали как будто моложе и выглядели прямо-таки молодцевато.

Вот слова и пролив Лаперуза. Но какая разница во впечатлениях — тогда, когда плыли на восток, и теперь, когда плыли на запад, навстречу свободе!

В бухте Находка, торжественно радостные, мы покинули пароход и вступили, как говорили, на Большую землю, хотя для нас она была всего лишь деревянными бараками. В тот же день, придя за кипятком, я встретил Ушакова, бывшего командира 9-й кавдивизии. Мы обнялись, крепко расцеловались и, конечно, прослезились. Ушакова когда-то считали культурным, лучшим из командиров дивизий; здесь он был бригадиром, командовал девятью походными кухнями и все же считал себя счастливичиком, получив такую «привилегированную» работу!

Ушаков не доехал до Колымы по состоянию здоровья: старый вояка, он был ранен восемнадцать раз во время борьбы с басмачами в Средней Азии. За боевые заслуги он имел четыре ордена. В то время, когда мы жили в бухте Находка, в судьбе Ушакова по неизвестной причине произошли перемены к худшему: его сняли с должности бригадира и назначили на тяжелые земляные работы...

Я уже говорил о том, что ехавшие на переследствие пользовались некоторыми привилегиями и могли более свободно ходить по лагерю. В один из вечеров я присутствовал на лагерной самодеятельности заключенных женщин. Никогда не изгладится из моей памяти выступление бывшего первого секретаря районного комитета партии, женщины лет сорока пяти. Она пела популярную песню «Катюша». Это было не пение, а крик отчаяния, тоска истерзанной души. Я не мог удержаться от слез. Жаль, что не знаю ее имени и фамилии и жива ли она теперь. Прошло с тех пор вот уже более двадцати трех лет, но и сейчас в моих ушах звенит эта песня, и сейчас я вижу примитивную дощатую сцену, а на ней женщину в бушлате и кирзовых сапогах.

Посмотрел на зрительниц... Везде это были наши матери, жены, сестры, дочери, чаще всего осужденные как члены семьи «врагов народа». Если мы не знали за собой никакой вины, то нас хоть в чем-то обвиняли, а эти несчастные были просто жертвами жестокого и открытого произвола.

Накануне отъезда из бухты Находка я нашел Костю Ушакова на канаве, которую он копал. Невысокий, худенький, он сидел обессиленный, склонив голову на



ручку лопаты. Узнав, что я завтра уезжаю, он просил «сказать там, в Москве», что он ни в чем не виноват и никогда не был «врагом народа».

Снова крепко обнялись, поцеловались и расстались навсегда. Конечно, я выполнил его просьбу и говорил о нем, где только было возможно. Но вскоре после нашей встречи он умер.

Путь от бухты Находка до Москвы нам показался бесконечно длинным. Ехали мы уже не в товарном, а в купированном арестантском вагоне. Само собой разумеется, мы не имели закрепленных мест: полка было шесть, а нас тринадцать человек. Мы строго соблюдали очередь для отдыха: по одному лежали на четырех верхних полках, а девять человек сидели на нижних двух скамьях и через маленькое зарешеченное окошко смотрели на волю.

Не скрою, что вид у меня был довольно неприглядный. Исхудал я сильно: рост у меня сто семьдесят семь сантиметров, а весил я в то время шестьдесят четыре килограмма. Признаком военного человека была лишь гимнастерка, служившая мне бесценно эти годы; из-за грязи и заплат было трудно определить, какого цвета она была раньше. Ватные брюки заплатаны. Ноги обернуты портянками и обуты в шахтерские галоши (полуботики). Была на мне еще и ватная фуфайка, лоснившаяся от грязи. На голове — растрепанная и грязная шапка-ушанка. Думая о своем наружном виде, я мог тешиться лишь надеждой на то, что я сохранил бодрость духа и, вероятно, еще лучше развил волю и стойкость.

Был у меня мешок. Он служил главным образом чехлом для обрывка одеяла, с которым я не расставался. В нем я хранил пару белья и свой неприкосновенный запас на случай заболевания: с десяток небольших сушек и пять кусков колотого сахара.

Вот в таком виде меня и других привезли на вокзал Москвы и водворили в знакомую уже Бутырскую тюрьму.

В камере, в которой мы оказались, было человек сорок. Все они прибыли на переследствие из различных лагерей и тюрем. У части из них пересмотр дела уже закончился. Половина прибывших на переследствие снова возвращалась в лагерь и тюрьмы. Меня это не испугало. Вопреки всему, что я слышал, я верил, что мне поможет то, что я не клеветал ни на себя, ни на других.

Через семь суток меня вызвали к следователю. Перед ним лежало мое дело с прежней фотокарточкой. Увидев меня, он сначала засмеялся, а потом резко оборвал свой смех и стал серьезным. Долго переводил он свой взгляд с фото на меня, велел мне пройти по комнате, потом сел сам и предложил мне сесть напротив. Он спрашивал год, день моего рождения, кто были командующие округами при мне в Средней Азии и на Украине, кто был командиром корпуса и т. п. После этого началось следствие.

Предъявляя мне поочередно ряд обвинений, он сверял мои ответы с какими-то другими показаниями. Все это делалось в довольно вежливой форме, но не давало пока повода думать, что дело клонится к освобождению. Так продолжалось до 1 марта, когда меня перевели из Бутырской во внутреннюю тюрьму на Лубянке.

Вечером 4 марта мне сообщили, что следствие закончено и меня этой ночью освободят. Следователь спросил, есть ли в Москве какие-либо знакомые, у которых жена, приезжая в Москву, останавливалась.

— Есть, — ответил я.

— Как вы думаете, не оставила ли она там для вас обмундирования? — спросил он.

— Моя жена верит, что я буду освобожден. Возможно, что она привезла и оставила обмундирование.

Я сообщил ему номер телефона знакомой семьи.

Следователь удалился, но, вернувшись, сообщил:

— Жена ничего не оставляла, а в таком виде вас выпускать даже ночью невозможно.

Я попросил следователя повторить мне, что он говорил по телефону. Выслушав его, я сказал:

— На ваш вопрос естественно было дать отрицательный ответ. Вы скажите так: мы освобождаем Горбатова, а одеться ему не во что. Тогда, возможно, вам ответят иначе.

Он ушел снова и вернулся с ответом, которого и следовало ожидать. Он сам съездил к нашим знакомым и привез полный комплект обмундирования.

В ночь на 5 марта 1941 года, в два часа, на легковой машине следователь доставил меня на Комсомольскую площадь к моим знакомым. Сдав меня, вежливо распрощался:

— Вот мой телефон. Если что, звоните мне в любое время. Рассчитывайте на мою помощь.

Как реликвию, я взял с собой на память мешок с заплатами, галоши и черные, как смола, куски сахара и сушки.

До рассвета мы не ложились спать. Я рассказывал, где был, что видел. По вполне понятным причинам в то время я не мог сказать и сотой доли того, о чем пишу сейчас: уходя с Лубянки, я дал подписку о молчании.

Позавтракав, я отправил жене телеграмму, в которой сообщал, что вернулся из дальней и длительной командировки, и просил скорее приехать в Москву.

Потом я зашел в Наркомат обороны.

Моя встреча с Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко была сердечной. Я доложил о своем возвращении из «продолжительной и опасной командировки»...

— Рад видеть вас, Александр Васильевич, живым. Ну, а здоровье будет! Отдохните, поправляйтесь, а там и за работу. Я дал уже указание о восстановлении вас в кадрах армии и о выплате содержания по занимаемой должности за все тридцать месяцев.

Горячо поблагодарив, я вышел из кабинета. Хотелось с каждым поделиться своей радостью, своим счастьем... Но жена оказалась больна и ждала меня в Саратове. Как только я приехал туда, она, как «по щучьему велению», стала быстро поправляться, и через восемь дней мы были уже в Москве, где получили путевки в подмосковный санаторий «Архангельское». Через месяц мы уехали продолжать свое лечение и отдых в Кисловодск.

Вернулись мы в Москву веселыми, жизнерадостными и окрепшими. На прием к наркому я явился уже другим человеком.

— Нужен ли еще отдых?— спросил нарком.

— Нет,— ответил я.

— Снова в конницу или лучше в другой род войск?

— Нет, в конницу не пойду. С большим удовольствием пойду в стрелковые соединения.

— Пойдете пока на должность заместителя командира стрелкового корпуса, чтобы оглядеться и ознакомиться со всякими новшествами. А там видно будет.

Затем нарком информировал меня о сложности международной обстановки.

— Видимо, мы находимся в предвоенном периоде, работать придется вовсю,— сказал он на прощание и пожелал мне успеха в работе.

В тот же день я получил предписание отправиться в 25-й стрелковый корпус на Украину.

Заехав в Саратов за вещами, мы отправились в Харьков. Получив у командующего войсками округа необходимые сведения о 25-м стрелковом корпусе, я с женой поехал в Сталино. Оформили все мои личные дела, дали мне четырехкомнатную квартиру в только что отстроенном доме «Углесбыта», а затем, по указанию командира корпуса Самохвалова, я выехал в город Лубны, где стояла одна дивизия (две другие были в лагерях на Днестре). С женой мы договорились, что, как только в

Сталино придут ее родные, получат багаж и придадут квартире жилой вид, она придет ко мне в Лубны, а за это время я устроюсь там. Таким образом, мы расставались ненадолго. Однако настроение у нас было невеселое, как будто мы предчувствовали, что опять расстанемся на годы.

Я ознакомился с дивизиями. Они были полностью укомплектованы, но настоящей слаженности я в них не почувствовал и общее состояние их оставило у меня впечатление неважное. Чем больше вникал я в дело, тем больше убеждался в правильности своих первоначальных впечатлений. Я не видел необходимого порядка, организованности и должной воинской дисциплины. Хуже всего было то, что многие командиры не замечали этих недостатков. Вернувшись в корпус, я без преувеличений, но ясно и четко доложил о всем виденном командиру корпуса. Он со всем согласился. Но на то, чтобы устранить недостатки, времени у нас уже не было: в воздухе пахло войной.

Ее все ждали, и не так уж много было военных, у которых теплилась еще надежда на то, что ее можно избежать. Однако, когда было объявлено о внезапном нападении авиации противника на Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, Минск, на железнодорожные узлы и аэродромы и о переходе дивизий противника через нашу границу, это сообщение всех поразило неожиданностью — верный показатель неудовлетворительной политической работы в войсках. Первой моей мыслью после начала войны было: как хорошо, что я на свободе и успел уже набраться сил! Но вторая мысль была о жене: каким ударом это будет для нее и увижу ли я ее еще? Я говорил с ней по телефону, слышал ее голос. Переживая сама безысходное горе, она старалась ободрить меня, говорила, что все самое плохое осталось позади, что она была так счастлива эти три месяца, что у нее хватит сил ждать дня победы.

*(Окончание следует)*



---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ

★

## ЯЗЫКИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА...

**М**ой сын выводит единицы и нолики, потом буквы «О», «А», «И». «Нажим», «волосок», снова — нажим, волосок. Месяц за месяцем он, как и сотни тысяч других ребят семи и восьми лет, страстно добивается классического перехода жирного и твердого бочка буквы «О» — «нажима» — в еле заметный «волосок», которым принято выводить арктическую и антарктическую области этой буквы.

То есть, по чести говоря, он только должен «страстно добиваться» всего этого, а движется к цели вяло, только из любви к хорошей своей учительнице и потому еще, что «ничего не поделаешь — так велено».

«Надо делать не то, что хочется, а то, что нужно» — внушаем ребятам мы, взрослые. И все чаще у меня возникает сомнение: действительно ли величайшая воспитательская мудрость заключена в том, что ребенок должен делать, познавать не то, что «хочется», то есть не то, что естественно для него, к чему тянет его природа нормального развития в эти годы, что дает радость, а то, что положено?

Кем положено? Почему положено?

Есть нечто удивительно чиновничье, солдафонское в самом слове «положено».

Неужели это истина, а не ложь, будто приносящее ребенку радость чаще всего вредно, а скучное полезно?!

Мальчик готовит уроки, а я наблюдаю за ним. Он отрывается от тетрадки и смотрит в окно — долго, внимательно.

Я жду, пока чувство долга заговорит в нем, но так как оно молчит — минуту, две и три — напоминаю:

— Делай уроки!

Он послушно выводит еще полстрочки кривобоких ноликов, которые под его рукой никак не желают принять бесстрастной законченности формы, и снова, забыв о тетрадке, поднимает глаза.

За окном дым — темные и чуть посветлее, окрашенные по-зимнему ранним багровым закатом, замерзшие люди, прячущие лицо в поднятый воротник. Ничего особенного, а он смотрит. смотрит...

— Делай уроки!.. Делай уроки, — повторяю я раз за разом и сам примечаю, что голос мой принимает дисциплинарный «старшинский» оттенок.

Именно таким тоном в начале июля сорок первого года старшина Ларионов, вклеив три наряда за то, что я на учениях не «отрывал», а «тянул» ногу и, будучи правофланговым, портил строй, в дополнение к трем нарядам внулшал: «Все дело в том, что задумываешься ты, когда не положено».

— Делай уроки! Не глазей по сторонам, — раздраженно говорю я.

Мальчик поворачивает ко мне лицо — мечтательное, просветленное. Кажется, что в зрачках его еще видно отражение дымов — сказочных, всех цветов, от серого до красного с черным, отражение изморози на стеклах. Еще виден след чего-то удивительного, не понятного никому, скользнувшего в душу человека, в самый фундамент ее, так, без пользы, чтобы лежать там, в душе, до срока, а потом прорасти кто знает чем: стихотворением, любовью, научным открытием или просто добрым, славным поступком. Прорасти будущим.

Да, конечно, старшина прав: задумываться и портить строй плохо — три наряда не оставили обидного осадка в душе. Но ведь сын не солдат. И сейчас не июль сорок первого, а мирные годы. Когда же и задумываться, как не в мирные годы, которых так немного в жизни человечества.

— Я сейчас, папа! — виновато говорит мальчик, и отражение неба, облаков исчезает из его глаз.

А я чувствую себя виноватым перед ним.

Я вспоминаю: в чудесной книжке «Когда я снова стану маленьким» великий польский педагог и писатель Януш Корчак говорил как раз об этом. О том, что никто не знает, больше ли получает школьник, когда смотрит на доску, чем когда непреоборимая сила (сила солнца, поворачивающего голову подсолнуха) заставляет его взглянуть в окно.

Что полезнее, важнее для него в тот миг — логический мир, зажатый в черной грифельной доске, или мир, плывущий за стеклами?

Не насилуйте, без крайней необходимости не насилуйте душу человека — этим заветом проникнута книга Корчака.

И это действительно завет, данный человеком, имеющим право давать заветы, завоевавшим это право всей своей жизнью и смертью, погибшим в печах Трешлики вместе со своими воспитанниками — сиротами из детского дома варшавского гетто. Человека, который, когда ему предложили выбор — жизнь без детей, осужденных гитлеровцами на гибель, или смерть вместе с детьми, — без секунды колебания выбрал последнее.

И пошел вместе с ребятами, успокаивая их, стараясь последними силами сердца спасти их от ужаса ожидания смерти.

Не насилуйте душу человека, внимательно приглядывайтесь к законам естественного развития каждого ребенка, к его особенностям, потребностям, стремлениям — учил Корчак.

Мне кажется, что педагоги делятся на две главные школы. Одни считают, что духовная жизнь ребенка значительной самостоятельной ценности не представляет, вся она — только подготовка, предуготовление к взрослой, производительной жизни. Для другой педагогической школы, ярчайшими представителями которой были Корчак и Макаренко, детство само по себе — в а ж н е й ш а я часть жизни. Жизнь, а не только подготовка к ней. Время творчества. Время, когда почти каждый, например, — талантливый художник. Время, когда человек, как губка, впитывает радости и горе, все звуки и краски. «Разве я не жил тогда, эти первые годы, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спать, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? — писал Л. Н. Толстой. — Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние».

Это писалось почти в конце жизни, как один из итогов ее. Идея, что детство только приготовление к жизни, — идея высокомерная, старческая. Она родилась, когда в обществе все стали мерять чистоганом. Нормально ребенок не создает ничего, обменивающегося на деньги, значит

он — предчеловек. Люди, которые не считают деньги главным мерилom, должны отвергнуть эту идею.

Макаренко и другие мудрые педагоги свидетельствуют, что к трем-четырем годам заканчивается формирование основных черт характера. Может быть, это происходит даже раньше. В детстве дана человеку чудесная способность синтезировать непосредственно из окружающего основные творческие элементы, как синтезирует растение из солнечного света, влаги, воздуха все соки, краски, запахи.

Встряхивая детскую игрушку калейдоскоп, ты получаешь новые и новые узоры. Но узоры эти созданы из определенного числа цветных осколков. «Узоры» человеческий мозг и человеческая душа создают всю жизнь, но красота их, богатство, сложность обусловлены разнообразием, яркостью и тонкостью оттенков первоначальных элементов.

...Мальчик закончил уроки.

— Теперь занимайся, чем хочешь, — разрешаю я.

Он смотрит в окно. Там темно. Впрочем, и в темноте можно многое различить. Только час назад ему бы, может статься, привиделась какая-то особая, своя, еще не бывшая на свете жар-птица и особый, свой конек-горбунок, а кто скользнет к нему через замерзшее стекло из ночной темноты? Баба-яга? Гофмановский крошка Цахес? Неосознанное предчувствие горя, разлук?

Впрочем, это тоже нужно, утешаю я себя. Ничто не пропадет в детской душе. Это тоже — новая краска. Чем больше красок — тем лучше. Самое страшное — власть одной краски, одного серого цвета.

И все-таки жаль потерянного заката. С годами другие краски линяют от ветра, холодных секущих дождей в самую прочную, серую. Только если накопить достаточно самых ярких цветов в детстве, запаса хватит до старости.

Так, но завтра тоже будет закат.

Верно, но закат другой. Этот закат не повторится.

...Как-то несколько лет назад я встретил Брониславу Михайловну Тихомирову, удивительно чуткого человека, заведующую детским садом, где воспитывались многие ребята из нашего дома.

— Проводила своих в школу, и грустно, — сказала Бронислава Михайловна. — Последний выпуск я особенно любила. И для ребят переход из детсада в первый класс это как бы скачок из царства свободы, игры в царство необходимости.

— Но ведь приходится рано или поздно совершить этот скачок, как вы выражаетесь, из царства свободы, игры в царство необходимости, — без всякой убежденности ответил я.

— Да? Может быть... — нехотя проговорила Бронислава Михайловна и отрицательно покачала головой.

...Потом, дома, я развернул книги, и на меня обрушились классики.

Почему необходим такой переход? А если даже необходим, то почему он должен нагрянуть так рано?

«Задающий вопросы ребенок жаждет понять, но он любит также и играть, — говорил Луи де Бройль. — Не следует думать, что игра для него бесполезное занятие, ведь она приучает ребенка размышлять, видеть, затем преодолевать трудности, иногда даже хитрить. Нет игры, какой бы наивной она ни была, не имеющей своей тактики и стратегии. Поэтому склонность к игре — удел не только детства или ранней юности». Она «также способствует развитию науки...»

«Из всех существ на земле только человек умеет играть, и лишь тогда он вполне человек, когда играет», — говорил Шиллер.

«...Здесь у каждого возникает странное впечатление, как будто все коммунары — и те, кто постарше, и пацаны, и девочки — где-то, по секре-

ту, очень тайно договорились о правилах игры, и сейчас играют, честно соблюдая эти правила и гордясь ими, — писал Макаренко. — Гордясь тем больше, чем правила эти труднее».

С полным единодушием в защиту игры выступают ученый, поэт и педагог... Школа без игры невозможна. При исчезновении игры, мечты она омертвляется — хотя формально и продолжает существовать, — как гибнет организм от обезвоживания. Омертвляется, стареет.

Недавно я разговорился с талантливым режиссером Григорием Львовичем Рошалем, и он напомнил мне чудесную детскую театральную студию в промерзшем подвале, созданную им для ребят школы-коммуны, где учился и я.

— Мы с Моисеем Михайловичем (М. М. Пистрак, несправедливо арестованный и погибший впоследствии, был директором школы-коммуны) работали над темой детского школьного праздника, праздничной игры, — сказал Рошаль. — Мы считали это важнейшим для школы. Я и сейчас считаю, что это так..

Я слушаю Григория Львовича и вспоминаю нашу школу, двадцатые годы. Слово «праздник» педагоги школы-коммуны и мы, коммунары, понимали очень широко. Мы работали на Бутиковской текстильной фабрике, многому и серьезно учились. Но праздник осещал и труд. Школьные субботники, когда все ребята выстраивались цепочкой от ворот — через заваленный сугробами двор, по лестнице — до котельной и перебрасывали тяжелые поленья с рук на руки, отзывается в памяти не тяжелой усталостью, а чем-то ярким, счастливым. Когда по трубам в спальни с покрытыми изморозью стенами поднималась горячая вода, мы чувствовали себя сотворившими нечто вроде чуда. Ведь это нашими силами согревается и оживает огромное здание — значит, нам по силам согреть и всю землю. Потом оказалось, что с землей дело обстоит не так просто, но ощущение возможности чуда осталось и помогло жить и в самые холодные годы. Впрочем, праздник, и наиболее значительный, может быть, для ребят праздник созидания — это особая тема, которую приходится оставить за пределами этих заметок.

— Да? Может быть... — нехотя ответила Бронислава Михайловна и отрицательно покачала головой.

Мимо проходила З. — учительница первого класса соседней школы, учительница добросовестная, но строгая, суховатая.

Порывисто шагнув к ней, Бронислава Михайловна спросила:

— Ну, как там мой? Коля? Яшенька?

З. остановилась и, словно выговаривая ученику за провинность, внятно и отдельно проговорила:

— Яков — так, ничего. А Николай рассеян... витает, знаете ли, не сосредоточен, туповат...

Слова падали, как камни.

— Коля — туповат? — покраснев, гневно воскликнула Бронислава Михайловна и совсем по-детски всплеснула руками. — Но он ведь так понимает природу... и так рисует... и так выдумывает...

— Допускаю, — строго перебила З. — Но природу в первом классе мы не изучаем, и рисование не главный предмет. В школе надо не выдумывать, а учиться. Усваивать основы знаний!..

Она кивнула и прошла мимо.

— Вы подумайте... Нет, вы только подумайте, — все не могла успокоиться Бронислава Михайловна. — И это о Коле. О Коле!

Помолчав, она сказала совсем другим, мягким, задумчивым, голосом:

— Когда мы первый раз выезжали на дачу и воспитательница повела малышей на прогулку, Коля шел позади. Потом вдруг оста-

новился и склонился к траве. Воспитательница подошла и поторопила: «Идем, идем!» Он показал на мертвую синичку и спросил: «Почему она не летит?» — «Птица дохлая, — сказала воспитательница и прикрикнула: — Да иди же ты!» Всю прогулку мальчик был молчалив, задумчив. Утром Коля проснулся раньше всех. Босиком побежал к опушке леса. Синички там не оказалось. Он бегом вернулся и, дождавшись воспитательницы, задыхающимся, немыслимо счастливым голосом воскликнул: «Тетя Маша! Все-таки она улетела!..» Мальчик так и не принял смерти. Так и утвердил вечность жизни... А З. говорит — туповатый. Странная...

Я слушаю Брониславу Михайловну и параллельно так и эдак ворочаю в голове слова: «у с в а и в а т ь о с н о в ы з н а н и й».

«Различные значения одного и того же слова являются историческими осязками, отлагаемыми в процессе эволюции человечества», — писал Поль Лафарг. Слова «основы знаний» тоже подверглись исторической эволюции, но иногда замедленной, отстающей от потребностей человека. Гимназический цикл основ знаний, в фундаменте которого лежали мертвые языки и высушенная до хронологических таблиц история, был потеснен (только потеснен) реальным образованием. Опубликованный в 1918 году декрет об единой трудовой школе направлен к полной ломке гимназического, высушивающего душу воспитания, замену его системой, гармонически развивающей человека.

Замечательные книги «Педагогическая поэма», «Республика Шкид» и «Дневник Кости Рябцева» донесли до нас события этой великой ломки школы, в которых, впрочем, было много и болезненного.

Некоторые неудачи в построении новой школы объяснялись, как мне кажется, тем, что она, эта новая школа, требовала десятков тысяч талантливых учителей и специальных зданий, лабораторий, мастерских.

Без особых материальных условий она могла еще обойтись, но талантливые учителя были ей совершенно необходимы.

Она вся была построена на внутренней убежденности в том, что обыкновенной школы быть не должно, как не должно быть обыкновенной любви, обыкновенных картин, обыкновенных стихотворений.

Там, где талантливые коллективы создались, такое чудо революционной школы возникало: коммуна Дзержинского, руководимая Макаренко, Московская школа-коммуна, руководимая сперва Лепешинским, а после Пистраком, школа Новикова, Радищевская школа и многие другие.

В годы культа личности школа проделала некоторую обратную эволюцию к гимназическим образцам. Принесшее такой вред раздельное обучение мальчиков и девочек было не единственным признаком отступления. Сложившиеся тогда и уцелевшие в некоторой мере до наших дней школьные программы держат школьника часто в представлениях восемнадцатого и девятнадцатого веков. Что бы мы сказали об учителе, который после открытий Коперника и Галилея учил тому, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг Земли?

— С этими представлениями практически можно жить, — оправдывался бы, возможно, такой учитель. — А если после школы юноша специально заинтересуется точными науками, никто не возбраняет ему изучить новые космогонические теории.

Современная школьная физика без идей эйнштейновской теории относительности и квантовой механики или биология без намека на научную теорию наследственности напоминают средневековый плоский мир. Чтобы выбраться из подобного блинообразного мира в мир настоящий, надо напрочь забыть не только некоторые из основ знаний, вытверженных в школе, но и саму методологию школьного мышления; это труднее.

Надо научиться по-иному мыслить, произвести в своем мозгу подлинную революцию.



Гуманитарии -- историк, филолог, философ, литературовед, -- если их естественнонаучное развитие завершается в школе, так и останутся печальными жителями плоского, доэйнштейновского, несуществующего мира.

Впрочем, все это вопросы сложные, трудные. В этих заметках хотелось бы разобраться только в особенностях первых шагов, самого начала школьного пути. О дальнейшем образовании говорится, лишь поскольку конструкция фундамента определяется тем, как замыслено все здание.

Сколько сил и времени уходит у человека в первых классах на воспитание единообразного, аккуратного почерка. На все эти «нажимы» и «волоски». Сколько десятков и сотен часов?! Стоит ли это необходимое, но все же не самое необходимое занятие таких затрат душевной энергии и учителя, и родителей, и ребенка?

Где-то я читал, что тетради ученика первых классов Трирской гимназии Карла Маркса были заполнены почерком почти каллиграфической правильности. Прошло время, и в мире появились до удивительности неразборчивые рукописи, доставляющие столько труда исследователям. Старательный почерк, привитый наставниками, исчез потому, что рукописи гения могли быть написаны только почерком гения.

Посмотрите тетради своих дочерей и сыновей, перешедших в старшие классы, а затем в вузы, и вы увидите, что процесс смены обезличенного, единообразного общего почерка своим, индивидуальным происходит буквально у всех. Гусеницы схожи, а бабочки, образующиеся из них, поражают бесконечным разнообразием расцветки крыльев. «Первый» почерк отбрасывается, как оболочка куколки, остающаяся где-то в траве после того, как бабочка вывелась. «Неужели это я так писал? Тут нет ничего моего», — подумает взрослый, случайно натолкнувшись на забытые школьные тетради.

И все-таки время, потраченное на отшлифовку и терпеливое гранение этого «первого» почерка, не пропало даром, говорят многие опытные педагоги. Оно способствовало воспитанию навыков аккуратности, укрепило руку, а главное, дисциплинировало человека.

Но почему нельзя воспитать аккуратность и укрепить руку, отведя часть времени, отнимаемого чистописанием, хотя бы для рисования, так любимого детьми и важного для них, для пластики, спорта?

Ряды ноликов в идеале совершенно одинаковы. И воспитывают они силу, дисциплину одинаковости. Рисунки — всегда различны. И дисциплина мысли, творчества, рождаемая ими, будет другой, более высокой.

Десять одноцветных полосок могут быть образом дисциплины единообразия, противопоказанной детству. По отношению к детям гораздо естественнее образ радуги, тоже отражающий дисциплину, органическое единство, но дисциплину многообразия.

Тут надо оговориться: конечно, учить писать правильно и аккуратно необходимо. Стараясь писать четко и хорошо, ребенок учится уважать и свой труд, и труд учителей, которые будут проверять его работу. Без этого не обойтись. Вопрос только в том, может ли чистописание занимать такое большое место, отнимать столько времени в первых классах? Не должно ли оно потесниться, освобождая время для других начал?

Бронислава Михайловна глядит на ребят, гуляющих рядом, в скверике, и задумчиво говорит:

— Какие они разные!.. Все! Все!.. А З. они кажутся одинаковыми. Различия характеров представляются ей просто капризами...

Я часами смотрю на ребят, слушаю их разговоры, наблюдаю игры. И постепенно «разность» характеров даже у самых маленьких детей, значение этой «разности» в какой-то мере открывается и мне.

Посмотрите: есть маленькис дети, которые на прогулке, шагая рядом с мамой, смотрят вперед, как все люди. А другие, крепко держа мамину руку, и головой и всем телом упрямо поворачиваются назад.

— Да иди ты как человек, — окликает сына мать.

Она оглядывается и смотрит. «Обыкновенный переулоч. Совершенно ничего особенного».

И я тоже не различаю ничего особенного: поднимается морозная дымка, тощая кошка перебегает дорогу, свистнул милиционер, и остановилась машина, кран повернулся и замер.

— Да иди ты как человек, — с раздражением повторяет мать.

А мальчик словно не слышит, неловко шагает, упрямо повернув голову назад. Чего-то он недоглядел... От чего-то ему невозможно оторваться.

Он смотрит и смотрит, совершенно поглощенный этим созерцанием, смотрит через свой «магический кристалл», который у взрослых достается одному на миллион, а в детстве хранится у каждого ребенка.

Вот показалась еще одна девочка с головой, повернутой назад, еще один мальчик. Лица у них задумчивые, поглощенные. Какая-то особая черта характера, строение души сказывается в странной привычке, в непреодолимом стремлении доглядеть и запечатлеть оставшееся позади.

Рано возникают у детей сильные и властные потребности, не менее сильные, чем у взрослых. Иной раз даже самым близким эти устремления ребят кажутся нелепыми, но, «искоренив» их дисциплинарными мерами, можно ненароком разрушить нечто драгоценное, крайне важное.

У моих знакомых есть мальчик, который с двух лет больше всего на свете любил петь. Он пел дома, в гостях, в детском саду и, гуляя, шагал впереди, размахивая руками в такт песне.

В этом не было бы беды. Но мальчику только казалось, что он поет. В действительности он просто повторял строки песни, громко и, на взгляд окружающих, немзыкально, неестественно растягивая слова. Дома он раздражал своим «пением» родителей, в детсаду портил звучание хора.

Когда мальчику исполнилось семь лет, на семейном совете было решено попытаться определить его в школу с преподаванием на английском языке. Желающих поступить в школу оказалось много, и для ребят устраивались короткие собеседования с целью проверить способности и развитие «абитуриентов». Во время беседы полагалось, между прочим, прочитать стихотворение, сказку или что-либо спеть.

Зная печальную склонность сына к вокалистике и угнетающее действие, которое его пение оказывает на окружающих, всю дорогу от дома до школы отец повторял то просительно, то почти угрожающе:

— Ты не пой, а прочитай стишок. Ты ведь знаешь много стихов.

Сын упрямо молчал.

Во время беседы, предчувствуя недоброе, отец подошел к дверям. После обычных вопросов снова раздался голос учительницы:

— А теперь прочти стихотворение!

— Лучше я спую, — решительно ответил мальчик. И запел.

Я переехал на другую квартиру и года два не встречал никого из этой семьи. Недавно я случайно на улице столкнулся с отцом мальчика. Первое, что он мне сказал, было:

— Слыхали о нашем Петьке? Его взяли в Гнесинское! Оказывается, у него абсолютный слух и совершенно исключительные способности — ком-по-зи-тор-ски-е! Вы подумайте... А раньше просто «голос не слушался». Так бывает — нам все объяснили в училище...

Несколько лет я дружу с Юрой Е. Страсть этого человека — собиране жуков. Он не морит насекомых эфиром, как другие коллекционеры, а держит живыми в спичечных коробках, устланных для комфорта ватой,

и в коробках из-под конфет. По ночам жуки-рогачи, выманенные светом луны, расползаются по квартире и пугают соседей.

— Хоть бы ты их накалывал на иголки, несчастье мое, — говорит Юрина мать.

Но он не хочет убивать. Ему нужно видеть жуков живыми, собирать их только так. Жуки летят в помойку. Юра ожесточается, пытается вос-становить свои коллекции.

Мать его, добрая женщина, на долю которой выпала очень трудная, одинокая жизнь, говорит:

— Я его обломаю! Он у меня будет, как все!..

Может быть, и обломает. Райзман, Ольшанский и Руднева создали горькую и честную картину «А если это любовь?». Можно и, вероятно, нужно было бы сделать картину «А если это талант?!».

Воспитание характера ребенка, его души, чувств — особая, сложнейшая область. Но она, эта область, настолько тесно связана с темой этих заметок — обучением ребенка, образованием его, — что хотя бы бегло приходится обращаться к ней и здесь. Отрицание методов грубого насилия в педагогике вовсе не означает отказа от необходимости воспитывать человека. Об одном замечательном учителе мне говорили:

— У него ко всем ребятам тянулись ниточки. Нет, только не ниточки для дергания, а артерии, по которым, как веровали древние, шла эманация души, что ли, нечто одухотворяющее.

Воспитывать без насилия сложнее, чем просто командовать, как неизмеримо сложнее высекать из мрамора скульптуру, чем штамповать ширпотреб по готовому образцу; но штамповкой не создашь настоящего человека.

Развитие ребенка в первые годы жизни во многом определяется постепенным переходом его из впервые явившегося новорожденному миру, где он совсем один, в мир, где он один с матерью, потом один с семьей, и наконец он уже не один, а становится частью человеческого общества.

Может быть, как смутное воспоминание о впечатлениях младенческого одиночества, остается «детский эгоизм», о котором говорил Толстой.

Без мудрой помощи заботливых воспитателей совершить превращение от состояния, когда весь мир — ты один, к общественному существованию почти невозможно. Есть люди, которые только формально совершают этот переход, у которых «детский эгоизм» превращается в «эгоцентризм» — непереносимый для окружающих и самого человека делающий глубоко несчастным, неспособным к настоящей любви. И есть другие люди, которые при этом переходе благодаря неумелому воспитанию утратили «свое», заложенное в них, «потеряли себя», утратили то особенное, без чего мы мало что можем дать другим людям.

Ведь дорого дарить то, чего нет у других, чем богат только ты.

Старый учитель, тридцать лет преподававший в московских гимназиях, а потом до самой смерти в советской школе, Андрей Ефимович Лопухов говорил: целью гимназии было искоренение различий, индивидуальных склонностей, всеобщая нивелировка. Новая школа должна раскрыть и развить все особенности человека, все его дарования.

Ненавистью к гимназическому «строевому воспитанию» была продиктована сказка А. Е. Лопухова «Одинаковые человечки». Я слышал эту сказку в чтении автора несколько раз и тут попытаюсь восстановить отрывок из нее.

Мальчик попадает в странный сказочный город.

...Два человечка, не сгибая колен, по-восному отбивая шаг, приблизились к нему.

Бьют барабаны. Все время слышится однообразный бой барабанов.

М а л ь ч и к: Скажите, пожалуйста, как называется этот город?

Первый человечек: Это знаменитый город одинаковых человечков!

Второй: Всем известный город!

Первый: У нас все одинаково — и люди и дома...

Второй: И это прекрасно. Ведь если бы не все было одинаковым, то появились бы различия...

Первый: А когда есть различия — это очень неудобно. Ведь для разных человечков понадобились бы разные костюмы. А для разноцветных домов — разные краски.

Второй: И для разных мыслей — разные головы.

...Показался марширующий отряд. Дробь барабанов, топот сапог. Звучат слова команды:

— Смир-р-рно! Глаза зак-рыть! Р-р-разойдись!

Мальчик растерянно оглянулся. Кругом одинаковые домики. Во все стороны разбегаются одинаковые прямые улицы.

— Кажется, я заблудился,— тихо и испуганно сам себе сказал Мальчик.

Словно из-под земли перед ним выросли три человечка.

Мальчик: Скажите, пожалуйста, где дорога? Как мне уйти из этого города? Мне ведь надо очень спешить, чтобы догнать колдуна и победить его.

Первый человечек: Как же вы можете увидеть то, что хотите видеть, если вы видите то, что есть?..

Второй: Закройте глаза, тогда вы увидите то, что хотите видеть, а не то, что есть.

Третий: Когда глаза открыты, то видишь то, что есть, лягушек, например, а я ужасно не люблю лягушек.

Второй: Или розы, а я терпеть не могу цветов.

Первый: Стоит только закрыть глаза — и ты видишь то, что нужно.

Второй: Или ничего не видишь, а это еще лучше.

Первый: Или видишь сны, а это приятно.

Второй: Или не видишь снов, а без снов спокойнее...

Глаза Мальчика смыкаются, смыкаются...

— Нет, нет! Я должен догнать колдуна,— сказал Мальчик, очнулся и побежал.

...Одна из главных задач новой, советской школы, говорил Лопухов,— воспитание человека с бесстрашно, по-ленински бесстрашно открытыми глазами.

Вопрос о воспитании «одинаковости», о том, необходимо это или, напротив, крайне вредно, ненужно, возникает часто не отвлеченно, а вполне практически. В интересной статье «Основа здания» заслуженного учителя Узбекской ССР М. Богомолова («Известия», 2 января 1964 года) среди многих правильных и очень важных мыслей, к которым хотелось бы еще вернуться, есть и одна, вызывающая возражение. «В поведении и манерах,— пишет Богомолов,— все дети — и очень способные, и среднячки, и тугодумы — должны быть одинаковы».

«Одинаковы»?!. Много лет назад один опытный психиатр проделывал с нами, тогда ребятами тринадцати—четырнадцати лет, опыты по изучению «субъективной скорости течения времени». Опыт очень простой. Мы находились в комнате, где не было ничего отвлекающего внимания. Метроном отсчитывал секунды. По короткому сигналу сирены метроном автоматически выключался на некоторое время и снова включался по такому же сигналу. У нас были наготове карандаши, и каждому предлагалось записать, сколько секунд продолжалась пауза между двумя сигналами. Опыт повторялся много раз с различными вариация-

ми, но ответ всегда был единообразен. Большинство ребят оценивало время, мысленно измеряя его, примерно правильно, с небольшими отклонениями. Но были девочка и мальчик, для которых время текло как бы в два или даже три раза медленнее, и был один подросток, порывистый, веселый, у которого оно «спешило» в полтора-два раза.

Это только одно отличие, имеющее, очевидно, серьезные психофизиологические, биологические причины. Требовать одинакового поведения у людей с резко замедленными и «спешащими» биологическими часами значит очень перенапрягать первых и не использовать возможности вторых. И. П. Павлов много работал над изучением различных типов нервной системы у собак. Выведенные им представители генетически чистых линий нервной системы геронческими усилиями ученика Павлова были сохранены даже в страшные голодные месяцы блокады. Ученые отказывали себе в жизненно необходимом, чтобы сохранить животных, жизненно необходимых науке, — настолько важны для науки эти различные типы, наследственно закрепленная различность типов нервной системы.

Психика ребенка неизмеримо более сложна, и различия у детей проявляются гораздо резче. Не видеть эти различия, не учитывать их педагог, как мне кажется, не имеет права. Попытка ломать такие различия в погоне за одними аксиомами может привести к самым тяжелым последствиям. Впрочем, Богомолов и сам утверждает это горячо и убежденно. «Педагог обязан знать психологию ребенка, подростка, юноши, — пишет он, — знать точно, применительно к возрасту и времени». Чудесное слияние педагога и психолога, талант точнейшего улавливания различий характеров, сознание важности для каждого человека и для всего детского коллектива этих различий, несходств пронизывает «Педагогическую поэму» и все работы Макаренко.

С самого начала развития школы виднейшие теоретики педагогики уделяли огромное внимание психологии раннего возраста, особенностям ее. Детство — время, когда в мышлении доминируют две черты: сказочность и инстинкт открывания нового.

Среди главных безусловных рефлексов, на которых строится высшая нервная деятельность, Иван Петрович Павлов особо выделял «рефлекс исследовательский», «рефлекс на новое». В детстве этот рефлекс определяет буквально каждый шаг, по-своему окрашивает каждую секунду жизни ребенка. Еще не умея говорить, ребенок открывает, что все предметы в действительности не перевернуты, как это рисует ему глаз. Он как бы ставит мир на ноги.

И с этого момента открытия следуют одно за другим. Счастье Эйнштейна, Лобачевского, Павлова, Ньютона, Колумба, у взрослых редкое счастье гения, видящего совершенно новое, ребенком переживается тысячи раз. В детсаду маленькая девочка из малышовой группы поднялась на рассвете по каким-то своим делам, качаясь ото сна, сделала несколько шагов, и вдруг взгляд ее упал на окно. Там медленно поднимался, из-за края земли выплывал огненный шар солнца. В городе девочка не видела «края земли», загороженного зданиями. «Открыв» восход, она вскрикнула от удивления и восторга.

— Лицо у нее было прямо-таки счастливым, — рассказывала воспитательница, наблюдавшая этот эпизод.

В 1814 году Фарадей, совершавший путешествие по Европе, писал своей матери: «Расскажи В., что я пересек Альпы и Апеннины, что я посетил «Jardin des Plantes», музей, основанный Бюффоном, Лувр с его сокровищами скульптуры и живописи, Люксембург с полотнами Рубенса; что я видел светляка!!!»

Восторг натуралиста перед светляком — самостоятельно наблюдаемым явлением природы, — перевесивший впечатления от Лувра и Люксембурга, — это детский восторг открытия, у гения не исчезающий иногда до глубокой старости.

Павлов учил «наблюдать, наблюдать и наблюдать». Умение наблюдать, вкладывая в созерцание все силы души, умение, воспитывающее как ученого, так и поэта, необходимое для творчества, даруется в детстве. И только в детстве усилиями семьи, детсада и первых классов школы можно его в полной мере развить и закрепить.

«Я думаю, мне очень повезло, — вспомнил Александр Флеминг, один из творцов антибиотиков, — что я рос в многодетной семье, на ферме среди песчаных равнин... Мы сами должны были придумывать себе развлечения, а это было нетрудно: ведь у нас были домашние животные, рыбы, птицы. И мы, не замечая этого, узнавали массу вещей, о которых горожанин не имеет ни малейшего понятия».

Андрэ Моруа пишет о детстве Флеминга и его братьев: «Весной прилетали ржанки и чибисы, которые вили свои гнезда на лугах. Дети заметили, что эти птицы предпочитают пастбища для коров и избегают овечьих выгонов, оттого что овцы теряют шерсть и в ней запутываются лапки птенчиков. Тетерева же, напротив, гнездились на овечьих выгонах, так как их птенцы были сильнее...»

Детское «открытие» не оказало, разумеется, никакого влияния на развитие науки и судьбы людей, но оно развило остроту зрения, исследовательский почерк, благодаря которому были осуществлены «взрослые» изыскания, составившие одну из значительнейших глав медицины.

Сказочность детского мышления как бы дополняет способность его к открытиям, требующую точности и непривязанности.

Сказочность эта выражается в том, что ребенок верит в самое невероятное. Он способен невероятное видеть, реально себе представлять. Самого понятия невероятности для него не существует. Достаточно посмотреть на детские рисунки, чтобы почувствовать фантастичность детского мышления.

Не веря, что есть вещи принципиально невозможные, ребенок замысливает предприятия, которые иногда удается осуществить гению взрослого человека. Так в детстве, вероятно, возникли первые неясные мечты о космических полетах, вообще о полетах.

В хорошем детском саду и сказочность мышления ребенка и его органическое стремление к самостоятельным открытиям получают необходимое питание, могут развиваться. Воспитательницы детских садов как бы говорят ребенку словами Уолта Уитмена:

Сначала неприветлива, молчалива, непонятна земля, неприветлива  
и непонятна Природа,  
Но иди, не унывая, вперед, дивные скрыты там вещи,  
Клянусь, не сказать никакими словами, какая красота в этих дивных вещах...

В хорошем детском саду главенствует, должно главенствовать самостоятельное опытное познание мира. Большую часть информации сознание ребенка накапливает весной, летом и осенью во дворе детсада и на даче детсада. Оно растет и живет вместе со всей природой. Прав Уитмен, который писал:

Теперь я постиг, как создать самых лучших людей:  
Пусть вырастают на вольном ветру, спят и едят с землею...

И зимой продолжают драгоценные самостоятельные наблюдения за жизнью растений и животных — в уголках живой природы, а на прогул-

ках наблюдения цвета неба, полета и исчезновения облаков, снегопадов, разнообразия снежных кристаллов, сонного оцепенения деревьев.

Игра, сказка, музыка, сказочный рисунок, игра в открытия формируют душу ребенка в детском саду.

Но вот человеку исполняется семь лет — и система воспитания, воспитания души, накопления информации меняется сразу на сто восемьдесят градусов. Живая природа отступает на задний план. Ребенок, живущий в городе, встречается с нею только в пионерском лагере или вместе с семьей выезжая на дачу, но без участия школьных учителей, опытных натуралистов. Не потому ли у нас такое множество взрослых, для которых птицы делятся на домашних — курица и утка, городских — голубь и воробей, и лесных — все остальные птицы. А все луговые растения безжалостно уминаются в одно слово — трава.

Лето и весна, когда природа так интенсивно живет, выпадают из школьного воспитания; это большое несчастье для ребенка. Природа предстает перед школьником, запечатанная снегами и льдом. Живая книга природы, только приоткрытая в детском саду, захлопывается. Даже в уголки юных натуралистов маленьких чаще всего не допускают, так как считается, что у них еще нет «достаточных навыков». Воспитание «на вольном ветру», рождающее «самых лучших людей», начальной школе почти недоступно. Опытное познание целиком заменяется логическим, книжным.

И в других сферах обучения в семь лет происходит такая же решительная и мгновенная перемена. Сказке почти не остается места на уроках русского языка, игра напрочь вытесняется из класса в школьный коридор; как прием преподавания она не используется. Пение и музыка становятся предметами третьестепенными. На уроках рисования ребенок больше не создает чудесных фантастических композиций. Из учебников для начальной школы изгнано многокрасочное оформление, выдумка, шуточный рисунок; они предстают перед ребенком как бы строго застегнутыми на все пуговицы, без тени ободряющей улыбки.

Вспомните, как нефабульны, нарочито незанимательны, даже можно сказать — антизанимательны учебники арифметики, физики и даже географии, вся история которой проникнута духом высоких подвигов и приключений. Учебник арифметики как бы отгорожен стеной от множества занимательных арифметик, учебники русского языка — от интереснейшего «Слова о словах» Успенского, учебник географии — от неутомимых странствий землепроходцев. Почему же настоящие, большие ученые в своих научных трудах, ища предельной ясности и поэтичности, так часто прибегают к самым смелым сравнениям, к лирическим отступлениям? У пальмы крона возникает из одной-единственной почки: отомрет почка — и дерево погибнет. Ботаник Шретер рассказывает об этом такими словами: «Подобно безрассудному игроку пальма все ставит на одну карту». П. Ричард пишет о тропических лесах: «...Природа здесь так лихорадочно стремится заполнить все стеблями и листьями растений, что кажется одержимой боязнью пространства».

Внезапное, полное или частичное иссякание потока наблюдений живой природы неизбежно сказывается на всем развитии ребенка и прежде всего на словаре его, на овладении им законами, строем, душой родного языка; а ведь овладение словом — главнейшая задача ребенка в начальной школе, и на это школа, казалось бы, не жалеет времени. Неизбежно сказывается потому, что, как говорил Анатолий Франс: «Между землей-кормиллицей и человеческой речью есть сокровенная связь. Речь человека родилась в борозде...» Язык «...полон метафор, взятых из сельской жизни: он весь цветет полевыми и лесными цветами». Франс писал это о своем

языке, но мысль его в такой же мере применима и к языку русскому — пушкинскому, тургеневскому, чеховскому, — который весь напоен ароматами степей и лесов.

Знаменитый филолог Арсен Дармстетер в книге «Жизнь слов» замечает между прочим, что латинское *laetus* обозначает одновременно и «плодородие луга» и «радость человека». Природа в растает в живую речь. Чувствовать и до конца понимать слово, не чувствуя природы — трудно, даже невозможно. Обучение архитектуре, строю языка должно сопровождаться непрерывным обогащением словаря (только в детстве могут так бурно расти запасы слов, так тонко соотноситься оттенки слов с оттенками наблюдаемых явлений), должно сопровождаться путешествиями к истокам слова.

В сочинении «Как я провел лето» один пятиклассник писал: «В лесу около нашей дачи росли различные деревья и пели птицы». Фраза, как и все сочинение, построена правильно, и автор получил хорошую отметку. Беда только в том, что приведенное описание одинаково «по мерке» и бразильскому первобытному вечнозеленому лесу, и осиннику на болоте, и сосновому бору. Мальчика жестоко обделили в школе, дали ему в руки не живое, а мертвое слово, и он применил его для обезличивания, нивелировки увиденного, то есть к цели, органически чуждой языку.

Представьте себе, что вам семь лет. Вы сидите в Художественном театре и смотрите «Синюю птицу». Окончилось первое действие. В антракте вы бродите счастливый, зачарованный, переполненный ожиданием чудес. И вот наконец долгожданный звонок. Занавес раздвинулся, но за ним не появляются Тильтиль и Митиль; декорации превратились в черную грифельную доску. Вместо героев «Синей птицы» выходит Некто, объясняющий, что второе и третье действия не будут представлены. Никогда не будут!

— Откройте тетради и приготовьтесь к диктанту, — приказывает Некто.

Чем оправдана такая полная перемена методики, содержания и направления образования человека именно на рубеже семи лет? Какими доводами, какими наблюдениями над психикой ребенка?

Должна ли эта перемена, разрыв контактов с миром природы, миром опытного и образного, эмоционального мышления и завязывание контактов с миром книжного, логического познания происходить так мгновенно?

Можно сказать: но ведь дети очень легко и радостно переносят переход из детсада в школу. Какие же основания для тревоги? Для того, чтобы говорить о насилии над нормальным развитием психики ребенка?

Но в том-то и дело, что переход этот вовсе не так безконфликтен. Представление о легкости и естественности его в значительной степени объясняется тем, что взрослые часто слова «детское горе» переводят как — маленькое горе, каприз. А подобный перевод совсем неверен. Выше уже говорилось о том, что многие ребята, которые в детсаде считались яркими, одаренными, учителями начальной школы часто оцениваются как дети «несосредоточенные», «рассеянные», даже «туповатые».

Порой в разряд «туповатых» попадают как раз ребята с задатками особой одаренности — прирожденные натуралисты, которые как дома чувствовали себя в лесу, «сочинители», художники. Им труднее приспособиться к регулярности, к некоторой одноцветности школьного преподавания. Об одном восьмилетнем фантазере учительница с полной убежденностью сказала: «Лгунишка, видит одно, а рассказывает другое».

И многие ребята очень переживают переход в школу. Просто мы этого не замечаем.

Несколько лет назад я попал в Новгород-Северский интернат в самый разгар бунта первого класса, продолжавшегося почти месяц.



«Бунт» этот выражался в том, что, лишь только начинался урок, ребята, монотонно жужжа, один за другим соскальзывали с парт на пол и сюда расползались к стенам комнаты, к двери.

У учительницы этого класса — умного, очень опытного, терпеливого и нежного к детям педагога — прибавилось много седых волос во время странной «битвы с первоклассниками». Победу, и победу полную, учительница одержала, только сумев разобраться в особенностях своих учеников.

К ней попала выпускная группа одного детского дома для дошкольников — крепкий коллектив со своими традициями, привычками, дружескими связями, признанными вожаками. Поэтому недовольство, которое в обычном классе, состоящем из ребят, впервые увидевших друг друга, несплоченных, постепенно бы рассеялось, тут выразилось необычайно сильно и организованно.

В этот детский дом для дошкольников брали сирот и ребят, родители которых оказались в тюрьме — детей, много переживших, душевно раненных. Талантливый коллектив детдома сумел создать для них новую семью. В детдоме существовал хороший уголок живой природы, было вдоволь цветов, игрушек. Серьезные занятия (почти все выпускники детдома умели читать) чередовались со слушанием сказок, пением, играми, пластикой, гимнастическими упражнениями.

Дети не могли понять, почему все это должно исчезнуть из их жизни. Да и взрослые, педагоги, задумавшись, должны были согласиться с тем, что правда, пожалуй, на стороне ребят.

Некоторые воспитатели говорили:

— Надо подчинить себе ребят, сразу показать им значенье и силу дисциплины, организованности, сломить их сопротивление.

— «Сломить», конечно, можно, — отвечали другие педагоги. — Но как трудно потом восстановить надломленное.

Было решено «сломить» не ребят, а некоторые элементы учебной программы. Продолжительность уроков сократили до тридцати минут; больше получаса первокласснику трудно, почти невозможно сосредоточиться на одном предмете.

Уроки по обучению письму, счету — серьезные, требующие воспитания первоначальных навыков отвлеченного мышления, — чередовались с играми, прогулками, слушанием музыки и сказок. То есть грифельная доска — символ школьного обучения — естественно вошла в жизнь ребят, но рядом с ней нашлось достаточное место, где «синяя птица» могла продолжать свой полет.

И класс не отстал. Напротив, он необычайно быстро восполнил упущенное во время «бунта».

Школа должна дать человеку основы знаний. Но само понятие это, объем и состав основ, складывалось исторически; тут есть много наслоений прошлого.

Человек может запомнить все тропинки, все деревья близлежащего леса и никогда не заблудится в этом соседнем лесу. А может он так понять природу лесов, законы их развития, характер растительных сообществ, чтобы чувствовать себя, как дома, быть хозяином в каждом лесу.

Чем большие и более разнообразные пространства входят в сферу деятельности человека, тем важнее вторая форма познания: не заучивание определенных тропинок, а воспитание чувства ориентировки, направления.

«Университет... — писал Герцен, — не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à tête nue (дать ему возможность. — А. Ш.) продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы.

научить спрашивать...» Мозг, в котором не заглушен, а полностью развит естественный параллелизм с природой, мозг, чувствующий природу, не скованный собранием устарелых сведений, необычайно быстро накапливает необходимые ему современные знания и начинает творить. Специальная теория относительности разработана двадцатипятилетним юношей, расцвет научного творчества Дирака тоже приходится на двадцать шесть лет. Двадцати семи лет Нильс Бор создал свою знаменитую модель строения атома.

Нормально, если этому не мешают посторонние обстоятельства, творчество начинается чрезвычайно рано не только у выдающихся, но и у обычных людей. Школьное преподавание часто построено так, будто между партией и временем начала активного покорения природы лежат спокойные пространства десятилетий, которые можно использовать на перевооружение — переход от пассивно воспринимающего факты мышления к мышлению исследовательскому, активному. Этих десятилетий нет в запасе. Незримое восхождение к творчеству, к открытию начинается с первых шагов ребенка. Если приступить к нему в тридцать или сорок лет — не хватит жизни, не хватит силы и свежести мысли.

Если и университет, по слову Герцена, прежде всего должен дать человеку «продолжать на своих ногах... возбудить вопросы, научить спрашивать», — то в такой же, если не в большей, степени это относится к школе. Слова «как» и «почему» должны занимать одно из главенствующих мест в лексиконе школьника. Основы знаний — не полное собрание ответов, а прежде всего дороги, открытые к самостоятельному завоеванию этих ответов.

Как только человек впервые открывает глаза, м и р, м и р ы, окружающие его, миры, каждый из которых обладает своими особыми языками, начинают вторгаться в сознание.

Школа и должна ввести человека в эти различные миры, научить его языкам различных миров.

Мне бы очень не хотелось, чтобы заметки эти даже в малейшей степени выглядели как осудительные по отношению к школе. Задача их вовсе не в том, чтобы дать решения, а лишь поставить некоторые вопросы, которые автору кажутся важными.

Я отлично понимаю, что учителя — люди труднейшей, геронческой профессии, что среди них множество смелых и оригинальных мыслителей, людей творческих.

В школе-коммуне, где я учился, преподавательница математики Елизавета Савельевна Березанская учила нас самостоятельно «открывать» геометрические и алгебраические формулы. Я и сейчас помню острое счастье, испытанное, когда мне, не блещущему математическими дарованиями, удалось вывести формулу объема усеченной пирамиды. Для профессора Михаила Темкина, лауреата Государственных премий Александра Соловьева и многих других учеников Елизаветы Савельевны школьные открытия были первым звеном в движении к настоящим открытиям. Но и другим, у которых математика оказалась за пределами жизненного фарватера, они дали самое главное — стремление мыслить не предвзято, стараться заново видеть даже то, что до тебя тысячу раз видели, изучили и расценили другие.

Я не забуду, как в Успенском, на летней базе школы-коммуны, Роберт Мартынович Михельсон, преподаватель биологических дисциплин, вел нас в лес и учил различать голоса птиц.

Кстати, на биофаке Московского университета был, когда я там учился, особый предмет — «слушание птиц». Веснами мы шли по сонной, едва светлеющей Москве от Моховой до Серебряного бора вместе с profes-

сором Кожевниковым — замечательным натуралистом, человеком старым, очень полным, страдающим одышкой, шаг которого в лесу становился легким, как поступь лани.

И, забравшись в глухомань, лежали часами, стараясь возможно точнее записать весь утренний птичий концерт, так точно отражающий страхи и любовные переживания, всю вообще непостижимо сложную и прекрасную жизнь леса.

На уроках истории Алексей Иванович Стражев учил нас по стилю, своеобразию словаря различать письма Курбского и другие литературные памятники эпохи Ивана Грозного от литературных памятников петровских времен. А на уроках литературы Ольга Спиридоновна Лейтнер, повинуясь логике интересов своих учеников, после «Разбойников» Шиллера, входящих в программу, на несколько уроков отклонилась к шиллеровскому «Законодательству Ликурга и Солона» — одному из замечательнейших свидетельств борьбы человеческого гения с философией тирании и единовластия; «Разбойники» мне в жизни никогда почти не вспоминались, «негодились», а эта статья и связанные с ней страстные споры на уроках — вспоминались не раз.

Такие талантливые учителя были, есть и будут. Вероятно, при меньшей скованности программами, при разумном и смелом экспериментировании их стало бы больше, и дети в школе были бы счастливее, развивались быстрее, ярче проявляя свои дарования. В уже упоминавшейся статье «Основа здания» М. Богомолов вспоминает, как в двадцатых годах он, молодой учитель, переполненный океаном идей, почерпнутых у Локка, Бокля, Писарева, Толстого, Крупской, Шацкого, Блонского, попал на работу в село, где не было еще школы; она только строилась.

«Мне удалось убедить родителей моих будущих учеников в целесообразности школы без здания. На живописной лужайке за деревней собиралось каждый день двадцать шесть малышей... Все великолепнейшее бабье лето — недели три в том году, я ежедневно тренировал ребятшек в «феодалных добродетелях» (как иронически окрестили этот опыт мои друзья — педагоги из окрестных деревень). По четко составленному расписанию протекали уроки внимания, наблюдательности, смекалки, молчания, гимнастики, терпения, послушания, вежливости, гигиены, музыки, политграмоты, риторики... Чего только я не придумывал, чтобы заставить интенсивно работать молодой мозг... Дети с великой охотой втянулись в эти занятия-игры...»

И сейчас, в шестидесятые годы, то там, то тут стихийно возникают подобные «школы без здания». В прошлом году ранней весной я попал в расположенный неподалеку от Москвы Приокско-Террасный заповедник. Вместе с одним молодым зоологом мы осмотрели замечательное стадо зубров и зубробизонов, а затем по топкому осиннику выбрались на подсохший уже холм, издали синевший и манивший зарослями цветущей сон-травы.

У подножия холма проходила дорога с глубокими колеями; сквозь ржавую холодную воду просвечивала прошлогодняя трава и топкая грязь. Медленно, с трудом лошадь тащила по дороге телегу, заваленную скворечнями, дуплянками, гнездами для соней. Ноги лошади до колен увязали в жидкой грязи, и колеса были погружены в топь, так что казалось, будто телега плывет. За телегой, опираясь на палку и с усилием вытаскивая ноги из затягивающей весенней топи, брел худощавый высокий старик лет шестидесяти или семидесяти.

Когда телега скрылась за деревьями, спутник мой сказал:

— Это орнитолог заповедника. Собственно, он уже два года на пенсии. Штатную единицу эту — орнитолога — прикрыли. Он и выполняет, так сказать, обязанности... Скворцам-то и всяким другим птицам и соням

гнезда нужны, а лесам нужны птицы — независимо от того, что решают штатные комиссии... Вот и придется старику маршировать сегодня километров сорок. Тут еще дорога ничего, а дальше, у бобровой плотины, — чуть ли не вплавь надо. А он идет, хотя и семьдесят лет и болеет последнее время. Весна не ждет... Редкий человек...

Я вслух подумал:

— Вероятно, скоро таких подвижников-орнитологов станет совсем мало. Профессия эта многим кажется архаичной, трудной, материально невыгодной.

— Нет, нет, что вы! — улыбаясь, покачал головой мой собеседник. — Пока есть Петр Петрович Смолин — настоящие орнитологи не переведутся. Это уж точно!..

Так я впервые услышал о замечательном натуралисте и педагоге, бескорыстном и талантливом труженике, известном в Москве многим детям и многим взрослым биологам, которые у Смолина начинали свой путь.

Влюбленные в природу ребята рано, совсем маленькими, находят дорогу к Смолину. И, если эта влюбленность настоящая, остаются у него. Бывшие ученики Смолина — сложившиеся ученые — приходят к нему, читают рефераты, помогают учить нынешнее поколение его воспитанников. Время от времени Смолин вместе со своими питомцами отправляется в походы по лесам Подмосковья. И там дети получают то, чего «школа в здании», обычная, часто дать не в силах: умение видеть все краски, все оттенки окружающего тебя мира, умение наблюдать... Получают не только знания, но и закаляют, шлифуют характер свой. Природа, может быть, как ничто другое, учит человека терпению, стойкости, мужеству.

В Москве, вероятно, не один Смолин, и в других городах есть настоящие натуралисты, помогающие детям. И все-таки «школ без здания» ничтожно мало сравнительно с потребностью в них...

Когда создавались школы-интернаты, вначале предполагалось строить их за городом, в красивых местах, среди лесов. Это было бы гораздо здоровее и полезнее для детей. Потом почему-то от этого плана отказались. Некоторые интернаты предприняли героические усилия, чтобы восполнить недостатки городской жизни и создать свои загородные летние колонии. Так, руководимый тогда смелым и талантливым педагогом Ганзенем Второй интернат в Ленинграде отыскал в Финском заливе необитаемый остров; в свое время там была расположена мореходная школа, но ее перевели с острова, а других жителей на нем не появилось. Началась замечательная «робинзонада», в которой соединилось многое — и настоящая детская игра, полная романтики, и приближение к природе, и воспитание самостоятельности.

Многие школы — и обычные и школы-интернаты, не имеющие своих летних баз, — устраивают весной и в начале лета дальние походы. Но маленькие, ученики начальной школы, в походах не участвуют, им это не по силам. Некоторые школы добиваются того, чтобы можно было вывезти в пионерский лагерь целиком второй или третий класс вместе со школьным учителем природоведения. Тогда учебный год как бы сместится, вклинится в живые месяцы природы, и дети получают то, без чего жить трудно.

Такое смещение учебного года в весенние и летние месяцы можно было бы проводить шире.

И в каждой школе можно организовать уголки живой природы специально для маленьких. И вероятно, можно создать учебник природоведения с яркими рисунками, читающийся увлекательно, как рассказы Бианки. И выпустить для детей картину «Двенадцать месяцев года» —

живой календарь родной природы. Картину, в которой опытными операторами день за днем, месяц за месяцем было бы снято все главное, что происходит кругом и остается часто незаметным для обычного наблюдателя: прилет и отлет птиц, как поют разные птицы, как выют они гнезда, как головастики превращаются в лягушку, а куколка в бабочку, как распускаются различные полевые цветы, как рыбы идут на нерест, как из икринки проклевывается малек, как живут в снегу микробы, как рождаются первые подснежники.

Такая картина обошлась бы дорого, но ведь снималась бы она не на один год, а на десятилетия.

Просмотром такого календаря можно было бы начинать каждый месяц школьной жизни. Конечно, не все школы имеют кинозалы. Но разве нельзя для этого использовать соседние кинотеатры, клубы, дворцы культуры?

И можно хоть изредка, хоть раз в месяц, объединив несколько школ, организовывать уроки слушания музыки и слушания сказок. Чтобы играли на этих уроках и читали сказки не ремесленники, а настоящие мастера.

Школа должна ввести человека в главные миры, окружающие его, научить языкам этих миров, сделать его в них не посторонним, не чужаком, а «своим», полноправным гражданином. Вглядитесь на хорошем концерте в лица своих соседей — и вы сразу отличите тех, для которых музыка открыта, которые сейчас полно и прекрасно живут ею, от других, по несчастью воспитания остающихся за порогом ее. И то же различие вы легко заметите на природе, в лесу.

Надо, чтобы первых, посвященных, знающих разные языки мира — музыки, природы, живописи, родной речи, иностранные языки — становилось все больше. Без этого знания трудно быть по-настоящему счастливым.

Где взять время для всего этого? Время должно найтись, если согласиться с тем, что все это не «развлечения», не второстепенное, а самое главное для нормального воспитания души.

...Мой сын уже в пятом классе. Он увлеченно читает книгу о путешествиях Марко Поло.

— Делай уроки, — вероятно, в тысячный раз за эти годы говорю я ему. — Брось книжку, ты опять поздно ляжешь спать. Делай уроки!

Наконец он услышал меня, нехотя оторвался от книги и, тяжело вздохнув, склонился над тетрадкой. Ему надо указать длину, главные направления, наивысшие вершины основных горных хребтов мира — как бы заполнить для горных хребтов цифровую анкету. В учебнике искомым данных нет, и до вечера он роется в Малой советской энциклопедии, выискивая цифры, из которых ни одна не запомнится и в которых — во всех вместе — меньше живой географии, чем в одной строке удивительных путешествий Марко Поло.

Он как бы грузит свой мозг балластом. Конечно, балласт придает кораблю устойчивость, но так ли уж он необходим в данном случае? В таком ли количестве?

Нет, если подумать, время, вероятно, отыскалось бы и для уроков, конечно, и для природы, музыки, сказок, и для Марко Поло.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

## ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ

1

Лет двадцать тому назад журналистские маршруты привели меня на остров Сахалин. Июльским утром я выехал из Тымовска в селение нивхов Чир-Унвд. Почти месяц не было дождей, и когда впереди в темно-зеленой хвое возникла густая серая дымка, подумалось, что это пыль, поднятая чьей-то машиной. Через минуту все вокруг потонуло в горячем смолистом дыму. Шофер включил фары. Едва различая дорогу, мы проехали километра два-три, потом остановились, заколебавшись: не повернуть ли назад? «Попробуем прорваться», — сказал шофер. Еще километр, не больше, двигались мы на ощупь и внезапно поравнялись с гигантским костром. Справа жарко полыхали заросли багульника, курильского бамбука, над ними дымились низкорослые, молодые лиственницы и ели. Шофер нажал на акселератор и успел выскочить на небольшую полянку за минуту до того, как пламя перекинулось через дорогу.

Вскоре я возвращался прежним путем. Там, где бушевал огонь, угрюмо чернели изогнутые мертвые стволы над такой же почерневшей землей. Никто тогда не остановил лесной пожар. Его перехватила неподалеку полноводная Тьма.

Это припомнилось недавно, при встрече с парашютистами, десантниками, летчиками Северной авиабазы. Ее штаб расположен в самом сердце лесного края, на берегу Северной Двины, в архангельском селе Красноборск. Здесь можно познакомиться с людьми трудной профессии, с «крылатыми» пожарниками. Каждый день они пролетают над миллионами гектаров лесного океана. На этой территории, от Мурманска до Урала, за последние годы втрое уменьшилось количество пожаров. Почти все они (95,5 процента) были обнаружены с воздуха и погашены до того, как охватили большую площадь. Зная эти цифры, можно по достоинству оценить труд людей, оберегающих наши лесные богатства.

Самолеты авиабазы ежедневно уходят в патрульный полет. Каждый день — один и тот же, изведанный до мельчайших ориентиров маршрут. Каждый день на борту АН-2 и ЯК-12 — люди, готовые по сигналу летчика-наблюдателя пристегнуть лямки парашютов и выпрыгнуть из кабины. Вертолеты опускаются там, где замечен дым, и высаживают десант. Случается, что поблизости нельзя отыскать место для безопасной посадки. Тогда машина «зависает» над лесом и десантники покидают ее не совсем обычным способом: они спускаются, обвязавшись узкой капроновой лентой. Снизу не разглядеть ее, и кажется, что человек, выйдя из вертолета, оказался в состоянии невесомости.

...Николай Бекряшев и Сергей Гусев прыгнули вблизи места, где был замечен дым. Летчик-наблюдатель увидел, что парашютисты благополучно приземлились, и отправился дальше по своему обычному маршруту. Бекряшев и Гусев потащили заряды аммонита к огненной кромке. Это был «низовой» пожар, его можно

остановить взрывчаткой. Выброшенная взрывом земля покрывает сухую траву и мох. На пути огня возникает заслон. Дойдя до такой заградительной полосы, пожар лишается горючего материала и гаснет.

Парашютисты вырыли шурфы, заложили в них взрывчатку. Вдруг подул ветер, и «голова» пожара быстро приблизилась вплотную к ним. Вот что затем произошло.

— Я побежал к заградительной полосе, — рассказывает Бекряшев. — Нужно было непременно взорвать заряды до того, как огонь перепрыгнет через них. Если взорвутся позади «головы» пожара, мало будет пользы. Ветер погонит его дальше. Я бегу в одну сторону, Гусев — в другую. Между крайними зарядами метров двести. Дым стелется по земле, дышать трудно. Подбежал к предпоследнему заряду, поджег шнур, отскочил в сторону, прилег. А тут вырвалось вперед пламя, загло шнур у крайнего заряда. Оглушило меня взрывом, засыпало землей. Поднялся, вижу — можно еще опередить огонь посередине заградительной полосы. Гусев тоже это заметил. Бросился к зарядам, поджигает шнур, что-то кричит — не слышу, звон в ушах. Взорвал я двадцать зарядов, с остальными Гусев управился. Остановили все-таки этот низовой пожар. Отдышались немного, потом захлестнули прутиками небольшие языки пламени. А к вечеру все погасло.

Это был девяносто шестой прыжок Николая Павловича Бекряшева. Теперь в его личную книжку вписано уже полтора ста прыжков.

Он — старожил Северной авиабазы. Пришел сюда, окончив среднюю школу. В шестнадцать лет не допускают к парашюту, но для этого рослого паренька, выглядевшего старше своих лет, сделали исключение. Очень уж он упрашивал начальника базы.

— Вот увидите — честное слово, ни от кого не отстану...

— Это-то видно, — пошутил начальник авиабазы. — Который день не даешь мне проходу. Только надо тебе немного подождать... Загляни через годик-два...

Паренек проявил завидную настойчивость. С утра до вечера торчал на аэродроме. Помогал снаряжать самолеты, таскал со склада тяжелые ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, топоры. И добился своего.

— Что с ним поделаешь, — сказал начальник авиабазы инструктору парашютно-пожарной службы. — Пусти в павильон.

После очередного занятия ломило тело, будто таскал весь день пудовые мешки. Его вертели в «колесе».

— Не закрывай глаза! — слышал он голос инструктора. — Смотри, как говорится, в оба! Спокойно! Руки в стороны! Ноги в стороны! Земля у тебя за спиной. Плавнo перемещай в пространстве свой корпус. Ноги и руки теперь — твой руль. Земля у тебя перед лицом. Ты вышел из штопора. Так, хорошо.

Коля Бекряшев сдержал слово — ни от кого не отставал. Это был старательный и дисциплинированный курсант: схватывал на лету все, чему его обучали, отлично научился укладывать парашют так, чтобы тонкие стропы ложились один к одному и не перепутались в тот миг, когда над головой раскроется купол. В течение многих дней он прыгал с деревянной площадки на песок. Ни одно неверное движение не ускользало от придирчивого инструктора.

— Не так, не так! — ворчал он. — Зачем согнулся в три погибели! Этак встретишь землю коленками. Или швырнет тебя на бок. Давай еще раз...

Если бы ему предстояло только прыгать с парашютом и уметь приземлиться в заданной точке, не подвергая себя опасности, можно было подняться в воздух и сдать последний экзамен. Но Северная авиабаза нуждалась в людях, хорошо подготовленных для охраны леса от огня. Поэтому самый молодой курсант обязан был наравне со всеми остальными овладеть нужной техникой.

В пожарном снаряжении парашютистов не оказалось ничего особо сложного. На спине — резиновый, довольно вместительный ранец, наполненный водой. Подкачай в него воздух — из тонкого шланга ударит сильная струя. Опорожнится ранец — наполни его из ближнего ручья, из родника.

Ничего мудреного не было и в переносной мотопомпе, и в мотопиле. Немного времени понадобилось и для того, чтобы освоить зажигательный аппарат: пользуются этим небольшим огнеметом, когда нужно пустить «встречный пал», быстро поджечь впереди пожара траву, кустарник, столкнуть два фронта огня.

Покидая самолет, парашютисты берут с собой радиостанцию. Коля Бекряшев научился держать связь с «землей» и «воздухом» — с штабом оперативного отделения авиабазы, с ближайшим леспромхозом и патрульным самолетом. Он уже умел пользоваться мотобуром для бурения шпуров, в которые кладут заряды взрывчатки, — в общем, постиг все, что помогает в единоборстве со стихией огня.

## 2

Над Красноборском повисли тяжелые облака. По утрам темные крыши домов становятся светло-серыми от инея. С восходом солнца он исчезает, но в лесу на опавшей листве серебрится весь день. Вчера выпал первый снег. Съезжаются люди из оперативных отделений авиабазы, разбросанных на территории Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, в лесах Карелии и Коми АССР. Кончился патрульный сезон. До мая можно прекратить ежедневные полеты. Лесная подстилка уже напиталась осенней влагой, огонь здесь не разгуляется. Если встанет где-нибудь дым над лесом — значит, кто-то вовремя очищает вырубку от порубочных остатков. Теперь можно безбоязненно их сжигать.

Начальник штаба и главный летнаб составляют годовой отчет. Можно заранее предугадать, что в этом документе будут снова, как и в прошлые годы, звучать упреки в адрес лесничеств и леспромхозов, нарушающих противопожарные правила. И появятся в отчете горестные цифры: столько-то гектаров выгорело там-то и там-то, столько-то пожаров возникло по вине людей, работающих в лесу, столько-то привлечено к ответственности, столько-то оштрафовано...

Удивительное дело! Поднимаются в воздух хорошо обученные и снаряженные люди, совершают длительные, порою опасные полеты, прыгают с парашютами, рискуют жизнью, чтобы остановить, задуть в самом зачатке каждый пожар. И все это приходится делать главным образом из-за того, что где-то оставили на вырубке сухой валежник или вздумали сжигать его в недозволенную для этого опасную пору, когда солнце высушило лесную подстилку. Горько сознавать, что какой-нибудь один бестолковый человек, не погасивший папиросу или не затоптавший на привале тлеющий уголек костра, становится виновником — единственным! — больших государственных потерь.

Рискуя вызвать нарекания в излишней, быть может, назидательности («Ну вот, кто же про это не знает, нашел о чем говорить, да ведь каждый, беря в руки коробок спичек, может прочесть, если уже обучен грамоте: «Берегите лес от огня»), я все же хочу рассказать о том, с чем нельзя, мне кажется, мириться в наши дни.

Вернемся к годовому отчету Северной авиабазы. Вот что можно узнать, полистав этот пухлый том.

Двадцатого мая 1962 года летнаб, совершая патрульный полет на самолете Як-12, увидел дым в квартале 135 Верховского опытного леспромхоза. Пожар только-только начинался, огнем было охвачено всего лишь три десятых гектара. Так как этот очаг пожара находился в непосредственной близости от населенного пункта, летнаб уже через пятнадцать минут сбросил донесение о замеченном в лесу дыме, пройдя над поселком Чичерово.

Вымпел с донесением поднял представитель лесной охраны, в этом летнаб убедился, ведя наблюдение с высоты около двухсот метров. Выполнив то, что обязан был предпринять в данном случае, он вернулся на базу и доложил о своих действиях начальнику оперативного отделения.

Двадцать первого мая, на следующее утро, выйдя в патрульный рейс по своему маршруту, летнаб прежде всего направился в квартал 135. В том месте, где накануне был замечен небольшой дым, теперь охватило огнем уже восемь гектаров



леса. (В годовом отчете не сказано, конечно, о том, что почувствовал летнаб, увидев, как разгорелся пожар, который вчера можно было ликвидировать в каких-нибудь два-три часа. Наверное, он отругал себя за то, что доверился «земле» и не привез сюда хотя бы одного «крылатого» пожарника. Но ведь поселок Чичерово — вон где, рукой подать. И видят же, наверняка видят оттуда дым над деревьями. Почему же никто не поспешил сюда? Ейде и еще раз прошел над пожаром ЯК-12. Никто не помахал снизу рукой. Ни души.) По возвращении на базу летнаб сообщил райисполкому и райкому КПСС о том, что творится в Верховском лесничестве. Лишь после этого наземная охрана приняла меры к тушению пожара, направив в квартал 135 своих людей.

Двадцать второго мая удалось погасить пожар, уничтоживший сто тридцать гектаров леса. Люди ушли, никто не остался для окарауливания пожарища. Это привело к тому, что через несколько дней здесь же снова загорелся лес, огонь перебросился через заградительную полосу и охватил более двухсот пятидесяти гектаров.

Только 31 мая, через одиннадцать дней после первого донесения летнаба, обнаружившего дым в одном квартале Верховского лесничества, окончательно удалось «закрыть» этот пожар, причинивший большие потери.

Если бы то, что случилось в Верховском леспромхозе, было каким-то досадным пятном на общем вполне благополучном фоне, не стоило бы, разумеется, уделять ему особое внимание. Но, увы, такими «пятнами» испещрен годовой отчет Северной авиабазы. Да и только ли одной этой базы, охраняющей в меру своих сил девяносто миллионов гектаров леса! Надо еще иметь в виду, что в отчетные документы включена лишь частица фактов, свидетельствующих о том, что «земля» и «воздух» должны бы жить в гораздо большем согласии.

Отвлечемся на минуту от горестных страниц годового отчета, оставим виновников этих происшествий там, куда их отправили — у следователя по уголовным делам. Задумаемся вот над чем.

Увидев человека, который куда-то бежит очертя голову, обычно говорят: «Ну что ты мчишься, как на пожар?» Принято считать, что столь тяжкое бедствие, как пожар, не терпит промедления. Даже в том случае, если огонь не угрожает непосредственно человеческой жизни. Оп ведь уничтожает то, что создано руками человека. И каждому понятно: чем быстрее потушат пожар, тем меньший причинит он ущерб.

Снова меня одолевают сомнения: стоит ли вытягивать на свет божий эту, прямо скажем, избитую тему? Но как быть, если перед тобой возникла весьма странная и прискорбная «неувязка» между воздушным патрулем и наземной охраной леса?

Нельзя, разумеется, утверждать, будто «воздух» и «земля» постоянно пребывают в каком-то состоянии необъявленной, что ли, войны. Можно привести множество примеров, говорящих о том, что эти два отряда защитников леса часто действуют очень согласованно, живут, что называется, душа в душу. Сигналы летнабов мгновенно поднимают на ноги работников наземной противопожарной охраны. Вслед за парашютистами поспешают на телегах, на грузовиках, на тракторах или пешим ходом по лесным тропам, пробираются через болота и буреломы рабочие леспромхозов. Случается — и нередко, — сам директор и весь технический персонал бросают свои дела, чтобы принять участие в спасении леса от огня. И останавливают голову пожара прежде, чем выгорят десятки гектаров. Потери леспромхоза, вызванные непредвиденным простоем на делянках, на лесосеках, каждый раз бывают ничтожными в сравнении с тем богатством, какое спасено в эти «простойные» часы и даже дни. Да что там говорить! Разве мало в лесу, как и повсеместно, людей, проникнутых благородным патриотическим отношением к народному добру — ну, просто хороших, честных, сознательных людей!

Но — горят, ох как буйно горят леса, и кое-кто равнодушно кладет на стол донесение летнаба, тревожную весть о несчастье, и, не испытывая ни стыда, ни огорчения, цедит сквозь зубы: «Пусть сами и тушат...», — и таких в лесу куда больше, чем можно предполагать, про это знает «воздух» — любой

парашютист, любой пилот патрульного самолета любой авиабазы воздушной охраны леса.

Так как же не поговорить об этой беде, о том, что на лесосеках слишком уж часто попадают люди, которые за «кубиками» не видят леса.

Почему именно здесь, в лесу, случается то, что выглядит чудовищным, невероятным, выходящим за рамки наших понятий о «своем» и «чужом», о долге человека поспешить туда, где он может предотвратить катастрофу? Беру это слово в его подлинном смысле, так как любой «распущенный», быстро не погашенный лесной пожар — это не только потерянные сотни тысяч рублей, это обезображенная земля, где очень долго, быть может, десятки лет, не приживется ценное хвойное дерево и будут лишь торчать «березовые венки», чахлые прутья осины. Кажется, нет зрелища более горестного, хватающего за сердце, чем лесная гарь. Могильная тишина, обуглившиеся, изуродованные стволы, одинокие, чудом уцелевшие деревья. Между ними угрюмо чернеют пни и, некогда вымахнувшие под облака, поваленные наземь, чуть заросшие травой кедры и сосны. Всегда хочешь поскорее выбраться отсюда; избавиться от запаха тления, войти под приветливый кров живого леса.

Рассказывая об одной стычке с бригадиром лесхоза, отказавшимся выделить людей для тушения пожара в соседнем квартале, инструктор парашютно-пожарной службы Василий Федорович Меньшиков привел его слова: «Погорит и погаснет... На наш век хватит древесины. И правнучкам останется...»

Вот где, пожалуй, причина тех поистине чудовищных фактов, какие описаны и в годовых отчетах авиабаз, и в газетных статьях, бичующих равнодушие, безучастность многих работников лесной промышленности. «На наш век хватит...» Чего же там волноваться, срывать с делаян людей, посылать их за десять — двадцать километров только ради того, чтобы сохранить от огня каких-нибудь пять-шесть гектаров леса. Вон сколько его — океан!

Если взглянуть на этот океан через окошко только одной Северной авиабазы, вот что открывается взору. В 1961 году воздушный патруль обнаружил 2160 пожаров. Парашютисты и десантники чуть не ежедневно высаживались для борьбы с огнем, проникая в самые отдаленные кварталы, привлекая, где только была возможность, на помощь колхозников. Выгорело все-таки 24 130 гектаров леса. Я уже упоминал выше, что количество пожаров за последнее время значительно уменьшилось. Можно еще добавить, что в прошлом году выгоревшая площадь была в восемнадцать раз меньше, чем в 1961-м.

Теперь посмотрим — когда чаще всего горит лес? Жара в здешних краях наступает не раньше июля. Но в действительности самый опасный период — ранняя весна. В мае воздушный патруль обнаруживает большую часть лесных пожаров. Над лесом, только что очнувшимся после долгой зимы, клубится дым. Горят порубочные остатки, пролежавшие под снегом. Их бы следовало предать огню гораздо раньше, чтобы не подвергать угрозе еще не тронутый пилой и топором лес. Но из года в год повторяется одно и то же — сжигают порубочные остатки в те дни, когда запрещено раскладывать такие костры. Видимо, лесозаготовителям сподручнее очищать вырубку не в распутицу, а когда подсохнут лесные дороги. В конце года, составляя отчет, главный летнаб авиабазы пишет: «Так же, как и в предыдущие патрульные сезоны, самым горимым месяцем был май. 60 процентов пожаров, возникших на территории Северной авиабазы, были обнаружены и ликвидированы в мае. Они вызваны только по вине лесозаготовителей от сжигания порубочных остатков в недозволенное время года».

Еще одна запись достойна внимания. Летнабы и парашютисты оперативного отделения авиабазы охраняют леса Карелии. Здесь множество озер. В прошлом году на этой территории возникло двадцать два пожара. И вот что примечательно: лишь один пожар увидели с воздуха и потушили — в стороне от озера. Все остальные возникли на берегах озер, где жгут костры рыбаки. Если каждый пожар погубил хотя бы полгектара карельского леса, можно представить себе, во что обошлась государству рыбацкая уха. К сожалению, виновники этих боль-

ших потерь, этой подлинной беды, не были найдены. Летнаб Владимир Игнатьевич Сапелкин увидел одного, но не мог его задержать. Вот как это было.

— Возвращаюся из патрульного рейса, вышел к озеру и вижу — небольшой дымок стелется неподалеку от берега. Лес подступил к самой воде, негде выбрать площадку для приземления. Если бы наш АН-2 был обут в поплавки — сели бы на озеро. Я снизился, решил уточнить, в каком направлении движется пожар. И только теперь увидел — сидит на берегу рыбак. У него за спиной — ну метрах в ста, не дальше, — лес от костра загорелся, а он — с удочкой. Правда, дым отнесло в сторону, за бугорок, в глубину леса. И пожар еще не разгулялся, только мох и кустарник горят. Я сделал круг над озером. Рыбак задрал голову, рукой помаhal. Ну, думаю, заставлю же я тебя вернуться туда, где переночевал. Пишу записку: «Бросай, черт тебя возьми, свои удочки! У тебя за спиной лес горит. Беги туда, где уху варил! Не потушишь — я тебя и под землей найду!» Прицелился, опустил записку с выпелом на берег. Горючее было на исходе, не мог проследить, как этот горе-рыболов управился с пожаром, который сам же и вызвал. Наверно, поработал в полную силу. На следующее утро я уже не увидел здесь дыма. Одному, знаете, не так-то просто задержать и потушить даже слабый пожарчик. Хорошо, если погода тихая. А в тот день ветер был метра три-четыре в секунду. Не пройди мы тогда над озером — кто знает, сколько бы выгорело леса...

В одном из районов работала инструктором парашютно-пожарной службы Елена Тимофеевна Волкова. Перевели ее сюда из Сибири. Приехала она с сыном, тоже парашютистом. Виктор служил в десантных частях и после демобилизации стал «крылатым» пожарником. «Сибирячка» никогда не вылетала в патрульный рейс вместе с сыном. Как-то, еще в Сибири, находившийся с ней на борту АН-2 пожарник прыгнул по ее команде и не раскрыл парашюта. Тогда еще разрешали совершать обычные, «рабочие» прыжки без принудительного раскрытия парашюта. Выполняя ее приказание, человек привычно шагнул к дверке. Это был его двадцать шестой прыжок, столько же было ему и лет от роду. Он прыгнул как раз над ориентиром, который она выбрала, чтобы его не отнесло к озеру. Над ним не распахнулся белый купол. «Кольцо! Выдерни кольцо!» — закричала она, высунувшись из двери и уже понимая, что стряслось нечто страшное, непоправимое... Врачебная экспертиза установила, что парашютист в воздухе потерял сознание и не выдернул кольцо парашюта.

Кому известно было об этом трагическом случае, тот мог догадаться, почему у «сибирячки» пролегла в темных волосах широкая седая прядь. С той поры Елена Тимофеевна не брала сына на борт своей машины.

Появились они в авиабазе как нельзя кстати, в самую горячую пору, когда чуть ли не ежедневно то в одном, то в другом районе тушили пожары.

Года через два здесь создан был новый леспромхоз. Его лесной массив находился далеко в стороне от маршрута, по которому Волкова совершала патрульные рейсы. Дела в леспромхозе шли неплохо, план заготовки древесины выполнялся из месяца в месяц. Но вскоре заметили, что на его делянках творятся безобразия. Никто не уничтожал порубочные остатки — сучья, кору, ветви — до того, как сойдет снег, прогреет солнце и весь этот мусор может вспыхнуть от одной искры.

Новый директор нажимал на план, не заботясь о том, чтобы на территории леспромхоза все было в должном порядке. Его оштрафовали. Объявили выговор. «Ох и доиграется Сизов», — говорил начальник оперативного отделения авиабазы, составляя очередное донесение.

Как-то ночью в конце июля прогремела яростная «сухая» гроза. С борта маленького патрульного самолета ЯК-12, вылетевшего рано утром, замечен был дым на территории нового леспромхоза. Летнаб сообщил по радио: «В квартале 86 огнем охвачено четверть гектара. Наверно, загорелся сушняк от удара молнии».

На борту ЯК-12 был один парашютист, он благополучно приземлился вблизи пожара. Самолет ушел по маршруту. Через полтора часа, на обратном пути, летнаб увидел, что небольшой пожар разрастается. Парашютист просигналил, выбе-

жав на полянку: «Один не управлюсь, нужна помощь!». Летнаб радировал в штаб оперативного отделения авиабазы, чтобы срочно отправили еще несколько парашютистов. Начальник отделения спросил, куда движется голова пожара. «Огонь подбирается к прошлогодней вырубке», — ответил летнаб. «Ну, теперь Сизов не отделается одним штрафом, дадут ему лет пять, не меньше, — сказал начальник отделения. — У них там столько пороха, что хватит зажечь сотню гектаров...»

В это утро Елена Тимофеевна должна была, как обычно, пойти по своему маршруту. Узнав, что случилось на территории нового леспромхоза и чем это угрожает Сизову, она попросила отправить ее в квартал 86.

В кабине АН-12, вылетевшего с группой парашютистов на борту, она впервые за последние три года сидела рядом со своим сыном.

Виктор прыгнул первым. Елена Тимофеевна стояла у дверцы, как и положено инструктору, который обязан неотрывно следить за парашютистом до самого приземления. Нельзя было уловить ни тени беспокойства в ее глазах. Крохотный человечек, подвешенный к белому куполу парашюта, опустился на зеленую траву и взмахнул кожаным шлемом. Елена Тимофеевна кивнула ему, хотя он и не мог бы разглядеть ее под облаками, в темном проеме открытой дверцы самолета.

Пять парашютистов приземлились там, где ожидал их Виктор. Последней покинула самолет Елена Тимофеевна.

Не удалось им перехватить пожар перед старой вырубкой. Огонь набросился на сухие ветви, кору, сучья. Все, что оставили здесь лесорубы, не уничтожив до весны, превратилось в гигантский костер. Пламя угрожало перекинуться снизу на кроны деревьев. Тогда «верховой» пожар вырвался бы отсюда и погубил не одну тысячу гектаров леса.

Надо было задержать огонь непременно здесь, на вырубке. Пустили «встречный пал». Впереди кромки огня, уже взметнувшегося к вершинам елей и сосен, подожгли сухую траву, мох и весь мусор, брошенный среди пней и поваленных, не вывезенных зимой стволов. С оглушительным треском столкнулись две огненные лавины, и как раз в этот миг за спиной у Виктора рухнула высокая сосна. Никто не заметил, что огонь прокрался в дуплистый ствол и подточил его изнутри. Падая на выгоревшую землю, дерево сбilo с ног Виктора.

Он очнулся только часа через три, когда погас огонь в лесу и над почерневшими, дымящимися пнями снизился вертолет.

Хирург сказал Елене Тимофеевне: «Ваш сын хорошо перенес тяжелую операцию. Бедро срастется, хромать он не будет. Но прыгать с парашютом запретят навсегда».

Рассказывают: приехал в больницу директор леспромхоза. Выйдя минут через десять из палаты, он остановился в растерянности посреди коридора, потом вернулся к закрытой двери, но так и не перешагнул еще раз через ее порог.

### 3

— Знаете, что требуется человеку, который охраняет лес от огня, будь это парашютист, десантник вертолетной команды или, скажем, наш брат — летнаб? Прежде всего хорошая злость и упорство. Я в этом убедился за пять лет службы в авиабазе. Если тебя никто не разозлит, не вызовет в тебе негодования, если тебе не хватает настойчивости и можешь отступить там, где упрямый человек будет до конца стоять на своем, — не иди в воздушный патруль. Выбирай работу поделителю катнее. Прыгнуть на пожар, спуститься по капроновой ленточке с вертолета, укладывать взрывчатку возле кромки огня — для этого, конечно, нужна смелость. Но, уверяю вас, смельчаков куда больше, чем настойчивых, упорных в достижении цели. Одной отвагой в нашем деле не всегда добьешься того, что хочешь.

Летнаб Егоров верно сказал, что хорошая, как он выразился, злость и упорство необходимы «крылатому» пожарнику в той же степени, что и взрывчатка,

огнемет, ранцевый опрыскиватель, полный воды, и прочая техника, которую берут с собой в патрульный рейс. Но отвага, самообладание, мужество тоже нужны...

С весны и до глубокой осени из оперативных отделений Северной авиабазы приходят донесения о подвигах людей, рискующих жизнью на переднем крае защиты леса, там, где встает над деревьями белый или черный дым...

Одна строка в таком донесении побудила меня еще раз встретиться с Николаем Павловичем Бекряшевым.

В донесении написано: «Парашютист Бекряшев в очень сложных условиях самостоятельно ликвидировал пожар». А вот что рассказал он сам:

— Прыгнул я тогда очень удачно. Приземлился на берегу озера. Если бы немного, самую малость ошибся — угодил бы в воду. А лес загорелся на острове. От берега — метров триста пятьдесят. Собрал парашют, осмотрелся. Ни одного бревнышка, чтоб переправиться. И сушиника нигде не видно. Срубил я деревцо, подтянул к озеру. Не держится на воде, тонет. А пожар набирает силу. Гектара полтора уже в огне. Хороший лес стоял на том острове — маховые сосны, одна в одну. Чистый такой лесок, прямо загляденье. И подрост славный — елочки по краям.

Пока я бродил по берегу, ветер поднялся, потянуло дым в мою сторону. Что же, думаю, вот так и будешь смотреть, как погибает это добро на твоих глазах? Ничего другого не остается — надо плыть к острову. Привязал к спине резиновый ранец, оставил на берегу сумку с парашютом и полез в воду. Пловец и не ахти какой и никогда еще не плавал в комбинезоне и сапогах. Не знаю, сколько времени прошло, как я начал этот заплыв на триста пятьдесят метров, но чувствую — не добраться до острова. А тут еще прижало дым к воде, просто дышать нечем. И не вижу — далеко оторвался от берега или еще мог бы вернуться. Эх, думаю, плохи твои дела, не рассчитал силенки. Вошел в воду — показалось, не очень холодная. Теперь продрог до костей, облепило комбинезоном, тянет на дно. В августе ребята здесь еще бултыхаются в речках. А в озерах — родники, все лето вода студеная. И как же ты, думаю, полез сюда! Тут, на мое счастье, выглянула впереди из дымовой завесы коряга — черная, как деготь. До сих пор не пойму, каким чудом держалась на воде. И заметил ее только потому, что ветер отвернул в сторону и можно было разглядеть, что там впереди. Дотянулся кое-как до этой коряги, уцепился, передохнул немного. Так, не выпуская ее из рук, подгрел к острову. Здесь хватило работы на весь день. Надо было захлестнуть прутьями, залить водой горящий мох, сбить пламя с валежника, забросать землей тлеющие ветки.

Быстро отогрелся. Пар повалил от комбинезона, как из котелка, вскипевшего над костром. Если бы кто со стороны увидел, наверно, подумал бы: это он нарочно облил себя, чтоб не жарко было возле головы пожара. Случается, так и делаем, если подходишь вплотную к огню, да еще против ветра. Ну, что дальше было? К вечеру все погасло. Там, где еще немного тлело, роса за меня поработала. Ночью такой низовой пожар спит. Свалился и я, проспал как убитый до зари. Осмотрел пожарище, прошел по всей кромке — залил тлеющие пни, захлестнул недогоревший валежник. Оседлал свою спасительницу корягу и — в обратный рейс.

Перед тем как прыгнул сюда, условился с летнабом, что выйду к южной просеке, а там километров пятнадцать до деревни Кольцовки. Дали мне в колхозе машину, привезли на станцию. Опять же — удача: как раз успели к поезду. Так что на третий день я уже прибыл в свое отделение.

Арсенал воздушного патруля пополняется все более совершенной техникой.

Северная авиабаза поручила Николаю Бекряшеву, уже в ту пору умелому парашютисту, испытать скафандры — о них давно мечтали «крылатые» пожарники.

Бывает нередко, что вблизи пожара нельзя отыскать ни одной полянки для приземления парашютиста. Приходится совершать прыжок где-нибудь за пять-шесть километров, а иной раз еще дальше и отсюда перетаскивать на себе все, что необходимо для тушения огня. Да еще вдобавок мешок с парашютом. А глав-

ное преимущество воздушного патруля перед наземными отрядами защитников леса состоит именно в оперативности, в быстроте обнаружения и локализации пожара.

С борта самолета можно увидеть дым в лесу за десятки километров. В считанные минуты патруль будет там, где случилась беда. И никакие болота, бурелом, озера не помешают нескольким отважным людям сойтись лицом к лицу с лесным врагом. За то время, которое потратила бы наземная охрана, чтобы добраться к месту пожара, трое или четверо парашютистов могут остановить и, как здесь говорят, «задушить» его. Если же они не приземлились в непосредственной близости от огня — значит, тоже потратят много времени, пробираясь к пожару.

Надо было так снарядить парашютистов, чтобы они могли прыгать прямо на лес.

Бекряшев первым испытал скафандр для таких прыжков. Это был стеганный на вате комбинезон плотной ткани с твердыми щитками вокруг колен и туловища. В ребристый шлем вставили прозрачное забрало из пластмассы.

Для того, чтобы человек мог спуститься с вершины дерева на землю, скафандр снабдили «лазами» — двумя железными скобами, какими пользуются монтеры, лазая по столбам. В том случае, если парашютист повиснет в густой кроне и не дотянется до ствола, он может опуститься с помощью капроновой ленты.

Все, казалось, предвидели конструкторы скафандра, обо всем позаботились, но Бекряшев испытал очень неприятное чувство, когда впервые снижался над густыми зарослями, не видя под собой ни единого просвета между деревьями. Он шел к земле со скоростью не более пяти метров в секунду. Распахнувшийся купол парашюта поддерживал его в воздухе, но теперь почудилось, будто стропы оборвались и ничто не спасет от удара о дерево.

Каждый раз, выпрыгнув из самолета, он больше всего опасался «промахнуться» — пройти мимо площадки, выбранной для приземления. Пилот и летнаб принимали все меры, чтобы ему удалось сесть на полянке, как бы она ни была мала. Для этого непременно бросали пристрелочный парашютик и следили, куда уносит его ветром. Потом определяли, с какой стороны выгоднее подойти к месту приземления и какую набрать высоту, чтобы парашютист успел сманеврировать в воздухе, избежать опасной встречи с кроной сосны или кедра. Наибольшую угрозу представляли засохшие, лишенные ветвей деревья — они торчали острыми пиками между густыми кронами соседей, разглядеть их можно только в последний момент, когда уже ничто не поможет уклониться в сторону.

За двенадцать лет службы в авиабазе Бекряшев приобрел достаточно сноровки, неоднократно спасавшей его от падения на лес. А тут — сбросили над самой чащобой и нет вокруг на многие километры даже самой плохонькой прогалынки.

Скафандр плотно облегал его тело, голова была защищена шлемом, руки — толстыми перчатками. На какое-то мгновение он забыл про это. В сознании пронеслось: «Падаю на лес!» Привычным движением он подтянул задние стропы — так научили его еще в парашютном павильоне. В следующую секунду он подумал, что этот маневр сейчас совершенно неуместен и, наверное, вызвал удивление у всех на борту АН-2, наблюдавших за ним с высоты шестисот метров. Он посмотрел вниз. Стремительно надвигалась на него густая, показавшаяся зловеще темной вершина сосны. Падая на дерево, он инстинктивно прикрыл рукой глаза, хотя в этом не было нужды — его лицо было защищено пластмассовым забралом шлема.

Первое испытание скафандра прошло благополучно. При этом выяснилось, что смелый испытатель не напрасно подтягивал стропы. То, что он проделал машинально, повинаясь скорее инстинкту самосохранения, чем каким-либо расчетам, оказалось необходимым для смягчения удара о крону дерева.

После этих испытаний Бекряшев убедился, что теперь, если нужно будет остановить пожар возле «порохового склада» — захлавленной вырубки, очень пригодится скафандр. Кроме скафандров, огнеметов, капроновых лент с тормозным приспособлением, позволяющим спуститься с вертолета на лес, кроме всевозможных химикатов, которые применяют во время тушения пожаров, можно увидеть у

«крылатых» пожарников еще многое другое, столь же полезное в этом трудном деле. Поднимаются вертолеты с целыми цистернами и сверху, не подвергаясь никакому риску, заливают водой огонь. Десантники, высаживаясь вблизи пожара, снаряжены специальными механизмами для того, чтобы быстро сорвать пересохшую «подстилку» на пути огня, разрыхлить почву, создать так называемую «минерализованную полосу». Со временем, надо полагать, появятся и другие надежные и быстродействующие механизмы.

Но по-прежнему в этой профессии всегда самым главным будет личное мужество и самоотверженность при выполнении трудного задания. А легких поручений воздушный патруль не знает.

Каждый раз, покидая самолет на высоте шестисот — восьмисот метров, чтобы перейти из воздушного океана в лесной, человек подвергает свою жизнь опасности. Пусть отлично выверен, уложен парашют. Пусть самым тщательным образом соблюдены все правила при выборе площадки для приземления. Пристрелочный парашютик лег на землю. Определена скорость ветра. Все расчеты на снос тоже выполнены с предельной точностью. Парашютист переступает порог АН-2 так же спокойно, как входит в свою комнату.

Ну, допустим, не совсем уж с таким спокойным сердцем, но во всяком случае без излишнего волнения. Через миг его подхватит принудительно, помимо его воли, приведенный в действие парашют. Он не терзает себя сомнением — откроется или не вырвется из ранца купол. Двенадцать раз он открывался в должный миг. Несчетное число таких же парашютов бережно опускало и опускает на землю свою драгоценную ношу. И человек уверенно покидает самолет.

Две секунды свободного падения — о них потом, как ни старайся, не расскажешь кому-нибудь так, чтобы тот зримо представил себе, что это такое — падение с высоты птичьего полета, когда все на земле кажутся карликами и можно достать рукой бегущее рядом облако. Сколько бы ни повторялось это: «Приготовиться! Пошел!» — всегда делаешь над собой некоторое усилие, чтобы одолеть червячок страха.

Последнее, что видит парашютист, покидая самолет, — соседка по кабине: тот поднялся со своего места, шагнул к двери, чтобы прыгнуть через полминуты, пока самолет не удалится от расчетной точки. А если замешкается, инструктор осуждающе остановит его, прикажет сесть на место и ждать, пока пилот закладывает вираж, снова выходя к лесной опушке, чтобы парашютист мог опуститься точно у вымпела. Вымпел виден совершенно отчетливо — красный лоскут на зеленой траве.

Очень опасно промахнуться, когда для приземления немного места и со всех сторон угрожающе вздымаются вершины деревьев. Где-нибудь на учебном аэродроме аэроклуба, когда прыгаешь над просторным, ровным полем, вовсе нет нужды следить, чтобы под тобой не торчали пни и острые, как сабли, голые стволы засохших кедров и елей.

А сейчас парашютист изо всех сил тянет к себе то передние, то задние стропы, машинально проделывая все, чему обучали зимой на курсах.

На память приходят — совсем, конечно, нехстати, но с этим ничего не поделаешь — неприятные случаи, хорошо известные каждому работнику авиабазы. Березин... Опытнейший человек, можно сказать, настоящий ас, для которого нет невыполнимых заданий. О нем говорят: «Алеша приземлится с любой высоты хоть на разостланную скатерть». Он пришел в отряд из деревни Телегово, всю жизнь прожил в лесу, на Северной Двине, и вряд ли кто-нибудь лучше, чем он, знает, как можно задушить самый хитрый низовик или верховик, не выпустив его на простор. Он начал прыгать, когда еще разрешалось «ручное раскрытие» и человек, покидая самолет, должен был раскрыть парашют, предоставленный целиком самому себе, своей воле, самообладанию. Так вот, сбросили Березина где-то на Вытегре на лесной пожар, пристрелку сделали по всем правилам, пилот зашел против ветра. Березин снижался над поляной, все шло нормально, и вдруг за де-

сять или пятнадцать секунд перед землей восходящий поток воздуха приподнял купол и понес к горящему лесу.

Вспоминается это сейчас, когда справа от тебя дым в рыжих лоскутах пламени, и совершенно непроизвольно прикидываешь на глаз: какое расстояние отделяет от кромки пожара и успеет ли парашют опустить тебя на землю прежде, чем его тоже понесет в сторону?..

Березин тогда повис на сосне, и только самообладание спасло его, помогло благополучно спуститься на землю.

Земля подступает все ближе, и можно разглядеть уже не только полотнище выпела, но и тонкий ствол березки, отбежавшей от своих подруг на открытую полянку, и подозрительный бугорок возле нее — похоже, что это старый пенёк, заросший осокой. Если ноги попадут на него, дело плохо. Так случилось с Мелиховым. Он приземлился на такой же коварно спрятавшийся в осоке старый пенёк. Три недели держали Мелихова в больнице, пока срослась нога после перелома. Теперь он снова прыгает как ни в чем не бывало в том же оперативном отделении, где вчера первый раз после долгого перерыва вышла в патрульный рейс Гея Анисимова, а с ней дело было еще хуже...

Так что же это — пенёк или просто мягкий бугорок? Когда прыгаешь над болотом, всегда стараешься выбрать вот такой выступающий над травой бугорок — спустишься в него, как в подушку. Сверху можно угадать, сухое здесь болото или трясина. По цвету травы. Но все-таки ошибка никогда не исключена.

Но в запасе еще достаточно времени, секунд восемь-девять. Можно заставить купол парашюта ускорить горизонтальное движение, направить вон туда, между березой и пнем. Парашютист сильнее подтягивает задние стропы, отпускает передние. Вот так, хорошо. Кажется, можно еще проскользнуть над опасным местом.

А Гея Анисимова тогда не успела... В свои тридцать пять лет она считается уже старым по стажу парашютистом Северной авиабазы. Десятый год работает инструктором парашютно-пожарной службы. И в воздухе и в лесу, на тушении пожаров — никогда не отстанет от самых крепких парашютистов и десантников. Три брата пошли за ней в воздушный патруль, и муж вместе с Гесей прыгает, тоже хороший парашютист. «Крылатая семья», — говорят о них в авиабазе. Зимой живут в Красногорске, весной разлетаются по своим оперативным отделениям, патрулируют леса Севера.

Гея Алексеевна прыгнула на околице деревни, не нарушив никаких правил, она обычно действует осмотрительно, хотя не упускает случая сесть поближе к пожару, даже если это и связано с большим риском. Тогда, приземляясь в деревне, она хотела взять на тушение пожара несколько человек: лес загорелся неподалеку и видно было, что трем парашютистам не ликвидировать быстро этот низовин.

Двое прыгнули над выгоном, хорошо приземлились. Гею Алексеевну восходящий поток потянул в ту сторону, где стояла церковь, потом развернул по ветру, и она стала снижаться над деревенскими избами. Не успела проскочить между ними и встретила ногами бревенчатую стенку. Только к вечеру привезли ее в телегу на станцию, доставили в Котлас, и хирург просто не мог поверить, что она все время была в полном сознании и сама перетянула жгутом ногу выше перелома, сама же и привязала к ней две дощечки, как полагается, если нельзя сразу наложить гипс...

Секунды, отпущенные для приземления на лесной поляне, отсчитаны все до последней, и единственное, что еще успеваешь заметить перед тем, как подошвы сапог погружаются в густую траву, — черную ребристую кору широкого пня, который выглядел сверху безобидным бугорком и, слава богу, остался в полутора метрах справа...

Как бы там ни говорили о чудесном, неизъяснимо прекрасном ощущении, которое охватывает человека под куполом парашюта, ему-то хорошо известно, что при этом испытываешь еще нечто совсем иное, о чем редко кто упоминает. Нельзя, никак не удается окончательно прогнать сверлящую твой мозг мысль: «Удачно ли сяду?»

Если бы парашютист был полным хозяином положения и только от него, от его



тренировки, воли и самообладания зависело все, что произойдет через считанные секунды, — ничто тогда не помешало бы насладиться этим полетом. Но он не властен над восходящими и нисходящими потоками воздуха, ему не подчинен ветер, обладающий удивительным свойством менять направление наперекор метеосводке. И никто не поспеет на помощь, не выручит, если пристрелочный выпел окажется далеко в стороне от места, где следовало бы сесть, и тогда земля встретит парашютиста не столь приветливо, как сейчас, на этой лесной поляне...

Вот и второй приземлился, тоже взмахнул рукой, прощаясь с летнабом. АН-2 описал круг над полянкой и пропал в облаках.

Два человека уходят в лес. Не скоро возвратятся они сюда за парашютами, не скоро еще раз поднимутся в воздух — дым над деревьями становится все более густым, и, наверно, не один день понадобится для того, чтобы погасить пожар и выйти к дальней деревушке — ее отметил летнаб синим карандашом на схеме, которую вручил парашютистам.

#### 4

Ну что ж, пора, пожалуй, нанести прощальный визит начальнику Северной авиабазы Анатолию Ивановичу Попову. Не так давно он сам сбрасывал парашютистов и высаживал с вертолета десантников, совершая патрульные рейсы на Дальнем Востоке. В техникуме его обучили вести наблюдение с воздуха над лесами. Получив звание летнаба, Анатолий Иванович — он рассказывал мне об этом при первом знакомстве — решил было пополнить свое образование на заочном отделении Ленинградской лесотехнической академии имени Кирова, но, как часто бывает, «заела текучка», ежедневные полеты и уйма обязанностей, от них не увильнешь на протяжении всего года.

Летнаб должен летать по маршруту над своим районом и, сидя в кабине пилота, единолично принимать решения, от которых зависит судьба леса.

Он еще обязан вести «лесопатологическую разведку», следить изо дня в день за состоянием леса.

Живым существом, подверженным разным хворобам, борющимся с ними в меру своих сил, нуждающимся в срочной помощи, когда опасность велика, лежит лес под крылом самолета. Признаки заболевания заметны с любой высоты. Если на зеленом фоне появятся бледно-оранжевые или кирпичного цвета пятна — значит, в этом месте напали на деревья вредители, съели хвою и листья, угрожают погубить и этот участок, и соседние кварталы. Летнаб отметит на карте желтым карандашом пораженный массив, и лесничий, получив донесение, позаботится, чтобы болезнь не нанесла большой ущерб и армия вредителей получила бы отпор. Пройдет над этим кварталом другой самолет и доставит лекарства, прописанные лесопатологами.

Летит дальше АН-2, «антон», или ЯК-12, именуемый в просторечье «стрекозой», и летнаб продолжает следить за тем, что случилось в лесу с той поры, когда осенние дожди проложили рубеж между двумя патрульными сезонами.

Он видит поваленные в беспорядке деревья, кроны лежат на земле, не тронутые топором, и над рухнувшими деревьями бесприютно открылось небо. Голубым условным цветом летнаб отметит на своей карте квадрат, пораженный ветровалом.

Это еще не болезнь, это просто какое-то количество сломанных деревьев. Но их нельзя оставить, потому что лесная хворь совет себе здесь гнездо, расплодятся в мертвой, беззащитной древесине мириады короедов, листоедов и прочей нечисти.

Нет, нельзя миновать ветровал, не обозначив его на карте. Пусть уберут — летом ли, зимой, уж как там получится, но непременно вывезут отсюда поваленные стволы. И если хозяева этого квартала не выполнят предписание летнаба, он будет выкудышным работником, не найдя каких-либо возможностей заставить их сделать то, что диктуют лесные законы. Голубой квадрат на карте сохранится

до тех пор, пока в очередном рейсе можно будет возле него на полях карты написать: «Бурелом очищен».

Не укроется от летнаба и захламленная лесосека — вон сколько брошено на ней беспорядочно срубленных стволов. Синим карандашом отметит он эту лесосеку и, оберегая соседние участки от грозящей им беды, использует свои права, чтобы отсюда не набросились на здоровый лес его неисчислимы враги.

Четвертый год Анатолий Иванович Попов не поднимается уже сам ежедневно в воздух, положив на колени планшет и футляр с цветными карандашами. Но все заботы, которые с утра до вечера держат его в штабе Северной авиабазы, так или иначе связаны с каждым рейсом летнабов, с каждым прыжком парашютистов и высадкой десантников.

Сегодня начались занятия на курсах подготовки парашютистов. Не найдя начальника авиабазы в штабе, я направился в парашютный павильон. Знакомый голос послышался из-за неплотно закрытой двери:

— Подтяни задние стропы!.. Следи за ногами, ты приближаешься к земле...

Посреди павильона стоял Бекряшев. Молодой человек, перегнутый крест-накрест брезентовыми лямками парашюта, раскачивался на стропях, привязанных к потолку. Бекряшев чуть пригнулся, показывая, как нужно держать свой корпус, когда до приземления осталось несколько секунд. Паренек, раскачиваясь над посыпанным опилками полом, вытянул вперед ноги и старательно повторил все, что проделал его наставник.

— Так, так... Осталось две секунды... Земля! — воскликнул Бекряшев и выпрямился, не сводя глаз с курсанта.

Будущий парашютист Северной авиабазы еще раз «поднялся» на «рабочую высоту» и снова, выполняя указания инструктора, попытался «прыгнуть» по всем правилам, держа ноги не врозь, а туловище чуть-чуть согнутым — ровно настолько, чтобы смягчить удар, но не встретить землю коленями.

— Вот, готовим смену, — сказал Анатолий Иванович с легким вздохом, в котором явственно сквозило сожаление: «Ушли годы, и самый покладистый врач уже не позволит надеть парашют». — В этой части план выполняем, идут к нам хорошие ребята... Плохо с техникой. Не могу понять, в чем тут загвоздка. Охрана леса с воздуха обходится гораздо дешевле, чем наземная. Это раз. Теперь возьмем результаты. Почти все пожары первыми обнаруживают и начинают тушить наши люди, воздушный патруль. Это два. В большинстве случаев при этом не отвлекается от своих дел местное население. Это три. Добавьте, что в наших краях не меньше половины лесных пожаров возникает вдали от населенных пунктов. Значит, авиация — вещь, совершенно незаменимая. Ну, о быстроте, о том, что на самолете и вертолете можно доставить людей за полчаса или час в такое место, куда и за трое суток не проберешься, об этом говорить-то нечего. Каждому ясно. Мы пишем, пишем — добавьте нам вертолетную и самолетную технику, это выгодно, это сэкономит на миллионы рублей леса и не нужно будет посылать на тушение пожаров людей, срывать их с работы. И вот как нам добавляют. За последние семь лет только десять машин пополнило наш парк. Планируем по самой, можно сказать, голодной норме: тридцать три вертолета на девять миллионов гектаров лесной площади. Получаем четырнадцать. Ну скажите — разве не разумно было бы подбросить немного денег воздушному патрулю? Ведь в конечном-то счете все упирается в эти самые деньги. Нет, не возражайте. (Тут я изображаю на лице полное согласие с точной зрения начальника авиабазы, сделав это вполне охотно, так как убедился, что самым современным средством борьбы с лесными пожарами является, конечно, воздушный патруль.) И если вы тоже любите лес и хотите, чтоб праправнуки не помянули нас с вами недобрым словом, увидя пустоши да гари там, где шумели сосны и кедры, напишите, что каждый АН-2, каждый Як-12, каждый вертолет в нашей авиабазе — это тысячи и тысячи гектаров леса, спасенного от огня...

Я выполняю это поручение начальника Северной авиабазы Анатолия Ивановича Попова, разделяя его надежду, что придет время, когда перестанут наводить излишнюю экономию там, где она оборачивается в конце концов очень большими потерями, и в годовых отчетах не только этой, но и всех других авиабаз исчезнут четырехзначные цифры в графе «количество лесных пожаров».

\* \* \*

Разные побуждения привели в отряды авиабазы смелых людей. Одни увлеклись парашютным спортом и пришли из районных аэроклубов. Другие потянулись сюда, отслужив срок в десантных войсках. Третьи, главным образом молодежь, избрали эту опасную профессию, желая испытать себя в трудном деле. Все они стоят на важной вахте, оберегая наши леса от истребительных пожаров. И каждый, наверное, нашел здесь свое место еще и потому, что с детства ему не безразлична красота вот этих бронзовых сосен, мохнатых елей и светлых березовых рощ.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БОРИС ИЗАКОВ

Специальный корреспондент АПН

★

## ВСЕ МЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В АНГЛИИ

### ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

**И** вот я снова брожу по набережной Темзы, сижу на «галерее прессы» под сводами парламента, перелистываю страницы журналов и книг в библиотеке Британского музея. Тридцать лет прошло с тех пор, как я впервые побывал здесь с журналистским блокнотом. Все так же в мертвой неподвижности застыли верхом на конях гвардейцы в сверкающих доспехах и касках с плюмажами на Уайтхолле, все так же зелен газон и дремучи кроны старых дубов в Гайд парке, все так же одиноко высится над Темзой «Игла Клеопатры» — каменный обелиск, вывезенный британскими завоевателями из Египта. Кругом все то, что я видел здесь тридцать лет назад, да и потом, когда возвращался сюда в сороковых и пятидесятых годах... То и не то.

В первый раз я плыл в Англию на пароходе из Ленинграда, и это путешествие заняло что-то около пяти дней. Прямого воздушного сообщения между Москвой и Лондоном не было и в помине, лететь или ехать по железной дороге надо было с несколькими пересадками, которых хотелось избежать. Теперь я сел в Шереметьеве на борт нашего пассажирского самолета и очутился в британской столице через четыре часа. До Лондона стало, что называется, рукой подать. Я мог себе позволить купить на улице Горького в магазине «Мороженое» внушительных размеров торт и отвезти его лондонскому приятелю, поклоннику советского мороженого: торт не успел растаять.

Просто удивительно, что Англией правят сейчас люди, которые называют себя консерваторами, то есть приверженцами старины. Можно, конечно, отдавать девятнадцатому веку предпочтение перед двадцатым, но стоит ли пытаться его вернуть? Все равно это неосуществимо. У бывшего премьер-министра Макмиллана вырвался как-то в палате общин, что называется, крик души: «Великие державы Старого света, которые в различные периоды своей истории занимали единственные в своем роде или господствующие позиции, иногда тоскуют о прошлом!» Но тоска тоскою, а все вокруг меняется неумолимо и только некоторые внешние приметы — газоны, деревья, латы и плюмажи конных гвардейцев — остаются неизменными.

Тридцать лет назад владения британской короны состояли из добрых шести десятков доминионов, колоний, протекторатов: в Лондоне любили повторять что над Британской империей никогда не заходит солнце. Она занимала примерно четвертую часть земной суши, и ее население составляло четвертую часть народонаселения мира. Британский лев еще пытался зубами и когтями отстаивать «единственные в своем роде позиции», которые принадлежали ему в прошлом столетии.

В лондонском высшем свете смотрели тогда на Советский Союз сверху вниз. Обыватели на берегах Темзы не в силах были понять того, что у нас проис-

ходит. «Неужели у вас продовольственные карточки?» — спрашивали они с округлившимися от ужаса глазами.

Тогда, в начале тридцатых годов, кое-кому в Лондоне само существование Советского Союза казалось досадным недоразумением. Кто-то в Форейн-оффисе — министерстве иностранных дел — видите ли, недоглядел, не были своевременно приняты меры, ну и появился на Востоке по недосмотру халатного чиновника еще невиданный, а потому и противоестественный режим, именуемый себя республикой рабочих и крестьян. Рабочие и крестьяне! Они же не кончали аристократических учебных заведений, где учат хорошим манерам и умению управлять народами. Как могут они руководить целой страной, да еще страной огромных масштабов, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана? И что за дурной пример подают они черни везде и повсюду! А ведь Россия могла бы стать отличным полем для приложения английских капиталов, превосходным рынком для британских товаров...

Так или приблизительно так рассуждали за чашкой чая в салонах лондонского Уэст-энда, разглагольствовали на митингах, писали в газетах, журналах, книгах. И поглядывали с тайной надеждой на Берлин и Токио. Германия и Япония во всеуслышание выдвигали требования «жизненного пространства» и готовились отхватить его вооруженной силой. Казалось, возникала возможность разделиться с Советским Союзом руками немцев и японцев.

«Дейли мейл» провозгласила в ноябре 1933 года: «Храбрые молодые нацисты Германии являются защитниками Европы от коммунистической угрозы... Использование энергии и организаторских способностей Германии против большевистской России помогло бы вернуть русский народ к цивилизованной жизни и, возможно, еще раз повернуло бы развитие мировой экономики в сторону процветания... У Германии должны быть развязаны руки».

И они их развязывали.

Английский министр иностранных дел Саймон разъяснял в палате общин, что не следует ограничивать аппетиты Японии, а военные заводы Англии снабжали ее оружием. В Женеве дипломаты из Форейн-оффиса оказывали своим японским коллегам всемерную поддержку — в пику Соединенным Штатам, которые с опаской взирали на усиление Японии в тихоокеанском бассейне. Влиятельная лондонская газета «Обсервер» писала: «Не подлежит сомнению, что Япония является жертвой большой несправедливости. В течение многих лет она проявляла похвальное терпение, которое теперь иссякло». Короче говоря, следует развязать руки и Японии.

И их развязали.

Трудно приходилось тогда нашим дипломатам в столицах Запада. Нужно было прилагать упорные усилия, чтобы вырваться из кольца изоляции, которым их окружали. Силы старого мира не останавливались ни перед чем; порой они вкладывали револьвер в руку наемного убийцы. Еще не успело заглухнуть эхо выстрелов, оборвавших жизнь Воровского, Войкова, Нетте.

Иностранная, в частности английская, буржуазная пресса изощрялась в дезинформации и клевете. Изо дня в день печатались дикие небылицы о разрухе и хаосе в СССР, о провале пятилетки, о неизбежной гибели советской власти если не завтра, то через месяц. В накаленной атмосфере тех лет то и дело возникали провокационные антисоветские кампании. Они лопались, как мыльные пузыри, но на смену рождались новые. Закулисные дирижеры этих кампаний не останавливались ни перед чем; сходила любая нелепость, лишь бы она помогала восстанавливать несведущих людей против Советского Союза.

Взять хотя бы идиотскую шумиху насчет мнимых советских «антирелигиозных спичек». Когда я впервые прочитал однажды утром в крупной газете, что советские торговые организации будто бы ввозят в Англию спички с антирелигиозными этикетками, я только пожал плечами: слишком уж глухой была эта выдумка. Каково же было мое изумление, когда через несколько дней в палате общин член парламента Денвил с самым серьезным видом внес запрос о «советских антире-

лигиозных спичках»: «Известно ли правительству его величества...» и так далее. Несмотря на опровержения советских организаций, злостную выдумку продолжали раздувать.

Я отправился на поиски «антирелигиозных спичек» по табачным лавкам, но ничего похожего не обнаружил. Знакомый репортер показал мне коробку с католическим символом — изображением «сердца Христова». Изображение было довольно топорным, но при всем том оставалось неясным: почему ему приписывали антирелигиозный характер? И при чем тут Советский Союз?

В самый разгар шумихи в советское посольство на Кенсингтон Палас гарденс явился некий тип с предложением раскрыть за определенную мзду происхождение «антирелигиозных спичек». Посольские работники выставили этого подозрительного субъекта за дверь. Дело выяснила газета «Дейли уоркер»: спички с изображением «сердца Христова» — равно как и с изображением Будды — выпускала шведская фирма для продажи верующим в Индии. Неизвестно, кто и почему завез их в Англию. Вероятно, ответ на этот вопрос могли бы дать организаторы очередной антисоветской кампании, но они предпочли отмолчаться.

Подумать только: даже такая дичь могла тогда браться на вооружение врагами нашей страны!

Конечно, советским людям нелегко было работать в такой обстановке. Я был первым советским журналистом, выполнявшим в Лондоне обязанности корреспондента «Правды»; моими предшественниками были английские товарищи по перу. Не могу сказать, чтобы всегда и повсюду мне приходилось сталкиваться с открытой неприязнью, хотя случалось и такое. Как правило, англичане — люди вежливые и если испытывают неприязненные чувства, отлично умеют их скрывать. Однако представители московской «Правды» сторонились и избегали, а это отнюдь не способствует работе корреспондента. К тому же я был молод и неопытен.

Правда, журналистом я стал не со вчерашнего дня, но газета «Батрак», которую я редактировал в двадцатых годах, не могла дать мне навыков работы за рубежом. Я читал Маркса и Ленина, знал, как организовать батрацкий рабочий ком в деревне, мог проводить забастовки на кулацких виноградниках и табачных плантациях (в советских условиях это было не так уж трудно), я умел, наконец, написать статью, очерк, корреспонденцию. Но откуда мне было знать, как поддерживать необходимые для корреспондента контакты или как вести словесное фехтование на дипломатическом приеме!

В моей практике того времени были случаи чисто анекдотические. Упомяну лишь об одном.

Из всех многочисленных дипломатических представительств в Лондоне польское посольство было в то время единственным, признававшим корреспондента «Правды». Это объяснялось главным образом усилиями Стефана Литауэра, корреспондента ПАТ (Польского телеграфного агентства). Не разделяя наших политических взглядов, Литауэр все же видел, в каком направлении развиваются международные события: уже при первой встрече он сказал мне, что стоит за советско-польское сотрудничество, так как оно одно может, по его убеждению, преградить дорогу на восток германскому милитаризму. Он делал все от него зависящее, чтобы облегчить мне первые шаги в Лондоне, ввел в Ассоциацию иностранной прессы, вице-секретарем которой состоял. Не могу не сказать, что я был рад от души, когда много лет спустя, в 1956 году, увидел его на Первой Международной встрече журналистов в Хельсинки, где он представлял журналистов социалистической Польши. То, что на склоне лет он нашел свое место на обновленной родине, было логическим следствием его прежней политической позиции.

Именно Стефан Литауэр был — из наилучших побуждений — инициатором злощастного ужина у пресс-атташе польского посольства, на котором я был почетным гостем.

На квартире польского пресс-атташе собрались мужчины и женщины в вечерних туалетах. Поначалу все шло хорошо, если не считать физических мучений.

которые причиняли мне обязательные в те годы в лондонском свете манишка и смокинг, — я привык к косоворотке и кожаной тужурке. За столом я оказался в центре внимания: русский коммунист был тогда в Лондоне чем-то вроде белой вороны. Сидевшая напротив дама принялась расспрашивать меня о жизни в Советском Союзе: сперва она задала вопрос о брачном законодательстве, потом — о колхозах, потом — еще о чем-то. Дама была молодая и красивая, представление о Советской стране имела такое же, как шестимесячный младенец о теории Эйнштейна, и я усердно пытался удовлетворить ее любопытство. Случись все это сейчас, я бы повернул разговор, чтобы выяснить взгляды любопытствующей особы и узнать, чего от нее можно ожидать. Тогда я добросовестно отвечал на ее вопросы — и только.

Так продолжалось минут десять—пятнадцать; довольный собой и своей культурно-просветительной миссией, я все говорил и говорил, как вдруг моя собеседница обвела сидевших за столом ясными голубыми глазами и недоуменно произнесла:

— Позвольте, то, что он говорит, — сплошная большевистская пропаганда! Как только таким людям разрешают жить в Англии!

По молодости лет у меня не хватило чувства юмора. Я покраснел как рак от возмущения и мог только выговорить с предельным негодованием:

— Но вы же сами меня спрашивали! Я только отвечал на ваши вопросы!

Дама величественно поднялась из-за стола, не дожидаясь конца ужина, и гут же удалилась, предварительно потребовав, чтобы обо мне немедленно сообщили в полицию. Как ни старался милейший Стефан Литауэр замаять неприятный инцидент, мой светский дебют явно не удался...

Сталкиваясь с открытой дискриминацией, порой приходилось пускать в ход локти, чтобы отстоять свои корреспондентские права. Об одном таком случае мне напомнила заметка, которую я обнаружил теперь в читальне Британского музея, просматривая старый комплект газеты «Морнинг пост». Но прежде чем привести эту заметку, расскажу о том, что ей предшествовало.

Перед очередной ежегодной конференцией консерваторов я послал письмо в отдел печати руководства консервативной партии с просьбой предоставить мне пропуск на конференцию: мои коллеги по Ассоциации иностранной прессы получали такие пропуска по первому требованию. Мне, однако, ответили отказом. Решив, что с этим не следует мириться, я все-таки выехал в курортный город Блэкпул, где должна была состояться конференция. В курзал «Уинтер гарденс» («Зимние сады»), в одном из помещений которого должны были происходить заседания конференции, я явился за час до ее открытия. У двери огромного зала стоял служитель: вместо пропуска я предъявил ему... полкроны и таким образом очутился за длинным столом прессы, стоявшим непосредственно перед эскадрой, где восседал президиум.

Минут за десять до открытия конференции ко мне подошел седой джентльмен с красным, как клюква, лицом — заведующий отделом печати руководства консервативной партии. Он спросил, какую газету я представляю.

— «Правда». Москва, — ответил я.

— Позвольте! — воскликнул краснолицый джентльмен. — Мы же вам написали — вам отказано в пропуске!

— Вот как? Я не получал вашего письма.

— Послушайте, — сказал джентльмен, и лицо его покраснело еще больше, — я буду вынужден просить вас оставить зал.

— Но это было бы невежливо, — возразил я как можно громче. — Я слышал, что англичане — люди вежливые.

Журналисты за столом прессы наострили уши. Некоторые стали поглядывать на меня с симпатией — как видно, представили себя в моей шкуре и в них заговорило чувство профессиональной солидарности. Послышался смехок.

— Все места за столом прессы заняты, — решительно заявил джентльмен, пустив в ход аргумент, который казался ему непререкаемым; но тут он совершил тактическую ошибку.

— Если дело только в этом, я могу устроиться где угодно. — не менее решительно ответил я, пересаживаясь в первый ряд кресел, отведенных делегатам.

Тут председательствующий постучал молотком по столу, гребую гишны, и седовласый джентльмен оставил меня в покое. В перерыве он снова подошел ко мне и проворчал:

— Лучше уж садитесь за стол прессы.

Я не заставил просить себя дважды. А по окончании утреннего заседания мне вручили постоянный пропуск.

Не стану вдаваться в подробности конференции. Уинстон Черчилль был тогда не у дел; молодой — по английским понятиям — и многообещающий Антони Иден, которого газеты фамильярно называли «красавчик Антони», еще только начинал делать карьеру. Руководство консервативной партии было представлено Невилем Чемберленом, «человеком с зонтиком», — в коалиционном правительстве Макдональда он был министром финансов. Мог ли я представить себе, что этой унылой личности с усами, как у моржа, суждено сыграть такую роковую роль в истории десятилетия!

Вернусь к заметке в «Морнинг пост»; она гласила: «Одним из самых странных лиц, которых можно было видеть в Англии на прошлой неделе, был корреспондент «Правды»; его специально откомандировали для наблюдения за конференцией консерваторов в Блэкпуле, по-видимому, в надежде, что он обнаружит там доказательства антирусской пропаганды. Журналист, присутствовавший на конференции, сообщил мне, что этот тип добросовестно посещал заседание за заседанием, слушал бесконечные речи и усердно записывал бесчисленные резолюции — и все напрасно. За исключением резолюции капитана Локкер-Лемпсона, консерваторы гордо игнорировали даже самое существование Советской России...»

Игнорировать самое существование Советской России приучали и широкую публику. В то время я попросил профессора Лондонского университета Гарольда Ласки, видного лейбористского деятеля, помочь мне побеседовать с группой студентов. Ласки устроил такую встречу у себя дома за чашкой чая. Я был поражен тогда абсолютной неосведомленностью этих юношей и девушек о жизни Советской страны, а еще больше — отсутствием у них всякого интереса к ней. До сих пор помню, как насмешливо поглядывал на меня профессор Ласки.

Как мало было у нас тогда друзей среди английской интеллигенции! Их можно было пересчитать по пальцам: историки и экономисты Сидней и Беатриса Вебб (лорд и леди Пасфилд), начавшие свою политическую карьеру в числе основателей Фабианского общества и ставшие на склоне лет горячими пропагандистами советского социалистического строя; лорд Марлей, лейборист и бывший военный, рослый красавец, словно сошедший с картинки модного журнала («Вы видите перед собой живого лорда. — сказал он мне при первом знакомстве, — как, не очень отталкивающее зрелище?»); неутомимый секретарь Англо-русского парламентского комитета Уильям Пэйтон Коутс, для которого, как и для его жены Зельмы, его работа стала делом жизни; и, конечно, Бернард Шоу и Шон О'Кэйси, великие ирландские бунтари — в литературе...

Многие называли Бернарда Шоу человеком злым и язвительным — что и говорить, он умел быть и тем и другим, когда дело касалось старого мира. Но мне он запомнился как человек необычайной чуткости и доброты. Признаться, перед этим седым художавым гигантом я страшно робел — подумать только, такой талант! Он это, наверно, чувствовал и, передавая мне аккуратно отпечатанные на машинке ответы на мои вопросы, шутил, участливо поглядывая из-под своих знаменитых, единственных в своем роде кустистых бровей («вспомогательные усы» — так он их называл): «Посмотрите, то ли я написал, что вам нужно. Если нет, я перепису все наоборот...»



Если бы все наши друзья тех давних лет могли взглянуть на мир сегодня! Теперь ведь в Англии никто уже не позволяет себе смотреть на Советскую страну сверху вниз. Все громче звучит голос тех, кто призывает с нами дружить.

Сегодня в Англии поражает необычайный, я бы сказал — жадный интерес, проявляемый к Советскому Союзу всеми слоями населения. На страницах солидной буржуазной газеты «Таймс» обсуждается — пусть пока еще в скептическом тоне — проблема формирования нового советского человека, и у автора передовой статьи вырываются слова: «Да будет нам всем дано дожить до того дня, когда мы его увидим. Он является тем идеалом, к которому стремилось большинство человеческих обществ».

Очень популярны туристские поездки в СССР. Велик интерес к русскому языку. Число средних школ, в которых обучают русскому, перевалило за шестьсот. В Холборнском колледже организованы курсы, готовящие преподавателей русского языка. Специальный правительственный комитет, изучавший постановку преподавания русского языка в высших и средних учебных заведениях, рекомендовал, чтобы во всех технических вузах русский стал обязательным предметом. Большим успехом пользуются уроки русского языка по радио и журнал «Юз Йор рашен» («Разговаривайте по-русски»), публикуемый Британской радиовещательной корпорацией.

Меняется мир, а вместе с ним меняется Англия.

Представьте себе, что вы смотрите панорамное кино с видами Советской страны. Но вот загорается свет, вы выходите из зала — и перед вами не Выставка достижений народного хозяйства в Москве, а центр Лондона, вечно бурлящая площадь Пиккадилли. Здесь действует кино «Кругорама», где с двенадцати часов дня до позднего вечера демонстрируется фильм «Русский круговорот». «Кругорама» стала одной из достопримечательностей британской столицы. Она никогда не пустует. Кого только не увидишь здесь в публике! Эти двое бородатых молодых людей, несомненно, студенты. Вот забежал сюда на полчаса рабочий в спецовке. А господин и дама, оглядывающиеся кругом с немного недоверчивым видом, явно принадлежат к тем, кого англичане называют «уэлл ту ду» — к людям состоятельным.

— Амэзинг! Удивительно! — слышится чей-то голос...

Я провел уик энд — субботу и воскресенье — в Северном Уэльсе в небольшом местечке Пенриндейдрейт (там живет Бертран Рассел). Вечером в баре гостиницы «Грифон» собрались местные жители — рабочие, фермеры. Узнав, что мои друзья и я — советские люди, они спели чудесные уэльские песни, забросали вопросами о Советской стране, наперебой приглашали к себе в дом.

Как много сегодня людей в Англии, которые стремятся узнать правду о Советском Союзе и полагают, что нашим странам надо не враждовать, а сотрудничать!

Серьезные сдвиги наметились в англо-советской торговле. К русско-британской торговой палате, ставящей себе задачей развивать англо-советскую торговлю, примыкает шестьсот семьдесят английских фирм. Группы влиятельных представителей деловых кругов выступают в печати с открытыми письмами, в которых призывают правительство оказывать активное содействие торговле с Советским Союзом. К этому призыву присоединилась и Федерация британских промышленников.

Как раз когда я был в Лондоне, советские торговые организации заключили с английскими фирмами ряд крупных сделок. Могу засвидетельствовать, что они произвели в британской столице большое впечатление. Это относится, в частности, к контрактам с «Техмашимпортом» на поставку оборудования для шести химических заводов общей стоимостью в двадцать шесть миллионов фунтов стерлингов; необходимые кредиты обеспечиваются лондонскими банками. Одобрение этой сделки было единодушным.

...Мне захотелось повидать кого-нибудь из пионеров англо-советской дружбы и расспросить, когда и при каких обстоятельствах изменилось отношение англичан к Советскому Союзу. Так я попал к Уильяму Пэйтону Коутсу за два месяца до его кончины.

В крохотном помещении Англо-русского парламентского комитета, сложившегося еще в двадцатых годах на базе комитета «Руки прочь от России!», мало что изменилось. Только одряхлел его неутомимый организатор восьмидесятилетний У. П. Коутс; время не пощадило и его жены Зельмы. Жизнь этих двух людей — настоящий подвиг во имя добрых отношений между двумя великими народами. Бывали моменты — Коутсов подвергали остракизму и не каждый знакомый решался подавать им руку. Они вытерпели все, не отступив и не дрогнув.

— Перелом в настроениях англичан по отношению к Советскому Союзу наметился еще во время войны, — сказал Коутс своим глухим, старческим голосом. — Англичане были потрясены героизмом советских людей. Откровенно говоря, в начале войны у нас мало кто надеялся на победу советского народа над армией Гитлера, покорившей весь европейский континент. Уверенность в вашей победе пришла после битвы на Волге. Потом, в годы холодной войны, наши люди снова наслышались всяких небылиц о Советской стране. «Спутники» поставили все на свое место. Но с особенной силой новые веяния в английском общественном мнении стали проявляться после «карибского кризиса», когда Советское правительство так наглядно продемонстрировало свою миролюбивую политику.

Помедлив и поглядев на свою жену и верного помощника Зельму, Коутс добавил:

— Я верю в дружбу между нашими народами и убежден, что она будет прочной.

Его слова прозвучали как завещание: нашего доброго друга Уильяма Пэйтона Коутса вскоре не стало...

Перед самым отъездом из Лондона я бродил вечером по городу с приятелем-англичанином. Мы свернули на Гаррик-стрит, и нам еще издали бросилась в глаза пестрая очередь у дверей оперного театра Ковент-гарден. Люди устроились со всеми удобствами на складных стульях, некоторые закутались в пледы: ночь обещала быть ветреной и холодной. Утром в кассе театра должны были продавать билеты на «Большой балет», как именуют англичане балет Большого театра.

— Там, — сказал мой спутник, кивнув головой в сторону площади Пиккадилли, — «Русский круговорот». Здесь — очередь на «Большой балет». — И, запахнув плащ под порывом ветра, заметил: — Похоже, что у нас гуляют советские ветры.

...Это было последнее впечатление, которое я увез из Лондона теперь.

## ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Английские правящие круги были всегда очень высокого мнения о своей внешней политике. Эта политика отличалась целеустремленностью, умением плести сложные и запутанные интриги.

После Октябрьской социалистической революции свое умение плести интриги и создавать коалиции Форейн-оффис обратил против молодой Страны Советов. Антикоммунизм стал одной из главных двигательных пружин английской внешней политики.

Во время моего пребывания в Лондоне в 1932—1933 годах англо-советские отношения не переставало лихорадить. По мере сил мутила воду и российская белая эмиграция.

В Лондоне еще прозябало тогда на неофициальном положении царское консульство, вокруг которого группировались бывшие фабриканты, помещики и их прихвостни, выпхвынутые из России революцией. Для них — как для французской эмиграции конца XVIII века или для кубинских контрреволюционеров в наши дни — заговоры против собственного народа стали единственным смыслом суще-

ствования. Правда, в Лондоне русских белоэмигрантов было не так уж много; большинство из них осело поближе от наших границ — в Стамбуле и на Балканах, в Варшаве и Праге, в Берлине и Париже, а на Дальнем Востоке — в Харбине и Шанхае. Через Ла-Манш или через Атлантику перебирались лишь те, кто был побогаче. Но именно эти люди обладали связями в высшем свете, к ним прислушивались в правительственных и парламентских кругах, тем более что они твердили то, что там страстно хотели услышать: советская власть дышит на ладан!

Консервативная партия имела тогда собственный Англо-русский парламентский комитет, действовавший в контакте с белоэмигрантами. Заигрывали консерваторы и с украинскими националистами — их главарем в Лондоне считался полковник Кновалец, выпускавший бездарный ежемесячный журнал на английском языке «Инвестигейтор». Все эти «эксперты» по «русскому вопросу» кормились вокруг миллионов, отпускавшихся из секретных фондов разведки или из личной кассы нефтяного короля сэра Генри Детердинга.

Моя первая корреспонденция из Лондона, напечатанная в «Правде» в июле 1932 года, как раз и была посвящена очередному сборищу главарей русской белой эмиграции в Англии. Вскоре после моего приезда репортер одной из консервативных газет сообщил мне, что предстоит такое сборище; я уговорил его отправиться туда вместе со мной. Заседание происходило в особняке бывшего царского дипломата Саблина; хозяин дома собственной персоной встречал гостей у входа. Мой спутник — детина огромного роста с военной выправкой — бросил загадочную фразу: «Вы прислали нам приглашение...» Не знаю, за кого Саблин нас принял, он молча поклонился и жестом пригласил проследовать в зал. Как мы и рассчитывали, приглашений было разослано больше, чем явилось желающих участвовать в заседании.

Дико было сидеть под портретами царей и трехцветным знаменем Российской империи. Но еще более дико было слышать полное яда антисоветское выступление секретаря Англо-русского парламентского комитета консерваторов капитана Тодда и доклад одного из главарей белогвардейщины — Байкалова. «Программа Байкалова и его твердолобых друзей заключается в борьбе против продления англо-советского торгового соглашения, в агитации за законодательное ограничение советского импорта и в подготовке к международной интервенции против СССР», — писал я в своей корреспонденции.

Последовавший вскоре после этого разрыв англо-советских торговых отношений свидетельствовал о том, что силы реакции не ограничивались одними разговорами.

В качестве иностранного корреспондента мне нередко приходилось посещать Форейн-оффис. Я помню английских дипломатов того времени — лощеных, самоуверенных, непоколебимо убежденных в том, что, по русскому выражению, «держат бога за бороду» и обладают секретом, как управлять с Уайтхолла судьбами мира.

Форейн-оффис всегда считался заповедником аристократии. Верховодило в нем по традиции несколько семейств: маркизы Солсбери, герцоги Девонширские, графы Дерби и их не менее изменитые родичи. В двадцатом веке к сынкам родовой знати присоединились сынки аристократии денежного мешка — магнатов Сити. Ни одно другое ведомство в Лондоне не связано так крепко личными узами с монополиями, как министерство иностранных дел. Крупные банки, колониальные, нефтяные, военные концерны имеют в Форейн-оффисе «своих» людей: это либо акционеры этих фирм, либо родственники акционеров. Уходя в отставку, видный чиновник министерства иностранных дел автоматически пересаживается в директорское кресло банка или концерна, с которым до того был связан неофициально.

Не удивительно, что аппарат Форейн-оффиса — весь во власти кастовых предрассудков. Антикommунизм — альфа и омега его премудрости. Высокомерные, спесивые английские дипломаты были уверены, что сумеют поладить с гитлеровцами, перехитрить их и превратить в ландскнехтов антикоммунистического похода.

Стремясь обеспечить себе поддержку и помощь Запада, новые хозяева Германии изъявляли полную готовность взять на себя такую роль. Показательным был эпизод, разыгравшийся на Международной экономической конференции, созданной в Лондоне по инициативе английского правительства летом 1933 года.

За свою журналистскую практику мне довелось быть свидетелем многих скучных, никому не нужных международных совещаний и съездов, однако такого ничемного и бесплодного собрания, как экономическая конференция 1933 года, я никогда больше не видел. Капиталистические державы задались целью: найти выход из преследовавших их экономических затруднений. Но тщетно ораторствовали с трибуны конференции буржуазные «асы» той эпохи: английский премьер Макдональд, французский премьер Даладьё, государственный секретарь США Хэлл, австрийский канцлер Дольфус... Единственную интересную, содержательную речь на конференции произнес глава советской делегации народный комиссар иностранных дел Максим Максимович Литвинов: дав развернутую характеристику экономической системы социализма и ее возможностей, он внес практическое предложение — подписать протокол об экономическом ненападении. Остальные ораторы ограничивались переливанием из пустого в порожнее.

Присутствовавшие на конференции журналисты томилась от безделья и проводили время не столько в зале заседаний, сколько в баре. Это был действительно из ряда вон выходящийся бар: рестораторы собрали в нем национальные напитки всех представленных на конференции стран. Помнится, американские журналисты изобрели своего рода спорт: дегустировать напитки разных стран в алфавитном порядке от «А» до «Z» — от Абиссинии до Зеландии, — а дойдя до конца алфавита, двигаться в обратном направлении. Вместо приветствия они встречали друг друга вопросом: «На какой вы застряли букве?..» Надеюсь, меня не обвинят в квасном патриотизме, если я скажу, что наибольшим успехом пользовалась русская водка.

Беда журналиста в том, что, какой бы пустой и ничемной ни оказалась конференция, которую ему поручено освещать, она требует безотрывного присутствия и внимания: зазеваешься или пойдешь прогуляться, а тут, может быть, как раз и произойдет то единственное событие, ради которого стоило тратить и время и силы... Наряду с другими качествами от журналиста требуется терпение. В данном случае мое терпение было вознаграждено.

Германская делегация решилась на открытый антисоветский шаг: она вручила руководству конференции меморандум, в котором требовала для Германии «новых территорий» на европейском Востоке за счет Советского Союза. «Война, революция и внутренняя разруха нашли исходную точку в России, в великих областях Востока, — гласил наглый фашистский документ. — Этот разрушительный процесс все еще продолжается. Теперь настал момент его остановить...» Осторожности ради гитлеровский документ был передан председателю конференции не главой делегации министром иностранных дел фон Нейратом, а членом делегации Гугенбергом, министром народного хозяйства; крупный промышленник Гугенберг являлся лидером партии националистов, которая на первых порах была представлена в правительстве Гитлера.

Корреспондент французской газеты «Пти паризьен» Ж. Массип бог весть какими путями сумел получить гугенберговский меморандум задолго до того, как он стал известен делегатам конференции и журналистам. Утром, перед началом очередного заседания, он отозвал меня в сторонку и передал копию меморандума, поставив два условия: во-первых, не разглашать, от кого я ее получил<sup>1</sup>, во-вторых, если советская делегация даст на меморандум ответ, предоставить ему текст ответа раньше, чем другим корреспондентам. Пообещав и то и другое, я помчался в советское посольство, где остановился М. М. Литвинов. Максим Максимович перестал посещать конференцию после первых заседаний, зато развернул энергичную деятельность, пользуясь присутствием в Лондоне виднейших дипломатов

<sup>1</sup> Я делаю это сейчас, тридцать лет спустя, зная, что Ж. Массипа нет в живых.

мира: готовилось подписание Советским Союзом и соседними странами конвенции об определении агрессии, налаживались контакты с американцами (несколько месяцев спустя были установлены дипломатические отношения между СССР и США).

Когда я приехал в то утро на Кенсингтон Палас гарденс, 13, Максим Максимович был еще в постели. Ему передали гугенберговский меморандум и мою просьбу: дать на него ответ через «Правду». Минут через десять меня пригласили в его комнату. Максим Максимович сидел в ночной пижаме, заспанный и недовольный, но тут же продиктовал мне заявление, в котором едко высмеял фашистский меморандум и его авторов, — по его словам, они решили внести в чересчур серьезную атмосферу конференции «элемент забавности». Я передал интервью с наркомом иностранных дел по телефону в Москву (оно было напечатано под заглавием: «Заявление тов. Литвинова корреспонденту «Правды»), а затем вручил копии его Ж. Массипу и другим знакомым корреспондентам. Получилось так, что журналисты получили советский ответ одновременно с гитлеровским меморандумом.

Своей наглой выходкой германская делегация лавров не стяжала. Западная пресса даже сочла нужным пожурить ее за чересчур грубую работу. Гитлеровцы сделали козлом отпущения Гугенберга и отозвали его из Лондона. Вскоре и вообще закончилась коалиция гитлеровцев с националистами, а заодно и бесславная политическая карьера Гугенберга. Никем не оплакиваемая, угасла и Международная экономическая конференция.

Германский фашизм нагелел и на глазах у всего мира готовился к агрессивной войне. Позорная полоса мюнхенской политики закончилась совсем не так, как задумали самоуверенные дипломаты с Уайтхолла и Кэ д'Орсэ. Жизнь посмеялась над их хитроумными маневрами: прежде чем двинуть свои дивизии прогив Советского Союза, Гитлер принял парад в покоренном Париже, обрушил свои бомбы на Лондон.

Ход событий привел Англию к военному союзу со Страной Советов.

В статье, опубликованной 26 января 1945 года в газете «Дас рейх», Геббельс писал: «В конце концов мир не так уж просто устроен, что победа всегда есть победа, а поражение всегда является поражением». Но даже Геббельсу в его самых диких мечтах не мерещилось, что через каких-нибудь полтора десятка лет после окончания войны германские товары снова будут вытеснять английские с мировых рынков, германские войска будут иметь базы на Британских островах, а Адольф Хойзингер на посту председателя постоянного военного комитета НАТО станет разрабатывать стратегические планы для Соединенных Штатов, Англии и всего капиталистического Запада.

Находясь в Лондоне летом 1963 года, я беседовал со многими англичанами из разных слоев общества. Все они без единого исключения, независимо от своих политических убеждений, выражали неприязнь к боннской Германии и высказывали серьезные опасения по поводу той поддержки, которую ей оказывает английское правительство. Один консервативно настроенный джентльмен при этом добавил:

— Тут уж мы надеемся на вас в Советском Союзе. Вы-то наверняка не дадите разгуляться этим сумасшедшим в Бонне... Что касается нас, — добавил он немного смущенно, — мы уже ничего не можем поделать: Англию связывает партнерство с Соединенными Штатами, а в Вашингтоне на германский вопрос смотрят иначе, чем в Лондоне.

Партнерство с Соединенными Штатами! Исчерпав все аргументы в защиту своей политики, представители английских правящих кругов неизменно ссылаются на то, что им волей-неволей приходится держаться «американо-британского партнерства». «единства народов, говорящих на английском языке», без которого Англии — крышка. Но у рядового англичанина в большинстве случаев свои взгляды на этот счет.

Известный английский литератор, человек наблюдательный и острый на язык, спросил меня:

— Хотите знать, почему мы, англичане, с таким восторгом встречали вашего Гагарина, что официальная программа встречи была опрокинута и от нее ничего не осталось?

— Что же тут удивительного? — пожал я плечами. — Событие исторического значения... Человек прорывается во Вселенную... Покорение космоса...

— Все это, конечно, так, — лукаво улыбнулся собеседник. — Но к естественному восторгу перед лицом такой победы человеческого гения и мужества примешивалось и другое чувство.

— ?

— Между нами говоря, в глубине души каждый англичанин радовался, что первыми покорили космос не американцы. Не смотрите на меня с удивлением: это именно так. И американцы нас отлично поняли. В Вашингтоне нам до сих пор простить не могут той встречи: там считают, что с нашей стороны было чистейшим предательством аплодировать русскому, опередившему в космосе американца. Недаром Соединенные Штаты так и не прислали к нам своих космонавтов...

Я, конечно, знал о скрытом антагонизме, подтачивающем «единство народов, говорящих на английском языке». Чтобы почувствовать сей антагонизм, даже не обязательно побывать в Англии, — достаточно ознакомиться с произведениями английских писателей современности от Джона Голсуорси до Грэма Грина. Возьмите, например, переживания очаровательной — и очень консервативной — Динни Черрел из «Конца главы» Голсуорси, когда в нее без памяти влюбляется красивый молодой американец, или возьмите размышления английского журналиста Фаулера из «Тихого американца» Грина.

И все-таки мой собеседник, рассуждавший о настроениях англичан в связи с покорением космоса Советским Союзом, меня несколько удивил. Осмогравшись в сегодняшнем Лондоне, я многому перестал удивляться. Да, подспудный англо-американский антагонизм заметно вырос, что сопутствует победоносному американскому проникновению во все области английской жизни. Это как бы две стороны одной медали.

Вы включаете в Лондоне поутру радио — и слышите ковбойские песенки под аккомпанемент банджо. Вечером вы включаете телевизор — и видите либо перестрелку между ковбоями и индейцами в Техасе, либо перестрелку между полицейскими и бандитами в Чикаго. Приблизительно три четверти всех художественных фильмов, идущих на английском экране, сделаны в Голливуде. В книжных магазинах на Чэринг-кросс, в киосках газетчиков, на станциях лондонской «подземки» выставлены последние заатлантические боевики в пестрых обложках: детективные романы и популярные наставления, как без особого труда приобрести миллион долларов. В витринах магазинов грамзаписи подавляющее большинство пластинок — американские.

Но больше всего американское проникновение сказывается в экономике. Долларовые капиталовложения в Англию увеличились по сравнению с довоенным временем в десять раз и продолжают расти безостановочно. Сейчас они оцениваются в один с четвертью миллиард фунтов стерлингов — около трех с половиной миллиардов долларов. В экономику Англии вложено больше американских капиталов, чем в экономику любой другой страны за исключением Канады. При этом воротилы Уолл-стрит облюбовали наиболее доходные и перспективные отрасли английской промышленности; старые отрасли вроде текстильной или судостроительной их не привлекают.

Вдоль дорог Англии — бензоколонки с всемирно известными щитами американских нефтяных монополий. В «оффисах» — конторах лондонского Сити стучат американские счетные машины и пишущие машинки. Аптеки завалены американскими лекарствами. В старинном лондонском доме восемнадцатого века вмонтирован в лестничную клетку лифт — на нем металлическая дощечка с названием американской фирмы.

Монополии Уолл-стрита, тесно связанные с государственным департаментом США, пытаются навязать Англии экономическую политику Вашингтона. Отделы кадров и заводская охрана американских фирм ведут глухую борьбу с английским рабочим движением, преследуя профсоюзный актив, передовых рабочих.

Целая армия американских инструкторов, «экспертов», управляющих наводни-ла Англию. Они инструктируют, поучают, командуют. Англичанам не перестают назойливо твердить, что их страна отстала от века, что им надо поступить на выучку к американцам, что все самое современное, правильное, наилучшее — американского происхождения.

Мудрено ли, что англичане испытали невинное удовольствие, смешанное со злорадством, когда в космос первыми взвились не американские, а советские спутники Земли!

У правящей английской верхушки — свои счета с заатлантическим союзником. Она не хочет мириться с экономическим и политическим вторжением Соединенных Штатов в страны Британского Содружества. Она не забыла, как США отхватили у Англии львиную долю ближневосточной, в частности иранской, нефти. Она не может простить Вашингтону его двусмысленной позиции в дни Суэцкого конфликта.

Конечно, общее направление политики держав НАТО определяется в Вашингтоне, а в тех случаях, когда интересы Вашингтона и Лондона сталкиваются, английское правительство неизменно идет на попятный. Но в наши дни внешне-политические интересы Англии и США все больше расходятся.

Так обстоит дело с «единством народов, говорящих на английском языке».

Внутри западного блока держав накопились острые противоречия, они растут, по мере того, как меняется соотношение сил в капиталистическом мире. Эти противоречия ознаменовались форменным взрывом, когда Франция при скрытом содействии Западной Германии захлопнула перед Англией двери Общего рынка.

Скандальный провал переговоров о вступлении в Общий рынок нанес сильнейший удар политическому положению и престижу Англии. Никогда еще за всю новейшую историю ее авторитет, ее вес в международных делах не падал так низко. Она одновременно очутилась перед лицом пресловутой «оси» Бонн — Париж и крепнущего сотрудничества Бонна с Вашингтоном. Судя по всему, дипломатическое ведомство ФРГ научилось получше Форейн-оффиса пользоваться традиционным методом британской дипломатии — противопоставлять друг другу и сталкивать между собой другие державы.

На карту антикоммунистической политики поставлена безопасность Англии. Во имя «партнерства» с Соединенными Штатами территория Британских островов превращена в американское предмостное укрепление по эту сторону Атлантики. К американским ракетно-ядерным базам прибавились в последние годы тренировочные полигоны западногерманского бундесвера.

Между тем не может быть двух мнений о том, что принесет Англии ядерная война. Она не оставит в этой небольшой стране камня на камне.

Бертран Рассел говорил мне еще несколько лет назад, что, по мнению компетентных ученых, достаточно шести водородных бомб, чтобы уничтожить на Британских островах все живое. С тех пор разрушительная сила термоядерных бомб возросла во много раз. У Англии нет никакой надежды пережить ядерную войну.

Надеяться найти решение сегодняшних проблем на путях старой и уже скомпрометировавшей себя политики — безнадежное дело. На антикоммунизме теперь далеко не уедешь.

Коренные интересы Англии никак не сталкиваются с интересами Советского Союза. Напротив, у наших стран много общих интересов. Обе страны жизненно заинтересованы в сокращении бремени вооружений, в развитии торговли, а главное, в организации европейской безопасности.

Надо оговориться: по мере того как правящие круги в Лондоне испытывают отрицательные последствия своей политики, их все сильнее тревожит невыгодное и опасное для Англии развитие международных событий. Отсюда колебания и

зигзаги, сказавшиеся, например, в период поездки Макмиллана в Москву в 1959 году. Но в решающие моменты всякий раз обнаруживалось, что влиятельные силы не дают Англии освободиться из круга устаревших представлений, порочных концепций и роковой политики, осужденной опытом истории.

Сумеет ли она вырваться из этого заколдованного круга? Или окажется прав Бернард Шоу, который острит по адресу английской правящей верхушки: «Если бы опыт мог чему-нибудь научить, камни Лондона были бы мудрее всех мудрецов»?

### ТРАДИЦИИ И ПЕРЕМНЫ

В Англии больше всего поражает вас сила традиций, привычек, условностей. Сказывается это буквально во всем — от внешней политики ее правящих кругов до мелочей поведения и быта.

Первые очутившись в Англии, я испытывал немало затруднений. Мог ли я знать, что, наливая в чашку за утренним завтраком чай с молоком, надо обязательно начинать с молока, что спаржу едят только пальцами, что, входя с дамой в театральный зал, как, впрочем, и в ресторан, мужчина должен идти впереди, а не позади нее!

Конечно, я прибегал к элементарной хитрости: смотрел, как ведут себя окружающие, и старался им подражать. Часто это помогало, особенно за столом, где я впервые увидел перед собой на званых обедах четыре вилки и четыре ножа, не считая двух ложек. Но помогало далеко не всегда.

Да, в Англии с удивительным упорством держатся старых традиций во всем. И это, как мне кажется, имеет свое объяснение.

Проходя тридцать лет назад однажды вечером накануне открытия парламентской сессии мимо здания парламента, я увидел странную очередь, состоявшую из джентльменов почтенного вида. Первым в очереди был сухонький старичок, сидевший на складном стуле. Из чистой любознательности я подошел и разговорился с ним. Что же оказалось? В очереди находились не какие-нибудь любопытные, задумавшие полюбоваться на торжественную церемонию открытия парламентской сессии с галереи для посетителей, — нет, это были члены парламента, выстроившиеся еще с вечера в хвост, чтобы попасть на другой день на свои законные места!

Дело в том, что здание парламента, отстроенное в середине прошлого столетия после того, как прежнее здание было уничтожено пожаром, стало уже тесным: население Англии возросло, его представительство в парламенте увеличилось, и зал заседаний палаты общин не вмещал на своих скамьях всех ее членов. В обычные дни это не было проблемой: парламентские заседания происходят, как правило, в почти пустом зале; только когда доходит до голосования по какому-нибудь существенному вопросу, «уипы» («плетки» — так называют старост партийных фракций) спешно собирают свою паству в коридорах и в ресторане, звонят по телефону на квартиры и в клубы. Но в «большие дни» — к ним принадлежит прежде всего день открытия парламентской сессии — в зале заседаний палаты общин происходила форменная давка, и часть парламентариев вынуждена была простаивать все заседание на ногах... Завидев у меня в руках карандаш и блокнот, мой старичок попросил меня отметить, что он уже добрый десяток лет ухитряется становиться в эту курьезную очередь самым первым: он был скромный «задне-скамеечник» и ему не повредила бы небольшая реклама.

— Позвольте, — несколько наивно стал я допытываться, — разве в Лондоне нет более вместительного помещения, где бы мог проводить свои заседания парламента?

— Разумеется, есть, — ответили мне. — Но неужели вы, молодой человек, не понимаете, что, перебравшись, например, в какой-нибудь концертный зал, парламента утратит свой ореол?



Ради того, чтобы не потускнело сияние такого ореола, членам парламента и приходилось мириться с неудобствами. Кто знает, не продолжалось ли бы это и по сей день, если бы не гитлеровские бомбы. Восстановливая здание парламента после разрушений военного времени, строители несколько расширили зал заседаний палаты общин, произвели и другие улучшения. Между прочим, совершенно реконструирована галерея для представителей печати, где прежде приходилось сидеть в неимоверной тесноте и в крайне неудобной позе; улучшилась и акустика. Но даже в перестроенном зале почти на сто мест меньше, чем имеется членов палаты общин, и все сделано так, чтобы модернизация здания поменьше бросалась в глаза.

Старые традиции и обычаи выполняют в английском обществе вполне определенные социальные функции: они призваны внушить людям, что все вокруг остается неизблемым и неизменным. Не потому ли в Англии так неохотно расстаются с некоторыми архаическими порядками и установлениями?

Возьмите уличное движение. Англия — одна из очень немногих стран с левосторонним движением. Почти во всем мире транспорт движется по правой стороне, в Англии — по левой. Попав на Британские острова, в первые дни никак не можешь привыкнуть к своеобразию уличного движения и ходить как ошалелый — того и гляди попадешь под машину. То же самое испытывает англичанин, отправившийся на континент. Об этом и говорят и пишут, но старый порядок не меняется.

Еще больше разговоров о своеобразных мерах веса (унция, фунт), мерах длины (дюйм, фут), а главное — о денежной системе. Двенадцать пенсов составляют один шиллинг, двадцать шиллингов равны одному фунту стерлингов. Такая архаичная система затрудняет денежные операции, в частности при пересчете на иностранную валюту. Но это еще не все. С давних пор в Англии некоторые расчеты ведутся не на фунты, а на гинеи (1 гиней = 21 шиллингу). Гинею принято считать более «благородной» денежной единицей, чем фунт: в старину гинеями расплачивались за цветы и картины, в гинеях устанавливалась цена продаваемого особняка; и сегодня еще в витрине ювелирного магазина на Бонд-стрит цена обручального кольца будет указана в гинеях, и в гинеях же потребует вознаграждения светский портной — в отличие от фирмы готового платья. Совсем недавно доклад правительственной комиссии, изучавшей проект реформы денежной системы, вызвал в стране настоящий фурор, но дальше проекта дело пока не пошло.

Традиции, стародавние представления и предрассудки ложатся тяжелым грузом на плечи рядового англичанина. Герберт Уэллс, который и сам не был свободен от такого груза, писал по этому поводу: «Мы, англичане... живем в удивительной атмосфере пренебрежения к большим проблемам и навязчивого торжества всевозможных мелочей; мы целиком поглощены светскими манерами; приличия и ничтожные правила поведения стали самой сутью нашей жизни».

Тут выступает на сцену пресловутая «миссис Грэнди» — английский эквивалент фамусовской княгини Марьи Алексевны, блюстительница приличий и нравов. Хотя с некоторых пор ее деспотическая власть сильно пошатнулась, она и по сей день отравляет существование многим.

Англичан часто обвиняют в лицемерии, ханжестве. «Британское лицемерие», «английское ханжество» — эти слова вошли даже в поговорку. Правящие классы Англии действительно превратили лицемерие в своего рода тончайшее искусство. Недавно газета «Манчестер Evening News» опубликовала на своих страницах бесподобное письмо. «Само собой, — писал автор, — мы, англичане, верим в бога. Мы всегда в него верили; но, что более существенно, он верит в нас. Разве мы могли бы иначе построить могущественную империю?» Это, так сказать, классический образец ханжества.

Лицемерие английской буржуазии носит характер социальный.

В Англии запрещено нищенствовать: зрелище нищеты не должно оскорблять чей-либо глаз. Но если оборванный, посиневший от холода человек протягивает вам на улице коробку спичек или пакетик зубочисток, он, видите ли, не нищен-

ствует: он занимается коммерцией. Нужды нет, что прохожий, опустив монетку в протянутую руку «коммерсанта», не возьмет его «товара». Зато соблюдены приличия и условности.

Каждый англичанин в большей или меньшей степени сноб. К высшему свету, особенно к королевскому дому, он испытывает влечение, род недуга. Интерес к частной жизни великих мира сего носит прямо-таки патологический характер: особенно силен он у женской половины населения. «Болезнь помешала принцессе Маргарет присутствовать на открытии выставки цветов; ее недомогание не носит серьезного характера», — с интересом прочитает жена ремесленника или бакалейщика в утренней газете, и, дойдя до слов «не носит серьезного характера», она может быть, даже вздохнет с облегчением. У театров кинохроники, где демонстрируют кадры из придворной жизни, выстраиваются очереди. Когда объявляется заранее маршрут королевского кортежа, тысячи людей способны простаивать часами под проливным дождем в надежде хоть издали увидеть королеву.

Обыватель гордится знакомством с герцогиней Икс или лордом Игрек. Он не преминет ввернуть в разговор к месту и не к месту: «Когда я обедал у герцогини Икс...», «Как мне сказал лорд Игрек...» У специалистов по генеалогии, проверяющих (и сочиняющих) родословные, неплохие заработки. Секретарь профсоюза радуется, как ребенок, получению дворянского титула. «Англичане слишком ненавидят свободу и равенство, чтобы их понимать», — писал Бернард Шоу. — Зато каждый англичанин поклоняется патенту на дворянское звание и жаждет его получить». В этой шутке есть доля правды.

Английская аристократия, как и палата лордов, — прямой пережиток средневековья. В Англии имеются герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны, баронеты и просто «рыцари» (личное дворянство с титулом «сэр»). Еще не очень давно родовое дворянство считало ниже своего достоинства заниматься делами меркантильными: младший сын обедневшего аристократического семейства мог пойти в армию или во флот, стать судьей или священником, но дорога в коммерцию, в бизнес была для него закрыта. Теперь отношение к бизнесу изменилось коренным образом. Древний фамильный герб нисколько не мешает его обладателю заниматься изготовлением пылесосов или подтяжек, больше того — торговать билетами на осмотр родового замка. В банковских, торговых, промышленных фирмах считается хорошим тоном заполучить в совет директоров какого-нибудь сиятельного лорда: это придает фирме некий блеск. Лорд Чандос или лорд Монктон, бывшие министры, стали могущественнейшими людьми среди дельцов лондонского Сити.

С другой стороны, богатые дельцы теперь не прочь обзавестись дворянским титулом (сделать это не так трудно: достаточно внести солидный куш в избирательный фонд консервативной, а может быть, и лейбористской партии). Поэтому ныне сословные противоречия бледнеют перед классовыми. По существу возникла уния между родовым дворянством с его земельными угодьями и крупной буржуазией с ее капиталами. Вместе они составляют около одного процента самодельного населения страны, а владеют больше чем половиной ее национального богатства.

Следующая прослойка, которую в просторечии называют «высшие классы», это землевладельцы без титула, офицерство, священнослужители, адвокатура, врачи. К ней порой причисляют преуспевающую часть лиц свободных профессий.

Еще ниже следует многочисленная мелкая буржуазия, которая в английской литературе и в разговорной речи обозначается понятием «средние классы». Тут имеется ряд тонких градаций. К так называемым «высшим средним классам» причисляют лиц, имеющих определенный доход и известное образование; сюда относятся техническая интеллигенция — управляющие предприятиями, инженеры. Их положение в обществе солиднее, чем положение «низших средних классов», к которым принадлежат лавочники, владельцы каких-нибудь мастерских, наконец «работники в белых воротничках» — конторщики, счетоводы, бухгалтеры, почтово-телеграфные и муниципальные служащие.

Социальные перегородки в Англии высоки и крепки — куда выше и крепче, чем в других европейских странах. Часто слышишь ходячее выражение: «Надо же знать границу», что означает: нельзя себе позволить общаться с людьми, которые стоят ниже тебя по социальной лестнице. Так скажет дама, обладающая фамильным гербом, своей дочери, которой вздумалось позвать в гости дочь управляющего местной фабрикой. Так скажет и управляющий фабрикой своему сыну, решившему придурить за хорошенькой хозяйкой бакалейной лавки.

Особо следует остановиться на очень английском понятии «джентльмен».

Джентльмен — сложный продукт английского классового общества. Он отличается от простых смертных прежде всего тем, что окончил одно из привилегированных закрытых учебных заведений — скорее всего Итон, Харроу или Винчестер, где ему преподали сложную науку: как разговаривать, одеваться, вести себя в обществе. Такие закрытые учебные заведения называются «общественными школами» («паблик скулз»), хотя меньше всего их можно считать общественными в подлинном смысле этого слова. Настоящие общественные школы в Англии — бесплатные государственные школы, где, кстати сказать, преподавание сплошь и рядом поставлено лучше, чем в закрытых учебных заведениях, программы которых перегружены изучением древних языков — латинского и греческого. Привилегированные закрытые учебные заведения основаны в стародавние времена: Итон — в 1400 году, Харроу — в 1571-м, Винчестер — в 1382 году. Древние серые каменные здания этих школ, в которых размещены учебные классы и дортуары, напоминают по внешнему виду монастырь; сходство увеличивается еще и тем, что в центре школьных зданий высится непременная часовня, которую школьникам приходится посещать ежедневно.

Плата за учение в закрытых школах по карману только очень состоятельным семьям: таким образом проводится черта, ограничивающая круг учащихся; это классовая черта. Несмотря на высокую плату, наплыв в закрытые школы так велик, что детей заносят в школьные списки чуть ли не со дня рождения. Так поступает не только аристократия и крупная буржуазия; достаточно любой чете из «средних классов» пробиться на ступеньку повыше, как она уже мечтает о Харроу или Итоне для своего отпрыска.

Окончив закрытую школу, а потом Оксфорд или Кембридж, молодой человек усваивает определенное произношение («стандартное английское»), которым пользуется и диктор на радио, и священник в церкви. У него безукоризненные манеры, он не станет, например, за едой помогать себе ножом в борьбе с зеленым горошком. Он досконально знает, как надо одеваться, и ни за что не покажется на людях в новом костюме или в новой шляпе — чего доброго, назовут выскочкой (бывший премьер-министр Макмиллан позировал фотокорреспондентам в заплятанных брюках). Кругозор молодого джентльмена узок, он представления не имеет о том, что творится в мире, но он доволен собой и будущее его обеспечено. Он приобрел определенный круг нужных знакомств, сидел на одной парте с наследником владельца пушечного концерна, играл в футбольной команде вместе с юным лордом. Перед счастливым открыты все дороги.

«Настоящий джентльмен» чувствует «настоящего джентльмена» издали неким шестым чувством. На всякий случай питомец «закрытой школы» уносит с собой в жизнь отличительный признак: школьный галстук особой расцветки — черный с синими полосками для выпускников Итона, синий с белыми полосками для выпускников Харроу, сине-лилово-коричневый для воспитанников Винчестера. Если в каком-нибудь правительственном учреждении открылась вакансия — питомцу закрытой школы она обеспечена в первую очередь, а в правлении банка или солидного концерна ему могут найти вакансию, даже если ее нет. Бывший воспитанник Итона, а ныне убранный сединами директор крупного департамента будет подолгу расспрашивать желторотого новичка, как обстоят дела в их старой школе и все ли еще свирепствует на уроках латыни хромой Бентли по кличке «Тигр».

Но подавляющее большинство пятидесятидвухмиллионного населения Англии не относится ни к аристократии, ни к «высшим» или «средним классам», не пол-

падает и под категорию «джентльменов». Не так еще давно этот слой населения называли «низшим сословием»: теперь такого термина избегают: дань веку. Я говорю о людях труда, которые создали своими руками все, что в Англии есть лучшего. Свыше девяти десятых ее самодеятельного населения работает по найму, из них больше двух третей — рабочие.

У английского рабочего золотые руки. Часто он перенимает профессию от отца, деда и прадеда. Принадлежностью к своей профессии он гордится. В былые времена в рабочей среде был распространен обычай: носить на предплечье татуировку — эмблему профессии. Смолоду рабочий проникается чувством товарищества к тем, кто трудится рядом с ним. Он всегда готов поспешить на помощь товарищу в беду.

В упорных классовых боях пролетариат Англии добился существенного улучшения своего положения. Введено обязательное страхование рабочих и служащих на случай безработицы, болезни, инвалидности, но страховой фонд образуется главным образом из взносов самих застрахованных. Старики получают пенсию; правда, в связи с беспрестанным ростом дороговизны она недостаточна для безбедного существования. Медицинское обслуживание стало бесплатным.

Именно рабочий обладает всеми лучшими качествами английского национального характера, которых зачастую лишены те, кто считает себя «джентльменом».

Однако рядовой труженик куда сильнее чувствует свою связь с товарищами по профессии, по цеху, чем с рабочим классом в целом. Он готов вступить в борьбу, забастовать, если ущемлены его цеховые интересы, — этому способствует цеховая структура профсоюзов. Труднее ему подняться на борьбу за общеклассовые задачи.

И, конечно же, английский рабочий не свободен от груза старых традиций. Я это понял тридцать лет назад во время крупной забастовки ткачей в Ланкашире.

Забастовка, охватившая сто шестьдесят тысяч человек, была объявлена вопреки воле профсоюзного руководства; она затянулась на много месяцев и носила ожесточенный характер. В борьбе со штрейкбрехерами — ланкаширские пролетарии зовут штрейкбрехера «нобстик» («палка с набалдашником») — дело доходило до рукопашной. Кое-кому из «нобстиков» пришлось познакомиться с такой неприятной процедурой, как холодная ванна в речке или канале. Но меня удивляло странное, на мой взгляд, обстоятельство: в фабричных городах Ланкашира, где бастующие ткачи были могучей силой, они ожидали исхода стачки дома, сложив руки или отправлялись за город... играть в футбол. Я не видел ни массовых собраний бастующих, ни уличных демонстраций — разве что группа пикетчиков с позором проводит домой штрейкбрехера под звуки импровизированного оркестра.

Беседуя в Бернли — цитадели бастующих — с одним из их руководителей, я спросил, не было ли в городе демонстраций.

— Что вы! — ответил он. — Ходить толпой по улице не принято. Что скажут соседи!

Бастующий пролетарий боялся миссис Грэнди! Сперва такая мысль показалась мне дикой; потом я понял, что это венец всего английского образа жизни, плод сложной и тонкой психологической обработки, которой народ Англии подвергается на протяжении многих веков.

\* \* \*

Бесшумно закрылась за нами тяжелая дверь красного дерева, покрытая искусной резьбой. Мы в одном из клубов на улице Пэл-Мэл.

Английский клуб — учреждение уникальное. Он напоминает гостиницу закрытого типа: член клуба может провести в нем по своему усмотрению несколько часов, дней, недель или месяцев. При клубе есть ресторан (кухня и винный погреб — предметы величайших забот и величайшей гордости членов клуба), читальный зал, библиотека, рабочие кабинеты, наконец, жилые номера со всеми удобствами. Член клуба испокон веков был вправе приглашать сюда гостей муж-

ского пола. Женщинам доступ всегда был строго воспрещен; даже обслуживающий персонал состоял из одних мужчин.

Но что это? Не успел седовласый швейцар передать моему спутнику накопившуюся корреспонденцию и почтительно доложить, что в читальном зале его дожидаются друзья, как наши мокрые плащи приняла миловидная гардеробщица, а когда мы зашли в ресторан, обнаружилось, что он обслуживается одними официантками. В холле же я успел прочесть объявление: «По пятницам членам клуба разрешается приглашать дам».

Поймав мой удивленный взгляд, спутник — англичанин не старых лет, но старых правил — сокрушенно говорит:

— Да, Англия идет ко всем чертям!

После ужина мы направляемся в бар — за стойкой тоже женщина! — и тут у камина, где тлеют толстые поленья, завязывается неторопливый разговор. В числе собеседников — пожилой литературный критик (его перу принадлежат и два-три романа), актер с громким именем, молодой журналист лейбористских убеждений, работающий в консервативной газете и потому излагающий в своих статьях точку зрения консерваторов, и еще человека два-три. Изредка кто-нибудь поднимается и молча уходит, но на его место, заслышав спор, тут же подсаживается кто-нибудь другой: английский интеллигент в наши дни стал таким же завзятым спорщиком, как интеллигент русский.

Не без умысла завожу я разговор о переменах в клубной жизни Пэл-Мэла. Женский обслуживающий персонал! Дамы в стенах клуба по пятницам! Вот уж никогда не подумал бы!

— И не говорите! — вздыхает мой хозяин. — Если бы все это видел тот старый джентльмен, — он кивает на портрет одного из основателей клуба, строго вззирающий на нас со стены, — он бы пришел в ужас. Но разве это единственное новшество в Англии? Все кругом переменялось. И продолжает меняться.

— Возьмите наш престиж, — желчно замечает критик. — Никогда еще он не котировался так низко. Из державы номер один, какой мы были в начале столетия, мы превратились в державу номер три. Впрочем, и это место оспаривается у нас сейчас Францией...

— ...и Западной Германией, — вставляет актер. — О, эта Лорелея на Рейне! Так сладко пела после войны, так плакалась, мы давали ей подачку за подачкой. А теперь она стала богаче нас, да и армия у нее сильнее нашей.

— Что касается сухопутных вооруженных сил, — замечает молодой журналист, — Англия никогда не делала на них ставку. Но вот военно-морской флот... Знаете, меня очень удивило заявление американского адмирала Джорджа Андерсона. Он заявил на заседании комитета начальников штабов США, что наш военно-морской флот безусловно на третьем месте — после американского и советского. «Безусловно» — именно так он выразился.

— Ну уж этого не может быть! — восклицает только что подсевший к нашему столику румяный здоровяк. — Чтобы мы уступили военно-морское превосходство русским!

— А почему, собственно, не может быть? Уступили же мы им превосходство в космосе, кстати, не только мы, но и американцы тоже!

— Космос — совсем другое дело. Это новая область. Превосходство на море принадлежало нам по традиции.

— Традиции! — произносит актер с трагической ноткой в голосе. — Нет больше традиций!

— Некоторые традиции вряд ли стоит оплакивать, — осторожно вставляет журналист. — Может быть, даже к лучшему, если их не станет.

— Во всем виновата война, — со вздохом говорит мой хозяин.

— Вы какую войну имеете в виду? — спрашивает кто-то.

— Что значит — какую? Последнюю, разумеется. Войну с Гитлером.

— Но наши беды начались еще с первой мировой войны. Или даже еще раньше.

— При чем тут война? Возьмите Советский Союз — он, бесспорно, потерпел в результате войны больший ущерб, чем все другие страны, вместе взятые, а поднялся после войны быстрее других и продолжает всех обгонять.

— Во всем виноваты международные факторы...

— Ну, это не объяснение!

— Давайте скажем правду: виновато правительство! Консервативное правительство, которое послушно выполняет все, что хотят американцы.

— Если на то пошло, ответственность с ним должны разделить ваши бездарные лейбористские лидеры. Не забудьте: это они находились у власти в первые послевоенные годы. Это они обременили наши финансы непомерными расходами на всякие там социальные мероприятия — бесплатное лечение, пенсии и так далее!..

Кашлянув, актер декламирует бархатным, хорошо поставленным голосом:

Те, кто трудились для Англии,  
Нашли в ней последний приют,  
И певчие птицы Англии  
Над могилами их поют.

Но те, кто сражались за Англию  
И отдали жизнь за нее,—  
О горе, горе Англии,—  
Могилы их далеко.

А те, кто правит Англией  
По мере скробных сил,—  
О горе, горе Англии,—  
Для них еще нет могил<sup>1</sup>.

— Чьи это стихи? — спрашиваю я.

— Гилберта Кита Честертона, «Элегия на сельском кладбище». Он умер еще в тридцатых годах, но его стихи звучат вполне злободневно.

— Они как будто написаны специально по поводу дела Профьюмо...

— Что касается дела Профьюмо, оно для нашего общества все-таки не показательно.

— Это как сказать...

И спор разгорается с новой силой.

Я слушаю, смотрю на развешенные по стенам портреты джентльменов в париках и думаю о том, что подобные споры кипят в наши дни в Англии везде и повсюду.

Собственно говоря, споров о том, куда идет Англия, я слышался немало и прежде, но тогда в них все-таки проскальзывали оптимистические нотки, даже если оптимизм этот и носил несколько напускной характер. Многие пытались убедить себя и других, что «британский век» — так именовали здесь век девятнадцатый — еще вернется, что кризис Британской империи — злостное измышление большевиков. Лорду Керзону (тому самому, который писал сердитые ноты молодому Советскому правительству) принадлежало классическое изречение: «Никогда еще британский флаг не развевался над более мощной и более единой империей. Никогда еще наш голос не звучал более веско в хоре народов при решении будущих судеб человечества».

Сравните это заявление с декларациями британских лидеров в наши дни — какой контраст! «Мы сталкиваемся с устрашающим вопросом: не стали ли возникающие перед нами проблемы непосильными для нас?» — сказал, уходя в отставку с поста премьер-министра, Уинстон Черчилль. «Таймс» пишет в передовой статье: «Нет надежды, что вес Англии в международных делах когда-нибудь снова будет прежним».

Если руководящие политические деятели и журналисты рисуют себе будущее

<sup>1</sup> Перевод Ю. Таубина.

в более или менее мрачных красках, то что остается простым людям! Институт Гэллага, специальность которого — опросы общественного мнения, провел в Англии анкету на тему: «Благоприятным или нет видите вы свое будущее?» Только половина опрошенных дала утвердительный ответ. Неуверенность в завтрашнем дне — отражение кризиса, переживаемого страной.

Кризис этот нельзя рассматривать изолированно, вне времени и пространства, без связи с событиями, происходящими в мире. Трещины испещрили все здание современного капитализма, и было бы странно, если бы они пощадили ту или иную его часть. Но общий кризис капитализма сказался в Англии с особой силой, поскольку в течение ряда веков она была центром крупнейшей в мире колониальной империи.

Богатая дань, взимавшаяся без особых хлопот за морем, действовала разлагающе. Туда в первую очередь устремлялись капиталовложения: ведь там всегда можно было рассчитывать на головокружительные сверхприбыли за счет невероятно дешевого труда коренного населения. Приток свежих средств в промышленность и сельское хозяйство самой метрополии был недостаточным; это сказывалось на развитии экономики. Подолгу не обновлялось оборудование промышленных предприятий.

Я видел своими глазами ткацкие фабрики в Ланкашире, угольные шахты в Южном Уэльсе, металлообрабатывающие заводы в «Черном крае» вокруг Бирмингема, оборудование которых не обновлялось с прошлого столетия. Могу засвидетельствовать: в Советском Союзе таких устаревших предприятий не найдешь. Даже высокое профессиональное мастерство английских рабочих не может компенсировать изношенности машин и станков.

Так называемые «традиционные», старые отрасли промышленности отстали от времени. Это, разумеется, не относится к предприятиям новых отраслей — химическим, автомобильным, авиационным и другим, которые оборудованы в соответствии с уровнем современной техники.

Англию стали теснить зарубежные конкуренты. Доля Англии в мировом промышленном экспорте сокращается из года в год. Английским экспортерам наступают на пятки американские, западногерманские, японские.

По темпам роста промышленного производства Англия стоит на последнем месте среди других промышленно развитых западноевропейских стран. Согласно данным ООН, за 1950—1960 годы среднегодовой прирост продукции не превышал в Англии 2,6 процента. В 1962 году он опустился до одного процента.

Английская сталелитейная промышленность загружена меньше чем на три четверти своей мощности. В такой же пропорции загружено транспортное машиностроение. Общее машиностроение загружено на четыре пятых мощности.

Снова, как в тридцатых годах, над Англией маячит призрак хронической долгосрочной безработицы. В главных промышленных центрах страны она превратилась уже сейчас в серьезную проблему. В последнем квартале 1963 года в Соединенном королевстве было зарегистрировано свыше полумиллиона безработных, что составляет 2,1 процента рабочей силы. Но в Северной Ирландии процент безработных достигал 6,8, в Северной Англии — 4,5, в Шотландии — 4,2.

Английская промышленность работает преимущественно на импортном сырье. Импорт Англии всегда превышал ее экспорт. Поэтому платежный баланс — предмет постоянных забот английского правительства. Пассивное сальдо платежного баланса покрывалось доходами от зарубежных капиталовложений, морских перевозок, финансовых посреднических операций. Теперь для покрытия дефицита сплошь и рядом недостает этих поступлений, что привело к сокращению золотых запасов Лондона и к ослаблению позиций фунта стерлингов. Старых накоплений жира надолго не хватит.

Положение с платежным балансом серьезно ухудшается большими военными расходами, в частности расходами по содержанию «рейнской армии» и по выполнению других обязательств, налагаемых военным блоком НАТО. Огромные суммы поглощает создание собственного ядерного оружия. Недешево обходится содержа-

ние военных баз и опорных пунктов в еще сохранившихся колониях, проведение колониальных военных операций в Юго-Восточной Азии, на арабском Востоке и в других местах. Все это расширяет финансы, а вместе с ними экономику Англии.

В поисках выхода английское правительство создает советы, комиссии, подкомиссии. Они заседают, пишут доклады, сочиняют проекты. Как правило, их деятельность сводится к попыткам разрешить трудности за счет рабочего класса. В той или иной форме неизменно делается вывод: производить побольше, потреблять поменьше. К этому направлены, в частности, все рекомендации — заморозить заработную плату, несмотря на рост цен.

Проведенная в свое время лейбористским правительством национализация вполне устраивала капиталистов. Лейбористские министры рекламировали ее как величайшее социальное преобразование нашего времени, будто бы знаменовавшее мирный переход Англии от капитализма к социализму. На самом деле национализация коснулась тех отраслей экономики — прежде всего железных дорог, угольной промышленности, электроэнергетики, газовой промышленности, — которые, находясь в особенно запущенном состоянии, стояли на грани банкротства. Для их спасения требовались колоссальные капиталовложения. Государство пришло на помощь обанкротившимся владельцам, взяв на себя заботу о дальнейшей судьбе их предприятий и обязавшись выплатить им огромные компенсации, значительно превышавшие действительную стоимость национализированного имущества. Пока что национализация привела к усиленному сращиванию монополистического капитала с государственным аппаратом, обеспечила пожизненной рентой большую группу обанкротившихся богачей, но не изменила сущности капиталистической экономики Англии и не приблизила ее к решению назревших проблем.

Монополисты имеют многочисленных представителей и в парламенте, и непосредственно в правительстве. Правда, принимая министерский портфель, хозяин какой-нибудь фирмы формально складывает с себя директорские полномочия, но по существу он остается ее хозяином и по выходе из правительства снова берет на себя бразды правления ею. Так поступил и Гарольд Макмиллан, который, оставив пост премьер-министра, сразу же принялся осуществлять непосредственное руководство своей издательской фирмой «Макмиллан энд компани».

«...Кто же, в сущности, правит в Англии? — спрашивал еще Энгельс и отвечал: — Правит собственность». Так оно продолжается и по сей день.

Глубокий кризис, который переживает Англия, мало отразился на положении ее привилегированной верхушки. По-прежнему сверкают и манят глаз обывателя витрины лондонских магазинов, на аллее Роттен-роу в Гайд-парке галопируют на кровных рысаках молодые леди и джентльмены, толпа зевак собирается у геатрального подъезда в день премьеры — поглазеть на вечерние туалеты и драгоценности, газеты сообщают о причудах богатых коллекционеров, собирающих старинные реликвии или украшения из слоновой кости.

Кричащая роскошь бьет в глаза. «Таймс», систематически печатающая отчеты о великосветских аукционах, на которых продаются предметы роскоши, считает нужным отметить: «Цены без преувеличения могут быть названы беспрецедентными». Некий С. Дж. Филлипс платит за туалетный набор двенадцать тысяч фунтов стерлингов — больше тридцати тысяч рублей. На ежегодной выставке драгоценностей присуждается первый приз брошке, изготовленной по рисунку Р. Кинга; она отображает взрывы атомных бомб: атомные «грибы» из бриллиантов поднимаются над красной рубиновой землей.

В лондонской прессе появились даже сравнения с последними днями императорского Рима, когда роскошь и разложение патрицианской верхушки достигли своего апогея. На этом фоне разразилось «дело Профьюмо», военного министра, барона и члена Королевского совета, принадлежащего к сливкам лондонского аристократического общества. Блюстители нравов пытаются свести эту историю к частному случаю. Но значение «дела Профьюмо» выходит далеко за рамки частного случая.



Вот уже несколько лет, как в английской разговорной речи получило новое значение словечко «эстаблишмент». Прежде под ним подразумевалось всякого рода учреждение, заведение. Теперь его все больше употребляют в смысле «существующий порядок», «устои общества».

Что подразумевают под этим словечком? Прежде всего правящую верхушку и ее привилегии, закулисное влияние, которым пользуются богачи и аристократы вроде всемогущего маркиза Солсбери, чье слово приобретает порой решающий вес при назначении премьер-министра страны, или лорда Чандоса, занимающего десятки руководящих постов в правлениях крупнейших монополий Сити. «Эстаблишмент» — это сила традиций и всевозможных «правил игры», например, неписаный закон о том, что обучение в аристократическом учебном заведении открывает дорогу к блестящей карьере. Это запутанное законодательство, основанное на накопившихся за тысячелетие прецедентах, обросшее всевозможными архаизмами — париками, мантиями, мрачными залами лондонского Темпла. Это Флит-стрит — улица, где разместились редакции газет и весь аппарат воздействия на умы англичан. Это, наконец, церковная иерархия.

Краеугольный камень «существующего порядка» — монархия. Беспутный прожигатель жизни и игрок Фарук, экс-король Египта, как-то раз сострил, что скоро в мире останется только пять королей: короли червей, бубен, пик, трейф и король Англии.

Пресса любит повторять, что в Англии королева не правит, а только выполняет «общественные функции», то есть представляет. Это верно в том смысле, что английские монархи давно уже не вмешиваются в текущие государственные дела. Но мишуренный блеск королевского двора слепит глаза обывателю и поддерживает незыблемость «существующего порядка».

Именно неписанные законы, управляющие Англией, позволили в свое время лорду Бальфуру заявить, что, какая бы партия ни находилась у правительственного руля, власть всегда принадлежит консерваторам. А видный лейбористский деятель, бывший член правительства, жаловался мне, что чувствовал себя в своем министерстве аутсайдером, посторонним, и что практически все важные вопросы решались за его спиной кликой консервативных чиновников.

— Говоря между нами, — сказал он, расхрабрившись (разговор происходил за бутылкой французского вина), — вы, русские большевики, управились с этой камарильей куда лучше нашего.

Члены консервативного правительства — кучка «сильных мира сего», тесно связанных между собой деловыми интересами, личными знакомствами, родственными связями. Бывший премьер-министр Макмиллан, владелец крупной издательской фирмы, унаследовал огромное состояние отца, учился в Итонском колледже и в Оксфордском университете, служил в гвардии, наконец женился на дочери герцога Девонширского, породнившись с влиятельнейшим аристократическим семейством. В 1958 году консервативный журнал «Джон Буль» — отнюдь не желая причинить ущерб репутации Макмиллана, а просто в порядке констатации факта — подсчитал, что из восьмидесяти пяти членов правительства, не менее тридцати пяти находятся в родственных отношениях с Макмилланом, а из девятнадцати министров — членов кабинета в родственных отношениях с премьером состояли семь. После перетасовки Макмилланом кабинета число министров возросло до двадцати одного; из них родственниками премьера оказались девять.

Нынешний премьер-министр Дуглас-Хьюм был — до того, как сложил с себя аристократический титул, чтобы баллотироваться в палату общин — четырнадцатым графом из рода Хьюмов и обладал к тому же тремя наследственными титулами барона. Дуглас-Хьюм — один из богатейших землевладельцев Англии: его поместья, превращенные в акционерное общество, расположены в пяти графствах, его капитал превышает миллион фунтов стерлингов, в его родовом замке, увешанном портретами сановных предков, — более семидесяти комнат. Как и Макмиллан, он учился в Итонском колледже, а затем в Оксфордском университете. В статье по поводу выдвижения его кандидатуры в премьер-министры консервативная

«Дейли экспресс» воскликнула: «Аристократия умерла, да здравствует аристократия!»

Но в местные отделения консервативной партии, в ее ассоциации и клубы наряду с богачами, с аристократами входят и трудящиеся. Многие из них состоят в рядах консерваторов и голосуют за них на выборах в силу семейных или местных традиций; отойти от этих традиций — для них нелегкое дело. Лидеры «тори» в совершенстве владеют искусством демагогии; они умеют рядиться в тогу людей передовых взглядов, обещают вести Англию «вперед и вперед» («Мы идем вперед, и притом быстро», — заявил премьер-министр Дуглас-Хьюм в своей первой речи перед избирателями в округе Кинросс).

Златоусты консервативной партии обещают англичанам золотой век. Однако похоже на то, что англичане пресытились их обещаниями.

После смены главы консервативного правительства институт Гэллапа провел среди английских избирателей анкету на тему: «За кого бы вы голосовали, если бы завтра состоялись всеобщие выборы?» Сорок девять процентов опрошенных ответило: «За лейбористов» — и только тридцать восемь процентов: «За консерваторов». Отход избирателей от консервативной партии отразился и на всех частичных парламентских выборах последних лет.

Объективности ради требуется отметить, что политика лейбористов, копирующая во многих существенных вопросах политику консерваторов, не вызывает в широких кругах населения особого энтузиазма. Голосуя за лейбористов, многие избиратели лишь выражают протест против деятельности консервативного правительства. Теми же мотивами объясняется и неожиданное возрождение либеральной партии.

— Я буду голосовать за либералов исключительно в знак протеста против обеих главных политических партий, — сказал мне писатель Г., один из видных представителей английской интеллигенции.

Но и либеральная партия, игравшая в прошлом веке большую роль в жизни страны, а в последние десятилетия тихо угасавшая и почти исчезнувшая с политической авансцены, не имеет ни конструктивных лозунгов, ни ясной программы мира и народного благоденствия. Вряд ли ей суждено вернуть себе прежнее влияние.

Что-то меняется в самом воздухе Англии, в ее людях. Быть может, эти перемены не так заметны на старшем поколении, но молодежь просто не узнать. На моей памяти английская молодежь всегда отличалась добропорядочностью в обывательском смысле этого слова; она была удивительно безлика и покорно следовала по родительским стопам. Сегодня она вся в брожении. Даже для самых компетентных наблюдателей английской жизни она представляет уравнение со многими неизвестными.

Существование целой прослойки молодежи в возрасте от пятнадцати до двадцати лет англичане открыли сравнительно недавно. Открытие это, как ни странно, сделали раньше всего крупные торговые фирмы: они прикинули, что здесь есть чем поживиться. Рабочая молодежь, как правило, отдает теперь в семью лишь меньшую часть заработка; остаток идет на личные расходы. Школьники и студенты получают от родителей карманные деньги. Коммерсанты подсчитали, что подростки образуют рынок, располагающий ежегодно сотнями миллионов фунтов стерлингов. Вот и пошло: для подростков заводят специальные моды, выпускают специальную одежду, обувь, белье, сигареты, напитки, сладости, косметику для девушек, велосипеды и мотоциклы (ослепительно яркой раскраски) для парней, патефоны и пластинки, музыкальные инструменты, не говоря уже о кинофильмах, журналах и книгах. Сперва все это было преимущественно американского происхождения (американские торговые дома первыми обратили внимание на молодежный рынок), но английские фирмы вскоре поспешили наверстать упущенное.

Даже внешний вид юношей и девушек производит такое впечатление, точно

они хотят во что бы то ни стало отмежеваться от старшего поколения и подчеркнуть свою независимость. Респектабельное пальто заменит короткая грубошерстная куртка без талии с множеством карманов, пиджак и блузку — бесформенные, очень широкие свитеры. Он — в непреременных джинсах (мы живем в век джинсов!), в узконосых туфлях без шнуровки и обязательных пестрых носках. Длинные волосы лезут на глаза, их приходится беспрерывно откидывать назад. У нее волосы (нередко крашенные) висят в художественном беспорядке до самых плеч (шляпки больше не признаются). На лице чересчур много косметики, глаза сильно подведены. На ней тоже джинсы или пышная короткая юбка с множеством нейлоновых нижних юбок. Черные нейлоновые чулки (без шва), узконосые цветные туфли на гвоздиках. Через плечо перекинута сумка на длинном ремешке. И у обоих — какой-то скучающий и очень самостоятельный вид. Такие парочки вы встретите сегодня в Англии на каждом шагу.

В последние годы здесь просто поветрие ранних браков, особенно среди рабочей молодежи. Писатель Аллан Силлитоу, выросший в фабричной среде и не порвавший с ней связи, говорил мне, что браки между семнадцатилетними стали обычным явлением. С разрешения родителей женятся и раньше. Если девушка выходит замуж в двадцать два года, это уже считается поздним браком. В любом лондонском парке всегда встретишь парочку подростков — по нашим понятиям, школьного возраста. — катящих детскую коляску. Какой контраст с прошлым, когда полагалось жениться, лишь остепенившись и прочно встав на ноги!

Я спросил у одного паренька, зачем его сверстники так торопятся жить.

— А чего ждать, — услышал я ответ. — Пока сбросят бомбу?

Ранние браки ведут к многочисленным разводам. Молодые люди расходятся с такой же легкостью, с какой сходятся: разрыв происходит в результате пустяковой ссоры. Страдают прежде всего, конечно, дети.

Тут не обходится без американского влияния. Голливудские фильмы уродуют представление молодых людей о любви, браке и семье, о социальных отношениях и жизненных идеалах.

Волна преступности, захлестнувшая Англию, затягивает и молодежь. Появились молодежные шайки, враждующие между собой по классическим американским образцам; когда доходит до драки, пускаются в ход ножи, бритвы, топоры, велосипедные цепи.

Мне кажется, английская молодежь мечется в поисках чего-то стоящего, интересного. А ведь молодежь — будущее страны. Все растущая группа юношей и девушек приобщается к общественно-политической активности, включается в борьбу за мир, против ядерного оружия. Во время памятного кризиса в районе Карибского моря в учебных заведениях стихийно возникло движение в защиту Кубы. Молодежь Англии свободнее, чем отцы, от бремени прошлого, от груза традиций, и это, несомненно, скажется на ее скитаниях.

Впрочем, меняются и отцы. Они изверились во многом, что еще не так давно считали священным и неприкосновенным. На берегах Темзы появился дух недовольства, дух критики, злой сатиры.

Представьте себе театральные подмостки, на них — огромную кучу мусора: железный лом, искаленную мебель, какое-то тряпье. Над мусором развевается потрепанный британский флаг. Разбитый граммофон начала века издает хриплый скрежет. Бородатый мусорщик хватается за флаг, размахивает им с криком «ура!» и снова водружает на мусорную кучу... Так начинается сатирическое ревю «Вечер британского хлама» в театре Комеди на углу Лестер-сквера и Пентон-стрит, в центре Лондона. Представление, в основу которого положены приемы английской народной клоунады, издается над всем, на чем испокон веков зиждилось английское общество. Публика, которая еще недавно после такого спектакля разнесла бы театр в щепы, хохочет.

Представление в театре Комеди — не исключение. Сатирических спектаклей разных жанров в лондонских театрах хоть отбавляй. Я побывал на репетиции му-

зыкальной комедии «Пиквикский клуб»; даже в эту веселую оперетту по Диккенсу автор либретто Уолф Манковиц вставил острозлободневные сатирические куплеты.

В сегодняшней Англии расшатываются традиции, растаптываются условности. На театральных подмостках, отчасти даже на радио и по телевидению высмеивается все то, что подразумевается под словом «эстаблишмент». В Лондоне открыт сатирический клуб под этим наименованием, пользующийся немалым успехом. Недавно начал выходить и быстро достиг внушительного тиража сатирический журнал «Прайват ай» («Частный глаз») типа французского еженедельника «Канар аншенэ». По телевидению Британской радиовещательной корпорации передавалась нашумевшая сатирическая программа — я бы перевел ее название словами: «Ну и неделька была у нас!» В ней высмеивалось все и вся: законы и нравы, традиции и церковь, правительство и даже королевский дом.

Все это происходит стихийно. Правящие круги — и это характерно для английской буржуазии и ее умения маневрировать — смотрят сквозь пальцы. По-видимому, они полагают, что смех послужит своего рода отдушиной и даст выход накопившемуся недовольству. Быть может, их даже устроили бы настроения, сказавшиеся с такой силой в открытом письме «Моим соотечественникам» драматурга Джона Осборна. «Это письмо ненависти, — писал Осборн. — Ненависти к вам, мои соотечественники... Пожалуйста, можете умирать за Берлин, за демократию, за что угодно... Все, что я могу предложить вам, — это свою ненависть». Осборн впоследствии объяснял, что в «письме ненависти» имел в виду правителей Англии, но, как бы то ни было, оно поражает безнадежностью, безысходным отчаянием.

Откуда такие настроения? По-моему, они отражают моральный, идеологический кризис английского буржуазного общества, вызванный закатом могущества британского империализма и обостренными внешнеполитическими и внутривнутриполитическими провалами правящей верхушки.

Брожение не миновало церковных кругов. Церковники горячо обсуждают книгу Робинсона, епископа Вулвича, «Как перед богом». Он поведал, что не верит в бога как индивидуальную субстанцию; не верит в непорочное зачатие и многие другие догматы и предложил их пересмотреть. Вокруг книги разгорелась полемика: противники Робинсона называют ее еретической, однако он нашел и многих единомышленников.

Не осталась неприкосновенной и монархия.

Не так давно разразился громкий скандал. Гвардейцы и гренадеры, удостоенные чести охранять особ королевской крови и пользующиеся известными привилегиями, всегда кичились своим положением и крепко за него держались. Но вот целый взвод шотландской гвардии «забастовал»: вместо того, чтобы отправиться в караульное помещение Виндзорского дворца, солдаты разбрелись по Лондону, где их затем не без труда разыскали бросившиеся вдогонку офицеры. Этот из ряда вон выходящий случай обсуждался в парламенте, где было даже произнесено неприятное для уха парламентария словечко «мятеж». Военный министр доложил, что действия гвардейцев были направлены против жестких правил внутренней службы и против плохого питания.

Еще не так давно подобный инцидент был бы в английских условиях совершенно немыслим. Однако в сегодняшней Англии сплошь и рядом происходят вещи, которые были прежде немыслимы.

Не менее показательными были и бурные сцены, разыгравшиеся во время посещения Лондона греческой королевской четой. По призыву Бертрана Рассела, а также ряда прогрессивных организаций большая группа лондонцев потребовала освобождения греческих политзаключенных, которых продолжает гноить по тюрьмам реакционный режим, аминистрировавший военных преступников. Особенно бурной была демонстрация у Букингемского дворца во время парадного приема. Греческие гости отправились в театр на шекспировский спектакль в сопровождении королевы Елизаветы и ее супруга принца Филиппа: власти надеялись, что

присутствие королевы Англии удержит лондонцев от выражения негодования по адресу гостей. Не тут-то было. Демонстранты, собравшиеся у подъезда театра, освистали королевский кортеж.

Репортер «Дейли экспресс» сообщал с места происшествия: «Весь раскрасневшийся и дрожащий, министр внутренних дел мистер Брук сказал нам: «Сегодня вечером освистали королеву Англии, и я в бешенстве. Я никогда не думал, что нечто подобное может случиться в Британии, и я даже не знаю, когда в последний раз в нашей стране правящему монарху был оказан такой прием. Любое правительство может ожидать направленных против него демонстраций, но в Британии толпа всегда только приветствовала королеву и королевскую семью».

В литературе нередко высказывается утверждение, что консерватизм органически присущ английскому национальному характеру. Так ли это? Как-никак Англия первой осуществила в XVII веке буржуазно-демократическую революцию. Английские рабочие впервые в истории выступили как организованная и боевая пролетарская сила. Нет никаких оснований считать англичан закоренелыми консерваторами.

Все, что происходит сейчас в Англии, говорит скорее о другом: о поисках британским народом новых путей. И недаром в политических салонах Лондона сейчас можно услышать даже из уст весьма консервативных деятелей sacramентальную фразу: «Мы все теперь социалисты».

Крепнут, хоть и медленно, ряды Коммунистической партии Великобритании. Я еще помню дискуссии на тему: не целесообразнее ли коммунистам распустить свою партию и включиться в индивидуальном порядке в лейбористское движение; вряд ли кому-нибудь из английских коммунистов придет сегодня в голову такая идея.

Большой и влиятельной силой стало в Англии движение за мир. В стране, где вовсе не были в чести демонстрации, происходят массовые «марши мира» — люди шествуют по дорогам со знаменами и плакатами, проводя в пути митинги, распространяя литературу, собирая средства в фонды мира. Уже привились ежегодные восьмидесятикилометровые марши сторонников ядерного разоружения из Олдермасгона в Лондон (в Олдермастоне находится исследовательская база по разработке новых образцов ядерного оружия). Заключительные митинги участников этих походов собирают в Лондоне в последние годы стотысячные толпы. Борцы против ядерной войны устраивали «сидячие забастовки» на людных лондонских улицах, бросая вызов силам полиции, законам и самой миссис Грэнди. В «сидячих забастовках» принимали участие знаменитые писатели, артисты, художники — словом, лучшие представители интеллигенции во главе со старым лордом Бертраном Расселом.

В стране, где всякому движению, не освященному ореолом традиций, приходится утверждать себя с неимоверными трудностями, успехи сторонников мира поистине знаменательны.

Англия стоит сейчас на историческом перевале. Куда она двинется?

Не прав, конечно, американец Ачесон, бывший государственный секретарь США, который хоронит ее как великую державу. Она обладает мощным промышленным потенциалом, многовековым опытом в мореплавании и в организации мировой торговли, многосторонними связями со всеми континентами, наконец, самым ценным своим достоянием — талантливым и трудолюбивым народом.

Но найти решение возникших перед нею проблем Англия сможет только на новых путях, идя в ногу с временем.

Во всяком случае я уверен твердо, что в предстоящее десятилетие в Англии произойдут новые перемены и они будут значительнее и глубже, чем те, свидетелем которых я был в минувшие тридцать лет.



---

---

# П Л Ю С Х И М И З А Ц И Я

Б. ЯКОВЛЕВ

★

## ПЛЮС ХИМИЗАЦИЯ...

*В. И. Ленин и химия*

В современных условиях жизнь, научно-технический прогресс дают право ленинскую формулу коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны дополнить положением о химизации всего народного хозяйства. Теперь мы с полным основанием можем сказать: коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства.

*Из постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС.*

**П**ри жизни Ленина по уровню развития химической промышленности наша страна занимала одно из самых последних мест среди индустриальных держав мира. Но в исканиях химиков тех лет Владимир Ильич видел грядущие народнохозяйственные перспективы.

С конца прошлого столетия и до начала двадцатых годов нашего века следил он за каждым новым словом не только в общественных, но и в естественных — особенно физико-химических — науках. Став Председателем Совета Народных Комиссаров, первым поддерживал он ученых-экспериментаторов. Уже в то время прокладывали они путь к Большой химии наших дней. Владимир Ильич направлял прогрессивные начинания отечественной химической индустрии. Огромное значение придавал он химизации сельского хозяйства.

Еще в 1920 году Ленин призывал «...двинуть химическую промышленность». Двумя же годами ранее он разъяснял, что разработка гигантских запасов «сырья для химической промышленности... даст основу невиданного прогресса производительных сил».

### ХИМИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Научные открытия химиков способствуют не только прогрессу техники, но и развитию философии. Уже в первом разделе второй главы «Материализма и эмпириокритицизма», противопоставляя теорию познания диалектического материализма идеалистическим воззрениям эмпириокритиков, Ленин опирается на известные положения труда Энгельса о философии Людвиг Фейербаха. Положения эти Владимир Ильич приводит в собственном переводе.

«Самое решительное опровержение... философских вывертов» идеалистов он — вслед за Энгельсом — видит в практике, эксперименте, индустрии

Он напоминает, что химические вещества, производимые в телах животных и растений, оставались якобы неуловимыми или непостижимыми, пресловутыми «вещами-в-себе», «пока органическая химия не стала готовить их одно за другим». Тем са-

мым «вещь-в-себе» превратилась в «вещь для нас». Так произошло, к примеру, с красящим веществом марены — ализарином, который химики получили «не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя».

Ученые преследуют сугубо практические цели снабжения текстильной промышленности дешевым и надежным красителем. Энгельс и Ленин видят в их открытии большой философский смысл.

Ленин исчерпывающе разъясняет философское значение открытия немецких химиков. Из того, что вчера мы не знали о существовании ализарина в каменноугольном дегте, а сегодня узнали это, следует, что вещи существуют независимо от нашего сознания и ощущения, вне нас. Различие между явлением и «вещью-в-себе» есть различие просто между тем, что познано, и тем, что еще не познано.

Ленин учит рассуждать диалектически, «не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание» и неполное, неточное знание становится более полным и более точным.

В заключение Ленин формулирует еще один вывод, полностью опирающийся на достижения химии. Он материалистически обобщает их:

«Раз вы встали на точку зрения развития человеческого познания из незнания, вы увидите, что миллионы примеров, таких же простых, как открытие ализарина в каменноугольном дегте, миллионы наблюдений не только из истории науки и техники, но из повседневной жизни всех и каждого показывают человеку превращение «вещей в себе» в «вещи для нас»...»

Развитие человеческого познания из незнания — одна из центральных философских проблем, особенно занимающих Ленина-мыслителя.

Химия действительно помогает ему в борьбе против «эмпириокритических» атак на диалектический материализм или неокантианских рассуждений о мнимой «непознаваемости» мира.

Критикуя неокантианцев, Ленин ссылается на опубликованную в самом начале XX века статью Поля Лафарга «Материализм Маркса и идеализм Канта».

Владимир Ильич переводит с французского отрывок из этой статьи, отмечающей, что современные химики проникли внутрь тел, анализировали их, разложили на элементы, а потом призвели обратную процедуру, то есть синтез, составили тела из их элементов. «Бог христиан,— приводит Ленин остроумное замечание Лафарга,— если бы он существовал и если бы он создал мир, не сделал бы ничего большего».

Химия, как мы видим, снова становится верной союзницей материалистической философии.

Ленин внимательно изучает труды химиков. Мы находим у него ссылки на английского химика Роберта Бойля (1627—1691) и великого французского ученого XVIII столетия Антуана Лорана Лавуазье (1743—1794). Высоко оценивает Владимир Ильич смелые научные эксперименты плеяды западноевропейских физиков конца XIX — начала XX веков, будь то основоположник спектрального анализа Густав Роберт Кирхгоф (1824—1887), или автор «Системы химии», «Газов атмосферы» и «Современной химии» Уильям Рамсэй (1852—1916).

Воздаст должное Ленин и трудам одного из основателей фотохимии и первооткрывателя радиоактивности — Антуана Анри Беккереля (1852—1908); голландских физико-химиков Гендрика Антона Лоренца (1853—1928), создавшего электронную теорию вещества, и Питера Зеемана (1865—1943), открывшего в 1896 году так называемый «эффект Зеемана» — расщепление спектральных линий под воздействием внешнего магнитного поля.

На страницах «Материализма и эмпириокритицизма» Ленин резко критикует путаные идеалистические философские взгляды Вильгельма Фридриха Оствальда (1853—1932), отрывающего энергию от ее носителя — материи. Более десяти раз ссылается Владимир Ильич на работы Оствальда как «очень крупного химика и очень путаного философа».

Уже в те годы Ленин приходит к выводу о неразрывной связи явлений электричества и химизма. «С каждым днем становится вероятнее,— пишет он в главе, посвященной новейшей революции в естествознании,— что химическое сродство сводится к элек-

трическим процессам. Неразрушимые и неразложимые элементы химии, число которых продолжает все возрастать точно в насмешку над единством мира, оказываются разрушаемыми и разложимыми. Элемент радий удалось превратить в элемент гелий».

Ленин снова философски обобщает выводы из новейших для того времени трудов крупнейших химиков и физиков. Ведь Э. Резерфорд и Ф. Содди еще в 1903 году объясняют явления радиоактивности самопроизвольным превращением одних элементов в другие. В том же году У. Рамсэй и Ф. Содди обнаруживают гелий среди продуктов радиоактивного распада радона, а затем — радия и других радиоактивных элементов, излучающих так называемые альфа-лучи, оказавшиеся, как устанавливает в 1909 году Э. Резерфорд и Т. Ройдс, ядрами атомов гелия.

Ленин — первый мыслитель-материалист, опирающийся в XX веке на последнее слово естественных наук, а среди них прежде всего — химии.

Но особенно интересны ленинские отзывы о новейшей для того времени физико-химической литературе.

Видимо, работая уже в библиотеке Британского музея, Владимир Ильич вносит в рукопись «Материализма и эмпириокритицизма» ссылки на вышедшую в 1908 году книгу Августа Риги «О строении материи» и основанное на «Отчетах заседаний Академии наук» Франции сообщение о том, что — как сказано в главе «Новейшая революция в естествознании» — «всего три месяца тому назад (22-го июня 1908 г.) Жан Беккерель (1878—1953; сын уже упоминавшегося выше академика А. Беккереля.— Б. Я.) доложил французской академии наук, что ему удалось найти... «новую составную часть материи» — электрон с положительным зарядом.

Именно эта ссылка позволяет точнее датировать момент окончания работы над рукописью — 22 сентября.

Ленин-читатель, подобно Марксу, безошибочно обнаруживает «в курганах книг» самые смелые для своего времени проявления прогрессивной научной мысли и поддерживает их в своих трудах.

Одним из таких научных авторитетов становится для Ленина — по его отзыву — «всемирно знаменитый английский химик» Уильям Рамсэй. Его изданным лишь в 1908 году «Очеркам биографическим и химическим» Владимир Ильич посвящает обширное подстрочное примечание. Снова опираясь в борьбе за материалистическое мировоззрение на открытия химии, Ленин ссылается на классические исследования Рамсэя «о превращении радия в гелий».

Открытие электронов, как известно, происходит на стыке двух естественных наук — химии и физики. Ленин цитирует в своем переводе высказывания Рамсэя о электронах как «атомах электричества», их соотношениях с массой атома водорода и направляет их против махистов. Он анализирует научные достижения химиков, которым «удается открыть новые формы материи, новые формы материального движения, свести старые формы к этим новым и т. д.». Открытия химии снова ставятся на идейное вооружение материалистической философии.

С особым удовлетворением Ленин отмечает, что наиболее крупные «специалисты по «физической химии» становятся на гносеологическую точку зрения, противоположную махизму», оставаясь естественнонаучными материалистами.

Ленин подводит философский итог достижениям физиков и химиков начала века. Он предсказывает, что ум человеческий, открывший уже так много диковинного в природе, «откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней».

Открытия химии вооружают Ленина новыми и новыми аргументами в защиту материализма. Об этом свидетельствуют непосредственно примыкающие к «Материализму и эмпириокритицизму» замечания Владимира Ильича на книгу «Современная философия» Абеля Рея.

Значительная часть ленинских пометок связана с ошибочными философскими взглядами химика Оствальда. Выделяет Ленин и высказывания Рея о применении оствальдовской «энергетики» в трудах таких «химиков, как Вант Гофф, Ван дер-Ваальс и Нернст». Эту ссылку он подчеркивает в тексте и отчеркивает на полях двумя чертами.



Философским взглядам химиков, ощутимо сказывающимся в их научной работе, Ленин придает немаловажное значение.

Весной 1913 года, пять лет спустя после выхода «Материализма и эмпириокритицизма», он — в статье «Три источника и три составных части марксизма» — пишет, что новейшие открытия естествознания и, в частности, химии, изучающей радиоактивность, электроны и превращение элементов, замечательно подтверждают диалектический материализм.

Десятки раз характеризует Ленин открытия химиков на страницах своего философского труда. Химия выступает здесь в одном идейном строю с материалистической диалектикой.

Именно на химию опирается Ленин, доказывая познаваемость мира, утверждая решающую роль критерия практики в теории познания, критикуя философских идеалистов.

Вместе с физикой химия помогает Ленину в его анализе философских последствий новейшей революции в естествознании и критике всех проявлений идеализма в его тогдашних английской, американской, немецкой, французской и русской формах.

К первой половине 1909 года относятся ленинские библиографические заметки о новых поступлениях в библиотеку Сорбоннского университета:

«Сорбонна. Новые книги:

Рихард Лукас. Библиография радиоактивных веществ. Гамбург и Лейпциг...

Дж. Дж. Томсон. Атомная теория материи. Брауншвейг. 1908..

Из новых книг (1909):

Л. Больцман. Венские научные трактаты. Лейпциг. (Барт)».

В том же году в конспекте «Лекций о сущности религии» Людвига Фейербаха Ленин отмечает, что Фейербах «против Либиха за фразы о «бесконечной (бога) мудрости»...»

Философ-материалист подразумевает здесь рассуждение Либиха о химизме питания и его зависимости от климата. Ученый заявляет, что «бесконечная премудрость устроила так, что... пища весьма неодинакова по количеству содержащегося в ней углерода».

Фейербах критикует Либиха за подмену естественнонаучного объяснения различных явлений природы «божественным откровением».

Ленин живо откликается на эту материалистическую критику идейной непоследовательности великого химика.

С химией встречаемся мы и в ленинском конспекте переписки между Марксом и Энгельсом, составленном в 1913 году. Владимир Ильич отмечает в письмах те места, где Энгельс и Маркс обмениваются впечатлениями от книги Августа Гофмана «Введение в современную химию»<sup>1</sup>.

Ленинский конспект «Науки логики» Гегеля относится к сентябрю — декабрю 1914 года. И здесь особо выделены ссылки Гегеля на «химические элементы», а равно и принадлежавшее философу, как пишет Ленин, большое «примечание о химии с полемикой против Berzelius и его теории электрохимии»<sup>2</sup>.

Владимир Ильич неизменно выступает в идейном союзе с химиками, если их атакуют философы-идеалисты.

Важнейшие для материалистической диалектики выводы формулирует Ленин и в связи с конспектируемыми им дальнейшими рассуждениями Гегеля о химизме и химических законах природы. В них Ленин видит одну из основ «целесолагающей деятель-

<sup>1</sup> Ленин так конспектирует эти отрывки: «Новейшая химическая теория. Молекула рациональнее атома. Старое воззрение о неделимости атома (1867)». На другой странице той же тетради Владимир Ильич выписывает немецкий текст письма Энгельса и кратко излагает написанный вскоре ответ Маркса: «Маркс отвечает Энгельсу 22.VI.1867... что-де «относительно Гофмана ты совершенно прав»...»

<sup>2</sup> Шведский химик Иенс Якоб Берцелиус (1779—1848) в 1812—1819 годах развивает электрохимическую теорию, положенную им в основу классификации известных тогда науке элементов. Гегель с высокомерным презрением идеалиста к материалистическим открытиям считает, что теория Берцелиуса — «это лишенная всякого обоснования метафизика». Он заявляет, что ученые, устанавливающие взаимосвязь явлений

ности человека». Он отмечает, что химическая техника потому и «служит целям человека», что она целиком определяется законами природы.

Химическую природу и химическую технику Ленин относит к важнейшим объектам познания и целесообразной человеческой деятельности.

В декабре того же 1914 года он пишет о «Трактате по физической химии» французского ученого Жана-Батиста Перрена (1870—1942): «Отметить Ж. Перрен: «Трактат по физической химии. Принципы» (300 стр.) Париж, 1903. Рецензия А. Беляева в «Философском обозрении», 1904, 1, под заглавием: «Философские принципы физической химии».

Отмечает Ленин и другую книгу того же автора — «Атомы». Перрен в 1913 году пишет, что «в невообразимо малом атомном ядре предугадать существование чрезвычайно сложной системы». Эту точку зрения пятью годами раньше отстаивает со своих философских позиций и автор «Материализма и эмпириокритицизма».

Энгельс провозглашает еще в «Анти-Дюринге», что жизнь — это «способ существования белковых тел», постоянное самообновление их химических составных частей. В свою очередь и Ленин интересуется работами, связанными с химизмом живого существа.

В 1915 году он пишет о книге «Биогенная гипотеза» немецкого физиолога Макса Ферворна (1863—1921):

«Автор развивает специальную тему о «живой субстанции» и о химическом обмене веществ в ней. Специальная тема. Есть указатель литературы по данному вопросу... Вместо «живой белок» (стр. 25) — неясное-де понятие, вместо «живая белковая молекула» («так как молекула не может быть живой») автор предлагает говорить о «биогеомолекуле».

Ферворн тщетно пытается ревизовать Энгельса. Ленин делает из нападок автора на диалектический материализм следующий вывод, переключаясь с основными положениями «Материализма и эмпириокритицизма»:

«Превращение химического в жизненное — вот, видимо, в чем суть. Чтобы свободнее двигаться в этом новом, еще темном, гипотетическом, долой «материализм», долой «связывающие» старые идеи («молекула»), назовем по-новому (биогеом), чтобы вольнее искать новых знаний! Н. В. К. вопросу об источниках и живых побудительных мотивах современного «идеализма» в физике и естествознании вообще».

Ленин предвидит великие современные открытия органической химии, находящейся ныне на подступах к синтезу все более и более сложных форм живого белка.

Несколько забегая вперед, напомним, что Владимир Ильич поддерживает начинания и биохимиков, в частности известного исследователя процессов химизма дыхания и брожения академика С. П. Костычева (1877—1931) — сына выдающегося русского ученого, одного из основоположников современного почвоведения.

Весной 1920 года Горький передает Ленину письмо С. П. Костычева о выделении его лаборатории материалов, необходимых для экспериментов, связанных с изучением механизма построения живого белка. 22 апреля — в день своего пятидесятилетия — Владимир Ильич пишет тогдашним руководителям Петроградского Совета:

«Товарищи! Очень прошу Вас во всех тех случаях, когда т. Горький будет обращаться к Вам по подобным вопросам, оказывать ему всяческое содействие, если же будут препятствия, помехи или возражения того или иного рода, не отказывать сообщить мне, в чем они состоят».

---

электричества и химизма. «обманываются в своей надежде на то, что, исходя из этого якобы более глубокого принципа, им удастся выяснить себе главное...» По мнению Гегеля, те, кто сопоставляет «электрические явления с явлениями химизма», лишь «запутываются» и «не дают никакого ключа» для понимания явлений природы. В данном случае даже величайший философ-идеалист проявляет крайнюю ограниченность своего научного мировоззрения. Идеализм мешает ему философски истолковать новейшие научные открытия. С Гегелем в начале XIX века происходит примерно то же, что с другими философами-идеалистами начала нашего столетия, когда они оказываются бессильными понять смысл современных завоеваний физики и химии.

Немало препятствий, возникающих на научном пути советских химиков, устраняет именно Ленин.

Обращается он к химии и в самом начале знаменитого фрагмента «К вопросу о диалектике». Характеризуя как суть диалектики раздвоение единого и познание противоречивых частей его, Владимир Ильич видит в этом «закон познания (и закон объективного мира)».

В физике это наглядно демонстрирует «положительное и отрицательное электричество». В химии — «соединение и диссоциация атомов».

## ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН

После победы Октябрьской революции Ленин ждет от советских химиков прежде всего действенной помощи социалистической промышленности, раскрытия богатств недр страны и разработки путей их скорейшего использования в интересах народа.

С января 1918 года А. В. Луначарский, по поручению Владимира Ильича, ведет переговоры с Академией наук. 12 апреля Совет Народных Комиссаров под председательством Ленина, принимая предложение Академии наук об оказании ею «ученых услуг Советской власти по исследованию естественных богатств страны», признает необходимость финансирования соответствующих научных работ.

Позднее — 10 июня того же года — Ленин сообщает Народному комиссариату просвещения, что Совет Народных Комиссаров 31 мая отпустил Академии наук 350 000 рублей.

Напомним, что 30 мая 1918 года — накануне решения Совнаркома — в Москве в связи с опасностью контрреволюционного мятежа объявляется военное положение.

В ночь на 31 мая чекисты Дзержинского раскрывают в столице контрреволюционный заговор «Союза защиты родины и свободы». В первые дни июня белочи захватывают Владивосток, Омск и Самару, где 8 июня создается контрреволюционный «Комитет Учредительного собрания». Контрреволюция наступает. Однако не сомневаясь в ее разгроме, Ленин в эти дни подтверждает предоставление сотен тысяч рублей на «неотложные работы» советских ученых.

Большая роль в их проведении принадлежит именно химикам. Ведь в известном «Наброске плана научно-технических работ», написанном в конце апреля 1918 года, Ленин считает основной задачей Академии наук «систематическое изучение и обследование естественных производительных сил».

Владимир Ильич предписывает «ускорить издание этих материалов из всех сил, послать об этом бумажку в Комиссариат народного просвещения, и в союз типографских рабочих, и в Комиссариат труда».

Ленин имеет в виду материалы «Комиссии по изучению естественных производительных сил России» (КЕПС), в которую входят наиболее выдающиеся ученые-химики.

За 1918 — 1920 годы КЕПС издает четверо больше работ, чем за предшествующее трехлетие. Многоотомный сборник «Естественные производительные силы России», в котором публикуются работы таких крупнейших представителей русской химической науки, как А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин и другие, выходит в годы гражданской войны прежде всего в результате ленинской поддержки.

Тридцать первого января 1918 года Совет Народных Комиссаров издает декрет о конфискации Первого русского завода рентгеновских трубок. Его владелец прекратил производство продукции, насущно необходимой для научных изысканий.

Ленинский декрет кладет конец этому явному саботажу. Советские рентгеновские трубки вскоре начинают поступать в научные лаборатории.

Полгода спустя — 30 июля — Совет Народных Комиссаров ассигнует крупную сумму на организацию опытного завода по извлечению радия из отечественной руды. Советские химики-радиологи получают драгоценнейшее сырье.

Еще три месяца спустя — 28 октября 1918 года — Ленин телеграфирует Уральскому Совету народного хозяйства:

«Предписываю Березниковскому заводу немедленно начать работы по организации радиевого завода, согласно постановлению Высшего Совета Народного Хозяйства. Необходимые средства отпущены Совнаркомом. Работа должна вестись под управлением и ответственностью инженера химика Богоявленского, которому предлагаю оказать полное содействие».

Названный в ленинской телеграмме инженер-химик Богоявленский — известный советский радиолог. В 1919 году созданное при Научно-техническом отделе ВСНХ Научное химико-техническое издательство выпускает основанную на собственных опытах автора и немецких, французских, английских источниках монографию Л. Н. Богоявленского «Светящиеся составы постоянного действия».

Ученый уже рассматривает в ней пьезоэлектрические свойства кристаллов, получившие такое большое значение в современной технике.

Важные работы по радиологии Л. Н. Богоявленский издает и в 1928—1939 годах. Самые ответственные ленинские поручения неизменно выполняют наиболее одаренные советские химики.

Историк советской химии А. Ф. Богоявленский отмечает в 1948 году в книге «Успехи советской химии», что «вопросы развития химии советского периода... разрешаются уже по указаниям великого Ленина». В ленинском «Наброске» он видит «то основное, что характеризует новый период развития химической науки», называет его «основным указателем для работы ученых на многие последующие годы».

А. Ф. Богоявленский перечисляет научно-исследовательские химические институты, возникшие за 1918—1920 годы при непосредственной поддержке Владимира Ильича, а порой и по его личной инициативе.

Из организованной А. Н. Бахом и Л. Я. Карповым еще в 1918 году Центральной лаборатории Химического отдела ВСНХ вырастает большой Физико-химический институт имени Л. Я. Карпова.

В том же году создается новый Институт общей и неорганической химии, который возглавляет академик Н. С. Курнаков.

Вслед за ним открывается Институт платины и других благородных металлов во главе с профессором Л. А. Чугаевым.

В начале двадцатых годов, при активном содействии Ленина, один за другим создаются институты органической химии, прикладной химии, биохимии и другие.

Организацией Радиевого института во главе с академиком В. И. Вернадским Ленин создает условия для успешной научной деятельности советских химиков на одном из генеральных направлений их науки.

В результате ленинской государственной политики всемерной поддержки химической науки творческая работа ученых, организованная и направленная Лениным, уже в середине двадцатых годов приводит, по подсчетам А. Ф. Богоявленского, к значительному росту исследований советских химиков по сравнению с довоенным периодом.

Историк советской химии пишет, что научно-организационные основы современных достижений нашей химической науки заложены Лениным.

К тем же выводам приходит и Герой Социалистического Труда Ф. Н. Петров, в те годы руководитель «Главнауки» — органа, напоминающего современный Государственный комитет по координации научно-исследовательских работ СССР.

Он рассказывает, что еще в годы гражданской войны, по указанию Ленина, организуется «сеть заводских химических лабораторий», и называет таких выдающихся химиков, как А. Н. Бах, И. А. Каблуков, Н. Д. Зелинский и его школа, А. Е. Чичибабин и плеяда его учеников.

Все они — по воспоминаниям Ф. Н. Петрова — «осуществляли те большие работы, которые Владимир Ильич ставил перед химией».

Мы видели, как пристально изучал Ленин в революционные годы труды русских и зарубежных химиков. Не изменяет он этому правилу и после Октября. Как глава Советского правительства, он заботится о систематическом и регулярном поступлении в нашу страну новейшей иностранной научно-технической литературы по всем отраслям современного знания.

Именно химия стоит на первом месте в перечне особенно необходимых зарубежных технических и научных изданий в ленинском письме, адресованном 30 сентября 1921 года «Коминполиту». Так называлась «Комиссия по приобретению и распределению иностранной литературы», созданная тогда при Совете Народных Комиссаров.

О значении, которое придает Ленин химии, наглядно свидетельствует и еще один документ его государственной деятельности. 4 марта того же 1921 года Владимир Ильич подписывает постановление Совета Народных Комиссаров, учреждающее «научный минимум, обязательный для преподавания во всех высших школах РСФСР».

Постановлением предусматривается обязательное преподавание химии («1 триместр по 2 часа») во всех вузах, в которых химия не изучается как предмет специального образования.

Судя по этому документу, Ленин считает известный минимум знаний по химии обязательным для каждого советского специалиста вне всякой зависимости от его профессиональной принадлежности.

К сентябрю или октябрю 1921 года относится ленинская запись беседы с Горьким об издании трудов ученых Петрограда. Законченные за годы первой мировой и гражданской войн, они достигают по общему объему почти тридцати тысяч печатных листов.

В своей записи Владимир Ильич выделяет сообщение Горького о работах В. Е. Грум-Гржимайло (1864—1928) и академика В. И. Вернадского (1863—1945) по тепло- и геохимии:

«(Горький)

29.000 листов печатных

Научные работы во время войны:

1. Грум-Гржимайло, топливник
2. Топливо разложение водой
3. Вернадский, строение земной коры».

В. Е. Грум-Гржимайло первым применяет законы физической химии к металлургии. В. И. Вернадский, экономические труды отца которого, И. В. Вернадского, Ленин изучает еще в конце прошлого столетия,— один из основоположников гео- и биогеохимии.

Быть может, непосредственным результатом этой ленинской записи становится издание в 1922 году двухтомника «Очерков и речей» В. И. Вернадского, а в 1923-м — первого выпуска его «Истории минералов земной коры», о которой, видимо, и рассказывает Ленину Горький.

В конце января 1920 года мысль Ленина снова обращается к идеям химизации народного хозяйства — на этот раз в связи со статьями Г. М. Кржижановского об электрификации. С ними Владимир Ильич знакомится еще в рукописи. Г. М. Кржижановский пишет:

«...За химической молекулой и атомом — первоосновами старой химии — все яснее вырисовываются ион и электрон — основные субстанции электричества; открываются ослепительные перспективы в сторону радиоактивных веществ. Химия становится отделом общего учения об электричестве. Электротехника подводит нас к внутреннему запасу энергии в атомах. Занимается заря совершенно новой цивилизации».

Прочитав рукопись статьи Г. М. Кржижановского, Ленин пишет ему 23 января 1920 года:

«Статью получил и прочел.

Великолепно.

Нужен ряд таких. Тогда пустим брошюрой. У нас нехватает как раз спецов с размахом или «с загадом»

«С загадом» — умением видеть будущее — Владимир Ильич призывает «наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной в основе) перспективой...» Именно такими перспективами, способными, по ленинскому выражению, «централизовать энергию всей страны...», и вооружает ныне партия советских людей, объявив создание химической индустрии ударным фронтом коммунистического строительства.

Проблемы химизации Ленин рассматривает неотрывно от плана электрификации

страны. В конце 1920 года в заметках «О политехническом образовании» Владимир Ильич подчеркивает, что выпускник советской средней школы должен иметь широкий, подлинно «политехнический кругозор» и владеть «основами (начатками) политехнического образования». Сюда Ленин относит «основные понятия» по широкому кругу технических проблем. Одной из этих проблем Ленин считает применение электричества к химической промышленности.

### НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Подлинно научная теория связана с практикой. Ею она проверяется. Ей в конечном счете служит.

В отношении Ленина к исследованиям и опытам советских химиков проявляется его отношение к изобретателям во всех областях современной техники.

— Изобретатели — народ особый, — говорит Владимир Ильич, — у них есть свои странности, часто мы их не понимаем. Надо терпеливо их выслушивать... Нужно сделать так, чтобы он (изобретатель) не обвинил нас в том, что мы ему помешали в чем-нибудь...

О том же пишет в статье «В. И. Ленин об изобретательстве» и В. Д. Бонч-Бруевич:

«Совнарком еще в Петрограде, в первые месяцы революции, был завален предложениями различных новых проектов, новых изобретений и всяких приспособлений. Докладывая обо всех этих заявках Владимиру Ильичу, я получал от него неизменные распоряжения относиться ко всем этим предложениям самым внимательным образом...

Владимир Ильич лично принимал участие в обсуждении целого ряда больших изобретений, которые, по моему мнению, делали эпоху в различных научно-прикладных дисциплинах...

Его интересовало решительно все: и электрические лампы, и тормоза паровозов, и искусственные подметки, и шоколад, и сливки из подсолнухов, и радиоустановки, и жидкий торф, и приспособления в котлах для экономии топлива... Владимир Ильич прекрасно знал, что многое придется отсеять, отбросить, как фантазерство и прожектерство, но он всегда стремился поддержать все новое, зная, что действительно нужное и здоровое восторжествует, войдет в обиход жизни...

Мы знаем, какие мытарства испытывают на своем торном пути многие и многие изобретатели, которые должны нередко преодолевать холод равнодушия, пробивать стены бюрократизма. Изумительная чуткость Владимира Ильича к этому в высшей степени важному вопросу должна служить деятелям нашей промышленности и ее руководящим органам примером того, как надо относиться к делу изобретательства.

В таком духе Ленин воспитывает и своих ближайших соратников. Один из них — химик коммунист Л. Я. Карпов (1879—1921) — как вспоминает академик А. Н. Бах, «особенно бережно относился к изобретателям».

«Тем из нас, — пишет ученый, — которые с предвзятым скептицизмом относились к нахлынувшей волне изобретений, он говорил:

— Дайте человеку выявить себя. С государственной точки зрения лучше выбросить известную сумму на десятки нестоящих изобретений, чем рисковать потерять одно ценное».

Ленинский пример государственной поддержки научных открытий и технических изобретений особенно важен в наше время бурного расцвета науки и техники. Сейчас во всех областях химии не проходит ни одного дня без каких-либо новых интереснейших открытий. Ныне она проникает решительно во все отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Первым о ленинском отношении к научным экспериментам советских химиков, столь поучительном для всех наших партийных, советских и хозяйственных руководителей, рассказал в своем известном очерке А. М. Горький:

«Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому-химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим,— кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да,— карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть счастливую радость спасителя человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?»

Воспоминания Горького уточняет его письмо Ленину, полученное в начале марта 1920 года.

Видно, напоминая о предварительных беседах с Владимиром Ильичем, Алексей Максимович пишет:

«Еще прошу Вас: позвоните Феликсу Дзержинскому и скажите ему, чтобы он скорее выпустил химика Сапожникова. Сей последний нашел способ добывать из газовой смолы — ею смазывают трамвайные пути на закруглениях и стрелках — гомоэмульсию, продукт столь же сильного антисептического значения, как карбол. Из пуда смолы можно добыть до 50 ведер однопроцентного раствора. Нам этот продукт совершенно необходим... Продуктом Сапожникова можно поливать целые улицы. Производство его не сложно...»

Читая это письмо, Ленин подчеркивает двумя чертами упоминание «химика Сапожникова».

А. В. Сапожников (1868 — 1935) действительно был «генералом» — профессором Михайловской артиллерийской академии. Крупнейший специалист по химии взрывчатых веществ, он влозь до середины тридцатых годов успешно готовил кадры советских химиков.

Сразу после Октябрьской революции химическая индустрия страны и накопленные за годы первой мировой войны запасы ее продукции становятся социалистической собственностью — общенародным достоянием.

Главе Советского правительства нередко приходится самому контролировать использование наличных более чем скромных химических ресурсов.

Вскоре после переезда правительства из Петрограда в Москву Ленин во время одного из кремлевских приемов делает такую запись:

«Оч а к о в о (поселок) за Драгомиловской заставой (склад жидкого хлора, фенола и т. д.)... Около 30 000 пудов баллонов жидкого хлора ((стальные цилиндры)).

Найти того, кто бы толкнул дело (по использованию этих веществ).

Опасность для Москвы.

Химический отдел Бюро Народно-промышленного комитета. Выбрали комиссию.

[Чтобы использовали фабрики текстильные и др.]

Карпов должен поговорить как преподаватель-химик.

Александр Павлович Шахно.

Инженер-химик Викторов».

Владимир Ильич называет имена химиков, которые должны найти применение десяткам тысяч пудов жидкого хлора.

Первым Ленин упоминает старого большевика Л. Я. Карпова. Революционную деятельность ему, несмотря на аресты и ссылки, удавалось сочетать с научными исследованиями. Ученик профессора Л. А. Чугаева и ближайший сотрудник профессора С. П. Лангового, а в последующие годы Б. И. Збарского и А. Н. Баха, химик-большевик еще в 1910 году защищает диплом, излагающий новые способы ускоренного химического превращения винного спирта в уксусную кислоту. Вслед за этим он разрабатывает новаторский метод извлечения скипидара и канифоли из осмола хвойных деревьев.

В феврале 1918 года Л. Я. Карпов встречается в Смольном с Владимиром Ильичем и принимает предложенный ему правительством пост члена Президиума ВСНХ и заведующего Отделом химической промышленности.

«Спросить Карпова... Узнать мнение Карпова...» «Послать эту телеграмму в сем Со в де п ам за подписью Л. Карпова и моей».

Подобные ленинские резолюции сохранились на многих документах тех лет. Л. Я. Карпов стал ближайшим соратником Ленина по руководству химической индустрией.

Его неизменным девизом были такие требования к самому себе и товарищам по работе: «В основу техники класть науку. Организационную работу вести на фундаменте науки»<sup>1</sup>.

Незаурядным исследователем был и второй химик, названный в ленинской записи, — А. П. Шахно. Еще в 1915 году он публикует в «Журнале Общества сибирских инженеров» работу «Плавокость золы и определение температуры ее плавления», немаловажную для расчетов твердого топлива и определения его физико-химических качеств. В 1916 году в Томске выходит его «Краткий отчет о научной заграничной командировке летом 1914 года». В ходе этой командировки А. П. Шахно посещает немецкие и швейцарские химические лаборатории и школы, встречается с рядом зарубежных профессоров-химиков — Шульцем, Констаном, Нельтингом, Бунте, Эйтнером и другими, слушает их лекции, наблюдает лабораторные занятия и т. д.

Третьим в ленинской записи упоминается инженер-химик Викторов. Это П. П. Викторов — один из крупнейших специалистов по химии текстиля. Еще в 1916 году «Кружок технологов Московского района» издает его публичную лекцию «О влиянии химии на развитие красильного искусства». В 1928—1940 годах выходит ряд исследований и учебных пособий П. П. Викторова по химической технологии волокнистых веществ.

Каждого химика с исследовательской жилкой Владимир Ильич стремится привлечь к деятельному сотрудничеству с советской властью.

О многом могут рассказать и пометки Ленина на различных адресованных ему документах — докладных записках, письмах и прочем, связанных с теми или иными проблемами химии и химической индустрии. Ограничимся лишь одним примером.

В конце сентября 1919 года Владимир Ильич изучает записку бухгалтера одного из московских учреждений А. С. Соловьева об ухтинской нефти, месторождения которой

---

<sup>1</sup> В конце 1912 года под техническим руководством Л. Я. Карпова в древних Владимирских лесах строится первый в мире экстракционный канифольно-скипидарный завод. Вскоре он становится директором Бондюжского химического комбината, где опять-таки одновременно руководит как производством, так и подпольной большевистской организацией. На этом заводе летом 1917 года с Л. Я. Карповым встречается вернувшийся из тридцатидвухлетней эмиграции основоположник советской биохимии — академик А. Н. Вах (1857—1946). Через пять дней после кончины Л. Я. Карпова старый ученый так рассказывает о их тогдашних беседах: «В Льве Яковлевиче я увидел очень умного и образованного человека, обладавшего весьма широкими познаниями в общей химии. У него было то «химическое мышление», которым так дорожил Д. И. Менделеев и которое дает возможность химику быстро ассоциировать факты и концепции из областей, лежащих за пределами его специальности. В частности, я был удивлен той легкостью, с которой Лев Яковлевич ориентировался в вопросах биохимии, над которыми я работал и с которыми он раньше был очень мало знаком».

В передовой статье, посвященной памяти Л. Я. Карпова и озаглавленной «Практик революции», газета «Экономическая жизнь» писала: «Все, кто сталкивался с Львом Яковлевичем Карповым, поняли, как imponировали его логика, здравый смысл, трезвый, холодный, деловой ум, проникновение в глубину вещей, схватывание практической сути дела, быстрота и меткость суждения и верный взгляд... Скрытая, могучая внутренняя сила заменяла в нем внешний энтузиазм, показную восторженность и светливое увлечение. На таких людях, собственно говоря, и держится строй, общество, идея... Он никогда не отказывался от работы... часто освобождаясь только ночью, как будто не думая о личной жизни, чуждый тщеславия и сентиментализма, не ища признания, почестей и лавров. Революционер по прошлому и настоящему, он работал, как деловой человек... Деловой человек, он работал, как революционер. В сухой, деловой повседневной работе, день за днем, час за часом он тратил себя, отдавая себя революции целиком. И если бы кто-нибудь назвал это при нем подвигом, он не сдержал бы своей добродушной, слегка иронической усмешки» («Экономическая жизнь», 11 января 1921 года).



расположены в бассейне Печоры. Особенно внимателен Владимир Ильич к химическому анализу нефти.

Вот как энергично подчеркивает он эти строки докладной записки:

«Анализы образцов нефти, извлеченной скважинами, были произведены ученым инженером-технологом К. И. Тумским и лаборантом по органической и аналитической химии императорского Московского университета А. Беркенгеймом... На основании результатов предыдущего следует прийти к следующим выводам: Ухтинская нефть по своему удельному весу 0,8832 относится к так называемым тяжелым сортам нефти, к последним относят сорта, имеющие удельный вес выше 0,875, причем сорта эти обыкновенно ценятся несколько ниже легких сортов, имеющих меньший удельный вес. По удельному весу ухтинская нефть подходит к средним сортам кавказской нефти...»

К. И. Тумский за 1879—1913 годы издал много работ, посвященных разнообразным проблемам прикладной химии, в том числе и технологии обработки нефти. А. М. Беркенгейм (1867—1938) — впоследствии крупнейший советский ученый-химик, особенно много сделавший для отечественной фармакологии.

Ленинское отношение к ухтинской нефти заслуживает особого рассмотрения. Сейчас же отметим лишь интерес Владимира Ильича к чисто химической стороне проблемы. Огромное значение придает Ленину исследованием советских химиков, связанных с поисками источников химического сырья.

Уже весной 1918 года в статье «Очередные задачи Советской власти» он пишет о Кара-Бугазе, этом гигантском месторождении сырья для советской химической промышленности.

Гражданская война не дает возможности осуществить ленинские указания об освоении богатств Кара-Бугаза. Исследовательские работы начинаются лишь в 1921 году. 17 августа этого года Владимир Ильич пишет редакциям «Правды» и «Известий»:

«В газетах «Известия» и «Правда» была на днях заметка относительно неиспользованных богатств Карабугаза. Если можно, я бы просил передать автору или сообщить ему через газету, что мне очень важно иметь подробные сведения, как о том, насколько технически подготовлен к этому вопросу автор, так и то, как долго он изучал вопрос на месте».

Ленина, видимо, интересует мнение о Кара-Бугазе химика Елфимова. Его обширное письмо о химической сокровищнице Кара-Бугазского залива приводит в заметке, напечатанной 13 августа 1921 года в «Правде», геолог Гольдбаев.

Двадцать девятого сентября в «Правде» появляется статья о Кара-Бугазе председателя «Главсоли» М. И. Лацина. Он называет Кара-Бугазский залив «золотым дном».

Переноса вопрос на страницы печати, автор надеется привлечь общественное внимание к проблеме освоения этих богатств.

Владимир Ильич откликается на статью в тот же день. Он пишет управляющему делами Совета Народных Комиссаров Н. П. Горбунову:

«Надо выяснить дело насчет Карабугаза. Если очень заняты, можно отложить на несколько дней, но не больше».

Лацин в «Правде» от 29.IX опять повторяет: «Золотое Дно». Возьмите в секретариате СНК мою недавнюю переписку с профессором Ипатьевым (членом Коллегии ВСНХ), специалистом и главой нашей химической промышленности.

Он мне отвечал: нельзя пустить в ход теперь».

Главсоль ошибается или кто?

Взять ли данные Главсоли и посмотреть на их солидность или поступить как либо иначе?

Осведомитесь и скажите мне».

Ныне советские ученые находят в Кара-Бугазском заливе, кроме сырья для стекольной и бумажной промышленности — мирабилита, соли калия, магния, бром, йод и многое другое, необходимое для большого химического комбината. Разведываются и расположенные вблизи от залива месторождения природного газа. Недалеко то время, когда ленинская идея освоения Кара-Бугаза будет осуществлена полностью.

Всячески поддерживает Ленин и химические эксперименты академика И. М. Губкина — одного из первых отечественных не только геологов, но и геохимиков коммунистов.

И. М. Губкин возглавляет Главные комитеты по сланцам и нефти. В октябре 1919 года он беседует с Лениным о первых результатах химической обработки сланца и сапропеля — озерного и болотного или органического происхождения.

Ученый вспоминает:

«...наши химик сделали разгон сланцевой и сапропелевой смол... Мы с бутылочками сланцевого бензина, керосина и других нефтеподобных продуктов пошли к Владимиру Ильичу...

Началась беседа. Как человек несколько экспансивный, я во время разговора встал, сам не замечая, как я увлекся рассказом о будущем сланцев. Владимир Ильич попросил показать, где находятся сланцевые месторождения.

Мы подошли к карте и простояли у нее два с половиной часа — беседа велась о нефти, и о сланцах и о сапропелях.

Ленин внимательно слушал, задавал вопросы, вникал в детали — он искал выхода из топливного кризиса.

В конце беседы Владимир Ильич сказал:

— Вот вам мой телефон, вот телефон секретаря. Когда нужна будет помощь, обращайтесь ко мне непосредственно...»

В другом варианте своих воспоминаний о Ленине И. М. Губкин дополняет их рядом характерных штрихов и деталей:

«Тов. Фотнева несколько раз входила, давая понять, что пора нашу беседу кончать, ибо Ильича в приемной ждало еще много народу. А мы в это время демонстрировали перед Ильичем бензин, керосин, полученные из сланцевой смолы, парафин, полученный из сапропеля.

Владимир Ильич сразу оценил своим прозорливым умом, какое значение могут получить горючие сланцы и болотный ил гниения (сапропель) в экономике нашей страны, и обещал полную поддержку новому делу...»

Воспоминания эти дополняются обширным документальным материалом. 13 июля 1921 года — почти два года спустя после беседы о сланцах и сапропеле — Ленин пишет в свой секретариат: «При свидании с Губкиным я просил его обращаться прямо ко мне, когда есть что важное».

Таким важным для Ленина всегда были научные искания советских химиков.

С большим письмом об успехах советских инженеров-химиков Владимир Ильич 16 октября 1922 года обращается одновременно в Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства, в Государственную плановую комиссию, Народный комиссариат финансов и Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Он пишет:

«Тов. Красин прислал мне письмо, в котором сообщает о крупнейших успехах группы инженеров во главе с г. Губкиным, которая с упорством, приближающимся к героическому, и при ничтожной поддержке со стороны государственных органов, из ничего развила не только обстоятельное научное обследование горючих сланцев и сапропеля, но и научилась практически готовить из этих ископаемых различные полезные продукты, как то: ихтиол, черный лак, различные мыла, парафины, сернокислый аммоний и т. д.

Ввиду того, что эти работы, по свидетельству т. Красина, являются прочной основой промышленности, которая через десяток, другой лет будет давать России сотни миллионов, я предлагаю:

1. Немедленно обеспечить в финансовом отношении дальнейшее развитие этих работ.
2. Устранить и впредь устранять всяческие препятствия, тормозящие их, и
3. Наградить указанную группу инженеров трудовым орденом Красного Знамени и крупной денежной суммой...»

Применение синтетических заменителей значительно сокращает и даже вовсе прекращает расходование на технические цели зерна, растительных масел, молока и картофеля.

Декабрьский Пленум ЦК предложил увеличить производство синтетического спирта и синтетических жирозаменителей до полного удовлетворения нужд народного хозяйства и полной замены пищевых продуктов в технике. И эта директива партии опирается на ленинские традиции поддержки смелых научных начинаний, связанных с одной из важнейших проблем современной химии.

Во время заседания Совета Народных Комиссаров, состоявшегося 26 августа 1919 года, Л. Б. Красин сообщает Владимиру Ильичу:

«Плодовый сахар (глюкоза) получен из древесных опилок (1 пуд опилок дает 18 фунтов этой патоки)».

Ленин тотчас же делает необходимые подсчеты и запрашивает:

«Невероятно: 1 пуд — 18 фунтов!! 45%??? Содержание сахара?%?»

Красин отвечает уже более подробно, со всеми химическими деталями дела:

«Клетчатка действием серной кислоты превращается нацело в декстрин (род крахмала) и далее в глюкозу, притом с увеличением веса, ибо глюкоза есть декстрин плюс частица воды.

Реакция эта известна 100 лет, но технически была невыгодна: не было простого способа удалить взятую для реакции серную кислоту. Наш химик нашел простой способ удаления серной кислоты, и в этом вся суть дела. Выход 45% получен уже при опытах в заводском масштабе (производство 3 пуда в сутки).

Способ будет иметь мировое значение, ибо, помимо значения для питания, глюкоза— исходный материал для спирта, который будем делать не из картофеля, а из опилок».

Получив эти разъяснения, Владимир Ильич немедленно поручает секретарю Совнаркома:

«Завтра особой бумажкой сообщите в Научно-Пищевой Институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Несколько месяцев спустя — в октябре 1919 года — Ленин запрашивает Петроградский Совет:

«...Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опилок? Правда это? Если правда, надо обязательно найти его помощников, дабы продолжить дело. Важность гигантская».

Названный в ленинской записке петроградский коммунист И. П. Жук погиб при обороне города от банд Юденича.

То, что в 1919 году было лишь смелым научным экспериментом, в наши дни входит в промышленную практику.

Институт лесохозяйственных проблем и химии древесины Академии наук Латвийской ССР разрабатывает теоретические основы и технологию нового метода гидролиза опилок концентрированной серной кислотой.

По этому методу сыпучие смешиваются с небольшими количествами серной кислоты высокой концентрации. Смесь перетирается или размалывается. Полученная масса смешивается с водой и нагревается до 100—135°.

Серная кислота удаляется из раствора с помощью известкового молока. Образующийся при этом лингогипс может быть использован для удобрения. Сахар выпаривается и дает исходное сырье для химической или биохимической переработки на дрожжи, глицерин, лимонную кислоту, ацетон, различные спирты и т. д.

В сентябре 1921 года член коллегии Народного комиссариата продовольствия А. П. Смирнов просит Ленина разрешить Наркомпроду выделить для «Главспирта» пятнадцать миллионов пудов картофеля и, перегнав его в спирт, использовать для винокурной промышленности.

Владимир Ильич пишет председателю так называемого Малого Совнаркома А. С. Киселеву:

«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно (это уже доказано) и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить».

Пятого октября Владимир Ильич снова обращается к тому же адресату:

«По поводу записки А. П. Смирнова я Вам написал, что решительно возражаю против всякой траты картофеля на спирт, и указал, что спирт можно и должно делать из торфа. Теперь выяснилось, что вопрос о производстве спирта из торфа еще окончательно не решен. В заводском масштабе способ не проверен и экономически не ясен (нет точно проверенной калькуляции и нет данных, чтобы ее точно составить). Поэтому нельзя еще говорить о массовом производстве спирта из торфа.

Примите все меры к тому, чтобы всячески ускорить пуск в ход опытного завода для производства спирта из торфа — бывший дрожжевой завод Гивартовского в Москве».

Наблюдает Ленин и за поисками искусственных заменителей кожи. 12 ноября 1920 года он пишет в «Главкожу», как именуется тогда Главное управление кожевенной промышленности Высшего Совета Народного Хозяйства:

«Прошу немедленно сообщить мне Ваше заключение по изобретению суррогата подошвенной кожи, сделанному Барышниковым, а также движение этого дела в том случае, если это изобретение признано Вами полезным».

Такого рода искания химической промышленности тех лет кажутся еще совсем робкими по сравнению с современными масштабами советской химической индустрии.

«В химии, как нигде, научные изыскания и производство должны постоянно идти рука об руку,—говорит в докладе на декабрьском Пленуме ЦК Н. С. Хрущев.—Послушайте, как образно сказал об этом наш великий химик Дмитрий Иванович Менделеев: «Связь тут тесна, как тела с душою. Оторвите одно — не будет другого, видимый труп хоть и останется, но жизнь отлетит».

Декабрьский Пленум ЦК подчеркивает исключительно важную роль химической промышленности во всей экономической жизни. Именно химия составляет ныне основной рычаг подъема сельского хозяйства, многих других отраслей производства и в конечном счете всего народного благосостояния.

Новейшие открытия в области химии несут с собой еще более гигантское, чем прежде, ускорение развития производительных сил.

Первая отрасль химической индустрии, привлекая внимание Ленина-экономиста, — изготовление спирта из картофеля и зерна. Техническую вообще, а в интересующем нас случае химическую обработку сельскохозяйственных продуктов Ленин связывает с прогрессом сельского хозяйства. Он пишет в «Развитии капитализма в России»:

«...с одной стороны, уже самое производство сырья для переработки требует нередко улучшения земледелия (например, посев корнеплодов); с другой стороны, отбросы, получаемые при обработке, нередко утилизируются для земледелия, повышая его успешность, восстанавливая хотя отчасти то равновесие, ту взаимозависимость между земледелием и промышленностью, в нарушении которых состоит одно из самых глубоких противоречий капитализма».

Это противоречие капиталистического строя, как и все его социально-экономические антагонизмы, уничтожает социализм. Недаром декабрьский Пленум ЦК объявляет одной из важнейших народнохозяйственных задач нашего времени широкое комплексное использование отходов производства и побочных продуктов сырья как в самой химической промышленности, так и в других отраслях производства. В этом партия видит большой дополнительный источник сырьевых ресурсов для увеличения производства минеральных удобрений и других химических продуктов, действенное средство повышения доходности предприятий, экономии сырья и улучшения санитарных условий.

Вслед за винокурением Ленин рассматривает свеклосахарное, картофелекрахмальное и табачное производство. Он опять-таки отмечает, что крахмалозаводчики «утилизируют на корм скоту» картофельную мезгу, а мелкие табачководы в отличие от крупных «не имеют возможности дать продукту ферментироваться (выбродить)».

В мельчайшие технологические детали входит Ленин и при изучении экономики производств по обработке минеральных продуктов и прежде всего керамических, включающих в себя и приготовление красок. То же относится и к химической части производств по обработке дерева, в том числе и смоло-дегтярного промысла.

Один из наиболее действенных путей повышения продуктивности сельского хозяйства и его всемерной интенсификации Ленин уже в начале нашего века видит прежде всего в искусственных химических удобрениях.

Затраты крестьянских хозяйств на их приобретение Ленин анализирует летом 1901 года в конспектах книги М. Гехта «Три деревни Баденского Гарда» и статьи Г. Аугагена «О крупном и мелком производстве в сельском хозяйстве».

Тогда же, изучая различные материалы по аграрному вопросу, Владимир Ильич в тетради, озаглавленной «Бразе и другие», обстоятельно конспектирует обширную работу названного немецкого экономиста — «Исследование о влиянии задолженности земельных владений на ведение в них хозяйства».

Автор исследования сопоставляет данные о помещичьих и крестьянских хозяйствах Нижней Силезии. Владимир Ильич суммирует собранные им сведения о применении химических удобрений, их поектарных нормах и т. д.

Особое внимание Ленин уделяет чилийской селитре, аммиачному суперфосфату, калийным солям и извести.

В одном из хозяйств с площадью всего лишь в двести четыре гектара, по подсчетам Владимира Ильича, ежегодно применялось следующее количество килограммов искусственных удобрений:

«120 000 каннита  
35—40 000 томасшлака  
5 000 суперфосфата  
5 000 аммиака  
2 500 чилийской селитры».

Все изученные материалы Ленин подытоживает таким заключением:

«Крестьянин старается хозяйствовать лучше, вводя искусственные удобрения и кормовые средства...»

В основной на приведенных конспектах статье «Аграрный вопрос и «критики Маркса» Ленин, имея в виду открытия агрохимии, отмечает:

«...новейшая агрономия показала полную возможность восстановления производительных сил земли без стойлового навоза, посредством искусственных удобрений, прививки известных бактерий собирающим азот стручковым растениям и т. п.»

К анализу самых разнообразных материалов о применении искусственных удобрений в сельском хозяйстве, то есть, выражаясь современным языком, его химизации, Ленин обращается и в последующие годы.

Мы имеем в виду относящиеся к 1902—1903 годам конспекты данных голландской земледельческой анкеты 1890 года, статьи Э. Штумпфе «О конкурентоспособности мелкого и среднего землевладения по сравнению с крупным» и его книги «Мелкое землевладение и хлебные цены».

Здесь внимание Владимира Ильича привлекают, между прочим, уже и механизированные «разбрасыватели удобрения».

Большой интерес представляют и ленинские заметки о книге Носсига «Ревизия социализма».

Этот автор, пользующийся, как подчеркивает Владимир Ильич, «новойшей агрономией», глшит о важности сочетания искусственных удобрений с естественными.

Ведь даже самые эффективные химические удобрения «далеко не покрывают всего, что берется у почвы», особенно в интенсивных хозяйствах Франции и Англии.

В датруемых весной 1903 года критических замечаниях на книгу немецкого ревизиониста Э. Давида «Социализм и сельское хозяйство» Ленин выделяет и такую проблему агрохимии, как борьба с «вредными насекомыми и животными — уход за растениями etc».

В 1914—1915 годах Ленин изучает материалы американской аграрной статистики и составляет при этом таблицы расхода на удобрения по фермерским хозяйствам различной земельной площади.

«Надо заметить,— пишет Владимир Ильич,— что всего больше удобрения расходуется на земли под хлопком (юг!)»

Собранные тогда Лениным материалы обобщены в книге «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии», анализирующей развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве США.

Шестая глава этого труда в значительной части посвящена искусственным удобрениям как одному из главных условий интенсификации сельского хозяйства, всестороннего повышения его продуктивности.

Владимир Ильич пишет:

«Данные о расходах на удобрение... служат самым точным статистическим выражением степени интенсификации земледелия... Больши н с т в о ферм (57—60%) употребляют покупные удобрения и расход на них достигает значительной суммы... В Новой Англии не только выше всего применение удобрений... но и возрастание расходов на удобрение идет особенно быстро. За 10 лет с 1899 по 1909 г. эти расходы поднялись с 0,53 долл. на акр до 1,30, т. е. увеличились в два с половиной раза. Интенсификация земледелия, технический прогресс его, повышение культуры идет здесь, следовательно, чрезвычайно быстро».

До Октябрьской революции Ленин рассматривает проблемы химизации сельского хозяйства теоретически. После победы советской власти проблема эта становится одной из центральных задач ленинской государственной деятельности.

Уже летом 1918 года Совет Народных Комиссаров под председательством Владимира Ильича отпускает около десяти миллионов рублей на строительство и развитие Волжско-Камских химических заводов, а в их числе и на сооружение Пермского суперфосфатного завода. Ныне это предприятие носит имя Серго Орджоникидзе и дает в год сотни тысяч тонн удобрений.

Старейший инженер завода И. Г. Иванов вспоминает:

— «Прадел» нашего завода был «рожден» незадолго до революции. Выпускал он тогда серную кислоту. Постановление, подписанное Лениным, положило начало суперфосфатному производству. Подумать только: страна поыхала в огне гражданской войны... А партия уже заботилась о том, чтобы дать земледельцу самое эффективное средство плодородия полей — химические удобрения.

Вскоре Совет Народных Комиссаров образует в составе Химического отдела Высшего Совета Народного Хозяйства Главный комитет туковых удобрений. 5 августа 1918 года Ленин подписывает постановление Совнаркома, ассигнующее комитету около ста семидесяти тысяч рублей на разработку фосфоритов лишь во второй половине 1918 года.

Искусственные удобрения нуждаются в особенно бережной и срочной транспортировке. 7 мая 1919 года, в дни боев с колчаковцами на востоке, денкинцами — на юге, белофиннами — в Карелии, в день начала предательского мятежа атамана Григорьева на Украине, Владимир Ильич утверждает постановление Совета Рабочей и Крестьянской Обороны «О перевозке удобрений по железным дорогам».

Искусственные удобрения приравняются этим ленинским декретом, «в отношении перевозки, к хлебу и вывозятся спешно по назначению как грузы самой первой категории».

Ленин обязывает «все власти на местах» принять надлежащие меры к исполнению этой правительственной директивы, а по всем оперативным вопросам, связанным с постановлением, предписывает запрашивать Москву — Центральный Комитет Удобрительных Туков («Центротук»).

Председатель Совета Народных Комиссаров изучает статистические сведения о работе промышленности искусственных химических удобрений. В апреле 1921 года Ленин составляет по материалам редакции газеты «Экономическая жизнь» таблицу, озаглавленную им «Промышленность на первую 1/4 1921 года». Владимир Ильич сопоставляет здесь данные за «I—III 1921» с данными за «I—III 1920» и знаками + или — характеризует прирост или, наоборот, снижение выработки продукции.

Изучая данные по основной химической промышленности, Ленин дополняет свои сопоставления сравнительными показателями за «весь 1919» и «весь 1920» годы.

Владимир Ильич подчеркивает при этом, что в 1919 году советские химические заводы произвели миллион 529 тысяч пудов серной кислоты, за 1920-й — 894 тысячи

пудов, а за первый квартал 1921 года — 306,5 тысячи пудов при 184,7 тысячи пудов за тот же отрезок 1920 года.

Аналогичные сопоставления Ленин делает и по соляной кислоте, производству суперфосфата, сернокислых солей, целлюлозы и т. д. Напомним, что, по данным Центрального Статистического Управления при Совете Министров СССР, химическая индустрия нашей страны за один лишь 1963 год изготовила вместо около 900 тысяч пудов серной кислоты, как в 1920 году, почти в четыреста пятьдесят раз больше — 6 миллионов 887 тысяч тонн, то есть более 420 миллионов пудов.

Еще более разительны данные по суперфосфату. Вместо 350 тысяч пудов в 1920 году советские химические заводы ныне выпускают почти в три с половиной тысячи раз больше — около двадцати (19,9) миллионов тонн минеральных удобрений, то есть более миллиарда 220 миллионов пудов.

Ленинская таблица напоминает своей пунктуальностью статистические материалы «Развития капитализма в России», где каждая из десятков составленных тогда Владимиром Ильичем таблиц представляет собой как бы экономическую фотографию той или иной отрасли тогдашнего народного хозяйства.

В данном случае Ленин изучает уже не капитализм, а бесконечно дорогие ему первые шаги социалистического строительства. Примечательно, что среди них он особенно выделяет производство химических удобрений...

Плюс химизация... Как мы убедились, наследие Ленина, документы и материалы, многогранно характеризующие его государственную деятельность, позволяют вполне обоснованно дополнить именно этими словами ленинскую формулу коммунистического строительства.

Уже в начале века Ленин философски обобщает великие открытия электронной химии. Он изучает многочисленные отрасли химической науки: электро-, радио- и фотохимию, гео- и биохимию, химию кристаллов, газов, угля, сланцев, сапропеля и нефти. После Октября, как ученый и политик, он ищет пути сочетания электрификации с химизацией, химической науки с насущными задачами социалистического народного хозяйства.

Как государственный руководитель, Ленин закладывает не только организационные и финансовые, но и прежде всего идейно-методологические основы для расцвета советской химической науки, которую так энергично поддерживает и так смело развивает партия в новых условиях коммунистического строительства.



---

---

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

## НАВСТРЕЧУ НОВОЙ ВЕСНЕ

*Заметки из Целинного края*

**В** Алтайском крае средний урожай зерновых культур за пятилетие — 1954—1958 годы — в полтора раза превышал урожай Курганской области. А в последние четыре года роли переменялись: теперь у курганцев средний урожай в полтора с лишком раза больше, нежели у алтайцев.

— В чем тут секрет?— спрашивает, приводя эти данные, Леонид Иванов в статье «Судьба урожая» («Октябрь», № 9, 1963). И отвечает: — Сорняки! Они стали отнимать у хлеборобов Алтая добрую половину урожая. Зато в Курганской области за последние годы, по примеру Т. С. Мальцева, против сорняков ополчилась вся агротехника, включая сюда и паровую обработку, и сроки сева...

Но почему же так сильно засорились алтайские и омские поля?

— Главная причина — в ранних сроках сева.— считает Л. Иванов — Именно в результате ранних сроков сева Сибирь не добирает за последнее время, без преувеличения, сотни миллионов пудов! Ежегодно!<sup>1</sup>

Верна ли такая точка зрения и для нас, целинников Северного Казахстана? Ведь наши почвенно-климатические зоны очень сходны с соседними сибирскими. И нам не меньше, скажем, чем алтайцам или омичам, довелось терпеть поражений за последние годы. Действительно ли первопричина наших неудач — неправильный выбор сроков сева?

Если исследовать этот вопрос, так сказать, исторически, то есть сравнить данные за многие годы, то можно ответить на этот вопрос положительно, но лишь в известной мере. Наблюдения многих признанных мастеров сибирского земледелия в ряде случаев совпадают и с нашим опытом. И все же дело обстоит сложнее.

Разве только за счет правильного выбора сроков сева во Всесоюзном (Шортландинском) научно-исследовательском институте зернового хозяйства в нынешнем, наихудшем по климатическим условиям году получен удовлетворительный урожай зерновых?

Нет, тут сыграли свою роль и рачительное отношение к влаге, и широкое использование гербицидов для борьбы с сорняками, и безотвальная обработка почвы, предотвратившая пыльные бури, и многое другое, что определяет уровень агротехнической культуры.

Вот что иногда получается «при прочих равных условиях». Стоят снопы. Они как куклы-«матрешки», вынутые одна из другой и выстроенные в ряд: сначала махонький снопик, затем побольше, еще больше и на конце — сноп-великан, увесистый и колоси-

---

<sup>1</sup> Публикуя содержательную и полезную статью Н. Верховского, мы, однако, не видим оснований для его полемики с Л. Ивановым. На наш взгляд, Л. Иванов вовсе не двигал поздний сев в качестве единственного, постоянного и повсеместного средства повышения урожайности.

Вместе с тем редакция «Нового мира» считает необходимым напомнить о заслуге Л. Иванова, выступившего против практики навязывания сроков сева без учета климатических условий еще в 1957 и 1959 годах, в частности в очерке «Сибирские встречи» и статье «Когда сеять?», опубликованных в нашем журнале.— *Ред.*



стый. Так выглядела выставочная витрина урожая пшеницы и ячменя, собранных на опытных делянках института в минувшем году. Опыты ставились на определение лучших сроков сева. Испытывались самые распространенные сейчас в крае сорта пшениц: «лютеценс-758», «саратовская-29», «акмолinka-5», «мильтурум-553». И хотя окончательные итоги урожая подведены еще не были, хотя под экспонатами не указывались данные намолотов в переводе на гектар — контрасты и на глаз разительные. Правда, по сортам существенные различия заметить было трудно, но зато по срокам сева картина оказалась крайне впечатляющей. Самые хитые снопки — низкорослые, с толстыми колосками — это сев 28—30 апреля, самые могучие — последней пятнадцатки мая.

Разница между ними составляет не пятьдесят процентов и даже не сто пятьдесят или двести. Урожайность колеблется от четырех центнеров до пятнадцати — восемнадцати центнеров. Дело, стало быть, нешуточное!

Показывает мне эти экспонаты старейший практик и колхозный ученый, бывший председатель сельхозартели в Шадринском районе, сосед Т. С. Малыцева, а теперь заведующий отделом земледелия Шортандинского института Павел Петрович Колмаков. Этот человек тридцать лет жизни посвятил борьбе с овсюгом, написал об этом не один научный труд. Он убежден, что можно получить и сто пудов, и двадцать с одного и того же гектара. И только за счет правильного или неправильного выбора срока сева. Вот и проясняется картина: в минувшем резко засушливом году лишь поздние майские посе- вы дали удовлетворительную урожайность пшеницы.

Весны в степных районах Целинного края бывают и ранние и поздние. Вот почему не может быть единого рецепта для всех. Надо шире изучать опыт: когда, при каких условиях в одних случаях оказываются наиболее выгодными одни сроки сева, а при других — иные.

В мартовской книжке «Сибирских огней» за 1961 год была напечатана интересная, хотя и кое в чем спорная статья И. С. Шелухина, научного сотрудника Купинокого опорного пункта (Кулундинская степь). Резко и аргументированно выступая против «централизованного регламентирования» сроков сева, он показал на опытах опорного пункта за одиннадцать лет, что три года преимущество имели ранние посе- вы пшеницы (с 1 по 12 мая), пять лет лучшие урожаи были при посеве в средние сроки (с 12 по 22 мая) и три года более высокие урожаи получались при севе после 22 мая...

Значит, вопрос о сроках сева надо решать, сообразуясь с особенностями года

### О ЧЕМ НАПОМНИЛИ ДЕДЫ?

Так же обстоит дело со сроками сева пшеницы и в Целинном крае.

Возьмем многолетние данные Шортандинской опытной станции, на базе которой создан теперешний научно-исследовательский институт. И здесь результаты урожайности по срокам сева самые разнообразные. Бывало, что наивысшие урожаи собирали именно при ранних посевах и несколько лет подряд — например, с 1944 по 1947 год. Но немало и таких разительных случаев, когда сев в начале мая приносил только три-четыре центнера, а сев в конце этого месяца — восемнадцать — двадцать, то есть в пять-шесть раз больше!

Не раз беседовал я по этому важному вопросу и со стариками — старожилками наших краев. Вот, скажем, девяностолетний Тит Михайлович Ворох из Ставрополки (совхоз «Западный» Рузаевского производственного управления). Этот хлебороб живет здесь с 1907 года. Почти всю жизнь он опытничал, у него много интересных наблюдений, но со сроками сева старик очень осторожен.

— Нужно смотреть по весне. Если она дождливая — лучше сеять пораньше. Сухая — попозже. Примениться здесь ко всему трудно. Тут нужно на усмотрение мест... — отвечал он одно и то же, как ни хитро ставил я ему на сей счет вопросы.

И в самом деле — по-разному бывает! Старожилы из Ставрополки вспоминают, как в 1923 году «сеяли по воде и убирали по воде». Многие посе- вы погибли тогда от избытка влаги. А в 1938 году «уже к первому мая полностью отсеялись с пшеницей» и урожай получили превосходнейший — по двести и даже больше пудов с гектара. Справился

я в Петропавловском областном управлении производства и заготовок сельхозпродуктов (наша Кокчетавская область прежде входила в Северо-Казахстанскую) и получил ответ: «В 1938 году в среднем по области получено зерновых с гектара по двадцать два центнера». Подчеркиваю: двадцать два центнера в среднем! И на территории огромнейшей области! Шортандинская опытная станция собрала тогда пшеницы «милльтурум-321» по тридцать два центнера с гектара. И тоже при севе до первого мая!

Вот какие средние урожан пшеницы могут давать новые земли! Вот за что надо бороться! Напомню, что эти среднеобластные намолоты в полтора с лишним раза больше полученных в Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях в 1956 и 1958 годах, которые считаются по урожайности благодатными. Кстати, в «мокрым» 1956 году в Целинном крае также удалось посеять раннего, а не позднего срока.

В 1960 году в Ленинградском районе Кокчетавской области при сравнительно раннем севе и чистых землях тоже был получен неплохой урожай. Лето тогда выпало холодное из холодных. Во многих районах пшеница недозрела, а здесь к жатве поспела своевременно. С угрозой ранних осенних заморозков тоже нужно считаться. Особенно в северных и в горносопочных районах.

Напомнили мне деды-хлеборобы из совхоза «Западный» и мудрую примету: «Лист в грош — сей как хошь, лист в пятак — не сей никак». Иными словами: когда вовсю заработала микрофлора, когда идет сокодвижение — сей. Почва тогда достигла своей биологической спелости, готова для посева. Когда же формирование листьев на деревьях уже закончено — сев может оказаться запоздалым...

### ИЮньСКИЙ БАРЬЕР

Невозможно найти хоть один год, который бы в точности повторял собой другой. Нужно, видно, раз и навсегда договориться, что в каждую конкретную весну и для каждого конкретного поля вопрос о сроках сева может и должен решаться по-разному. При чем решение это должны выносить сами работники хозяйства с учетом и складывающихся погодных условий, и истории полей, и способов обработки земель, и степени влагообеспеченности, сортов пшеницы и т. д.

Но хоть какие-то примерные ориентиры должны все же быть? Естественно. И они должны вытекать из того, что чаще повторяется. Правильно говорит Т. С. Мальцев: «Надо знать и учитывать, каких по условиям погоды годов было в прошлом больше. Таких же годов следует ожидать больше и в будущем. А каких было меньше в прошлом, таких, несомненно, будет меньше в будущем». Однако Мальцев тут же (имею в виду его статью «Высокие урожан — дело рук человеческих») предупреждает, что, ориентируясь в основном на одни условия, нужно быть готовым и к противоположным. Он не выносит «приговоров». Он прямо говорит: «Шаблон в сроках сева, как и в других делах, кроме вреда, ничего не приносит».

Оглядываясь на прожитые десять целинных лет. Что было главной трудностью новоселов? Засуха двух первых декад июня. В Кокчетавской области июнь относительно «мокрым» был по существу только три раза: в 1956, в 1958 годах и частично в 1962 году, но тогда неожиданно засушливым оказался — обычно «мокрым» у нас — июль.

Одним словом, и это десятилетие подтвердило, что самое трудное для местного земледельца — преодолеть июньский барьер. Кто этот барьер «взял», у кого растения выстояли до июля — тот выиграл!

А как его преодолеть? По стратегии Т. Мальцева — ее придерживаются и наши шортандинские ученые, — тщательно накапливай и сберегай влагу, чтобы весной ее хватало для всходов; обязательно до сева истреби всходы сорняков; правильным выбором срока сева несколько оттяни главный расход влаги, чтобы засушливый период растения пережили еще «в травке»; а когда они вступят в фазу наибольшего потребления влаги — подоспеет июльский максимум осадков...

Жизнь, в общем, подтверждает правильность такой стратегии: именно вторая и третья декады мая — для сева наиболее надежные сроки. Особенно в засушливые годы. Однако при этом возникают и огромные неудобства — позднее поспевание хлебов, трудно-

сти получения высококачественного зерна, что подчас сводит на нет все преимущества. В земледелии вообще, а в Целинном крае в особенности все, как говорится, палка о двух концах: выигрывая на одном, можешь проиграть на другом. Вот почему совершенно закономерны обоснованные агрономические поиски.

### ЧУШКАЛИНСКИЕ ПАРАДОКСЫ

Расскажу сначала о двух экспериментах, поставленных в последние годы молодыми и инициативными, как про таких говорят — перспективными, руководителями совхоза «Чушкалинский» Энбекшильдерского производственного управления Кокчетавской области. Зона эта чисто степная, южная, наиболее засушливая, с каштановыми почвами. Помнится, в двадцатых годах, когда масштабы земледелия в Казахстане были невелики, сельскохозяйственные районы делились на земледельческие и кочевые, причем кочевых, конечно, было больше. Энбекшильдерский район был кочевым. И вот именно в этом районе совхоз «Чушкалинский» в прошлом году вырастил наивысший в области урожай. В соседних же совхозах («Прогрессе» и других) собрано в два-три раза меньше, а где-где даже не возвращены семена.

Как это могло быть?

Директор совхоза «Чушкалинский» И. И. Небеснюк и его главный агроном — «человек с твердым характером» Шамиль Григорьевич Агеев, как мне рассказывали о них в управлении, четыре года работают вместе и постоянно спорят. Но их споры не мешают, а помогают делу: на совхозных полях порядок, и не только в прошлом году, но и за все четыре года у них урожайность выше, чем у остальных совхозов энбекшильдерской группы.

Так вот, в прошлом году чушкалинцы сознательно пошли на риск и провели сев пшеницы на значительной части площадей не только в последней пятidineвке мая, но и в первой пятidineвке июня, правильно угадав особенности года.

— Весна холодная, запасы влаги в почве мизерные, даже овсюг и тот не всходит, а сеять по сорнякам нельзя. Вот и тянули...— говорит Шамиль Григорьевич.

Ну и досталось же им за это! Все были против них: и управление, и печать (местная газета из себя выходила: «Агроном Агеев преступно затягивает сев»), и сами рвущиеся к делу механизаторы.

Но факт фактом: в данном случае явно запоздалый сев пришелся к году — типичная для июня засуха перекинулась тогда и на первую декаду июля, а поздний сев позволил оттянуть основной расход влаги растениями дальше обычного, растения «в травке», до трубкавания, встретились с обильными июльскими осадками, хорошо развивались и при удачной, без ранних заморозков, осени в основном успели созреть.

Отдавая должное смелости и уму молодых образованных руководителей, сумевших сориентироваться в условиях самого неблагоприятного года и выбрать для своих полей наиболее выгодные сроки сева, хочу еще раз отметить, что нетипичное нельзя принимать за эталон для всеобщего употребления. Вспомнилась мне услышанная от старых земледельцев такая история на сей счет: однажды, мол, Петр Первый, захватив в какую-то вологодскую деревню, увидел там все признаки страшнейшего голода. Тощие мужики жаловались, что рожь вовсе не уродилась и мякину и лебеду всю приели. Но нашелся среди деревенских жителей один сытенький, веселый мужичок — у него рожь была что надо!

— Когда сеяли? — спросил Петр у тощих мужиков.

— На первый Спас.

По новому стилю это будет 14 августа — общепринятый срок для посева озимой ржи в северных областях России.

— А ты когда сеял? — спросил Петр у сытенького.

— На Фролы.

То есть 31 августа. А это считается запоздалым севом. «Фролы голы», — говорится в поговорке.

Петр приказал выпороть сытенького. И пояснил:

— Если по твоему примеру и другие на будущий год посеют на Фролы, то опять деревня останется без хлеба.

Мораль проста: явное запаздывание — дело плохое, а то, что удастся один раз в пятьдесят или сто лет, не может служить примером на все годы.

Другой эксперимент чушкалинцев такой. В 1961 году они, учитывая местные особенности, рискнули провести на значительных площадях очень ранний сев. Выбрали чистые от сорняков участки с большой увлажненностью и часть пшеницы позднеспелых и среднеспелых сортов посеяли 20—21 апреля. Расчет у них был простой: попробуем выгнать пшеницу, пользуясь только осенне-зимними запасами влаги. Будут июньские дожди — хорошо, не будут — и так продержимся. А июльские осадки совпадут с колосением и наливом.

Расчет оправдался! Хотя июньские дожди и в тот год не побаловали чушкалинцев, но пшеницы «милтурум-553» и «лютесценс-758», посеянные в такие сроки на южных, наиболее теплых склонах, опять же дали наивысшую в том году урожайность. По двенадцать — тринадцать центнеров с гектара!

Профессор П. А. Яхтенфельд на основании больших опытных данных пришел к выводу, что большие весенние запасы влаги, быстрое прогревание подпахотных слоев, чистые от сорняков земли и лучшие предшественники вроде пара, кукурузы или гороха — важные аргументы в пользу раннего сева. Если эти условия есть — июньский «барьер» не столь уж страшен.

Итак, июньская засуха — это природная особенность Целинного края, и с нею обязательно нужно считаться. Но и крайняя неустойчивость климата — это тоже местная особенность. Такой капризной погоды, как в Целинном крае, трудно сыскать еще где-нибудь в Союзе. Прав академик В. П. Кузьмин, который считает, что «любая узкая ориентация в сроках посева ненадежна. Вот почему целинному земледельцу, чтобы полнее овладеть ресурсами плодородия, особенно необходимы: высокое агротехническое мастерство, строгий учет местных условий и, как говорится, хорошая голова на плечах.

Пока, однако, в выборе агротехнических приемов местные земледельцы далеко не всегда свободны. И вот еще почему...

### «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЖАР»

Александр Иванович Бараев, член-корреспондент ВАСХНИЛ, директор Шортандинского научно-исследовательского института, когда мне с ним довелось беседовать, восхищался природными условиями Кокчетавской области.

— Многим вашим районам, — говорил он, — может позавидовать весь Казахстан...

Да, Кокчетавская, как и Северо-Казахстанская, область — наиболее лесистая, озерная, черноземная в Целинном крае. Давно бы кокчетавцам вместе с североказахстанцами занимать по урожайности первые места в крае.

Высокой средней урожайностью в последние пять лет не может, к сожалению, похвастать ни одна из областей Целинного края. Но средние урожаи у кокчетавцев за эти годы ниже, чем у североказахстанцев и у целиноградцев. Почему?

— А вот почему! Видите, какова культура земледелия? — И Бараев показал таблицу засоренности полей по областям края.

Кому не доводилось поражаться обилию цветочков на кокчетавских нивах! Для этого местным жителям не требуются дальние путешествия. Достаточно побывать хотя бы на полях пригородных совхозов — «Симферопольского», «Александровского» и других, или, для полноты картины, проехать немножко подальше — до совхоза «Тайнинский», до колхозов «Серп и молот», «Красная звезда», «Дружба», да и до любых других.

Посмотришь на исходе лета на поля — сплющенное золото. Ярко горят желтым пламенем молочай и буйная сурепка. Пожар! Действительно пожар, не сжигающий, но так же губящий хлеба! Где там огишьешь среди пышных соцветий сорняков задавленные или хилые колоски культурных растений!

По засоренности полей, по этому печальному показателю, Кокчетавской области в 1962 году принадлежало первенство среди соседних областей Целинного края. Правда, теперь положение несколько улучшилось, но все же процент полей, засоренных овсюгом, в Кокчетавской области на десять единиц превышает среднекраевой показатель. А по засоренности осотом и того хуже — этим многолетним злостным сорняком (было попорчено почти семьдесят процентов всех площадей. Даже по сравнению с североказахстанцами кокчетавцы сильно проигрывают: у первых овсюгом попорчена одна пятая площадей, а у вторых — две пятых!

Вот она — разгадка того, почему у кокчетавцев средние намолоты еще меньше, чем у североказахстанцев.

Засоренность увеличивается постепенно. Чтобы лечить болезнь, нужен точный диагноз. В ряду многочисленных нарушений агротехники, которые привели к порче полей, большую роль сыграли и монокультурное ведение хозяйства с его ежегодными сплошными посевами зерновых, исключаящими междурядную обработку, и беспарье, и упрощенчество в обработке земли, и наконец поздняя осенняя обработка почвы как следствие поздних сроков посева. Но во многих случаях весьма отрицательную роль сыграла и агротехнически не обоснованная поспешность с проведением сева. Особенно в заовсюживании полей. Семена этого зеленого разбойника чаще всего начинают прорастать у нас только после 7—10 мая. А разве мало было примеров, когда сеяли по команде, не считаясь с местными условиями и с состоянием полей! Правы те выдавшие виды агрономы, которые утверждают, что «директивное земледелие», администрирование в вопросах агротехники подчас страшнее засухи.

Как бы там ни было, приходится признать, что к трудностям, чинимым природой, мы сами добавили себе еще одну — засоренность, вынуждающую к сознательному оттягиванию сроков сева. По крайней мере на заовсюженных землях. Среднемайские или позднемайские сроки сева на таких полях — это часто дань овсюгу! Правда, дань временная: целина наконец-то приступила к штурму сорняков! Уже не только специалисты-агрономы, но и рядовые землеробы-новоселы, получив немало жизненных уроков, усвоили, что, когда весенние запасы влаги малы, а поля засорены овсюгом, сеять до истребления массовых всходов сорняков нельзя. К тому же увеличиваются посевы пропашных культур с междурядной обработкой почвы и, где это необходимо, восстанавливаются чистые пары. Наконец на помощь агротехнике пришла и великая союзница — химия...

### ВЛАГА ПЛЮС ХИМИЯ

Несомненно огромный прогресс, который принесет с собой химизация земледелия Целинного края. Ведь еще в 1960 году в Кокчетавской области при посевных площадях примерно в три миллиона гектаров минеральные удобрения применялись под зерновые всего на площади... сто один гектар. Начинать приходится, значит, почти с нуля. Многие конкретные проблемы химизации местного земледелия еще находятся в стадии опытов, а иные и просто в стадии догадок. И среди этих догадок вполне естественна и такая: а не сумеет ли химия помочь в борьбе с основным нашим противником — засушливостью климата?

В наших черноземных и каштановых почвах азотной и калийной пищи для растений, как правило, достаточно, но доступных для них форм фосфора в большинстве случаев не хватает. И это не может не отражаться на их вегетации и плодородии вообще. Если азота в почве предостаточно, а фосфора не хватает — резко снижается засухоустойчивость растений.

Влага и фосфор — вот эликсир плодородия новых земель! Поэтому фосфорные удобрения — первоочередной заказ Целинного края.

На Карбалыкской опытной станции Кустанайской области внесение суперфосфата по сорок — шестьдесят килограммов действующего начала на гектар повышало урожайность яровой пшеницы в среднем на 3,2 центнера. Но фосфорные удобрения продолжают оказывать свое действие и на второй год. Последующая прибавка урожайности

составила 2,5 центнера на гектар. Значит, за два года за счет суперфосфата получено по 5,7 центнера дополнительного зерна!

Любопытные опыты с почвами проводит в целинных совхозах «Свободный» и «Комсомольский» (Целиноградская область) И. В. Маштак — старший научный сотрудник Института почвоведения Академии наук Казахской ССР. Его поиски ставят целью обеспечить урожай при любых погодных условиях. Он исходит из того, что корни пшеницы, развившейся с весны за счет «верховодки», в засушливый период в поисках влаги и пищи проникают на значительную глубину. Влаго там они еще могут найти, а вот пищи там маловато. Естественно, они хиреют. Если же с осени заложить в грунт фосфорные удобрения, тогда растения даже в засуху получают необходимое питание и выстоят.

Это только один из возможных и еще не до конца разработанных вариантов. Неэффективность самого принципа закладки фосфорных удобрений в два слоя почвы — при основной осенней обработке и в рядки при посеве — проверена Кокчетавской и другими опытными станциями.

Или же взять проблему окультуривания солонцов. Дело это дорогостоящее и потому не первоочередное. Но кто знаком с целинными краями, тот неоднократно обращал внимание на неоднородность полей. Даже по окраске. На общем густо-зеленом фоне часто вырисовываются бледно-зеленые, а то и желтоватые пятна низкорослых растений. Это солонцеватые «блюдечки». Их много в наших краях. Вообще почвы Целинного края очень разнообразны. Только в нашей Кокчетавской области насчитывается тридцать пять разновидностей. Даже на территории одного лишь совхоза «Золотая нива» их двадцать семь. Что же касается «блюдечек», то в иных массивах эти малоурожайные, в первую очередь выгорающие при засухе, бедные азотом «пятна» составляют четвертую часть всей площади. Надо ли доказывать, как резко это снижает урожайность. Поэтому следовало бы путем, скажем, гипсования, да еще в сочетании с посевами донника, «подремонтировать», «выровнять» уже введенные в эксплуатацию земли, сделать каждый гектар полноценным — какую это даст прибавку урожая!

Но если пока еще не так просто обеспечить минеральными удобрениями стимуляторами роста, средствами для окультуривания солонцов и т. д. громадные массивы новых земель, то гербициды уже введены в действие и атакуют сорняки широко и эффективно. В одном только Рузаевском производственном управлении в минувшем году было подвергнуто химической прополке с самолетов около восьмидесяти тысяч гектаров зерновых и кукурузы.

Разумеется, положить труда предстоит еще немало, особенно в борьбе с овсюгом, который не поддается обычным гербицидам. Но уже созданы специальные препараты, избирательно поражающие молодые растения овсюга (в фазе двух-трех листочков), не повреждая при этом зеленого ковра пшеницы. Прибавка урожая на прополотых этим препаратом участках достигает трех с половиной центнеров на гектаре.

Во всяком случае полная победа над сорняками сейчас ближе, чем когда бы то ни было. При том, конечно, условии, что химические средства будут сочетаться с высокой агротехникой. Для чего, добавим, необходимо по-настоящему ликвидировать агрохимическую малограмотность кадров.

В нынешнем году в одном только Рузаевском управлении будет обрабатываться гербицидами двести тысяч гектаров посевов, то есть практически все наиболее попорченные многолетними сорняками поля. В Кокчетавской области уже заготовлены препараты для обработки миллиона гектаров посевов. А во всем Целинном крае химическая прополка будет проводиться на гигантской площади — пять миллионов гектаров! Это уже — наступление! Определелись и симпатии к различным видам гербицидов. Они на стороне аммиачной соли и, безусловно, — на стороне эфиров.

Недавно на Кокчетавской станции защиты растений я встретил одного из своих старых знакомых, директора совхоза имени Карла Маркса Кзылтуского производственного управления С. М. Пунда. У него сложилась репутация человека хозяйственного, но не очень-то доверчивого к новшествам: пока сам не прощупает, не попробует — осторожничает, упрямится, навлекая на себя обвинения в консерватизме, но если убедился, уверовал — не остановишь. Так вот — он теперь пламенный патриот эфиров.

— Дайте мне нынче тот же самый яд, что и в прошлом году. Того же самого пилота Цыплакова. И тот же самолет...— требует он от работников станции.

Дело обстояло так: в 1962 году химическая прополка в совхозе проводилась натриевой солью, которая здесь, как, впрочем, и по всему краю, дала очень скромные результаты. Этот гербицид в наших жестких водах быстро теряет свои ядовитые свойства: от него погибло не более половины сорняков. В минувшем году применялся бутиловый эфир. К тому же и молодой пилот Цыплаков славно поработал. Результаты чудодейственные — стопроцентная гибель многолетних сорняков и резкое повышение урожайности, большой экономический эффект, во много раз превышающий затраты на химическую прополку.

Итак, если химия во всем своем многообразии еще не стала полноценной помощницей на целине (а она такой будет!), то гербициды уже вошли в строй.

### ВЫСТОЯЛИ!

Такой засухи, как прошлогодняя, еще не знали на целине. Старожилы говорят, что и за предыдущие пятьдесят лет не встречалось подобной. И все же при общей картине неурожая были острова и островки, где намолоты были вполне сносные. Значит, есть такие условия, когда засуха не страшна! И надо выяснить, что это за условия. К «островам» удовлетворительной урожайности относится и большое совхозно-опытное хозяйство Шортандинского института. Здесь хлеба выстояли против засухи 1962 года и дали в среднем около двенадцати центнеров с каждого гектара. Устояли они и против затянувшегося, испепеляющего зноя прошлого года — дали по восемь с небольшим центнеров. Между тем, по сведениям гидрометеорологической службы, в зоне Шортанды за весь июнь выпало 11,6 миллиметра осадков, которые не могли оказать существенного влияния на урожай. Не побаловала дождями и первая пятидневка июля.

В эти годы институт наряду с другими мерами применял новую безотвальную, провозеозийную систему обработки почвы в сочетании с агротехническими и химическими средствами борьбы с сорняками. Значит, тут держали и выдержали экзамен и новая система обработки почвы, и новые сельскохозяйственные орудия, и способы их использования.

Но есть ли в этом новом что-нибудь неожиданное? Разумеется, нет. Уж давно сибирские земледельцы собственным опытом познали, что наши легкие и карбонатные почвы не требуют и не любят обязательного ежегодного оборота пласта. Даже в давние времена на сибирских «острожках» кое-где применялся буккерный сев по припашку. Причем и земли не пылили, и урожай получались превосходные. Однако для того, чтобы в массовых масштабах, отступая от всесоюзных шаблонов, перейти к своим приемам обработки земли, требовались определенные материально-технические средства и организационные меры. У нас же этого еще не было.

Перспективное не всегда и не везде можно сочетать с оперативным. Возникало вопиющее противоречие. Интересы борьбы с ветровой эрозией и накопления влаги в почве заставляли быстрее переходить к новым методам обработки почвы с сохранением стерни. А огульный переход к посевам по стерне в условиях монокультурного ведения хозяйства (да еще без паров!) плодит сорняки, которых и без того предостаточно...

Шортандинские ученые давно ратовали за спасительную стерню. Но что они могли предложить? По существу только голый принцип, еще не подтвержденный успешным применением на собственных полях! Теперь дело коренным образом меняется. Новая система машин и орудий для безотвальной обработки почвы и сева по стерне наконец-то создана и пушена в серийное производство. Накоплен значительный опыт и в приспособлении старой техники для работы по-новому. Получены гербициды. Теперь перспективное становится и оперативным. Целинное земледелие вступает на новый этап — высокоинтенсивного развития.

Вот как начался этот этап у шортандинцев. На первых порах, особенно на землях, прирезанных от колхоза, институт терпел поражения. Но, «пропустив» почвы через чис-

тые пары и широко применяя теперь гербициды, шортандинцы покончили с массовой засоренностью и стали получать устойчивые урожаи.

Павел Петрович Колмаков рассказал мне, как они это делали на одном из участков совхозно-опытного поля. В иные годы на каждый квадратный метр этого участка приходилось по сто семьдесят два стебля осота. Из года в год здесь высевали одну и ту же культуру и собирали от силы четыре центнера с гектара. Обработывая в течение трех лет этот участок октиловым эфиром, шортандинцы полностью уничтожили сорняки. И вот в прошлом неурожайном году излеченная от сорняков земля дала по 18,4 центнера зерна с гектара. Растения, своевременно избавленные от прожорливых прихлебателей, гораздо легче перенесли и невзгоды засухи.

Этот настоящий большой успех шортандинцы получили благодаря умелому применению всего комплекса агротехнических мер. Но главную роль в этом сыграл союз новых методов обработки земли с химией и верный выбор срока сева.

### УБОРКА — ЛЕГКАЯ И ТЯЖЕЛАЯ

Поздние сроки сева неизбежно вызывают и позднюю уборку хлебов, усложненную короткой и ненастной осенью Западной Сибири и Целинного края.

Хорошо организованные хозяйства проводят жатву при поздне сева и рано и быстро. Высокая организованность всегда и везде — главный резерв. Нужно научиться с наименьшими потерями проводить уборку урожая и в тех случаях, когда она запаздывает. Но климатические границы не раздвинешь — пригодный для полевых работ период в Целинном крае на целых два месяца короче, чем, например, в Поволжье.

Убеденный сторонник и, можно сказать, один из главных теоретиков сева пшеницы в среднемайские и позднемайские сроки, А. И. Бараев не закрывает глаза на трудности поздней жатвы. Уж кто-кто, а он-то сведущ в этом деле, получал «и синяки и шишки» за уборку — опытное хозяйство у них ведь огромное! Он не боится называть вещи своими именами.

— Согласен,— говорит он,— это нелегкое дело! Но если бы, к примеру, спросили прежде хорошего хозяина: он за что — за то, чтобы получить сорок — пятьдесят пудов пшеницы с гектара и легко убрать их в августе при хорошей погоде, или за сто пудов, но с трудной уборкой в ненастье попозже — крестьянин сказал бы: нет уж, лучше поймаю с уборкой, но возьму настоящий хлеб...

Вообще-то рассуждение правильное. Только местные крестьяне сеяли обычно раньше, нежели это делаем мы в последние годы. Те же деды из Ставропольки говорили мне:

— Прежде почему-то больше приполов (прибавка.— Н. В.) давали ранние посевы, а теперь чаще — поздние... Погода вроде переменилась: раньше и зимы были снежнее, и озимка у нас хорошо вырастала.

Климат-то вряд ли переменится, но цикличность погодных условий вполне возможна.

Верно и другое: в сравнении с первыми годами целинной эпопеи техническое вооружение на уборке урожая неизмеримо выросло и продолжает расти. Умелому организатору отнюдь не требуется теперь затягивать уборку до «белых мух». Но это только при одном неперемennom условии — если все хлеба неспевают не позднее 10—15 сентября! Позже и, уж конечно, в октябре чаще всего наступает устойчивое ненастье, при котором даже могучая широкозахватная техника подчас бывает бессильна.

Все десять уборок целинного урожая я провел в совхозах и колхозах Кокчетавской области. Вместе с новоселами могу засвидетельствовать: за десять лет не было случая, чтобы даже к первому октября области, входящие теперь в Целинный край, завершили жатву. Исключением можно назвать разве только шестьдесят второй год. Но тогда свирепая июльская засуха еще в фазе налива иссушила пшеницу и буйно поднимавшуюся кукурузу. Или еще шестидесятый год в горносопочных районах: там после сильного раннего заморозка колосья побелели за одну ночь. Но это была уборка уже не хлебов, а битой морозом шелухи. В растягивании жатвы, как показывает опыт, прежде всего повинны были неорганизованность, плохое использование техники, малая забота о подготовке местных механизаторских кадров и другие чисто субъективные факторы.



Припоминаю 1959 год. Алма-Ата засыпала категорическими телеграммами: «Во что бы то ни стало завершить уборку и хлебосдачу к 15 сентября». А выдешь, бывало, в совхозы: массивы чудесные, но... изумрудные. И думаешь: вот какая осведомленность о положении на местах! И грустно и смешно. В 1961 году кустанайцы многие тысячи гектаров скосили по директиве преждевременно и потеряли на этом десятки миллионов пудов зерна.

Что означает легкая или тяжелая уборка экономически, попытаюсь показать на опыте уже знакомых нам инициативных чушкалинцев.

Опять два случая. В 1962 году при среднестатистических сроках сева они получили самую низкую за последние четыре года урожайность: собрали по шесть центнеров пшеницы с гектара. «Весной очень пересушили землю», — признают сами руководители. А раз низкая урожайность — значит высокая себестоимость зерна и убытки. Правда, целинное полеводство, как это доказано опытом, может быть рентабельным и при урожайности в семь-восемь центнеров с гектара. А тут всего шесть центнеров... Но и при таком сборе, засыпанном в закрома своевременно и своими силами, без дорогостоящих сезонников, чушкалинцы получили восемнадцать тысяч рублей прибыли. «Вот молодцы, умеют, значит, хозяйствовать», — говорили тогда в области.

А вот как обстояло в минувшем году: площади в основном те же и организаторы те же, только число местных механизаторов значительно выросло, а вот урожайность — если считать то, что попало в бункер, — вдвое больше. Естественно было ждать больших прибылей. Но что за нелепость? Впервые за четыре года полеводство у чушкалинцев убыточно.

А все — в позднем поспевании хлебов, в бедственной, «авральской» уборке. В конце сентября и тем более в октябре колос уже не зреет — тепловой и световой режимы уже не те, какие требуются для завершения вегетации. Плохо созревшее, влажное зерно трудно собрать и при уборке не прямою: из бункера оно выходит не рассыпью, а сплывшимся комом. Да и прогрессивная раздельная жатва не помогает: при затяжном ненастье валки преют, даже прорастают. После обмолота зерно требует основательной просушки. Всем памятно дымящиеся вороха и вагоны с зерном в годы «мокрых» уборок. Впрочем, что тут доказывать: поздняя жатва — это — очень часто — дорогой хлеб пониженного качества. Сам процесс поздней уборки обходится в несколько раз дороже, чем уборки ранние, своевременные.

Кто только не помогал в минувшем году обычно «справным» чушкалинцам! Приезжали комбайнеры даже из Павлодарской области. Бились до самых ноябрьских праздников; основное ухватили, используя редкие «окна» ясной погоды, но часть валков, притом самых тучных, так-таки и пошла под снег. Дело закончилось выездом специальной комиссии партийно-государственного контроля...

А если взять качество зерна, реальные амбарные намолоты. По бункерному весу урожайность составляла до четырнадцати центнеров с гектара, а по итоговой справке заготовителей в зачетном весе едва превысила восемь центнеров. Все скидки да скидки: на влажность зерна, на его шуплость, морозобитность и т. д. В 1962 году все зерно от чушкалинцев было принято как семенное с высокими надбавками за сортность и качество. А теперь бывшие поставщики сортовых семян превратились в потребителей.

Но, может быть, это просто редкостный случай, вызванный запоздалым севом? К сожалению, в этом примере — лишь концентрированное выражение того, что встречается часто. За прошедшие десять лет почти ежегодно подборка валков в Целинном крае продолжалась не только до второй половины октября, но и до ноябрьских праздников. Что греха таить — иногда она заканчивалась и... в мае следующего года.

Заканчивать всю уборку в августе — этого, пожалуй, нам не добиться. Но пусть для наиболее запоздавших полос будут прихвачены еще десять, даже пятнадцать дней сентября — как бы это было замечательно! И зерно тогда полновесное, хорошего наполнения, и потери минимальные, и ранние заморозки не угрожают, и больше простора для осенней подготовки почвы — истребление сорняков, накопление питательных веществ — для весны.

Вопрос о ранней уборке должен решаться нами энергично. За это стоит бороться и бороться!

## РЕЗЕРВ СКОРОСПЕЛОСТИ

Итак, еще одно противоречие? Да. И немаловажное. Ведь иногда действительно получается по поговорке: «Хвост выгащишь — нос увязнет, нос выгащишь — хвост увянет». Ранние сроки сева приемлемы лишь при благоприятном стечении обстоятельств. Однако создавать условия для своевременного поспевания хлебов и ранней уборки совершенно необходимо.

И добиться этого — в наших силах.

Опять вернемся к химии. Общеизвестно, что, если растения хорошо обеспечены азотом и недостаточно фосфором, то они развиваются непропорционально. Поэтому внесение фосфорных удобрений в этих условиях не только повышает урожайность, но и убыстряет созревание хлебов, улучшает качество зерна. Пусть таким путем мы сократим вегетационный период пшениц всего на три-четыре дня. Но в иные годы такой выигрыш во времени как раз и позволит «проскочить» с жатвой до устойчивой осенней непогоды и повысить амбарный урожай.

Одновременно надо шире и смелее использовать резерв скороспелости, заложенный в самих растениях. Высокоурожайные и относительно быстро созревающие сорта пшениц в последние годы заметно продвинулись на целину. К ним, в частности, относится прославленная «волжанка» — «саратовская-29». Набор таких пшениц увеличивается за счет своих, еще лучше приспособленных к местному климату, которым населяет край наш замечательный селекционер Герой Социалистического Труда Валентин Петрович Кузьмин. Он познакомил меня, например, с проходящим государственные испытания новым среднеспелым сортом «целиноградка». По своим качествам эта пшеница превосходит «саратовскую-29». Не менее перспективен и новый сорт «ласточка». Его уже вполне можно отнести к скороспелым — вегетационный период «ласточки» не превышает восьмидесяти трех дней.

К тому же следует расширять площади и под быстро поспевающими культурами — особенно ячменем. Он в Целинном крае удобен и агрономически и организационно. По урожайности, как показали минувшие засушливые годы, он наиболее устойчив. В новейших энбекшильдерских совхозах «Койтасский», «Советский», «Авангард» и других, где бедные солонцеватые почвы, ни пшеница, ни горох, ни одна другая культура за эти годы не удавались, а ячмень и просо собирали по восемь—десять центнеров с гектара.

Да, нужен, видно, строго дифференцированный подход к размещению культур: в каждом хозяйстве сеять больше того, что наилучшим образом родится! Тогда и валовые сборы будут выше.

Ячмень перспективен еще и потому, что совершенно исключает опасность поздней уборки: его вегетационный период — около семидесяти дней. И о сроках сева ячменя споров почти нет: лучше удаются поздние, позволяющие весной хорошо очистить поля от сорняков. В прошлом году у шортандинцев самыми урожайными оказались полоски ячменя, посеянного 15 июня! Но, конечно, равняться на этот случай не стоит, и шортандинцы и земледельцы-практики пришли к тому же заключению, что и Мальцев: лучшие сроки для ячменя — последняя пятидневка мая и первые пять дней июня.

На вопрос, какая бобовая культура больше всего подходит для Целинного края, один из шортандинских ученых шутиливо ответил:

— Самая подходящая для нас бобовая культура — это... ячмень.

Но это не значит, что шортандинцы, как и практики земледелия, — противники гороха или нута, просто они особенно горячие сторонники ячменя. Ученики В. П. Кузьмина, молодые селекционеры И. Ф. Лошак и другие работают над выведением новых целинных сортов ячменя, гречихи, проса, полбы. Они поставили перед собой задачу повысить в ячмене процент белка на столько, чтоб приблизить его по этому важнейшему показателю к бобовым культурам.

Разумеется, пшеница была, есть и будет основной культурой целинного земледелия. Однако сеять надо и другие культуры, которые экономически выгодны. Ячмень уже доказал на целине свою высокую эффективность. А его удельный вес в общем балансе зерновых пока еще очень скромен. В Кокчетавской области он составляет всего семь — десять процентов. Стало быть, есть возможность использовать и этот резерв скороспе-

лости для более ранней уборки — открыть дорогу и этой проверенной, древней культуре. А может быть, стоит высевать и полбу, которая по своей скороспелости приближается к ячменю, а по содержанию белка и вкусовым качествам превосходит его?

### «ВАРИАНТ» СОВХОЗА «ЗАПАДНЫЙ»

Вместе с одним столичным корреспондентом мне довелось впервые побывать в этом крупном хозяйстве (ныне Рузаевского производственного управления) в самом начале благодатной жатвы 1956 года. Его директор Яков Абрамович Туник — человек, как говорится, на возрасте, ему теперь под шестьдесят, — поразил нас энергией и необыкновенной подвижностью. Голова белая, ни фуражки, ни шляпы он в теплое время не признает, а глаза у него так и горят.

Уроженец малоземельного запада нашей страны, сын местечкового сапожника и белорусской крестьянки, агроном по образованию, он и сам был поражен диковинным урожаем. Первое, чем он нас встретил, и последнее, чем проводил, было восторженное:

— Да вы только посмотрите — уродилось-то что!..

Сколько мы ему ни объясняли, что торопимся в Рузаевку, он и слушать не хотел, усадил в машину и до тех пор не успокоился, пока, улаживая одновременно сотни неувязок в бригадах, не показал нам все поля, которыми действительно можно было залюбоваться.

С тех пор как на ковыльном безжизненном пустыре Бердык-бек добровольцы из Луганска, Белоруссии и Алма-Аты забивали под руководством Якова Абрамовича разметочные кольшки и проводили первые борозды, прошло полных десять лет. И вот уже подошла одиннадцатая целинная весна. Многое переменялось за это время на рузаевской земле. Уже не встретишь здесь многих совхозных директоров-зачинателей: кто вышел на пенсию, кто выбыл по болезни, а кто и по «неуправе». Только Яков Абрамович как будто не подчиняется времени. По-прежнему он верховодит в своем «Западном», по-прежнему энергичен и молод. И фамилия его словно приросла к совхозу, так что вместо «Западный» чаще говорят: «У Туника». Помнится, на одном из совещаний бывший первый секретарь Кокчетавского обкома партии, тоже уроженец Белоруссии, А. Е. Клещев, сравнивая масштабы производства товарного зерна северо-западных областей Союза с целинными, сказал:

— У нас в Белоруссии — больше по бульбе. А по зерну область, в которой я родился, — это пока всего полтора Туника...

И всем было ясно, какие именно размеры производства зерна приводит секретарь для сравнения.

Разумеется, далеко не каждый год «Туник» был полновесен. В одни годы давало хозяйство свыше двух миллионов пудов зерна, в другие — куда меньше, в среднем же государство ежегодно получало около миллиона пудов зерна, преимущественно пшеницы.

Мне хочется рассказать сейчас о делах «Западного» в минувшем году. Весной застал я там особенно радостное оживление. Все — и Туник, и кипучий главный агроном А. А. Новиков, за которыми, как говорится, сам черт не угонится, и лучший кукурузовод области застенчивый белорус Ким Аксамит — все уверяли меня, что урожай будет редкостный.

Побывав на полях, я убедился, что такая уверенность вполне обоснована. Не полагаясь на естественное распределение осадков, здесь накопили и сохранили осенне-зимнюю влагу. Даже сквозь «мульчу» от весеннего боронования поля парили в предпосевном ожидании. Да, по всему видно — быть отменному урожаю в «Западном».

Надежды не оправдались. Такой уж тяжкий год выпал. Если первый существенный дождь прошел в нашей области 9 июля, то на землях «Западного», за исключением небольшой части третьего отделения, первые осадки выпали только 25 июля, когда они уже не могли принести растениям никакой пользы. Подумать только — целое лето стоял иссушающий зной!

Встретившись с Туником в июле на очередном расширенном пленуме обкома партии, я спросил его о делах.

— Горим! — удрученно ответил он. — Ставропольские поля стараюсь даже стороной объезжать. Смотреть тяжело...

Нелегко земледельцу, сознающему свой долг перед родиной, смотреть на поля, где гибнут труд и надежды стольких людей.

Однако Туник спустил краски. Даже в этих критических условиях, без единой капли дождя, хлеба все-таки преждевременно не пожухли, выстояли! Неоценимую помощь оказала и химическая прополка, которая проводилась в совхозе на пятнадцати тысячах гектаров. Она избавила пшеницу от расхитителей влаги. Я своими глазами видел, как на второй день после обработки аминной солью засыхал желтый осот. Осот розовый и голубой более усойчивы, но выдернешь их колючие мощные стебли — и убеждаешься: корни гниют, отмирают, цветов нет, сорняки обречены...

Во всяком случае в отличие от соседней в «Западном» не было списано «на стихию» ни одного гектара, вся пшеница была убрана на зерно. Совхоз и в 1963 году сдал государству 835 тысяч пудов огличного семенного, сортового зерна. А Ким Аксамит, удобривший свой участок перегноем и минеральными удобрениями, вновь получил наивысший сбор силосной массы кукурузы. И то и другое по условиям года было справедливо оценено как пример для других.

Вот что значит целенаправленная борьба за влагу! Да еще в сочетании с химическими помощниками. Выпадут ли обычные среднелетние осадки и когда именно выпадут — это от нас не зависит. А если в метровом слое почвы влага накоплена и закреплена весной, то нет нужды гадать на кофейной гуще: быть или не быть урожаю? Как правило, урожай будет! И если говорить о различных способах борьбы за верный урожай, то этот вариант самый надежный! Ведь где больше влаги — там эффективней и минеральные удобрения. Свободней можно тогда выбирать и культуры, и сроки сева. Запасы осенне-зимней влаги — вот фундамент урожая в нашей засушливой зоне! Накапливать их и накапливать!

Ну, а что, если их все-таки нет, если к весне почва сухая или почти сухая — как быть тогда?

Чтобы «перехитрить» засуху, требуется особо гибкое маневрирование, тщательный учет всех особенностей года. Взять хотя бы нормы высева. Ведь совершенно очевидно, что одинаковый для каждого года шаблон и нетерпим и пагубен: при малых запасах грунтовой влаги сей пореже, не ошибешься, при больших — погуще. Однако и эта агрономическая аксиома далеко не всегда соблюдается на практике.

Необходимо также весной корректировать в зависимости от глубины влажного слоя посевные планы, структуру посевов. Малая глубина — больше давать места засухоустойчивым культурам, большая — наоборот! Скажем, весной прошлого года в зоне новых совхозов энбекшильдерской группы — «Советском», «Койтасском» и других — почвы были совершенно сухими. Земли бедные — пшеница и горох и при более высоком увлажнении не удавались! Однако по твердому плану того года там явно в ущерб делу сеяли и пшеницу и горох. Зачем? Здесь куда лучше выросли бы ячмень, просо, нут. Они и выросли, но на малых площадях. Разумеется, для такого гибкого ведения хозяйства необходимы переходящие фонды различных семян.

Но возьмем просо. Оно и в засушливые годы дает хорошие урожаи, а вдобавок и семена проса на гектар требуется раз в десять меньше, нежели других культур. Не случайно этот злак выращивали даже кочевники-скотоводы возле своих стоянок. В прошлом году на Кийминском сортоиспытательном участке Целиноградской области с посевов пшеницы едва вернули семена, а проса было собрано более двадцати шести центнеров с гектара...

Гибкое маневрирование в подборе культур с учетом складывающихся метеорологических условий позволит в любой год получать высокий доход. Мы обязательно придем к этому. И чем скорей, тем лучше. «Приоритет должен быть дан урожаю», — говорит Н. С. Хрушев.

Земледелие Целинного края — своеобразное. Здесь нужен большой простор инициативе производственных управлений и хозяйств, планированию снизу. Могут сказать:

это запоздалые рассуждения. Отнюдь нет. Известная скованность наблюдается еще даже и в выборе наиболее правильных агротехнических приемов. Приведу такой, на мой взгляд, показательный случай из аварийной практики прошлого года.

Уже в конце июня часть посевов в совхозах Энбекшилдерского управления, кроме «Чушкалинского» и некоторых других, начала увядать, а в начале июля и совсем пожелтела. Было ясно, что зерна тут не дождешься. Если даже и пойдут зеленые подгоны после запоздавших дождей, то это ничего не изменит. Возник вопрос: а не лучше ли такие земли, или хотя бы основную их часть, запахать и обработать как пары, чтобы на будущий год иметь гарантированный урожай? Крестьянин, если бы случилась такая беда, ни на минуту не задумавшись, распахал бы ее. И это было бы по-хозяйски.

— Принять такое решение сами мы не имели права,— рассказывал начальник управления Н. Н. Квитченко,— запросили область, отсюда переслали наше ходатайство в край, край — в республиканскую столицу Алма-Ату... Так и пошло «гулять» по инстанциям оперативное дело. И «гуляло» до тех пор, пока не упустили время...

Да разве так было в одном управлении?! Особенно много засеянных площадей «активировали» в Павлодарской области, но и там они не прошли паровую обработку... Такая скованность, нередко еще помноженная на неповоротливость и безынициативность местных руководителей, только во вред делу.

И еще один частный, но немаловажный вопрос. Агроном призван быть разведчиком почв. Он не может работать вслепую. Теперь, после декабрьского Пленума ЦК КПСС, создаются агрохимические лаборатории в управлениях и даже в отдельных хозяйствах. Великое дело! Но агроном целинного хозяйства наряду с этим должен быть хорошим, если можно так выразиться, «влагознатцем». Чтобы весной правильно установить норму высева, разместить культуры и выбрать наиболее выгодные сроки сева, он прежде всего обязан учесть глубину и степень увлажненности своих полей.

Чем он для этого оснащен? Пятью пальцами и лопатой. Конечно, и лопатой тоже можно докопаться до сухого слоя, установить размеры влажного. Но куда лучше будет, если мы вооружим каждого агронома почвенным влагомером. Пока этот не столь уж сложный и дорогой прибор мне во всей Кокчетавской области доводилось видеть в одном только Келлеровском опорном пункте. О таком приборе мечтают и Новиков в совхозе «Западный», и другие агрономы целинных хозяйств...

## ПОЧЕМУ В «ЗАПАДНОМ» УСТОЙЧИВЫЕ КАДРЫ

Итак, совхоз «Западный» в борьбе за устойчивую урожайность применил самый надежный «вариант». Но правильно ли назвать этот «вариант» только агротехническим? Думаю, что нет. А тогда как же?

...Когда по дороге из Рузаевки в сторону Кустаная, переехав понтонный мост через Ишим, взбираешься на крутой левый берег, то на взгорье, при въезде на центральную усадьбу, обязательно увидишь низенькую хибарку.

— Тут была первая резиденция Саенко. С нее и началась история нашего совхоза,— скажет с улыбкой старый «западник».

Впрочем, это не совсем точно. Первые недели жизни на целине бывший кадровый рабочий Алма-Атинского мясокомбината кузнец Андрей Иванович Саенко вместе со своим пятнадцатилетним сыном Гришей жили под открытым небом, спали, свернувшись калачиком и потеснее прижавшись друг к другу, под огромным буроватым валуном на берегу Ишима. Валун этот и сейчас еще можно увидеть возле здания совхозной больницы.

Потом уж опытный кузнец и мастер на все руки Саенко с помощью сынишки слепил хатенку-кузницу, в которой они оба работали и жили. А недавно, когда на празднике «Первого колышка» зашла речь о сегодняшних бытовых условиях, то всеми уважаемый Андрей Иванович заключил так:

— Теперь жизнь праздничная...

Скажем прямо: он не совсем прав. И в «Западном», как и в большинстве целинных совхозов, уровень жизни еще далеко не тот, к которому мы стремимся и которого непременно добьемся своим трудом. Но что примечательно для этого совхоза? Когда возник вопрос: а есть ли у нас семьи, про которые можно было бы сказать, что люди живут очень плохо, бедствуют, — не было названо ни одной. Лишь после некоторого раздумья собравшиеся заговорили о Шишкиных. И то, оказывается, квартира у них нефлохая, а если в остальном еле перебиваются, то по вине главы семьи: трое детишек, а он пьянствует. Кстати, тут же на собрании было решено, что совхозная общественность специально займется этим семейством.

В «Западном» на редкость устойчивые кадры. Притом и руководителей и механизаторов! Здесь ни мало, ни много, а сто двадцать семей — зачинатели. Как приехали в марте — апреле 1954 года, так и живут. А потом — и среднее звено. Почти ежегодно доводится бывать в бригадах и заранее знаешь, что в восьмой встретишь «крепкого» насчет дисциплины бригадира А. И. Захарова, превратившего отсталый коллектив в передовой, борющийся за звание коммунистического. В третьей бригаде непременно увидишься с настойчивым, даже упрямым, но очень хозяйственным бригадиром Е. М. Токуном. В четвертой найдешь на своем месте А. С. Ковалева, в шестой — Г. В. Ананайчука. Совхозный ветеран, лучший в свое время бригадир И. Д. Захаров заведует теперь механической мастерской. Он же и заместитель секретаря партбюро, непререкаемый преподаватель «механизаторского всеобуча».

В большой совхозной семье, да за десять-то лет, конечно же, всякое бывало. Среди орлов попадались и коршуны. Были и такие, что, получив подъемные, скорехонько удирали и которых, если кто и попросится, не всегда и не каждого примут обратно. Помимо директора, с ними предварительно поговорит еще и сам рабочий класс в лице общественного отдела кадров, который давно создан и активно действует под руководством старого тракториста Д. М. Звягина.

Случалось, однако, что и хорошие, очень ценные для совхоза люди сторяча бросали хозяйство. Да иногда еще и хлопнув дверью. Временно покидали совхоз даже прославленные зачинатели. Но, совершив необдуманный поступок, они, по их же словам, сразу почувствовали, что там, на целине, словно бы часть своей души оставили. И возвращались обратно.

Или взять молодых, уходящих из совхоза служить в армию. Как правило, они возвращаются потом именно в свой совхоз. Показательна история с трактористом Юрой Филатовым, прокладывавшим в совхозе первые борозды. После службы приехал сначала к своей матери Анне Григорьевне, председательнице небольшого колхоза в Калининской области. Пожил неделю-другую и, затосковав по целине, заявил: «Тянет меня в «Западный». Я там фундамент закладывал. Пока Ишим не тронулся — поеду». Дело кончилось тем, что вслед за ним потянулась сюда и вся семья Филатовых. Пожилая вдова (муж погиб в Отечественную войну) Анна Григорьевна теперь председатель поселкового Совета... Такие примеры нередки и в других хозяйствах.

Почему в «Западном» устойчивые кадры?

Может быть, какие-то сверхновшества в бытовом устройстве? Как будто бы нет. Правда, элементарное сделано. Бесквартирных давно уже нет, для «холостежи» построено хорошее общежитие, прекрасно оборудованы полевые станы, бойко торгуют на центральной усадьбе три магазина — продовольственный, хозяйственно-мебельный, мануфактурный, есть восьмилетняя школа, клуб с библиотекой, своя небольшая больница и т. д. Но, в общем, совхоз, как и другие. В одних вопросах быта здесь чуть лучше, в других — чуть похуже. Запросы растут, и службу быта — улучшать и улучшать. От этого зависят и настроение людей, и производительность их труда. Но если «Западный» сравнивать с совхозом «Симферопольский», где летом произошла большая утечка кадров, то там жилищное строительство развернуто даже шире. Молодцы — ленинградские студенты летом отмахали этому совхозу целый квартал двухэтажных современных зданий. Стало быть, есть в «Западном» еще что-то, притом, видимо, немаловажное.

Что же это?

Помог мне найти разгадку инспектор-парторганизатор Рузаевского парткома С. Б. Лукашевич. Мы просмотрели с ним несколько сот личных дел работников совхоза и с удовольствием установили: здесь почти все умеют управлять трактором или автомашиной! Больше того — семьдесят процентов всех механизаторов совхоза владеют тремя специальностями. А в нынешнюю зиму почти сто человек усиленно овладевают основами агрохимии.

Разумеется, судьбы людей складывались по-разному. Взять хотя бы семью Саенко. Она в известной мере типична.

Саенко-старший уже в конце первого года получил двухкомнатную квартиру и перевез сюда из Алма-Аты всю свою семью. Как мы видели, он доволен и работой и бытом. Его старший сын Гриша уже зовется Григорием Андреевичем: худощавый, рослый мужчина с правильными чертами лица, со спокойной уверенностью во взгляде. Живет самостоятельно, в отдельной квартире. Женат. У него уже пятилетняя дочь Наташа и трехлетний сын Игорек. Саенко-сын овладел всеми важнейшими совхозными специальностями, без которых, по его словам, и делать на целине нечего. Летом он тракторист (да еще какой — водитель стосильной машины!), зимой — отличный шофер, осенью — прекрасный комбайнер. Ну, и, конечно, если потребуется для ремонта, то и слесарь... В материальном благополучии семьи Григорий Андреевич уверен и не беспокоится.

— По себе сужу, — говорит он, — в нашем совхозном деле всегда полтора-два — двести пятьдесят рублей в месяц заработаешь. Только учишься, да не ленишься... И еще — не будь белоручкой. Такие для целины и вовсе не подходят.

Ведь что бывает, рассказывает он, только получит новоиспеченный механизатор водительские права, как воображает себя по меньшей мере академиком. Скажем, погрузка задерживается — людей не хватает, — а он в кабине сидит, скрючился, замерзает, а лопагу взять да помочь — ни-ни!

Словом, в «Западном» сложился коллектив дружный, хорошо обученный, приспособленный к условиям целины, а потому и круглогодично занятый на производстве. Вот почему и боевые сезонные дела, включая жатву, давно уже выполняются своими силами. В минувшем году помогали и соседям. А как много это значит и для производства, и для быта целинников! Ведь и фонд зарплаты, и натуральные поощрения не «уезжают» отсюда ни на Ставрополье, ни в Южный Казахстан, а остаются на месте — их зарабатывают свои же механизаторы. И для совхоза дешевле, и жизнь новоселов богаче!

На целине важны все механизаторские специальности, но в «Западном» на основе опыта пришли к заключению, что комбайнер — это главная специальность. С начала уборки на мостик самоходок становится весь цвет механизаторской рати. Включая, если потребуется, и руководящий технический персонал. Кстати, успех прошлогодней жатвы, когда хлеба сумели ухватить своевременно, для многих был и семейной победой. Всю зиму Надя Бондаренко, Ира Тишкова и многие другие домохозяйки изучали автомобиль и правила его вождения. Двадцать женщин заменили своих мужей на перевозках зерна, лучшие водители автомашин смогли работать на комбайнах. Помогла тут, конечно, и забота о матерях. Два новеньких детских сада — гордость совхоза. Такой в них порядок и чистота, что матери и отцы, как зайдут, умиляются.

Так же было и на посевной. Весной работники совхоза, заинтересованные в конечном результате — в урожае, землю обрабатывали с умом, так, чтобы и сорняки истребить, и влагу не упустить. Разрыв на час в предпосевных и посевных операциях считался уже ЧП. Особенно старались использовать предвечерние и вечерние часы, чтобы растревоженная почва за ночь поулеглась и меньше испаряла драгоценную влагу. Посеяли быстро, в среднemaйские сроки, всходы получили ровные и дружные, без последующих досадных подгонов, осложняющих уборку. Вот и выходит, что прошлогодняя удача совхоза с накоплением и сбережением влаги — не только и даже не столько результат агротехнический, сколько организационный!

Я далек от того, чтобы изображать совхоз «Западный» таким идеальным хозяйством, а его ветерана-директора причислять к лику святых. Здесь многое еще нужно делать для подлинной интенсификации земледелия, а животноводство и вообще-то

развито слабо. Да и сам стиль руководства увлеченного и деятельного директора я бы не рискнул считать образцовым. У директора фактически двойной рабочий день: за повседневной «оперативкой» не всегда остается время для углубленной работы над перспективами... Но основного, главного у Туника не огнишь: сам накрепко прирос к хозяйству и людей прирастил. А это — самая прочная основа для интенсификации хозяйства.

У павлодарцев, земли которых особенно страдают от ветровой эрозии, услышал я как-то такое соображение. «Чтобы закрепить почву, надо закрепить кадры». Мысль эта верна и в отношении устойчивых урожаев: чтобы были они стабильные и хорошие, нужны кадры стабильные и хорошие — квалифицированные, опытные, умеющие разбираться в сложностях целинного земледелия и преодолеть их. Такие кадры и созданы в «Западном». Как этого достигает Туник?

В совхозе про него говорят: «Батько у нас вездесущий и всевидящий». Он успевает всех «охватить» и для каждого находит нужное слово.

Все годы Отечественной войны Яков Абрамович провел на фронтах: начал с Калининского и кончил Прагой Старший лейтенант, он долгое время был замполитом в зенитном полку, а затем сам командовал минометной батареей. Таков он и сегодня на боевом хозяйственном фронте: и командир и политработник. Опытный агроном-организатор, он, кроме того, и лектор, и руководитель политкружка, и активный член школьного совета, и участник пионерских костров...

Главный секрет его умения, видно, в том, что коллектив для него не просто «спяточный состав», а каждый человек по отдельности.

...Под вечер сидим мы с Яковом Абрамовичем в его небольшом кабинетике. В комбинезоне, прямо с работы, зашел подтянутый, механизаторского вида человек лет под тридцать. Сказал он всего три слова:

— Тесно, Яков Абрамович...

— Знаю, дорогой, знаю. Вашу семью поставили на первую очередь.

Человек ушел обнадеженный. А мне Яков Абрамович пояснил:

— Михаил Урих. Чудесный механизатор. Но у него уже четыре малыша. Надо помочь с жильем, иначе можем потерять человека для совхоза...

Целинники теперь — уже не те одиночки, что прибывали сюда с веселыми комсомольскими эшелонами, а чаще всего люди семейные. Обычные типовые квартирки в двадцать квадратных метров для многих уже малы. Правда, в совхозе недавно справились завидное новоселье несколько многосемейных ветеранов, в их числе и кукурузовод Аксамит. Они получили по четыре комнаты в зданиях нового типа: каждая квартира — две комнаты в первом этаже и две во втором. Но пока построены всего лишь два таких дома — они, разумеется, проблемы всех многосемейных не решают...

Позднее пришел подписать платежные ведомости главный бухгалтер. Чего бы, кажется, проще — «подмахнуть» бы ведомости, как это делают многие руководители, и делу конец. Но Туник не спешит «подмахнуть». Так и впился глазами в ведомости. Делает заметки на листочке.

— Вот у этих двух, — говорит главному бухгалтеру, — неестественно высокий заработок. Присмотритесь, пожалуйста, еще повнимательнее к документам. Может быть, приписки?

— У этих восьми, — с озабоченным видом показывает уже мне отдельный список, — заработки такие, что никак не хватит на житье. Их сегодня же вызову. Или по производству что неладно, или в семье. Этот шофер — парень, ох, ненадежный, тут возможны псевдны «налево». А с этим поговорю сегодня...

Вот оно как! Платежная ведомость для директора — настоящий сигнальный лист, исходный материал разбора целой цепочки причин и следствий. По ней он решает главный вопрос: все ли по-настоящему «приставлены к делу».

Особенно озаботило директора, что трое новичков из белорусских школ механизации сельского хозяйства («Павел Левкович и другие — ребята будто бы старательные») уже второй месяц залегают в долги. Может быть, им подсунули плохо отремонтированные тракторы? Может быть, нужно прикрепить к ним опытного шефа? Обязательно разобраться! Иначе пойдут искать лучшей жизни...



Когда на центральной усадьбе уже погасли огни, в кабинете директора было светло. Вызванные по списку входили и выходили поодиночке...

Позднее я узнал, что Паше Левковичу действительно дали неотремонтированный трактор, наладить который он не умел, потерял интерес к работе, начал прогуливать, собирался уезжать... Коммунисты бригады помогли парню поправить машину, а вместе с ней поправили и человека: Левкович тоже «прирос» к совхозу и работает хорошо.

\* \* \*

«За десять минувших лет целинники прошли большой и славный путь. Целина хорошо служит народу, делу строительства коммунизма»,—говорится в обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР к участникам освоения целинных земель.

Новые земли не оскудели. Потенциальные возможности поднятой целины неисчерпаемы. Даже в прошлом году после июльско-августовских дождей какое поднялось везде зеленое богатство! В сентябре вместе с П. Ф. Дьяченко, директором совхоза имени Кирова (Красноармейского управления), любовались мы случайными кустами пшеницы на паровом поле. Проверили один могучий куст. В нем тридцать стеблей. От скольких же, думаем, зерен? Установили: от одного! Судя по завязям колосьев, в каждом из них могло бы образоваться по двадцати и больше зерен. Таким образом, если бы вегетация проходила своевременно, это зерно дало бы урожайность сам-шестьсот...

При достаточном увлажнении и правильной агротехнике средние урожаи пшеницы в двадцать—двадцать пять центнеров с гектара для целины — норма. А теперь к этому добавится еще и химизация! Возросшее мастерство земледельцев плюс химия позволят и в засушливые годы получать вполне удовлетворительные урожаи.

О прошлом годе по своим вековым приметам еще с зимы пророчили казахские аксакалы, что это будет «год зайца» («коян-жылы») — год засухи, неурожая, джута. «Теперь,—утверждают они,— наступил благодатный «год барана» («кой-жылы») — год высокого урожая, мира и благоденствия.

Приметы стариков хоть и не научный прогноз, но тоже кой-чего стоят, к тому же есть и более верные, объективные показатели. Прошлогодние август и октябрь великолепно напоили землю дождем. Замеры, произведенные в самых разных районах, показывают, что увлажненность почвы в одних случаях в пять-шесть, а в других и в десять—двенадцать раз выше, чем в 1962 году. По расчетам рузаевских агрономов, одной лишь осенней влаги на полях совхозов содержится нынче столько, сколько при правильном ее использовании достаточно для выращивания урожая в тринадцать—четырнадцать центнеров с гектара. К тому же и зима нынешняя многоснежная, что тоже обернется добавочной весенней влагой.

Пророчествовать не будем, но условия складываются на редкость благоприятные. 1963 год нынче наверняка не повторится. А размеры урожая в каждом хозяйстве будут зависеть от того, как их руководители сумеют организовать людей на продолжение трудового подвига, на выполнение решений декабрьского и февральского Пленумов ЦК КПСС.

Кокчетав.

Февраль — март 1964 г.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. АНИКСТ

★

## О «СИСТЕМЕ» ШЕКСПИРА

*К 400-летию со дня его рождения*

**Ш**експир принадлежит к небольшому числу наиболее всеобъемлющих художественных гениев. Нет ни одной стороны жизни, которая не попала бы в орбиту его творчества. Все, чем живет человек в разные периоды своего существования, отражено Шекспиром с той степенью типичности, которая делает его произведения общечеловеческими. Его драмы на века остались образцами искусства, говорящего о самом главном в жизни, о всей полноте человеческого существования.

Но то, что бывает во все времена — любовь и ненависть, дружба и злоба, доверие и обман, — в каждую эпоху проявляется по-своему. Поэтому отличия между творениями великих художников обусловлены не только своеобразием их творческой индивидуальности, но особенностями времени, существующими общественными условиями и тем, каковы были люди в этих условиях.

История поставила Шекспира на важнейшем рубеже всего духовного развития человечества. Гомер и Данте — поэты мира, ставшего для нас древним. Они живут в царстве мифов, языческих и христианских, которые отжили свое время. Их мир совмещает земное с потусторонним. Наивная вера древности и средневековья была окрашена поэтичностью, но жизнь представляла все же в достаточно мистифицированном виде.

Шекспир — художник той эпохи, когда в искусстве восторжествовало земное начало. Элементы потустороннего еще встречаются в его произведениях, но они являются последними остатками мифологического взгляда на жизнь. В главном же и основном

Шекспир уже является художником, чье сознание свободно от мифологически мистифицированного понимания действительности. В этом смысле он первый великий реалист, хотя, конечно, реализм его был иным, чем реализм Толстого.

Во всяком случае у Шекспира человек уже не игрушка в руках божественных сил. Его герои сами творят свою судьбу. Если почвой античного искусства, арсеналом его художественных образов была мифология, то для Шекспира таким арсеналом становится история.

Сюжеты большинства драм Шекспира восходят к летописям. Историческую основу имеют пьесы-хроника «Генрих VI» (трилогия), «Ричард III», «Король Джон», «Ричард II», «Генрих IV» (в двух частях), «Генрих V», «Генрих VIII», трагедии «Тит Андроник», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Тимон Афинский», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Троил и Крессида», «Цимбелин». Даже сюжеты, кажущиеся нам романтическими, содержали элементы исторического предания, как «Мера за меру», «Перикл» и «Зимняя сказка», «Ромео и Джульетта».

Эта, казалось бы, чисто внешняя черта Шекспира имеет на самом деле огромное принципиальное значение для всей мировой литературы. Шекспиром начинается та полоса ее развития, когда жизнь рассматривается как явление, имеющее закономерности, доступные человеческому сознанию. Шекспир отбрасывает всю мистику, в которую религиозное мышление облачило историю. Призрак отца Гамлета бессилен изменить что-либо в мире, где исход борьбы

между Гамлетом и Клавдием решается вполне реальными обстоятельствами. Точно так же не ведьмы сделали Макбета честолюбивым и не они определили его возвышение и падение, а вполне понятные нашему сознанию жизненные факты.

Шекспир — первый великий художник безрелигиозного искусства. Здесь нужно со всей решительностью сказать, что попытки некоторых современных западных критиков истолковать Шекспира в религиозном духе, представить его произведения как аллегории, иллюстрирующие христианское вероучение, являются ложными и антиисторичными. Они искажают самое существо искусства Шекспира.

Творчество Шекспира рисует мир, в котором человек впервые по-настоящему почувствовал себя властелином. Властелином своей судьбы. В этом смысле произведения Шекспира в чем-то даже превосходят более позднее искусство. Его герои — последние представители героических времен.

В современном словоупотреблении героем часто называют центральный персонаж произведения. При этом характер такого героя может быть совсем не героичным. Героической является личность, сознательно и уверенно борющаяся за свои цели. Такой целью может быть и служение некоему общему принципу — например, защита родины. Героя, однако, отличает то, что он не только решает свою судьбу, но способен оказать влияние на свой народ. От его доблести и силы зависит многое.

В мифе о Геракле было воплощено древнее представление о всемогуществе бога-героя. Средневековый эпос создал образы героев — рыцарей Сиды, Роланда и других, чье личное мужество приносит победу всему народу и государству.

Люди Шекспира — потомки этих героев. Их отличие в том, что они героические характеры, действующие в чрезвычайно усложнившихся жизненных обстоятельствах<sup>1</sup>. Наступили те времена, когда безличные общественные силы начинают подавлять и извращать человека. Уже существует абсолютистское государство, в котором власть становится самодовлеющим фактором и личность теряет свои права. И доста-

точно могущественной оказывается сила золота, способная победить человеческий характер, подчинить и извратить его.

Люди, которых изображал Шекспир, ослеплены ореолом истинного героизма. Каждый из них знает, чего хочет, и обладает волей к достижению цели. Характеры их могучи. Они не подчиняются обстоятельствам, а стремятся подчинить обстоятельства своей воле.

В овете этого интересно посмотреть на действие исторических драм Шекспира. В них наглядно показано, что историю творят люди, и показано, как они ее творят. Шекспир раскрывает человеческие мотивы, руководящие теми, кто вершит судьбами народа.

Шекспировские герои живут в эпоху, когда уже существует огромная машина абсолютистского государства. Еще будучи молодым, Шекспир отчетливо увидел, что стремление личности утвердить себя стало проявляться в жестоком властолюбии. Каждый стремится стать выше других, а главное, добраться до вершины власти и овладеть безграничным могуществом.

Эгоистическое хищничество проникло во все поры общества. Оно определяет весь строй жизни. Шекспир это очень хорошо понимал и вложил в уста одного из своих персонажей из «Генриха VI» такую характеристику общества своей эпохи:

...Печально время наше.

Задушена здесь доблесть честолюбьем,  
И милосердие изгнано враждою;  
Повсюду злые козни и интриги;  
Нет справедливости в стране родной.

(Перевела Е. Бирюкова)

Исторические драмы Шекспира правдиво изображают общество как арену борьбы эгоистических интересов отдельных людей, целых сословий и классов<sup>1</sup>. Однако в ранний период творчества Шекспир вместе с другими гуманистами разделял иллюзию, будто мощное централизованное государство, возглавляемое справедливым монархом, в состоянии дать стране внутренний мир, обеспечить интересы всех сословий и защитить страну от внешнего вторжения. Поэтому во всех пьесах-хрониках Шекспира из истории Англии критерием оценки участ-

<sup>1</sup> См. Л. Пинский. Реализм эпохи Возрождения. Гослитиздат. М. 1961, стр. 273 и далее.

<sup>1</sup> См. И. Верцман. «Исторические драмы Шекспира»; О. Ильинская, «Народ в трагедии Шекспира». Обе статьи напечатаны в «Шекспировском сборнике. 1958» (ВТО. М. 1959).

ников политической борьбы для него является их отношение к государству. Те, кто готов бескорыстно служить ему, являются подлинными героями. Те, кто хочет власти в личных целях,— хищники и паразиты на теле государства.

В те годы Шекспир представлял себе абсолютистское государство как некую идеальную форму общественной организации, создающую гармонию в отношениях между людьми. Ему казалось, что достаточно встать во главе этого государства добродушному и справедливому правителю, как исчезнут все антагонизмы и противоречия. В годы зрелости Шекспир глубоко понял, что такое идеальное государство — чистейшая иллюзия. Иллюзорным является и идеальный образ самодержавного правителя. Действительность разбила идеал гуманистов. Они увидели перед собой общество, раздираемое борьбой непримиримых противоречий. Шекспир показал, что там, где царит неравенство жизненных условий, социальная гармония невозможна.

Произведения великого писателя выразили правду о его времени, которая на века стала правдой о всяком обществе, где существует неравенство состояний и прав. Когда Шекспир показывает в «Кориолане» бунтующий народ, он вкладывает в уста одного из горожан слова: «Достойными нас никто не считает: ведь все достояние — у патрициев. Мы бы прокормились даже тем, что им в глотку не лезет. Отдай они нам объедки со своего стола, пока те еще не протухли, мы и то сказали бы, что нам помогли по-человечески. Так нет — они полагают, что мы и без того им слишком дорого стоим. Наша худоба, наш нищенский вид — это вывеска их благоденствия». В малоизвестной пьесе Шекспира «Перикл» рыбак саркастически рассуждает о том, что рыбы в море живут «точно так же, как люди на суше: большие поедают маленьких».

Все это имеет прямое отношение к тому, что говорилось выше о героическом начале у Шекспира. Он жил в такое время, когда люди, сбросив цепи средневековья, почувствовали: жизнь может быть свободной и прекрасной. Но скоро, раньше даже, чем многие успели осознать это, наступило «железное время». Абсолютистское государство и рост власти денег сделали невозможным осуществление идеала свободного человека и гармонического общества.

Трагедии Шекспира и выражают сознание

того, что пришел конец мечтам гуманистов и надеждам народа. «Быть честным,— с горечью замечает Гамлет,— по нашим временам значит быть единственным из десяти тысяч».

Шекспир вдохновлялся самыми передовыми гуманистическими идеями и жил интересами народа. Пушкин определил главное в творчестве Шекспира словами: «судьба человеческая, судьба народная». Таков уже закон истории: там, где подавлен народ,— скованы возможности развития личности. Истинно человеческое всегда неотделимо от судеб народных. Большие художники тем и велики, что становятся как бы голосом народа. Шекспир был именно таким художником. Он писал свои пьесы для общедоступного народного театра. Его счастье как художника состояло в том, что никто не стоял между ним и народом, ради которого и для которого он творил.

Для нас теперь народность Шекспира — само собой разумеющееся качество его искусства. А между тем уже через полвека после его смерти это ставили ему в упрек. Во второй половине XVII века стали считать, что художник должен служить лишь верхушке общества, которая одна будто только понимает и знает, каким должно быть искусство. Даже такой умный человек, как писатель Александр Поп, еще в начале XVIII века с осуждением говорил о том, что «Шекспир писал для народа» и отсюда якобы происходят все «недостатки» его произведений.

История всей мировой литературы показывает, что искусство, ориентировавшееся на вкусы верхушки классового общества, оказалось эфемерным и не выдержало испытания времени. Правда, случалось, что и большие художники вынуждены были обстоятельствами творить для королей и власть имущих. Так было с Шекспиром, так было с Мольером. Но они приходили ко двору Елизаветы или Людовика XIV с пьесами, которые написали для народа и выражали народный взгляд на жизнь. Противоречия общественного развития иногда приводили к тому, что короли не могли мешать искусству выражать то, что думал народ. Как это случалось — великолепно изобразил Фейхтвангер в романе «Лисы в винограднике», рассказывая историю появления на сцене «Женитьбы Фигаро» Бомарше.

Но не все выдающиеся художники сохраняли независимость. Вопрос этот важен да-

же не только с моральной точки зрения, но и с точки зрения художественной. Говоря о разнице «между трагедией народной, Шекспировой, и драмой придворной, Расиновой», Пушкин отмечал преимущества первой. «При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так думали и он и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отсюда робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу... привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения».

К сказанному остается добавить определение качеств, которые, по мнению Пушкина, необходимы писателю. «Что нужно драматическому писателю? Философию... государственные мысли историка, догадливость, живость воображения. Никакого предрассудка, любимой мысли. С в о б о д а».

Все эти качества Пушкин находил у Шекспира. Он был для него образцом художника-реалиста. Пушкин признавался, что, создавая «Бориса Годунова», «расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира».

Художественная система Шекспира, к сожалению, еще недостаточно исследована. О некоторых ее сторонах — далеко не о всех! — я хотел бы здесь сказать.

Человек стоит в центре всего искусства Возрождения. В литературе той эпохи честь создания наиболее значительных образов, несомненно, принадлежит Шекспиру. Его герои обладают для нас такой же реальностью, как если бы они в самом деле были живыми людьми.

Эту задачу Шекспир решил как реалист, перед глазами которого был образ идеального человека, как он мыслился философам и моралистам гуманистического направления. Но Шекспир не стремился представить идеальных людей. Идеальным не является в его пьесах ни один герой. Даже Гамлет, который, по общему мнению, представлен борцом за самые благородные идеалы человечества, отнюдь не изображен Шекспиром как образец нравственного совершенства. «Сам я скорее честен, — говорит о себе этот герой Шекспира, — и все же я мог бы обвинить

себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я очень горд, мстителен, честолюбив; к моему услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать...»

Брут в «Юлии Цезаре», Отелло тоже не идеальны. Им свойственны слабости, ошибки, заблуждения. И тем не менее, как и Гамлет, они — прекрасные люди. Их человеческое величие не в том, что они идеальны в своих поступках, а в том, что идеальны их побуждения, хотя они могут ошибаться — иногда даже самым роковым образом, как это случилось с Отелло.

Герои Шекспира бывают благородны даже в самом падении своем. Так, несомненно, что Гамлет переживает глубочайший духовный кризис, приводящий его в моменты слабости даже к мысли о самоубийстве. Но именно то, что Гамлет так мучается всем обрушившимся на него, и делает его для нас живым образом человека огромной совести.

Короче, всем, кто в самом деле озабочен проблемой художественного отражения лучших качеств современного человека, следовало бы задуматься над примерами, какие дает нам Шекспир. Дело не в том, чтобы идеален был герой, и не в том, чтобы идеальны были обстоятельства, в каких он действует. Художественного, а следовательно, и общественно-воспитательного эффекта такое «решение» проблемы не дает. Мерой трудностей, которые в состоянии преодолеть герой, определяется его человеческая сила и значимость. И истинным, а не надуманным благородством его природы.

Человек у Шекспира всегда человек, независимо от своего общественного положения. Это Пушкин и имел в виду, когда говорил об отсутствии у Шекспира холопского отношения к вышестоящим. Когда Пушкин писал это, перед его мысленным взором была вся литература придворного классицизма, где люди высокопоставленные всегда изображались в качестве лиц, действующих исключительно из благородных принципиальных соображений, что давало им право быть арбитрами нравственности других. Ничего подобного нет у Шекспира (и у Пушкина тоже). Когда ему надо было изобразить короля, он писал не в коленопреклоненной позе, а рисовал его таким, каким тот был на самом деле. Шекспир смотрел на своих Ричардов и Генрихов как человек свободный, а не как заискивающий холоп.

Он помогал развеять миф о божественной сущности власти, уча смотреть на нее как на дело рук человеческих, а на держателей власти как на обыкновенных людей — по своему хорошим или дурных, сильных или слабых, жестоких или добрых.

В этом проявилась замечательная черта Шекспира. Тем, что он не смотрел на своих королей подобострастно, он прививал народному зрителю чувство собственного достоинства. А это важнейшая составная часть подлинного гуманизма. Там, где не уважается достоинство человека, нет и намека на истинную свободу и речи о гуманизме — пустые слова.

Конечно, Шекспир не был революционером, но все его творчество проникнуто освобождающим духом. Вот почему он всегда был дорог всем, кто боролся за социальный прогресс, за установление в обществе добрых и справедливых начал.

Свободный от заискивания и сервиллизма перед сильными мира сего, Шекспир вместе с тем не был высокомерен по отношению к так называемым маленьким людям, или, как говорили раньше, к простонародью. Но в нем не было сентиментального умиления перед забитостью народа. Отношение Шекспира к народу было трезвым и по-настоящему реалистическим. Он знал его беды и сочувствовал ему, но не закрывал глаза на те черты народа, которые были результатом веков рабства. Народ, каким он был, задавленный нуждой и бескультурьем, вовсе не казался Шекспиру идеалом, к которому следует приблизиться, как это считал в поздние годы жизни Лев Толстой. Шекспир не ссылаясь на бескультурье народа как на своего рода меру для искусства, не считал, что искусство нужно снижать до вульгарных вкусов толпы. Не строя иллюзий о зрителях своего театра, он был убежден, что здоровое чутье поможет народу увидеть правду большого искусства и его подлинную красоту. Своими произведениями он стремился дать более богатое содержание духовной жизни народа, помочь ему подняться до высот понимания истории, поэзии, культуры и подлинного человеческого благородства.

Замечательно сказал об этом Пушкин, который вообще является одним из лучших истолкователей Шекспира. Говоря о Шекспире как создателе народной драмы, Пушкин высказал такую мысль: «Творец трагедии народной был образованнее своих

зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности и признавшем публики, беспрекословно чувствуемым». Не подделка под народность нужна народу, а высокая идейность и подлинная художественная культура.

Вдумаемся хотя бы в такой простой факт. Теперь произведения Шекспира справедливо признаны высочайшими образцами искусства. Принято думать, что Шекспир требует от своих читателей и зрителей тонкого чутья, глубокого понимания искусства. И это в самом деле так. А Шекспир все это богатство создавал не для узкого кружка избранных знатоков, а для «толпы», для «черни» — словом, для той публики, которая не должна была бы понять Шекспира. И произошло то, что иным должно показаться чудом: народ понял и оценил искусство Шекспира раньше знатоков. Какой урок любителям высокомерно говорить: «Народ этого не поймет!»

Шекспир не страдал высокомерием по отношению к народу вообще и к народному зрителю в частности. Не было у него и мешанской брезгливости, которая столь характерна для буржуазных вкусов. Шекспир не боялся показать задворки жизни. Более того, он считал своим долгом правдивого художника показывать не только парадную, официальную сторону истории, но и самые темные закоулки ее. Вообще Шекспир не играл со своими зрителями в прятки и не делал вида, будто не существует пошлости, низости, отвратительных явлений. В его пьесах встречаются кабацкие сцены, он не раз показывал на подмостках театра тюрьму и даже казни. Шекспир изобразил проституток и публичный дом. Он сделал это без ложного негодования ханжей, а с грубоватым и сочным площадным юмором.

Мы совершили бы ошибку, представив Шекспира художником, погруженным исключительно в большие проблемы исторического развития. Он, несомненно, был изумительным мастером воссоздания того, как совершается история. Но масштабы грандиозных событий не заслоняли для него отдельных людей. Более того, можно сказать, не боясь преувеличения, что Шекспир был и остается величайшим образцом такого изображения жизни, когда социально значительное предстает в неразрывной связи с тем, что важно для каждой отдельной человеческой личности. Его произведения так

интересны людям разных эпох потому, что они по-человечески трогают каждого из нас.

Но есть у Шекспира произведения, где личное, интимное выдвинуто на первый план. Любые жизненные явления Шекспир изображает на широком общественном фоне. Едва ли кто-нибудь станет спорить против того, что история любви Ромео и Джульетты для нас важнее борьбы между феодалами в городе Вероне. И нам не стану возражать, если мы скажем, что ревность Отелло перекрывает для нас в смысле интереса войну между Венецианской республикой и Турцией. Этот фон не безразличен ни в первой, ни во второй трагедии, особенно в «Ромео и Джульетте». Но главное и здесь и там то, что Шекспир вводит нас в душевный мир героев, которые любят, страдают, ревнуют и любовь их поистине сильнее смерти.

Герои Шекспира предстают перед нами не только в своих отношениях с обществом и государством. Любовь детей к родителям, родителей к детям, дружба, супружество, случаи разлада между близкими, распад семьи — все это неоднократно и ярко изображено Шекспиром. Страсти людей всегда имели огромный интерес для Шекспира-художника, независимо от того, в какой сфере жизни это проявлялось — общественной или личной. Ведь эти страсти составляют содержание жизни каждого человека. Для каждого человека важны его отношения с близкими и всеми окружающими его людьми. В этих отношениях отражается весь жизненный уклад общества. Истинный гуманизм начиная с эпохи Возрождения и до наших дней считает счастье и несчастье каждого человека фактом общественной важности. Только строй, основанный на буржуазных началах, создавал эгоистическое разобщение людей и равнодушие к чужой судьбе, к чужому страданию.

Шекспир был одним из величайших мастеров того вида искусства, предметом которого являются человеческие страдания и несчастья. Речь идет об искусстве трагедии.

Боязнь трагического — типичная черта мещанства. Собственно, она обратная сторона равнодушия к человеческим судьбам. Если мне хорошо, рассуждает обыватель, — значит, никто не имеет права быть несчастливым. Он же полагает, что наличие индивидуальных несчастий — не предмет искусства. Это, дескать, не типично. Но укажите

ему на страдания и жертвы столь массовые, что считать их случайностью уже просто невозможно, — и он ответит вам, что не следует растравлять и без того кровоточащие раны.

Я укажу на лучший пример такой «трагедии-небоязни». Я называю его лучшим, потому что побудительные причины здесь были как будто благородны. Я имею в виду тот факт, что в 1680 году драматург Нэйем Тэйт переделал финал «Короля Лира». В его обработке пьеса кончалась так: Лир получал обратно свой престол, Корделия выходила замуж за Эдгара, а все злодеи — Гонерилья, Регана, Эдмунд — погибли.

Без малого сто лет спустя критик Сэмюел Джонсон признавался, что, прочитав однажды трагедию Шекспира, он был так потрясен гибелью Корделии, что никогда потом не смог решиться еще раз перечитать «Короля Лира» до конца. Он сопроводил это признание рассуждением теоретического характера, которое должно было обосновать такое отношение к трагическому: «Пьеса, в которой злодеи процветают, а добродетельным приходится плохо, несомненно, может быть хорошей, потому что она правильно изображает происшествия, обычные в человеческой жизни. Но так как все разумные существа питают любовь к справедливости, меня не легко будет переубедить, что от соблюдения справедливости пьеса становится хуже; или что, при прочих равных достоинствах, публике не понравится больше конечная победа преследуемой добродетели».

Здесь все выражено с предельной ясностью: в жизни царит несправедливость, но в искусстве пусть будет наоборот: порок наказан, а добродетель торжествует. Это будто бы в большей степени удовлетворяет нравственное чувство зрителей. Таким образом, буржуазный просветитель Джонсон утвердил тот принцип, согласно которому искусство должно изображать не то, что есть в действительности, а то, какой ее желают представлять себе. К его чести следует сказать, что он не называл это реализмом, оставляя это название тому виду драмы, который изображает «происшествия, обычные в человеческой жизни».

Вернемся из XVIII века к Шекспиру. Его искусство было бесстрашно правдивым. Он сам умел смотреть правде в лицо и других учил этому. Собственно, я выразился неточно. Ему не надо было учить народного зрителя своего театра правде. Народ жил

этой страшной жизнью — огораживаниями, бродяжничеством, клейменем, казнями, нищетой и голодом. Скрывать от него, что дело обстоит именно так, Шекспиру не приходило в голову. Жизненная правда считалась само собой разумеющейся в том смысле, что факты ее были постоянной темой народного театра эпохи Шекспира.

Какое же утешение, какую радость давало искусство Шекспира зрителям? Радость того, что искусство говорит правду и показывает человека прекрасным. Искусство Шекспира было полно гордостью за человека. Именно в трудностях, в борениях с другими людьми, с внешними обстоятельствами, наконец с самим собой и собственной слабостью соиздавалось мужество шекспировских героев. И зритель был горд за этих людей, могучих и прекрасных, потому что они крепко стояли под бурями жизни и, как этому учила гордая мораль древних римлян, умирали стоя.

Шекспир-художник не делил людей на хороших и дурных. Для него существовали только люди, и, страстный сердцевед, он часто обращал свой взор на тех, кто жил, творя зло. От этого они не переставали в его глазах быть людьми. Как гуманиста и художника его мучил тот же вопрос, который терзал Лира, когда он, бездомный, скитался в бурю по степи и творил воображаемый суд над своими обидчиками. «Судья, — кричит безумный Лир своему шуту, — я требую медицинского вскрытия Реганы. Исследуйте, что у нее в области сердца, почему оно каменное».

Почему бывают каменные сердца? Это ли не благородная тема искусства? Ее требует жизненная правда, требует сама жизнь. Чем честнее было искусство, тем смелее оно касалось этой страшной темы. Шекспир и в этом один из величайших образцов художественной смелости. Он даже не так велик там, где показывает злодеев впрямую — таких, как кровопийца Ричард III, коварный Яго и другие, подобные им. Высочайшая смелость Шекспира-художника проявилась в том, что он показал, как зло может проникнуть в души нормальных и благородных людей, что мы видим в характерах Отелло, Лира, Макбета и Кориолана.

И что же, стали эти образы менее убедительными оттого, что мы увидели страшные противоречия в человеческих душах? Каков эмоциональный эффект таких трагических характеров? Ответ может быть лишь один:

смелое раскрытие правды о том, до чего может пойти иногда человек, не разочаровывает в людях, а, наоборот, возбуждает глубокую веру в то, что в руках самих людей есть возможность преодолеть зло.

Шекспир не стоял на мнимоутешительной точке зрения, по которой выходит, что если люди нарушают основы человечности, то в этом виноваты исключительно внешние обстоятельства. Он, естественно, не отрицал значения этих условий, но вместе с тем считал, что они не снимают с каждого человека ответственности за то зло, которое он причиняет другим. Коротко говоря, мораль Шекспира-гуманиста состояла в том, что, каковы бы ни были условия, человек должен оставаться человеком.

Не надо доказывать, что как художник-мыслитель Шекспир стоит в первом ряду тех, кто создавал произведения, посвященные наиболее важным, «роковым» вопросам жизни. Это достаточно известно. Но была в его творчестве и другая сторона, о которой меньше говорят, когда рассуждают об идейном содержании его произведений. Я имею в виду юмор Шекспира.

Уже современники заметили многогранность Шекспира как художника. По замечанию одного из них, Шекспир «был непревзойденнейшим в обоих видах драмы», то есть в трагедии и в комедии. Другой писатель XVII века писал о Шекспире, что «сам Гераклит (гайком и невидимый другими) мог бы позволить себе посмеяться над его комедиями, такие они веселые, а Демокрит едва ли удержался бы от вздоха на его трагедиях, такие они печальные».

Сравнивая Шекспира и других гениев литературы, нельзя поставить его выше их ни в смысле универсальности, ни в отношении глубины проникновения в тайники человеческого сердца, ни как художника-мыслителя. Каждый из них по-своему значителен в этом. Но в одном Шекспир шире их всех — в сочетании серьезного взгляда на жизнь с юмором.

Исторические условия сложились так, что, вообще-то говоря, писателям было не до юмора. Возрождение было не только концом эры героических характеров, но концом эпохи юмора. Начиная с XVII века юмор был вытеснен сатирой. Смех стал серьезным. Целью искусства стало не веселье, а осмеяние. Может быть, я не ошибусь, сказав, что из всех великих поэтов нового времени, по-



жалуй, один лишь Пушкин обладал чувством юмора в указанном смысле.

Надеюсь, меня поймут правильно. Я не забываю о Мольере, Свифте, Вольтере, Бомарше, Хольберге, Фонвизине, Гоголе, Грибоедове, Салтыкове-Щедрине, Островском, Чехове, Шоу. Искусство нового времени богато произведениями, принадлежащими к одной из двух главных разновидностей комического — к сатире. Это благороднейшее искусство, к которому я полон глубочайшего уважения и желал бы видеть его процветающим в наше время.

Но Шекспир был мастером другой разновидности комического — юмора, того, что можно назвать комическим в самом дополнительном смысле.

Еще Гегель указывал на то, что «часто смешное смешивается с комическим в собственном смысле... Например, пороки людей не представляют ничего комического... Глупости, бессмыслица, нелепости точно так же могут не быть комическими сами по себе, хотя над ними мы смеемся. Люди могут смеяться над самыми противоположными вещами. Самое пошлое и безвкусное может вызывать у людей смех, и часто они также смеются над наиболее важным и глубоким, если в нем обнаруживается самая незначительная сторона, идущая вразрез с их привычками и повседневными взглядами»<sup>1</sup>.

Я не берусь, однако, перевести на общепонятный язык следующее за этим определение комического у Гегеля, очень сложное и трудное без пространных комментариев. Мне кажется, что существо дела верно, в понятной и изящной форме выражено у другого немецкого теоретика — Шлегеля. «Трагедия, — писал он, — есть поэзия наивысшей серьезности, комедия же вся целиком шуточна. Но серьезное... состоит в сопредоточении душевных сил на одной определенной цели и в связи с этим — в ограничении их деятельности. Противоположный принцип, следовательно, заключается в кажущейся бесцельности, в снятии всех рамок, ограничивающих деятельность душевных сил. И этот вид искусства стоит тем выше, чем шире применяются в дело эти душевные силы и чем правдоподобнее становится видимость бесцельной игры и неограничен-

ного произвола»<sup>1</sup>. И далее: «Произведение в целом есть одна грандиозная шутка, в свою очередь содержащая в себе целый мир отдельных шуточных эпизодов».

Игра, бесцельность, шутка — не являются ли эти слова отрицанием целенаправленности искусства, его жизненного значения? Да, если понимать жизнь и искусство очень ограниченно. Едва ли надо напоминать еще раз о том, как серьезно относился Шекспир к жизни, и к своему творчеству. Но у него был широкий взгляд на мир, включавший все многообразие действительности. Соответственно и человек предстает у Шекспира не только погруженным в заботы, но также веселым, любящим предаваться здоровым удовольствиям.

Неспособность наслаждения прекрасным Шекспир считал большим дефектом.

Тот, у кого нет музыки в душе,  
Кого не тронут сладкие созвучья,  
Способен на грабеж, измену, хитрость;  
Темны, как ночь, души его движения  
И чувства все угрюмы.—

(Перевела Т. Щепкина-Куперник)

так говорит один персонаж Шекспира в «Венецианском купце», и мы можем не сомневаться в том, что так думал сам автор.

Шекспир не любил угрюмых и мрачных людей. Не терпел ханжества. Одного такого ханжу Шекспир вывел в «Двенадцатой ночи» в образе Мальволио. Весельчак сэр Тоби бросает ему в лицо: «Думаешь, если ты такой уж святой, так на свете больше не будет ни пирогов, ни хмельного пива?»

Шекспир не философ бражничества, но и не художник, смотрящий на жизнь только в свете утилитарности. В его комедиях царит дух непринужденного веселья. Новейшие исследователи творчества Шекспира говорят о карнавальном начале в его комедиях, сравнивают царящее в них веселье с древними сатурналиями<sup>2</sup>.

Противоречит ли это верному представлению о высокой идейности комедий Шекспира? Ничуть. Гуманизм проявляется не только в «идеях». Существо его — радостная, прекрасная жизнь. И нет идеи более высокой, чем эта. Ее-то и выражают комедии

<sup>1</sup> Цит. по кн.: «Литературная теория немецкого романтизма». Под ред. Н. Берковского. Л. 1934, стр. 233

<sup>2</sup> См. статью А. Штейна «Великий мастер комедии» в кн.: «Шекспировский сборник, 1958», стр. 160 и далее.

<sup>1</sup> Гегель. Сочинения, т. XIV, М. 1958, стр. 367.

Шекспира. В этом их высшая эстетическая и величайшая идейная ценность.

Юмор в том толковании, которое приведено выше, есть одно из полнейших проявлений раскованности человека, подлинной свободы его личности. Не в одном юморе проявляется свобода человека, но и без него ее нет. Полнота человеческого существования немислима без радости, иногда такой, какую называют беспричинной, потому что источником ее является здоровая человеческая натура вообще, не обязательно требующая внешнего повода для веселья и радости.

Игра не есть нечто противопоказанное нормальному человеку. Это подтверждается не только повседневной практикой, когда люди после работы предаются разным приятным и как будто бесцельным развлечениям. Серьезная теоретическая мысль никогда не видела в этом ничего предосудительного. Наоборот, К. Марксу, например, свободный труд мыслился не только как целесообразная и необходимая деятельность, но и своего рода «игрой физических и интеллектуальных сил»<sup>1</sup>.

Если элемент игры может быть и в труде, то не приходится удивляться наличию его в искусстве. Это не может служить оправданием бессмысленных драмодельческих изделий, выдаваемых подчас за комедии. Подчеркнем, речь идет об игре интеллектуальных сил, а не о пустозвонстве и жалких потугах на остроумие, не поднимающихся выше уровня пошлых анекдотов.

Шекспировская комедия изобилует игрой интеллектуальных сил. В «Укрощении строптивой», я бы сказал, больше игры физических сил, но в «Бесплодных усилиях любви», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится» самое интересное не внешнее действие и даже не чувства героев, а именно игра их ума.

Комедия — игра интеллектуальных сил, дающая человеку ощущение внутренней свободы. В этом вообще суть радости, которую доставляет искусство. Оно пробуж-

дает дремлющие душевные способности, возбуждает их активность, поднимает человека над уровнем будничности, дает ему огромные заряды душевных сил для труда и борьбы.

Это в равной мере относится к комедиям и трагедиям. Всякое искусство производит именно такое действие. Не только веселые комедии Шекспира, но и его самые мрачные трагедии делают человека и более жизнедеятельным, и более стойким.

Я думаю, главный секрет этого в одном: герои Шекспира и в комедиях и в трагедиях — свободные люди. Шекспир жив и вечно будет жить как художник именно потому, что его идеалом был ничем не скованный человек, вольно проявляющий свою сущность. Хотя у Шекспира был идеал, он, однако, не идеализировал человека. Он раскрыл и противоречия, возникающие от того, что свобода превращается в своеволие, и трагические бездны, куда проваливается личность, во имя своих человеческих прав поправшая права других таких же людей. Словом, Шекспир рассказал всю правду, не утаив, не скрыв ни от себя, ни от нас, каким ужасным может быть человек. Но он же показал, каким прекрасным он может быть. И мы верим ему во всем, верим потому, что истина для Шекспира неделима: нет хорошей и нехорошей правды, есть одна огромная, всеобъемлющая правда. Мы не приписываем Шекспиру наших домыслов на этот счет. Это его собственная мысль, и вот как он ее выразил: «Ткань человеческой жизни сплетена из двух родов пряжи — хорошей и дурной. Наши добродетели преисполнили бы нас гордыней, если бы их не бичевали наши грехи; а наши пороки ввергли бы нас в отчаяние, если бы их не искупали наши достоинства» («Конец — делу венец»).

Творчество великого драматурга воспитывает в человеке бесстрашие мысли, достоинство и силу свободного чувства, ответственность за каждый свой шаг перед собой и временем и радость от сознания полноты жизни. В этом суть шекспировского гуманизма, в этом секрет его непреходящего значения для современности.

<sup>1</sup> К. Маркс Капитал, т. I, Госполитиздат, М. 1950, стр. 185.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Галлай.** Рассказы о спокойной профессии.— **Э. Кузьмича.** Прочная основа.— **В. Портнов.** Пути и судьбы.— **Ю. Буртин.** Свое и «общее».— **М. Злобина.** Любовь и падение Рикардо Мольтени.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Лацис.** Рабочему — об экономике.— **А. Кадишев.** Два командарма.— **Е. Дорош.** Книга о грозном царе.— **И. Желтинов.** Американский военный бизнес.— **И. Шереметьев.** Помощь? Нет, закабаление.

## *Литература и искусство*

### РАССКАЗЫ О СПОКОЙНОЙ ПРОФЕССИИ

**Игорь Эйнис.** Профессия у нас спокойная... «Неделя», № 37, 9—15 сентября 1962 года.

**Игорь Эйнис.** Второй и первый. Рассказ. «Знамя», № 10, 1963.

**Игорь Эйнис.** Рассказы о спокойной профессии. «Москва», № 10, 1963.

**И**мя этого автора не успело стать широко известным.

Первые новеллы Игоря Эйниса появились в печати осенью 1962 года. Следующая же серия его рассказов была опубликована несколько месяцев назад — посмертно.

Взявшись за перо уже в зрелые и, по воле судьбы, последние годы своей жизни, И. Эйнис успел написать обидно немного. Во всяком случае — ничтожно малую долю того, что мог бы написать по объему своего жизненного опыта, остроте внутреннего зрения, глубине понимания людей.

Выступление непрофессионального литератора в жанре рассказа — само по себе редкость: обычно произведения таких авторов проходят по ведомству так называемой «литературы бывалых людей».

А Игорь Владимирович Эйнис, конечно, был человеком бывалым в полном смысле этого слова. По профессии он был летчиком-испытателем, причем испытателем не только

первоклассным (как по существу, так и по официально присвоенному ему званию), но, главное, ярко представляющим новейшую, современную формацию людей этой профессии. Высшее инженерное авиационное образование, несколько свидетельств на оригинальные изобретения, неоднократные выступления в специальной печати — все это, не скажу даже — дополняло его летную деятельность, а органически вплеталось в нее.

Естественно, что и рассказы Игоря Эйниса посвящены авиационной теме.

Его герои — летчики-испытатели. Автор рассказывает о разных экстраординарных (а иногда, наоборот, о внешне вполне обычных) случаях, приключившихся с ними, — благо неисчерпаема копилка «аэродромного фольклора». Но ни одна новелла Эйниса не носит ограниченно приключенческого характера — так сказать, рассказа об «интересных случаях». В каждой из них, даже самой скромной по объему, читать

находит живую мысль, точное наблюдение, психологическое обобщение.

Вот автор замечает: «Когда в полете все нормально, многие могут вести самолет. А вот когда создаются аварийные ситуации, тогда выявляются возможности испытателя». Сказано, конечно, правильно, но разве только к пилотированию самолета или вообще только к авиации можно отнести эту мысль?

Или — о молодом летчике, призванном заменить вышедшего из строя товарища: «...становится в строй новый человек. И первое время с восторгом незнания, затем с чуть горьковатым привкусом опыта будет идти и идти вперед». Здесь хорошо передано главное в психологической настроенности молодого и старого испытателя. И опять — одного ли только испытателя?

Часто зоркий глаз Игоря Эйниса обнаруживает вещи, достойные размышления, там, где, казалось бы, и увидеть нечего, кроме тысячи раз виденного. Вот он летит на скоростном самолете, точно выдерживая заданный режим полета. Взор летчика, обогая приборную доску, останавливается на указателе скорости. И вдруг: «Как неожиданно неподвижна определяющая движение стрелка на мчащемся в пространстве со скоростью тысяча километров в час самолете! Самое подвижное на свете, символ движения — скорость — обозначается неподвижной стрелкой».

Эйнис не стремился к тому, чтобы в каждой новелле точно воспроизвести какой-нибудь эпизод, действительно имевший место в летной практике. Правила, иногда он пересказывает реальные события с протокольной точностью, но чаще сдвигает их во времени, объединяет, переносит — словом, обращается с жизненным материалом со свободой художника. Но при этом он не изменяет правде человеческих характеров, правде жизненных ситуаций, правде своей профессии.

В последнем — профессиональной достоверности — автор старается быть особенно точным. Вот в рассказе «Свершилось» он говорит о молодом, только пришедшем на аэродром летчике, которому поначалу испытательная работа кажется действительно совершенно спокойной: чуть ли не у всех его коллег отказывают моторы, возникают пожары, выходят из строя системы управления, а у него — тишь, гладь и божья благодать. И лишь впоследствии, когда все воз-

можные в полете неприятности наваливаются и на него, он догадывается, что поначалу его... просто шадили — не давали летать на новых, по-настоящему «сырых» машинах.

А как точно выражено в рассказе «Наблюдатель» тяжелое сознание бессилия, когда, находясь в воздухе, видишь — вернее, слышишь по радио — трагедию, неотвратимо, шаг за шагом надвигающуюся на товарища. В наушниках шлемофона еще звучит его живой голос, но путей к спасению не видно. И вот уже нет в эфире знакомого голоса, да и по времени ясно, что — все!

Или вот рассказ «Учебное пособие». Читая его, видишь, как находчив бывает смелый человек в обстановке опасности. Как удесятерятся его силы, ловкость, обострится мышление.

Все это — правда профессии. Но не одной лишь летной профессии. Тем и сильны рассказы Игоря Эйниса, что профессиональное в них связано с общечеловеческим. Более того: если вдуматься, то профессиональное играет в них второстепенную, подчиненную роль — что-то вроде стартовой площадки для выявления человеческого.

Рассказ «Второй и первый» выделяется из других опубликованных произведений Эйниса не только объемом, но и многообразием затронутых в нем проблем.

Рассказывая о первом и втором пилотах, сидящих рядом за штурвалами воздушного корабля, автор по существу говорит о «первых» и «вторых» в любой профессии, в любом деле, где работа по самой природе своей коллективна, а первое место — одно: один пульт дирижера в оркестре, один пост Главного конструктора в КБ, одно место капитана на судне...

Конечно, при желании можно эту проблему (как, впрочем, и любую другую) представить в таком приглаженно-благополучном виде, что от нее ничего не останется. Скажем, старший по опыту и стажу товарищ — Первый — samozабвенно передает знания младшему собрату, а обнаружив, что тот превзошел своего учителя, незамедлительно уступает ему первое место, а сам удаляется на «заслуженный отдых». Соответственно этому — скромно и терпеливо — действует и Второй.

Увы, в жизни все складывается, как правило, гораздо сложнее. Сложная ситуация возникает и в рассказе, о котором идет речь.

Старый, опытный летчик — Первый, чувствуя, что летает последние годы, держится за штурвал с одержимостью фанатика. Он все — от взлета до посадки — делает сам, хотя прекрасно понимает, что «это нехорошо, ничего не дает ему лишняя посадка на полностью изученном самолете, но не может бороться с собой». А ощущение своей вины перед Вторым, которого он, в сущности, возит с собой как пассажира, делает его еще более резким, сухим, властным. Второй же и восхищается Первым, и завидует его удачливости (хотя, как вскоре узнает читатель, далеко не всегда с достаточным к тому основанием), и изнывает под тяжелой десницей старшего, которого про себя именуется питоном.

Долгая, наполовину бессонная ночь в гостинице на каком-то промежуточном аэродроме («Сон, такой крепкий в молодости, стал проблемой»). Казалось бы, все передумал Первый за эту ночь, все понял, все твердо решил. Но наутро он вновь занимает левое, командирское сиденье, а Второй, мрачно нахохлившись, неподвижно сидит справа...

Кто из них прав? По-своему — оба. Ду-

шевные устремления каждого из них понятны читателю. Но, справедливые каждое порознь, они, как ни думай, остаются несовместимы друг с другом. Однако отмахнуться от них читатель уже не может. Он продолжает думать еще долго после того, как прочитал последнюю страницу рассказа. А это не так уж мало — литературное произведение, заставляющее читателя думать.

Поэтому рассказы Эйниса вызывают в каждом, прочитавшем их, не только симпатию и уважение к его героям и их интересной, своеобразной работе, но и помогают в познании характеров, устремлений, внутренней жизни людей вообще, независимо от того, какое дело они делают на Земле.

И последнее. Едва ли не в каждой строчке, вышедшей из-под пера Игоря Эйниса, открывается ясный душевный облик самого автора, его романтичность, добрый юмор, сердечное, теплое отношение к людям. И, пожалуй, именно это придает такую эмоциональную силу всему, что написано многогранно одаренным, так рано ушедшим от нас человеком — Игорем Владимировичем Эйнисом.

М. ГАЛЛАЙ.



## ПРОЧНАЯ ОСНОВА

В а с и л и й Ш у к ш и н. Сельские жители. Рассказы. «Молодая гвардия». М. 1963. 192 стр.

Быть может, первая удача рассказов В. Шукшина в том, что в них нет столь распространенного в последнее время безликого героя-повествователя, несущего чисто служебную нагрузку: подталкивать события и людей, которые никак не хотят зажить самостоятельной жизнью.

Герои Василия Шукшина — сельские жители — просто не терпят такого бездействующего соглядатая. Все они заняты своим делом, говорят на своем языке. Появись здесь кто-то извне, начини восхищаться, умиляться их скромным бытом — и естественные, реальные люди превратятся в сусальных «пейзан».

Писатель словно растворен в своих героях, смотрит их глазами. Вот ребяташки военных лет в первом рассказе сборника — «Далекие зимние вечера». Привычно, что нет дров. А так хорошо бы затопить: «Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся». Это сказано неожиданно и точ-

но: ощущаешь себя на месте озябшего парнишки, проникаешься его огорчениями (проиграл в бабки) и его радостями (достали чуточку муки на обед). И думаешь о матери, чьи руки и за полночь снуют, шьют рубашку для сына. И вместе с ней вспоминаешь о тех, кто ушел из дому на фронт: «Небось в снегу сидят, сердечные... Хоть бы уж зимой-то не воевали». В этих словах что-то чуть наивное, домашнее, такое свое, что нельзя не поверить: эти слова, эта женщина — живые, не выдуманные.

И последний рассказ — «Солнце, старик и девушка». Каждый вечер сидит старик на берегу Катуня и смотрит на солнце. Он знает, какого цвета вода на том берегу и какие здесь камешки: то как сорочки яйца, с крапинками по бокам, то как у скворцов — синенькие с рябинкой. Весь рассказ очень зримый, насыщенный красками — и трудно поверить, что старик уже давно слепой. Весь мир сохранен у него внутри,

памятный наизусть во всей своей полноте,— и старик не кажется жалким, убогим. Он прожил хорошую жизнь — оттого и сейчас в нем столько спокойного достоинства.

Нечто общее, не названное, но ясно ощущаемое, объединяет и этого старика, и тех ребятишек, и других жителей села. Они серьезны в простом и просты в серьезном. Дед с внуком пошли на рыбалку («Демагоги»). Дед запутался в неводе, тонет. Мальчишка его вытащил. Смерть прошла рядом. Но вот уже как ни в чем не бывало сидят они у костерка, говорят о другом. Мать ругается на полуночников — ей ни слова. Обошлось — и ладно, о чем толковать.

Так же просто нескладный и смешной парень Гринька бежит к горящей машине и отгоняет ее к реке, чтобы спасти от пожара все бензохранилище («Гринька Малюгин»). И с той же простотой говорит слепой старик: сыновей у него «побило на войне много — четырех». — «Сыновей жалко?» — «А как же? — удивлялся старик. — Четырех таких положить — шутка нешто?» Встает за этими словами страда военных лет, выношенное мужество: раз надо, отдаешь, что имеешь, и ни к чему слова.

В чем она, прочная основа этих характеров? Люди привыкли делать свое дело серьезно и основательно. И если делать пришлось что-то потруднее обычного — разве это заслуга? Кому-то надо делать. Крепкая внутренняя основа дает ощущение ясности, устойчивости, душевного равновесия. Человек, довольный спорой работой, покоен душой. Пусть это еще не все в духовном облике народа, но это одна из важных его граней, и В. Шукшин выразил ее достаточно полно.

Трудовым мерилom оценивается в «Сельских жителях» все. Деревенский парнишка («Племянник главбуха») не хочет учиться на счетовода. Не нравится ему работа в конторе: здесь «много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте». Даже подросток привык считать самым главным труд, причем труд реальный, ощутимый. Бумажная, канцелярская работа для него противоестественна. Только не надо понимать это так, что герои книги (и сам автор) признают только физический труд.

Творческая одаренность — для Шукшина такое же естественное проявление народной души, как и трудовое начало. Но она не просто «дар божий». Это дорогое зерно своего «я» нужно уметь сохранить, отстоять.

Непутевый Васёка (рассказ «Стенька Разин») не может ужиться ни на одной работе, но неизменно остается верен своей единственной страсти — он режет из дерева куклы. «Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку.

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ножке и негромко смеялся».

«Муки творчества», увиденные в таком необычном, незатейливом облики, волнуют своей неподдельностью. Васёка не просто вырезает фигурки из дерева. Для него они все живые: грустный смолокур с подпалинами на волосах и рубаше; могучий Стенька, которого предали свои же мужики — связали, глумятся, топчут... Отчаяние и любовь невысказанно kloкочут в сердце Васёки, и он плачет над Стенькой. А главное — он может и другого человека захватить тем же чувством. Мастерство Васёки может соперничать с творчеством поэта, музыканта — и в то же время с простым и необходимым трудом кузнеца. Творчество и труд измерены одной мерой и оказываются равно важными ценностями.

Ясное осознание главных ценностей помогает определить любую фальшь в человеке. В рассказе «Игнаха приехал» сын собрался наконец из города навестить родителей, гостинцев привез — все хорошо! А старика что-то гложет. Праздника не получилось. Быть может, уж больно шумен Игнаха, очень много хохочет, слишком широким жестом выкладывает свои подарки, слишком красуется своей силой, своей женой, образованным разговором... Старик не может объяснить свое смутное недовольство. Но оно все растет. Да еще рядом с Игнатием — его брат Васька, огромный, немногословный, по-деревенски стеснительный. Силы у него, пожалуй, побольше, чем у брата — циркового борца, но хвастаться этим — только людей смешить. И через глухое раздражение старика, через спокойную повадку Васьки ощутимо становится ненастоящее, показное, ненатуральное в Игнатии.

Все лучшие рассказы Шукшина — это простенькие бытовые картинки. Но эта непритязательность кажущаяся. Мимолетная как будто фраза толкает на раздумья о сути характеров, о народном восприятии жизни.

Сам автор редко пускается в рассуждения. Он справедливо предоставляет дальнейшую работу читателю. Однако тут легко перейти невидимую грань между недосказанным и попросту не сказанным.

Инерция «частного случая» порой увлекает В. Шукшина к поверхностным зарисовкам («Воскресная тоска», «Экзамен»). Тут из частного случая ничего не вытекает, и мы можем лишь спросить с досадой: «Ну и что?» Ну, не растрогался профессор, что студент был в плену, и поставил ему все же заслуженную двойку. Да, конечно, «Слово о полку» надо прочесть и храброму солдату. Но неужели ради этой небогатой мысли написан рассказ? На вид здесь все так же, как и в лучших рассказах сборника. Но если там мысль была скрыта в самой плоти, ткани повествования, то здесь — плоская декорация, за которой — пусто.

Иногда причина неудачи кроется в прямолинейности, заданности типов и ситуаций. По очень избитой схеме строится рассказ «Леля Селезнева с факультета журналистики». Который раз преподносится нам пресловутый корреспондент, весь прошаблонен-

ный и бездумно-бодрый, и его столкновение с простыми людьми, делающими будничное дело. Ошибки Лели так наивны, а перестраивается она так быстро, что все это никак не принимаешь всерьез.

Есть у Шукшина и «типовой» отрицательный герой («Коленчатые валы»). Тут «зло» снабжено всеми ходовыми атрибутами: золотой зуб, лысина, бабье лицо, большой портфель... И, конечно же, он спасается от алиментов, и выпить норовит на чужой счет, и еще много-много за ним других грехов. Его антиподом может служить невыносимо положительный директор совхоза (рассказ «Правда»): и глаза-то у него чистые, и правду он при первом же знакомстве режет, и все-то он невесть откуда знает, и уж, конечно, ни капли не пьет.

Тут автору изменяет умение нести мысль образно, не декларативно.

Однако жизненное чутье, зоркость, пластичность, которые ощущаются в лучших рассказах В. Шукшина, уже сегодня позволяют увидеть, что для писателя характерно, а что случайно.

Э. КУЗЬМИНА.

★

## ПУТИ И СУДЬБЫ

Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 667 стр.

Новую книгу Вл. Орлова «Пути и судьбы» раскрываешь с особым интересом. В ней, как и в вышедшей за год до нее в Гослитиздате книге «Поэма Александра Блока «Двенадцать», содержатся итоговые изыскания автора по Блоку, кроме того, ряд статей о русской литературе первой половины XIX века, которой также много занимался исследователь.

Ни в чем не поступаясь научной глубиной, Вл. Орлов совершенно правильно назвал иные свои работы «очерками». Они написаны увлекательно, читать их интересно — даже и с точки зрения, которая может показаться не вполне почтенной: «А что же будет дальше?»

Вл. Орлов, к счастью, не единственный, кто так пишет у нас критические статьи, но и не один из многих. И статьи, включенные в его новую книгу, оставляют впечатление свежести и новизны уже оттого только, что так написаны.

Первый очерк о Блоке в «Пути и судь-

бах» — «Вечный бой» — подытоживает многолетние работы Вл. Орлова о творческом пути поэта в целом. «Вечный бой» посвящен тому «пути среди революций», который поэт прошел до 1921 года.

«На творчестве Александра Блока, на его мироощущении и поэтическом языке лежит глубокая печать эпохи. Человек великого исторического рубежа, он отразил в своих произведениях существенные черты этого бурного, переломного и поворотного времени, и отблеск русской революции лежит на его стихах, поэмах и драмах...» — таков исходный момент рассуждений Вл. Орлова. Он пишет о лирике, развертывая широкий и яркий исторический фон, на котором все в жизни и творчестве Блока «сматривается», как сказал бы живописец, по-иному. Работам Вл. Орлова принадлежит честь истолкования жизненного и творческого пути Блока прежде всего как «пути освобождения», закономерно и естественно приведшего певца «Двенадцати» к служению новой России.

Прежде любили писать, что «Двенадцать»-де — сугубо неожиданное явление в поэзии Блока. Вл. Орлов доказывает, что весь творческий, весь духовный путь Блока неминуемо вел его к «Двенадцати». Особенно ясно в этом убеждают послефевральские и предоктябрьские высказывания Блока, приведенные и проанализированные исследователем. «Жизнь кругом совершенно необычная, трудная, грозная и блистательная... «Буржуа» только и делают, что боятся: то хулиганов, то немцев, то Ленина, то анархии... Может произойти (и произойдет) еще многое, но все не страшно, а это «не страшно» как-то осмысливает пестроту событий, идет красной нитью сквозь всю кажущуюся их несвязанность», — говорит поэт в одном из писем. Думается, что уже эта одна мысль о кажущейся несвязанности событий и их осмыслении много значит для подлинно верного истолкования «Двенадцати». «Мы (весь мир) страшно изолгались. Нужно нечто совершенно новое», — пишет Блок в записной книжке в мае 1917 года. И далее до самого Октября он только и говорит, что об отвращении и ненависти к буржуазии, к войне, к реакции, к буржуазной интеллигенции, ничего не понимающей, злобной, трусливой, о том, что «один только Ленин» верит в будущее «с предвиденьем доброго», верит в то, что «захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране».

В очерке «Вечный бой» и в работе «Поэма Блока «Двенадцать» Вл. Орлов, основываясь на множестве разнообразных фактов, показывает, что перед Блоком, как и перед Маяковским, не стоял вопрос: принимать или не принимать Октябрьскую революцию? Это не значит, конечно, что Блок понял революцию так же, как Маяковский. Но не было ничего в свершающемся вокруг, чего бы Блок не принял.

С исключительной силой это прозвучало в «Двенадцати».

Отношение критики к великой поэме и ее героям слишком часто удивляло половинчатостью, непоследовательностью. Традиционный ход рассуждений был примерно таков: как замечательно, как благородно со стороны Блока, что он безоговорочно принял Октябрьскую революцию со всей неизбежной жестокостью классовых битв. Но зачем он эту жестокость описал в своей поэме? По мнению критиков, это произошло потому, что он понимал революцию как стихию, что

видел в ней главным образом «внешнюю», разрушительную сторону.

Вл. Орлов, анализируя поэму, обращается прежде всего к самим стихам. Двенадцать охарактеризованы поэтом абсолютно точно. Это вчерашние рабочие («рабочий народ»), нынешние красногвардейцы. И не понятно, отчего критику подчас так шокирует примененное к двенадцати слово «голытьба». В нем нет ничего зазорного. Голытьба — значит беднота, не что иное.

Это во многом еще «темные», рядовые бойцы революции, не авангард, а масса. Для них было до поры типично то, что описано Блоком: смешение революционного энтузиазма и разгула страстей, праведного гнева и черной злобы, старого и нового, «низменного» и «высокого».

Вл. Орлов показал нам, что Блок принял революцию со всем, что с ней шло, ничего не боясь, ни в чем не сомневаясь. Обычно говорили: принял вопреки... принял, несмотря... Да нет же! Никаких «вопреки» и «несмотря» для Блока не существовало — доказывает книга Вл. Орлова. Вряд ли поэт сочувствовал страшным «забавам» двенадцати, но они его не отталкивали от народа. «Буржуазная сволочь» в конечном счете получала, что заслужила: пожинала, что посеяла.

В «Интернационале» поется:

Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья...

Что «затем» — Блок не описал. Может быть, не успел, может быть, не сумел. По его высказываниям, приводимым Вл. Орловым в книге, видно, что он отлично понимал и учитывал «рабочую сторону большевизма», понимал, что «задумано» «устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Но неужто он зимой 1918 года в предвидении упреков критики должен был писать не о том, что его прежде всего волновало и окрыляло, не о самом деле него главным, не о крушении — наконец-то настоящем, полном крушении страшного мира! Это считалось некоей политической близорукостью, непониманием, недолопиманием. Отчего же? Разве сокрушение старой России — это «внешняя сторона» революции?

Книга подытоживает: двенадцать — это бойцы революции, они несут ее оружие. Это



оружие на минуту было направлено против несчастной Катюхи. но главное —

Их винтовочки стальные  
На незримого врага...

Главное —

Революционный держите шаг!

Главное —

Пальнем-ка пулей в Святую Русь...

Главное —

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем...

Двенадцать призваны разрушить старый мир до основания — поэтому они святы и, казалось Блоку, с ними Христос.

Образ Христа с кровавым флагом породил особенно много споров. На большом материале тонко и вдумчиво Вл. Орлов показывает, что Блок хотел очистить облик евангельского Христа от вековых церковных наслоений, вернуть его к тем временам, когда, по выражению Энгельса, христианство было еще «религией рабов... бедняков и бесправных», когда Христос «был» с темными и грешными (с «голытьбой»), ибо на их стороне была правда.

Понятно, что этот Христос, мессия нищих и угнетенных, «мог» идти с красным флагом впереди красногвардейцев.

Но зачем это Блоку понадобилось? Что это давало?

Блок хотел «другого» и — не находил. А ему нужно было с разительной силой подчеркнуть в конце, что дело этих «мытарей» и грешников — святое дело, что они со всем тем страшным и жестоким, что им сопутствует, чисты и святы, ибо они — воины правды.

В конце исследования Вл. Орлов отмечает, что и в этом желании поэта (неясном и безотчетном для него самого) поставить во главе отряда «очищенного» Христа, и в том, что он представил своих героев как основных героев революции, сказался идеализм Блока. Однако «пусть Блок не сумел вполне понять характер нового героя истории, но он верно отразил главные его черты — беззаветную преданность делу революции, беспощадность к ее врагам...»

Блоку, его отношениям с Андреем Белым, его семейной драме посвящены в «Путях и судьбах» еще два очерка — «История одной «дружбы-вражды» и «История одной любви».

Оба эти очерка знаменательны тем, что исследователь раскрывает, как превратности времени неумолимо влияли на сокровенно личные чувства, отношения, судьбы. Вл. Орлов тонко показывает, как социально-историческое входило в души людей, в их быт и поистине определяло их сознание. Блок не изменил дружбе с Белым из-за сложных отношений, возникших между другом и женой. К разрыву с ближайшим другом в конечном счете привели причины идейные: уход Блока от соловьевства, от мистики в жизнь.

Исследователь нигде, ни в чем не хочет упростить противоречивый, трагический облик и путь поэта. Если дружбу с Белым разрушила «измена» мистической «миссии», которую группа соловьевцев пыталась навязать поэту вопреки всему, то семейную жизнь его, напротив, неоправимо искалечила сама мистика, стремление вопреки жизни и живой реальности превратить насковзь земную женщину в «Прекрасную Даму», в «фикцию». С чувством горестного недоумения и боли читаешь о том, как, увидев однажды в живом человеке «воплощение Софии», Блок так и не мог внутренне перемениться к нему даже тогда, когда понял, что судьба с мрачной иронией сделала объектом его мистических чаяний женщину совершенно противоположного склада.

Так калечила мистика души и судьбы, так проявлялись ее губительное влияние и ее бессилие перед жизнью.

Есть ли в работах о Блоке детали, которые хочется оспорить? Есть, конечно. Вл. Орлов не впервые пишет о противоборстве у Блока после 1903 года тенденций «узкого, субъективистского лиризма» и стиля «строного, монументального и драматического». В этой связи ученый не раз отрицательно характеризовал «Снежную маску» как воплощение декадентской, слепой «лирической стихии». Правда, сам Блок тоже считал эту свою книгу «до последней степени субъективной». Но не стоит забывать, что он же отметил в записной книжке: «Можно издать свои «песни личные» и «песни объективные». То-то забавно делить — сам черт ногу сломит!»

Уже во втором разделе «Снежной маски» на фоне зимнего Петербурга с его тройками, вечеринками, маскарадами, стихами своевольная насмешница, измучившая «потерянного, влюбленного» поэта, выглядит вполне земной и реальной. Согласившись с

Блоком в том, что после 1903 года он вступает в круг «декадентских» тем и идей, Вл. Орлов вместе с тем справедливо отмечает, что разработка темы «Пузырей земли» «сыграла в творческом развитии Блока глубоко прогрессивную роль». То же, мне кажется, можно сказать о «Незнакомке», «Снежной маске» и многих других стихах 1904—1907 годов, которые у Вл. Орлова тоже попадают в декадентские.

Кстати, о «Пузырях земли». Вл. Орлов пишет об «устойчивых антитезах» в этом цикле: «гиблое болото — и открытое небо, Весна — и Колдун, болотная «темная сила» — и ликующие «пляски осенние»...». Но из всего контекста этого цикла явствует, что никаких «антитез» внутри него нет: болото, Колдун с зеленой бородой, большая русалка, чертенята в колпачках задом наперед, пляшущие осенницы, Весна, повенчавшаяся с Колдуном, Болотный поппик, лечаший лягушек, — это все одно, это образы единого ряда: символизирующие силы русской природы, ее темную, но милую сердцу поэта жизнь, которой он, погруженный в соловьевские «зори», прежде не знал, а теперь узнал и полюбил больше соборов и алтарей.

Статьи о писателях и журналистах XIX века, собранные в книге «Пути и судьбы» в разделах «Поэты» и «Литераторы», занимают в творчестве Вл. Орлова, вообще говоря, более скромное место. Они несколько суше и, так сказать, обыденней. Но и в них читатель найдет много интересного. В ча-

стности, статья о Катенине еще при первом своем появлении в конце тридцатых годов в виде предисловия к сборнику его стихов явилась своего рода «воскрешением» этого сильного, своеобразного лирика. Катенин стоял в центре литературной борьбы преддекабристского времени. Небольшая статья Орлова рисует нам не только человеческий и творческий облик Катенина, но и широкий историко-литературный фон его эпохи.

Это умение связать литературные судьбы и явления с развитием общественной мысли — сильнейшая сторона Вл. Орлова — историка литературы. Рассуждение о «гусарстве» как о форме оппозиции самодержавно-бюрократическому укладу в статье о Денисе Давыдове, развернутый анализ политических и идеологических установок «третьего сословия» во времена Николая Полевого, подлинно объективная характеристика противоречивой фигуры молодого Краевского — все это воссоздает историко-литературный процесс в той его целостности, которая доступна охвату лишь литературоведа, владеющего подлинно научным методом.

В заключение хочется сказать о лаконизме, о благородной сжатости слога работ Орлова. Думается, что их внешняя непринужденность, «неложная свобода», если воспользоваться выражением Языкова, — плод напряженного труда и взыскательного отношения к слову.

**В. ПОРТНОВ.**

Ваку.

★

## СВОЕ И «ОБЩЕЕ»

**Арк. Эльяшевич. Герои истинные и мнимые. Литературно-критические статьи. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 404 стр.**

Первые несколько десятков страниц в книге Арк. Эльяшевича читаешь с чувством все возрастающей скуки. Наверно, не один читатель, завязнув в них, так и отложит ее, не дочитав, с сожалением о потраченном времени.

И поступит неправильно. Потому что, загляни он несколько дальше, ему попались бы на глаза страницы, которыми эта книга может заинтересовать. Мы имеем в виду статью «Концепция человека», где содержится попытка рассмотрения литературных явлений — не на словах, а на деле — с позиций жизни

Критик обращает здесь внимание на то, что нередко в нашей литературе как добрые, так и дурные черты персонажей выглядят словно бы врожденными и, следовательно, случайными. Такой подход к проблемам морали «перекладывает всю ответственность на людей, видит конечные причины общественного зла и добра в их носителях», а потому знакомство со многими, даже талантливыми, книгами не углубляет у читателя понимания окружающей его действительности.

Недостаточна, по мнению критика, и простая ссылка на пережитки капитализма,

когда речь идет об отрицательных явлениях в сфере морали. И в самом деле, будучи вполне справедлива как указание на переходный характер нашего общества, такая ссылка ничего не говорит о том, в какой именно среде и почему бытуют те или другие пережитки, какие общественные условия обеспечивают их живучесть или, наоборот, препятствуют их проявлению.

«Человек — совокупность общественных отношений», — напоминает Арк. Эльяшевич. Исходя из этого, он показывает ограниченность той правды о жизни, которая сохранилась в ряде книг пятидесятых годов. Положительный пример создания социально мотивированного характера критик находит в повести В. Тендрякова «Тугой узел». Проследив процесс нравственного падения секретаря райкома Мансурова под воздействием сложившейся в период культуры личности бюрократической системы руководства, он дает высокую оценку умению писателя глубоко запечатлеть в созданном им типе главный конфликт времени.

К сожалению, не только в других статьях сборника, но и в этой, лучшей, своей статье Арк. Эльяшевич не удерживается на высоте такого метода критики. Смело пользуясь им при анализе книг, несущих проблематику первого послевоенного десятилетия, критик словно бы забывает о своей «концепции человека», когда заводит разговор о произведениях на современные темы.

Непоследовательность автора заставляет читателя то и дело спотыкаться о нереализованные заявки вроде следующей: «Нет людей, — пишет Арк. Эльяшевич, — вообще» свободных от противоречий, наблюдаемых в жизни, а есть конкретно-исторические люди, которые не могут встать над обществом, а сильны или, наоборот, слабы в результате силы или слабости различных идейных, экономических или иных тенденций, скрещивающихся в жизни». Эта мысль в разных выражениях неоднократно повторяется критиком, но какие именно тенденции «скрещиваются» в современной жизни, он не говорит или говорит неопределенно, как человек, не выяснивший для себя этого вопроса.

Перечень подобных несовершенств легко продолжить, однако не следует видеть в них какую-то индивидуальную черту данной книги и ее автора. Годы культуры личности не способствовали развитию навыков серьезного и самостоятельного исследования

общественного процесса. И даже те критики, которые критерий «социальности» превращают порой в некий козырь в литературном споре, часто сами идут в социальном анализе литературы и жизни не дальше нашего автора. Что касается разбираемой книги, то тут огорчительны не столько упомянутые несовершенства при попытке социального подхода к литературе, сколько тот факт, что сама такая попытка осталась в ней случайным эпизодом, привлекательной, но не характерной частностью. За статьей «Концепция человека», как и перед нею, тянутся статьи совсем иного рода.

Прежде всего они скучны. Почему? После статьи, только что рассмотренной нами, пусть несовершенной, непоследовательной, но во всяком случае не пустой, не праздной, вызывающей желание думать и спорить, особенно ясной становится их несамостоятельность. В них нет как раз того, что составляет главный интерес критической статьи и дает ей право на внимание читателя — нет живой, собственной и свежей мысли.

Взять хотя бы статью, открывающую сборник, — «Живет и здравствует!». Здесь говорится о том, что многократно похороненный модернистами реализм живет и здравствует, что он был и остается живым, непрестанно развивающимся и прогрессивным течением литературы, что в своих творческих проявлениях он неисчерпаемо многообразен. Все это излагается на двадцати печатных страницах, иллюстрируется перечнями имен и книг. И хотя то, что говорит критик, в общем, правильно, чтение статьи вызывает чувство досады. Кому и зачем он все это рассказывает? Зарубежный читатель не прочтет его книгу, а для советского многообразия и жизнеспособность литературы социалистического реализма — самоочевидный факт.

Остается предположить, что автор включил эту статью в сборник в целях критики той, по его выражению, «горсточкой людей, оторвавшихся от народа, забывших о классовых и национальных истоках нашего искусства», которая «время от времени снова и снова пытается проташить под флагом новаторства замшелые реликвии прошлого». Такое намерение критика можно было бы только приветствовать. Но для успеха дела надо прежде всего ясно представлять себе своего противника. Кто они такие, эта «горсточка»: сознательные враги нашего

искусства («оторвались от народа», «пытаются протащить...») или просто люди, заблуждающиеся в вопросах эстетики («забыли о классовых и национальных истоках»)? И опять-таки — раз уж берешься говорить об этом явлении, надо всерьез задуматься о причинах его возникновения, об его общественной природе, о том, почему оно выступило именно в данный момент, и т. д. И тут уж критику-марксисту негоже отмахиваться ссылкой на следование «модным зарубежным рецептам», ведь сам этот факт еще нуждается в объяснении: почему данные художники последовали именно «зарубежным рецептам», почему среди «зарубежных рецептов» они выбрали именно такие, а не иные?

Арк. Эльяшевич не дает себе в этом отчета, и потому его филиппики против упомянутой «горсточки» беспредметны и лишены какой-либо действительности. К тому же если по невежеству своему (мотив, на который критик особенно нападает) люди, принадлежащие к этой «горсточке», оказались незнакомы с выступлениями многочисленных предшественников нашего автора, то можно ли надеяться, что они прочтут его книжку?

Нет, трудно доказать законность и пользу в критике простого повторения старого, простой иллюстрации общеизвестных и общепринятых положений! А между тем сколько еще у нас подобной «критики»!

«В сборнике много полемики», — предупреждает нас издательское предисловие к книге. Это верно. Но спор спорознь. Бывает, что критик не может сказать своему читателю ничего положительного и существенного, потому что у него просто нет никакого собственного взгляда на вещи. Тогда для него счастливой находкой становятся разного рода ошибочные высказывания и неточные формулировки собратьев по перу. На каждую неточность, достойную разве что мимолетной газетной реплики, он дает обстоятельный ответ... Не так ли родилась, к примеру, в сборнике Арк. Эльяшевича статья, доказывающая, что ценность литературного произведения определяется не количеством страниц и что хороший рассказ не хуже хорошего, а тем более плохого романа? Может показаться, что эта истина и не нуждалась в доказательстве. Нет, оказывается, в 1959 году в «Литературной газете» Мехти Гусейн называл

роман «основным, «главным» жанром» — как же можно было оставить без возражения такое посягательство на многообразие советской литературы!

Подобной пустой, зряшной полемики действительно много в разбираемой книге. Зато в ней очень мало подлинно боевой остроты. Уличая собратьев по перу в разнообразных неправильностях и неточностях, Арк. Эльяшевич никогда не забывает окружить свои утверждения различными оговорками, не оставляющими никаких сомнений в безупречной правильности его позиции, хотя и сильно тормозящими развитие критической мысли. Так же и в критике отрицательных явлений современной литературы: он не столько наступает, сколько «окапывается», больше заботясь о предотвращении ответного удара, чем о силе удара собственного.

Может быть, поэтому, когда предметом его осуждения становится не какая-нибудь частная ошибка, а что-то более значительное, критик обычно не приводит ни имен, ни названий, а предпочитает пользоваться неопределенными местоимениями и безличными глаголами. Например: «Попадают книги, герои которых живут вне времени и пространства, изолированно от эпохи, от гула и рокота исторических событий». Или: «Для отдельных поэтов прогулки по полям и рощам становятся средством маскировки ограниченности запаса жизненных наблюдений, скудости идей и мыслей, а иногда и способом спрятаться в кусты от острых проблем современности». Или еще: «Сколь мелкими и приземленными кажутся... произведения тех писателей, которые поставили весь свой подчас неоспоримый талант на службу поверхностному бытописательству и обывательскому критиканству. И в частности (тут уж наверняка ждешь какой-нибудь конкретности, но увя! — Ю. Б.), сколь мизерными оказываются те произведения, в которых есть и правда разрозненных фактов, и даже богатство жизненных наблюдений, но нет обобщающей, вдохновенной и страстной идеи».

Такой способ критики хорош вдвойне: он демонстрирует и гражданскую непримиримость автора, и его великодушье, нежелание переходить на личности. Создается впечатление, что у критика в запасе солидный материал, что он намекает на факты, всем известные, а с другой сторо-

ны — попробуй-ка возрази! Разве критик виноват, что тебе незнакомы книги, которые «попадают» ему, что ты не читал «отдельных поэтов» и не знаешь ни одного такого советского писателя, который бы весь (!) свой неоспоримый талант поставил на службу «поверхностному бытописательству»?

Очень настойчиво боится себя критик от упрека в односторонности и пристрастности взгляда на современную литературу. Он громко заявляет о своей поддержке творчества писателей самых различных манер и стилей. Он разрушает привычные «обоймы» писательских имен и создает из них совершенно новые сочетания. Точно так же поступает он и с героями книг: «Самыми сложными в нашей литературе являются цельные, монолитные характеры, такие, например, как Давыдов и Нагульнов у Шолохова, Кирилл Извеков у К. Федина, Василий Денисов у Кочетова, Марко Бессмертный у М. Стельмаха, Михась Пашкевич у П. Нилина, Владимир Устименко у Ю. Германа».

Такая широта взглядов заслуживала бы всяческой похвалы, если бы критик в сопоставлениях и перечнях своих не упускал из виду и «многообразия» в художественном качестве названных произведений. О недостатках подобного подхода, когда Давыдов, Извеков, Денисов и другие перечисляются просто «через запятую», лучше всего сказал сам Арк. Эльяшевич в одной из своих статей, не вошедших в сборник: «Мы нередко стрижем под одну гребенку, зачисляем в одну среднюю, добропорядочную категорию и подлинно ценное, подлинно талантливое и то, что стоит на мало-мальски среднем профессиональном уровне. Вред, причиненный таким способом критики, ни с чем не сравним. Ведь тем самым мы лишаем читателя всяких ориентиров. Столкнувшись с неинтересным, но всячески разрекламированным произведением и испытыв при его чтении разочарование, читатель перестает нам верить и в дальнейшем равнодушно проходит мимо книг, которые и в самом деле украшают нашу литературу» («Нсва», № 2, 1960).

Кстати, о не вошедших в книгу статьях. Составляя сборник, автор оставил за его пределами как раз те из них, в которых с наибольшей определенностью выразилась позиция, занимаемая им в литературных дискуссиях последних лет, и для которых,

между прочим, только что приведенная благоразумная выдержка малохарактерна. Вряд ли бы будем вправе видеть в таком отборе какой-то акт творческой самокритики. Просто автора, очевидно, заботит не только сегодняшняя, но и завтрашняя оценка его книги.

Особый раздел сборника составляют теоретико-литературные статьи «Мастерство сюжетосложения» и «О лирическом начале в прозе». В то время как Арк. Эльяшевича-критика сугубая осмотрительность нередко стесняет, Арк. Эльяшевич-теоретик обнаруживает подчас даже излишнюю, на наш взгляд, дерзость. Более всего это относится к первой из названных статей, где, опрокидывая все прежние представления, автор дает совершенно новое понимание сюжета.

«...Мы вправе, — заявляет он, — считать сюжет целостной, всеобъемлющей художественной формой». «В него входят и портреты, и пейзажи, и авторские описания места и времени действия, диалоги и монологи и т. д.». В дальнейшем читатель узнает, что понятием «сюжет» целиком поглощается не только художественная форма, но и содержание произведения литературы. Поистине, как и предупреждал нас автор, «за пределами сюжета... в произведении не остается ничего».

Несмотря на то, что такая решительность производит сильное впечатление, теория, развернутая Арк. Эльяшевичем, не показалась нам ни убедительной, ни практически полезной. Ни на волос не углубляя существующего понимания сюжета, а лишь перенося самый этот термин на более общие литературные понятия, она только запутывает дело. Не потому ли сам автор тотчас забывает о ней, стоит только ему в той же самой статье перейти к конкретным критическим разборам. Более того: он спокойно употребляет такие выражения, как «сюжетный узелок» и «хитросплетение сюжетных ходов», прослеживает «сюжетную схему рассказа», а счастливые совпадения именуется «сюжетными натяжками». Но что такое «сюжетная схема», если сюжет по Арк. Эльяшевичу — это «всеобъемлющая художественная форма», и как может выглядеть «хитросплетение сюжетных ходов», если понимать под сюжетом «диалектическое единство содержания и формы»? Чем дальше

читаешь эту большую статью, тем явственнее ощущение надуманности, беспредметности предлагаемой нам теории.

Вероятно, иные из свойственных книге недостатков и прогвороченый нужно отнести исключительно на счет автора, однако

в большинстве своем они носят, так сказать, безличный характер и встречаются достаточно часто в разных статьях и книгах. Именно поэтому о них хотелось поговорить.

Ю. БУРТИН.

★

## ЛЮБОВЬ И ПАДЕНИЕ РИКАРДО МОЛЬТЕНИ

Альберто Моравиа. Презрение. Роман. Перевод с итальянского Г. Богемского и Р. Хлодовского. «Иностранная литература», № 9, 10, 1963.

Моравиа как-то заметил, что задача современного романа — изображение индивидуума или, самое большее, — индивидуалистическая интерпретация коллективных событий.

Теории Моравиа, хоть и претендуют порой на всеобщность, в сущности, лишь отражают — и обособывают — его собственную творческую практику. За исключением «Чочары», которая, по признанию писателя, была его данью Спротивлению, почти все произведения Моравиа — «камерные» драмы, замкнутые в кругу личных, часто мелких страстей, корыстных интересов, интимных переживаний. Даже «Римские рассказы», где главный герой — трудовой люд и действие вынесено из четырех стен на площади и улицы Рима, — тоже хроника частной жизни.

Герои Моравиа обычно равнодушны к политике, в том числе и те, которые, как «конформист» Клеричи, делают политическую карьеру. Они и знать ничего не хотят об идеях и идеалах, об истории, которая идет своим ходом, иногда втягивая их в свой трагический водоворот, но чаще всего — мимо и помимо них. Героиня одного из рассказов, доведенная до отчаянья нищетой, кричит в ярости: «Доберусь до короля и все ему выскажу!» Какое тысячелетие стоит на дворе? С небрежной иронией и скрытым вызовом Моравиа отмечает «надписи на стенах с обычным «ура» и «долой». Для бедняков и неудачников, ютящихся в трущобах, так же, как и для сытых баловней судьбы из фешенебельного Парнолли, — для всех этих персонажей Моравиа, в сущности, одинаково безразлично, кто сидит во дворце «на месте» короля.

Но если его герои, как правило, не сознают своих связей с историей, то сам Моравиа в отличие от них ощущает зависимость частного от общего. И хотя он обходит сто-

роной главные конфликты эпохи, они все равно дают о себе знать в его творчестве. Речь идет о том, что сам писатель определил как «индивидуалистическую интерпретацию коллективных событий».

Роман «Презрение», недавно переведенный на русский язык, не относится к числу лучших произведений Моравиа, но вместе с тем чрезвычайно характерен для его позиции и метода. О чем написал Моравиа? Для Рикардо, от лица которого ведется рассказ, это прежде всего история крушения любви. Для читателя — также и история нравственного крушения героя, крушения, обусловленного обстоятельствами не только личного, но и общественного характера. Оставаясь в рамках семейной драмы, писатель ставит проблемы, по сути своей далеко выходящие за пределы, обозначенные темой и жанром. «Презрение» — роман о судьбах интеллигенции.

Восстанавливая час за часом свои отношения с женой, терпеливо и горестно перебирая все мельчайшие подробности, Рикардо пытается понять, почему Эмилия разлюбила его, почему на смену безоблачной, счастливой любви пришло холодное презрение. Рикардо уверен, что ни в чем не виноват перед женой. Он любил ее самолюбивно и нежно, был заботливым мужем и страстным любовником. Он делал все, что мог — и даже сверх того, — чтобы она была счастлива. Эмилия принадлежала к той породе женщин, которым необходим дом, и хотя она никогда не упрекала его, он знал, как страдает она от их неустроенности, от убожества меблированных комнат. Ради Эмилии он пожертвовал призванием драматурга и все усилия направил на то, чтобы заработать деньги. В конце концов, стараясь не думать о будущих взносах, он купил квартиру, о которой она так мечтала, и тут как раз подвернулся продюсер Баттиста с вы-

годным договором на киносценарий. Все могло бы так хорошо устроиться, и вот тогда-то рухнуло его семейное счастье. Рикардо кажется, что все случившееся — лишь трагическое недоразумение и стоит только как следует объясниться с женой, как все сразу станет на место и она снова полюбит его.

Но Моравиа написал не о недоразумении и не о странностях любви. Напротив. С той рационалистичностью, которая ему свойственна, писатель доказывает закономерность катастрофы, постигшей Рикардо. И пока герой бьется над разгадкой, так и не дающей ему в руки, Моравиа исподволь ведет к ней читателя. Он делает это, так сказать, через голову Рикардо и вопреки ему, используя скрытые возможности повествования от первого лица. Хотя все происходящее увидено глазами Рикардо, мы можем взглянуть на героя и со стороны. Более того, очень скоро мы обнаруживаем несоответствие между этими точками зрения — объективной и субъективной.

Кто такой Рикардо? Некоторые критики утверждают, что он обыватель и приспособленец, но вряд ли стоит торопиться с вынесением приговора. В романе Моравиа, как, впрочем, и в жизни, все обстоит далеко не так просто. И Эмилия, которая бросает Рикардо, тоже в данном случае не судья. Ведь уходит она к Баттисте, а этот выбор компрометирует ее. Эмилия кричит Рикардо, что он «не мужчина», Рикардо действительно ведет себя самым жалким образом, часто ставит жену и себя в унижительное положение, словно «уступает» Эмилию Баттисте, сам того не замечая. А Баттиста? Вот «мужчина» — самодовольное животное, сытый хам с вкрадчивыми манерами, твердо знающий, чего он хочет, и умеющий из всего извлекать выгоду, Баттиста — хозяин жизни, Баттиста — победитель!

«Слабые мужчины» Моравиа, интеллигенты с ранним душой или просто неудачники, не приспособленные к свирепой борьбе за существование, иногда завидуют железной хватке и примитивной цельности своих соперников, завидуют и в то же время презирают их. Моравиа создал обширную галерею персонажей, пораженных недугом безволия. Неустанно исследуя эту болезнь, он склонен считать ее неизбежным проклятием цивилизации, конечным результатом того процесса, который начался с очеловечения обезьяны. Портрет Баттисты нарисован с яростным

презрением. Моравиа настойчиво подчеркивает сходство героя с гориллой, внешность «выдает» его происхождение. Баттиста приспособляется к законам общества, как звери — к законам джунглей, потому и берут они верх над цивилизованными людьми типа Рикардо, далеко ушедшими от своих доисторических предков. В эту биологическую концепцию Моравиа, впрочем, сам вносит существенную поправку, о которой стоит сказать подробнее.

Когда Моравиа недавно спросили, что оказало решающее влияние на его творческое формирование, он ответил: фашизм. Моравиа — реалист, он всегда писал лишь о том, что знал, что видел собственными глазами. Жизнь, которую он наблюдал и изучал, была жизнь фашистской Италии. Именно эта действительность, отвергаемая им последовательно и непримиримо, обусловила ведущие мотивы его творчества, его отношение к обществу и человеку. Герой романа «Скука», художник Дино, страдающий от творческого бессилия, очень четко определяет истоки своей драмы: «Мое отрочество прошло под черным знаком фашизма, то есть такого политического режима, который возвел в систему «некоммуникабельность» (отсутствие связей.— М. З.) — не только между диктатором и массами, но и внутри общества, между гражданами так же, как между ними и диктатором».

Все персонажи Моравиа отмечены «черным знаком» эпохи, даже если они и делают вид, что не замечают его. Они дышат воздухом, медленно отравляющим их, — отсюда их безволие, отсутствие жизненной энергии, равнодушные, неизлечимое одиночество. Но их бездеятельность несет в себе и положительное зерно, она есть также и форма отрицания той действительности, с которой они не желают иметь ничего общего. Конечно, они все равно не свободны от нее, но их преимущество перед «активными героями» империи Муссолини очевидно. Предлагая эту альтернативу в качестве двух вариантов человеческого поведения, Моравиа склоняется на сторону «ангигероя».

На это можно возразить, что к подобной альтернативе отнюдь не сводятся все существующие возможности — во всяком случае в жизни. Моравиа, конечно, знает об этом. В «Чочаре», которая так и осталась исключением в его творчестве, писатель сделал попытку изобразить настоящего героя, человека с нежной душой и железной волей,

справедливого, сердечного и бескомпромиссного. Несмотря на самые добрые намерения, из этого замысла мало что вышло. Антифашист Микеле — персонаж явно сочиненный, то ли потому, что Моравиа не привелось по-настоящему узнать людей типа Микеле, то ли потому, что ему, говоря словами Рикардо, не дано постигнуть ту «таинственную алхимию», которая «перерабатывает эгоизм в альтруизм». Как бы то ни было, но в дальнейшем Моравиа больше не делал попыток вырваться из знакомого ему мира, за пределами которого его талант реалиста и уверенное мастерство психолога «бастуют».

Действие «Презрения» разворачивается в послевоенной Италии, но юношеские годы Рикардо, когда, собственно, и формируется характер, отмечены все тем же «черным знаком». Рикардо и похож, и не похож на своих предшественников. В отличие от равнодушных героев Моравиа он способен на любовь и нравственное потрясение. Есть еще одно немаловажное свойство — для Моравиа особенно дорогое, — которое выделяет Рикардо из числа прочих: он человек одаренный.

В романе Моравиа, построенном по довольно жесткой схеме, совсем не случайно такое большое место занимает спор об «Одиссее», которую должен экранизировать Рикардо. Автор вновь и вновь возвращается к этому спору, в который раз уточняет позиции противников. Зачем эта настойчивость, эти повторы, явно затягивающие движение сюжета? Дело не только в тех неожиданных аналогиях между отношениями Одиссея и Пенелопы — с одной стороны и Рикардо и Эмилии — с другой, которые помогают герою разобраться в себе. «Одиссея» вообще играет в романе роль зеркала, в котором каждый видит собственное отражение. Но «Одиссея» нужна Моравиа и для решения проблем совсем иного масштаба. Для Моравиа так же, как и для Рикардо, поэма Гомера — олицетворение того лучшего, что создано человеческим гением, символ простой и мудрой цивилизации, прекрасного мира, где человек жил в гармоническом согласии с природой и с самим собой. Спор о будущем киносценарии, который ведут герои, — это как бы спор о наследии: кто хранитель великих традиций?

«Одиссея» Баттисты — броский кинобювик с обнаженными красотками, буафорскими чудесами и вполне реальными прибылями. Баттисте важно делать деньги — из

Гомера в том числе, а почему бы нет? — но расчет дельца он стыдливо прикрывает эстетическими принципами, противопоставляя голливудского Гомера «вредным» фильмам неореалистов, «которые напоминают людям о трудностях, вместо того чтобы помогать им преодолевать эти трудности». Режиссер Рейнгольд, маститый мастер и эрудит, видит в «Одиссее» современную психологическую драму, где вместо ярких и цельных героев Эллады действуют худосочные и нерешительные «антигерои». Рейнгольд относится к Гомеру со снисходительным превосходством — «Одиссея» его интересует лишь как предлог для фрейдистских построений. Внешность Рейнгольда внушительна и обманчива, как и его искусство: у него величавое лицо Гёте, которое он «носит», как маску, непомерно широкие плечи и неожиданно хилое тельце недоростка. С мрачной убежденностью, бестрепетно, как анатом, препарирует он «Одиссею», чтобы затем собрать заново, убив ее живую душу. Что касается Эмилии, то она в споре не участвует: ей «Одиссея» вообще ничего не говорит.

Только Рикардо открыт доступ в солнечный мир гомеровской поэзии, и Моравиа как будто признает за ним право на это наследство. С трудом сдерживая волнение, Рикардо читает недоумевающему Рейнгольду дантевскую песнь об Улиссе: «Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный отдайте постижению новизны... Подумайте о том, чьи вы сыны: вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены». Это один из ключевых моментов романа. Как говорит Рикардо, здесь выражено его «представление о себе самом и о том, какой должна была бы стать его жизнь. И «какой она, к сожалению, не стала», — с горечью добавляет он. Парадоксальность ситуации заключается в том, что именно в убогом рейнгольдовском варианте, вызывающем у него отвращение, Рикардо узнает себя, а тот прекрасный образ, который живет в его душе, никак не соотносится с судьбой Рикардо.

То представление о самом себе, с которым свылся герой, не просто самообман. В том-то и дело, что у него есть, вернее — были, основания для иллюзий. Но существует такая ловушка, в которую попадают очень многие, — утешительное заблуждение, что можно продаваться и тем не менее сохранить себя, оградить свой внутренний мир от обстоятельств, которым подчинено пове-



дение. Это обыкновенная история: человеку кажется, что он может на время отложить главное дело своей жизни, что взяться за него никогда не поздно, сначала надо стать на ноги, обеспечить семью, купить квартиру, машину, а потом... Потом оказывается, что прошел «тот малый срок, пока еще не спят земные чувства». Как ни печально, искусство действительно требует жертв, и традиционный образ «непризнанного гения», ютящегося на чердаке, вовсе не литературная выдумка.

Рикардо сотрудничает во второсортных газетках, пишет не интересные ему сценарии — словом, берется за все, что ни предлагают. Он презирает свою работу, считает себя выше и лучше ее, но выполняет добросовестно, из чувства долга: «Раз уж мне платят, я должен работать». При этом ему стыдно перед самим собой, и он испытывает «такие угрызения совести, словно продал за бесценок нечто, не имеющее цены».

Талант — товар особого рода, продавать его — дело убыточное для художника, потому что он неотделим от его души и нельзя, как ни хитри, произвести раздел владений: вот это настоящие слова, я оставлю их для искусства, а эти похуже — для денег. Рикардо пускает в коммерческий оборот богатство своей души — сделка, неизбежно заканчивающаяся банкротством. Но он живет, все еще ощущая возможности, отпущенные ему природой, как некий неразменный дар. Только в сказках бывают неразменные рубли, а в жизни за все приходится расплачиваться. Эмилия чутьем угадывает нравственную несостоятельность Рикардо, явившуюся следствием «растления таланта». Понадобилось страшное потрясение, крушение любви

и счастья, чтобы Рикардо осознал наконец истинное положение вещей.

В мире, где живут герои Моравиа, нет места для гомеровских подвигов и мужество часто выглядит до обидного неэффектно. Да и можно ли говорить о мужестве, если дело сводится, например, к тому, чтобы написать или не написать киносценарий? Современным Одиссеям приходится сражаться не с волей всемогущих богов и не с чудовищами. Боги ушли на покой, великаны выродились, их сменили разнообразными баттисты с чекочными книжками Рикардо находит в себе силы, чтобы отказаться от выгодной работы, унижающей его человеческое достоинство и талант. Он совершает тот единственный поступок, который мог бы спасти его и его любовь, но поздно. Эмилия уже не может, не хочет поверить ему. А Моравиа?

Странная и неожиданная гибель Эмилии, строго говоря, лишенная сюжетной обязательности, несет в романе идею возмездия. В силу окончательности, присущей только смерти, эта развязка отнимает у Рикардо всякую надежду. Здесь с полной категоричностью обнаруживается нравственная бескомпромиссность Моравиа. Все понимая, но не прощая, исследует он механику того будничного процесса больших и малых сделок, который постепенно затягивает и перемалывает человека.

В истории любви и падения Рикардо — настойчивое предостережение. В «Презрении» звучит тревога писателя о людях, забывших в своих житейских странствиях о том, что они «не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены».

М. ЗЛОБИНА.

★

### Политика и наука

## РАБОЧЕМУ — ОБ ЭКОНОМИКЕ

**А. Омаров. Школа хозяйствования. Книга для чтения по экономике социалистического промышленного предприятия. «Молодая гвардия». М. 1963. 384 стр.**

Лет десять тому назад далеко не каждый хозяйственник считал необходимым вникать в экономику.

Иные инженеры даже кичились незнанием основ хозяйствования. А о том, чтобы экономикой занимался рабочий, никто и не помышлял. Поэтому бедной и поверхностной была экономическая литература для массового чтения.

Время отсчитало чуть больше десяти лет. А мы живем словно в другой эпохе. Сегодняшние приметы: экономический институт на общественных началах, где учатся сотни инженеров Свердловска; еженедельная (по вторникам) учеба директоров московских заводов (они изучают экономику); тысячи общественных бюро экономического анализа и бюро нормирования по всей стране.

Сегодня бурно растет спрос на экономические знания. И нынешняя экономическая литература не похожа на прежнюю. В потоке экономической литературы хочется отметить книги, призванные по существу служить учебными пособиями по экономике для рабочих. Их издатели и авторы исходят из того, что и рабочие хотят систематически, глубоко изучать экономику, преодолевая «неинтересность» темы. Одной из первых, если не первой, такой книгой была работа А. Бирмана «Учись хозяйствовать», выдержавшая за короткий срок три издания.

К той же категории относится и «Школа хозяйствования» А. Омарова. «Книга для чтения по экономике социалистического промышленного предприятия» — таким подзаголовком снабдил ее автор. Если отвлечься от этого несколько туманного определения — книга для чтения, — то нетрудно увидеть, что перед нами самый настоящий учебник. Вот его разделы: управление и планирование, производственная программа и себестоимость, основные фонды — материальная основа производства, оборотные фонды и снабжение, труд, финансовые результаты.

Однако автор ни на минуту не забывает, что обращается к самому массовому читателю — к рабочим. Изложил тот или иной вопрос «по-учебному», ознакомив с теорией, А. Омаров тут же разъясняет мысль на примерах из практики предприятий, отдельных рабочих.

Было бы очень легко сузить задачу книги до изложения чисто прикладных сведений. Но ценность такого труда была бы невелика. К счастью, автор не пошел по такому пути. Он не чурается широкого взгляда, не боится поразмыслить и порассуждать о разных сторонах жизни современного социалистического предприятия. Вот, например, глава о рационализации и изобретательстве. Она начинается с цифр. Не так уж давно, в тридцатых годах, в ином цехе, а то и на всем заводе бывало два-три рационализатора. Ныне немало предприятий, где каждый трестиг или четвертый работник — рационализатор или изобретатель. В стране их свыше десяти миллионов. Каждый год они подают свыше четырех миллионов трехсот тысяч рационализаторских предложений и заявок на изобретения. Рядом иные цифры: если в 1920 году на каждую тысячу жителей Соединенных Штатов было подано 7,7 патентной заявки, то в 1959 году — лишь 4,6. Приведены аналогичные данные по Канаде,

Австрии — бесстрастное свидетельство статистики.

За цифрами следует рассказ о новых примечательных фактах из жизни предприятий страны, в частности, о возникновении общественных институтов рабочих-исследователей сначала в Омске, а затем в Свердловске, Запорожье, Москве, Ленинграде, Харькове и других городах.

Автор напоминает слова В. И. Ленина, объясняющие социальную природу подобных явлений: «В буржуазном строе делом занимались хозяева... а у нас хозяйственное дело — наше общее дело».

Прямо противоположный подход отражают приводимые далее слова известного американского инженера — организатора производства Ф. Тейлора: «...В нашей системе необходимо подробно объяснить рабочему, что он должен делать, как он должен делать. Всякое усовершенствование, которое он захочет ввести в данные ему указания, будет губельно для дела».

Читатели, несомненно, оценят, что автор не пытается поить их розовой водичей: в книге ведется серьезный разговор о недостатках в планировании и организации производства.

Книга содержит полезные для рабочих сведения, которых не найти в обычных учебниках. Вот, например, рассуждения об организации рабочего места. Здесь множество интересных наблюдений. Автор приводит мысль известного токаря-скоростника Павла Быкова: «Рабочий устает главным образом не от самой работы, как это ни покажется странным, а от вспомогательных движений. То есть тогда, когда он что-то ищет, за чем-то нагибается, роется в тумбочке».

Весьма ценно, что А. Омаров сумел уложить все необходимые сведения на сравнительно небольшой «площади», не поступаясь серьезностью изложения, давая, где это необходимо, довольно большие таблицы, приводя расчеты.

Кое-что, однако, автор, а вместе с ним и редактор Л. Антипина просмотрели. В книге допущены нечеткие формулировки, а иногда и прямые неточности. Вот пример: «Проект плана развития промышленности, составленный Госпланом СССР, рассматривается и утверждается Советом Министров СССР, после чего приобретает силу закона» (стр. 53). Совет Министров действительно утверждает проект плана, но это важное общенародное дело не проходит и мимо Вер-

ховного Совета СССР. План, как и государственный бюджет, обсуждается на сессии Верховного Совета и приобретает силу закона лишь после утверждения его нашим парламентом. При этом Экономическая и Бюджетная комиссии вносят свои поправки в проект. Об этом обсуждении стоило хотя бы кратко упомянуть в книге: ведь ничего подобного не знают в странах, где развитие народного хозяйства — частное дело толстосумов.

Перой встречаются в книге и стилистические погрешности.

Книга добротнo оформлена художником Н. Растошеновым.

В «Школе хозяйствования» рабочий почерпнет для себя много ценных и очень нужных ему сведений. Из этой книги он узнает, как организовано социалистическое производство, как используются внутренние резервы предприятия, что такое хозрасчет, каковы пути снижения себестоимости продукции, какое значение имеют основные и оборотные фонды предприятия, как правильно организовать труд...

О. ЛАЦИС.

★

## ДВА КОМАНДАРМА

**Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников. Воениздат. М. 1963. 247 стр.**  
**Командарм Уборевич. Воспоминания друзей и соратников. Воениздат. М. 1964. 262 стр.**

Во многом схожи судьбы этих двух командармов. Оба 1896 года рождения, оба большевики с весны 1917 года, оба входили в состав ЦК КПСС в последние годы жизни. Оба начали боевую деятельность с организации отрядов Красной гвардии в Бессарабии, а в последующем многое сделали для строительства всей Советской Армии, занимая ответственные посты командующих военными округами. И оба трагически погибли в расцвете своих сил и способностей в июне 1937 года, став жертвами сталинского произвола.

И. Э. Якир и И. П. Уборевич были яркими представителями славной когорты военных большевиков, которые принесли в голько что родившуюся Красную Армию свой творческий энтузиазм и галант, страстность в борьбе, несокрушимость воли, смелость, а главное — беззаветную преданность интересам трудящихся, задачам пролетарской революции.

Когда читаешь книги, посвященные жизни и деятельности И. Э. Якира и И. П. Уборевича, перед мысленным взором возникают светлые образы и других выдающихся военачальников — Тухачевского и Блюхера, Седякина и Примакова, Егорова и Федько, Эйдемана и Корка, Дубового, Гарькавого и многих других. Да и трудно представить себе боевой путь Советской Армии без всех этих имен, овеянных легендарной славой походов и побед. Именно потому они довольно часто встречаются и в рецензируемых сборниках.

Воспоминаниями делятся друзья и соратники Якира и Уборевича. Вместе с ними авторы шли по дорогам гражданской войны, вместе преодолевали трудности боевой подготовки войск в мирное время. Просто и увлекательно рассказывают С. И. Аралов и В. В. Попов, как молодой Якир летом 1919 года вывел из окружения Южную группу войск 12-й армии. Двадцать суток шли непрерывные бои, связи со штабом армии не было. Но умелое руководство командования, его смелость, инициатива, самоотверженность и героизм воинов принесли победу. По указанию В. И. Ленина славные дивизии этой группы были награждены почетными знаменами революции, а Якир и некоторые другие участники похода — орденами Красного Знамени.

До Октября И. Э. Якир был студентом-химиком; революция выявила в нем талант военачальника, который особенно проявился в сражениях гражданской войны. Маршал И. Х. Баграмян рассказывает, что в конце двадцатых годов, когда Якир учился в германской академии генерального штаба, он своим выдающимся дарованием удивлял фельдмаршала Гинденбурга, который подарил ему труд Шлиффена «Канны» с теплой надписью.

Недюжинным галантом обладал и И. П. Уборевич. Ему было лишь двадцать два года, а он уже командовал армией. Несмотря на отсутствие у него высшего военного образования, он в 1922 году был причислен к Генеральному штабу.

В октябре 1919 года, когда Деникин через Орел и Тулу рвался к Москве, И. П. Уборевичу поручили командование 14-й армией, членом Реввоенсовета которой был С. Орджоникидзе. То были тревожные для революционн дни. «Никогда не было еще таких кровопролитных, ожесточенных боев, как под Орлом, где неприятель бросает самые лучшие полки...» — писал В. И. Ленин.

В этих решающих боях, как и в последующих — под Белгородом и Харьковом, Полтавой и Екатеринославом, — войска 14-й армии под опытным руководством И. П. Уборевича громили лучшие полки Деникина.

Многие знают песню о «штурмовых ночах Спасска», но мало кому известно, что героический штурм Спасского укрепленного района осуществлен в октябре 1922 года под руководством И. П. Уборевича, который был тогда Главкомом Народно-революционной армии Дальневосточной республики. За эту блестяще проведенную операцию и освобождение Владивостока И. П. Уборевич был награжден третьим орденом Красного Знамени.

Боевая деятельность И. П. Уборевича на Украине и на Дальнем Востоке ярко освещена в статьях полковников П. Н. Александрова, М. С. Медянского, В. П. Малышева и других. Хотелось бы к их интересным воспоминаниям добавить одну очень существенную, на мой взгляд, деталь, не отраженную пока в литературе. 30 августа 1920 года, когда И. П. Уборевич возглавлял 13-ю армию Юго-Западного фронта, приказом Реввоенсовета Республики ему было присвоено право командовать армией в качестве единоначальника<sup>1</sup>. Это — исключительный в то время случай установления единоличного командования армией. И он свидетельствует не только о высоких воинских качествах И. П. Уборевича, но также о его огромном политическом авторитете. Это было настолько необычно, что, когда в некоторых частях приказ от 30 августа восприняли как отмену института комиссаров. И. П. Уборевич в приказе по армии (от 12 сентября 1920 года) разъяснил, что установление единоличного высшего командования касается только его лично как командарма. Все же военные комиссары в частях и учреждениях, как и раньше, несут всю полностью ответственности за вверенные им части наравне с соответствующими начальниками<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> ЦГАСА. Ф. 198, оп. 5, д. 46, л. 308.

<sup>2</sup> Там же, л. 365.

Авторы сборников показывают Якира и Уборевича как крупных новаторов в боевой подготовке войск и в разработке новых проблем военного искусства. Под руководством И. П. Уборевича работники штаба Белорусского округа, ныне Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский, М. В. Захаров, К. А. Мерещков и другие военачальники на многих общевойсковых учениях и маневрах проверяли и творчески уточняли основные положения теории глубокого боя и глубокой операции — этой новой теории оперативного искусства, действенность которой подтвердилась в битвах Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант авиации П. С. Шелухин отмечает, что под руководством И. П. Уборевича в нашей армии впервые было осуществлено пикирующее бомбометание, получившее затем широкое распространение как у нас, так и за рубежом.

И. Э. Якир «прямо-таки поражал нас глубокими знаниями в военном деле, умением разобраться в самой сложной обстановке и подсказать единственно правильное решение. Не удивительно, что многие были чуть ли не влюблены в Якира и старались подражать ему, его методике разбора учений, его манере общения с подчиненными», — пишет в своих воспоминаниях генерал армии А. В. Горбатов.

Товарищи по военной службе рассказывают о большом авторитете, которым пользовались оба командарма.

«На ежегодном подведении итогов боевой и политической подготовки Вооруженных Сил, — вспоминает генерал-лейтенант А. И. Черепанов, — сам по себе установился порядок, что в прениях задавали тон два славных командарма I ранга: начинал прения командующий Украинским (Киевским) военным округом И. Э. Якир, а вслед за ним выступал командующий Белорусским округом И. П. Уборевич. Их выступления блистали развернутым анализом прошедшего учебного года. На основе этого анализа всегда выдвигалось что-то новое, принципиальное, дельное, находившее потом отражение в приказах НКО в виде задач в обучении войск на следующий год. К выступлениям Якира и Уборевича чутко прислушивались и крупные государственные деятели, и умудренные глубоким военным опытом боевые командиры, и политические работники».

Авторы воспоминаний с большой теплотой рассказывают о личных качествах Уборевича и Якира, характеризуют их как лю-

дей отзывчивых и заботливых. Требование строжайшего соблюдения воинской дисциплины они сочетали с душевным подходом к подчиненным, чем заслужили уважение и любовь. «Мы,— пишет генерал-лейтенант М. Ф. Лукин,— любили Иону Эммануиловича за его исключительную тактичность». Маршал Советского Союза М. В. Захаров пишет о И. П. Уборевиче: «Он находил время и для личного общения с красноармейцами вне службы; ему хотелось знать душу рядового бойца, его нужды и стремления».

В годы Великой Отечественной войны обоих командармов уж не было. Но многие тысячи командиров, ранее прошедшие под их руководством хорошую школу военного искусства, одерживали победы. И в этом большая заслуга И. П. Уборевича и И. Э. Якира, как и многих других видных военачальников, ставших жертвами культа личности Сталина.

Маршал К. А. Мерецков рассказывает, что на одном из совещаний Сталин сказал ему: «Учите войска так, как вы учили их при Уборевиче».

Это указание, пишет К. А. Мерецков, вызвало тревожные и недоуменные мысли: «Как же так? Человек арестован и, по-видимому, не без ведома Сталина, и именно он, Сталин, рекомендует учиться у этого арестованного. Где же логика? За что арестован Уборевич? Какая на нем лежит вина?»

История уже многое осветила. Советский народ отдает сейчас должное памяти выдающихся борцов, невинно погибших в период культа личности.

Военнздат делает доброе дело, выпуская сборники воспоминаний о талантливых полководцах, беззаветно преданных партии и социалистической родине. Насколько мне известно, в ближайшее время выходят сборники о М. Н. Тухачевском и о некоторых видных деятелях Военно-Морского Флота. Думается, что было бы целесообразно также собрать воспоминания о Блохере, Гамарнике, Бубнове и других крупных военачальниках. Не следует забывать, что их современников становится все меньше и меньше и что никакой другой вид литературы не способен заменить живой, яркий рассказ очевидца, боевого друга.

Воспоминания современников приобретают особую ценность, когда творческий путь выдающихся деятелей показывается на широком фоне особенностей и величия нашей эпохи, как это удалось сделать в рецензируемых сборниках.

Несколько слов о справочно-библиографическом аппарате. В конце каждого сборника приведены основные даты жизни и деятельности человека, которому посвящена книга, а также краткие сведения о некоторых упоминаемых в ней лицах. Но почему бы не добавить к этому и краткие справки о важнейших политических событиях и военных операциях, которые названы в книге? Это расширит кругозор читателя, поможет ему лучше оценить прочитанное.

А. КАДИШЕВ,  
*доктор исторических наук.*



## КНИГА О ГРОЗНОМ ЦАРЕ

С. Б. Веселовский. Исследования по истории опричнины. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 539 стр.

Специалисты, вероятно, напишут об этой книге, если уже не написали. Быть может, у сторонников иных взглядов на время Ивана Грозного очерки академика С. Б. Веселовского вызовут какие-либо возражения. Что же до меня, читателя, то, едва лишь начав читать, я был покорен и самой книгой, и ее автором, хотя то и дело прерывал чтение, чтобы обдумать не только прочитанное, но и многое, возникающее попутно.

Мне прежде всего вспомнилось, как не так еще, кажется, давно, году в пятьдесят пятом или пятьдесят шестом, несколько московских

литераторов жарко спорили об исторической роли грозного царя Ивана.

Люди моего поколения, родившиеся лет за десять до революции, еще в пору ранней юности держались некоторых твердых суждений, внушенных литературой, и не одной лишь классической, но вообще русской литературой. Страшиться Грозного, восхищаться мужеством тех, кто говорил ему в лицо правду, учили нас, прежде чем мы узнали как следует историю, баллады Алексея Константиновича Толстого. Мы замирали от восторга, воображив, как на царском пиру, сре-

ди хмельных и буйных опричников, встал, подняв кубок, Михайло Репнин: «Опричнина да сгинет! — он рек, перекрестясь». Ненавистью к тирану и сочувствием к его жертве отозвалась в наших сердцах строчка: «И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь». Каждый из нас, я убежден, как бы вместе с Курбским самозабвенно обличал царя: «Ответствуй, безумный, каких ради грех побил еси добрых и сильных?» И одновременно каждый был Василием Шибановым, верным стремлянным Курбского, не дрогнувшим, когда царь вонзил в его ногу жезл. «Шибанов молчал. Из пронзенной ноги кровь алым струилася током». А когда мы читали Лермонтова, то сострадали купцу Калашникову, в дом которого нежданно пришла беда. Казалось бы, отроческие сердца должны были плениться Кирибеевичем, под которым аргамак степной ходит весело, у которого как стекло горит сабля вострая... Однако мы торжествовали, когда молодой опричник, узнав, кто вышел биться с ним, «побледнел в лице, как осенний снег». Нам представлялось справедливым, что он гибнет от руки Калашникова, и мы возмущались тем, что царь приказал казнить победителя, дивились его коварству и лицемерию: «Я топор велю наточить-наострить, палача велю одеть-нарядить, в большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью...»

Так научались мы первоначальным истинам, которые не переставали оставаться ими и в пору нашей зрелости, когда мы обладали уже и знаниями, и некоторым опытом. Отказываться от этих истин, считать, например, опричнину прогрессивной силой, осуществлявшей «разгром княжеско-боярской оппозиции и укрепление Русского централизованного государства», когда самое слово «опричник» с детства звучало синонимом подлости и жестокости, видеть в полубезумном тиране, которого мы представляли себе по известной картине Репина, великого государственного деятеля было нравственной мучой.

Споривших, среди которых не было историков, не столько интересовал далекий шестнадцатый век, время Грозного, сколько то, можно ли исказить правду, нравственно ли ради каких угодно высоких целей зло именовать добром, и наконец — как же это так случилось, например, что Малюта Скуратов, самое имя которого стало нарицательным названием злодея, выдается чуть

ли не за передового человека своего времени. Должен сказать не без горечи, что все это волновало немногих участников спора, большинство же держалось общепринятого в ту пору взгляда на Грозного и опричнину.

Напомню, что в только что вышедшем тогда двадцать шестом томе Большой советской энциклопедии о Малюте Скуратове говорилось, что он «был одним из наиболее типичных представителей рядового русского дворянства 16 в., ставшего социальной опорой самодержавия в его борьбе с боярской оппозицией», то есть в борьбе за укрепление Русского централизованного государства, как сказано о роли опричнины в другом томе той же энциклопедии, и что «решительность и суровость», с которыми Малюта Скуратов «выполнял любое поручение Ивана IV, сделали его объектом ненависти бояр, всячески старавшихся преуменьшить проявления жестокости с его стороны».

Мы иной раз забываем, сколько скверны соскребли с себя за минувшее десятилетие. И об этом я думал, читая «Исследования по истории опричнины» покойного академика С. Б. Веселовского. Когда книга уже была прочитана, я вернулся к первым ее страницам и перечитал подчеркнутые мною строчки, характеризующие Карамзина, но по сути дела выражающие взгляд Веселовского на существо работы историка вообще. Отметив как само собой разумеющееся то обстоятельство, что Карамзин как историк во многих отношениях устарел, Веселовский говорит, что «по своей авторской добросовестности и по неизменной воздержанности в предположениях и домыслах он до сих пор остается образцом, не достигаемым для многих последующих историков, у которых пренебрежение к фактам, нежелание их искать в источниках и обрабатывать соединяются с самонимием и с постоянными претензиями на широкие и преждевременные обобщения, не основанные на фактах». Мне подумалось, что слова о добросовестности и неизменной воздержанности в предположениях и домыслах следует прежде всего отнести к автору этих очерков об опричнине.

В первом очерке излагаются и комментируются мнения историков об опричном дворе царя Ивана. Согласившись с отрицательной характеристикой Грозного, которую дал Карамзин, и отметив попутно, что концепция личности и государственной деятельности царя Ивана, данная Карамзиным, поучительна

для государственного деятеля, Веселовский, мне кажется, весьма убедительно критикует попытки оправдать Ивана IV.

Веселовский рассказывает, что попытки эти, будучи разнообразными, в основе своей имели две идеи: возвеличение Ивана как государственного деятеля и оправдание его пороков с точки зрения государственной пользы. Он раскрывает тот нехитрый прием, с помощью которого это делалось. «Все положительное, что было сделано во время царствования Ивана, приписывалось лично Ивану, а все отрицательные явления и события вваливали на шею «боярства», оправдывая тем самым опалы и казни грозного царя, хотя и жестокие, а иногда и несправедливые, но в конечном счете полезные». Авторы этих попыток, не знавшие фактов либо неопытно пользовавшиеся известными фактами, как характеризует их Веселовский, не считались с хронологией и последовательностью событий. Они приписывали, например, Ивану важные и разносторонние реформы, относящиеся к тому времени, замечает покойный историк, когда «Иван по молодости и неопытности не был способен стать самостоятельным государственным деятелем, а затем находился под влиянием своих советников» — иначе сказать, тех же бояр.

Кавелин, говорит Веселовский, сравнил царя Ивана с Петром I, не приводя в обоснование этого ни одного факта. Он просто считал, что оба они были «благороднейшими и достойнейшими» представителями идеи государственности, с той только лишь разницей, что Петр был натурой волевой, практической, тогда как Иван IV — поэтической, страстной.

Конец исторического обзора касается современных историком обстоятельств. «От предшествовавших стадий развития исторической науки, — с горечью рассуждает Веселовский, — остались скверные замашки к широким обобщениям и разрешающим все сомнения читателя стройным концепциям». В доказательство этих своих наблюдений он приводит всем нам памятные факты, когда весьма известный романист в отзыве о популярной в ту пору трилогии, посвященной царю Ивану, с похвалой писал, что в произведении этом Грозный показан «передовым государственным деятелем, преобразователем жизни страны, твердым в достижении цели, прозорливым и смелым»; когда другой весьма почтенный литератор в отзыве о новой постановке пьесы, посвященной тому же

царю Ивану, утверждал, что после многих веков наветов и клеветы врагов Ивана Грозного «мы впервые видим на сцене подлинную историческую фигуру борца «за пресветлое царство», горячего патриота своего времени, могучего государственного деятеля». Веселовский цитирует и академика, считавшего, что «лишь сравнительно недавно события периода царствования Ивана IV получили в нашей исторической науке правильное, объективное толкование».

Не только содержание, но и самый тон этих последних строк очерка вызывает почтительное восхищение. «Итак, — с академическим спокойствием продолжает рассуждать Веселовский, — реабилитация личности и государственной деятельности Ивана IV есть новость, последнее слово и большое достижение советской исторической науки. Но верно ли это? Можно ли поверить, что историки самых разнообразных направлений, в том числе и марксистского, 200 лет только и делали, что заблуждались и искажали прошлое своей родины и что только «сравнительно недавно» с этим историографическим кошмаром покончено и произошло просветление умов».

Даже небольшое знакомство с отечественной историографией, говорит он далее, убеждает в том, что историки не раз делали добросовестные попытки дать положительную оценку деятельности Ивана IV и что новостью является только то, что наставлять историков на путь истины «сравнительно недавно» взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кинорежиссеры. Однако не в этом даже суть, а в том, что сказать что-либо новое в исторической науке не так легко, для этого необходим большой и добросовестный труд над первоисточниками.

Результатом такого труда и представляются мне все остальные очерки книги, в которых тщательно исследуются различные стороны деятельности Грозного, многие явления и обстоятельства того времени. Я не считаю для себя возможным судить о них во всех подробностях, скажу только, что мне особенно интересными показались те места, где доказывается несостоятельность того распространившегося у нас в недавние годы заблуждения, будто гнев Грозного казнил лишь мятежных бояр, будто простой народ не страдал от его жестокости. Веселовский рассказывает в одном из очерков, что «тяжелые удары царского

гнева стали поражать и представителей низших слоев, и в 1570 г. разразилась колоссальная катастрофа погрома Новгорода и Пскова». Он ссылается на так называемые обыскные книги и говорит, что они «пестрят перечислением убитых опричниками и разбежавшихся крестьян, указаниями на разграбление их имущества и скота, на заброшенную пашню и поросшие кустарем покосы». Впрочем, народ страдал не от одной лишь жестокости, но от произвола и сумасбродства вообще. «Указом об опричнине,— пишет Веселовский,— началось великое переселение служилых землевладельцев, разорившее несколько десятков тысяч средних и мелких владельцев и много десятков тысяч крестьянских хозяйств». Историк утверждает, что правительственные описания разных частей государства, произведенные в конце царствования Ивана IV и при царе Федоре, дают право сказать, что многие центральные уезды представляли такую же картину запустения, как двадцать—тридцать лет спустя, после гражданской войны и польско-литовской интервенции первых десятилетий семнадцатого века.

Таким образом, не было «революционера на троне», каким можно вообразить себе царя Ивана, если верить писателям и историкам, обличавшим своекорыстие и реакционность его противников, оппозиционеров-бояр. Не было и «государственной целесообразности», какую будто бы оправдывалась жестокость. Академик Веселовский, растолковывая высказывания псковского летописца, говорит, что царь Иван, освободившийся в опричнине от непрошенных советов своих думцев и взявший в свои руки бразды

правления, оказался плохим политиком, довел страну до запустения.

Книга С. Б. Веселовского издана в 1963 году Издательством Академии наук СССР, спустя десять с лишним лет после смерти автора, скончавшегося 23 января 1952 года на семьдесят шестом году жизни. Из двадцати одного очерка, составляющих книгу, восемнадцать публикуется впервые. Весьма поучительно просмотреть даты написания каждого из них. По преимуществу это 1945 год, то есть как раз то время, когда Грозного изображали борцом «за пресветлое царство», причем создавалось впечатление, что имеются в виду чуть ли не наши дни, а историки писали, что его деятельность «имела большое прогрессивное историческое значение». И вот в эту-то пору, едва ли надеясь увидеть свои работы напечатанными, ученый стоял на своем; полагая, что истина превыше всего. Об этом последнем я все время думал, пока читал книгу. Я прерывал чтение, возвращался к началу книги и рассматривал фотографию немолодого и чуть сурового человека с характерной внешностью русского ученого из разночинцев. Было немного печально сознавать, что он не дождался восстановления ленинских норм в нашей жизни, когда снова считается безнравственным утверждение, будто произвол может быть оправдан великой целью. И вместе с тем возникала потребность склонить голову перед его мужеством и убежденностью в том, что людям не безразличен его труд.

Вот почему, не будучи историком, я решил написать эту статью.

**Е. ДОРОШ.**

★

## АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ БИЗНЕС

**Ю. М. Шейнин. Наука и милитаризм в США. Научно-технический переворот в военном деле и возникновение предпосылок кризиса милитаризма. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 591 стр.**

В Европе еще бушевало пламя войны, когда в портах Франции на американские транспорты срочно грузились крупногабаритные и мало кому понятные предметы... На палубах и в трюмах были свалены длинные цилиндры, тяжелые стальные конусы и станки с поворотным механизмом. Некоторые из погруженных предметов имели крылья и напоминали самолет, а некоторые — длинную заостренную сигару. В Аме-

рику увозилось немецкое сверхсекретное оружие — Ф-1, Ф-2 и другие ракеты.

Американские монополии, нажившие на военном производстве огромные капиталы, не представляли себе мир без войны. Вот почему, когда вторая мировая война находилась на заключительном этапе, они, начав подготовку к новой войне, стремились к созданию наиболее эффективных и разрушительных видов оружия.



Сращивание науки с военным ведомством принимало в США все более ярко выраженный характер. Университеты, институты, научно-исследовательские лаборатории промышленных фирм и другие научные учреждения страны все больше и больше втягивались в орбиту Пентагона. Такого подчинения науки интересам войны, как это наступило в США в годы второй мировой войны и особенно в послевоенный период, мир еще не знал.

Новый этап милитаризации США проявился не только в размещении всевозможных военных исследований в научных учреждениях гражданских ведомств, но и в создании Пентагоном своих собственных крупных научных центров, в частности — Лос-Аламосской лаборатории ядерных исследований, где была создана атомная бомба. Величайшие открытия ядерной физики, преобразованные американскими милитаристами, были использованы для уничтожения японских городов Хиросима и Нагасаки, когда в этом, вопреки американской пропаганде, не было никакой военной необходимости.

Результат применения лишь одной бомбы, сделанной по разработкам ученых специалистами Лос-Аламосской лаборатории, превзошел все представления о средствах уничтожения и разрушения. Мир получил убедительное доказательство того, что, как это утверждалось в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий в 1960 году, «капитализм все больше препятствует использованию достижений современной науки и техники в интересах социального прогресса. Он обращает открытия человеческого гения против самого человечества, превращает их в грозные средства истребительной войны».

Наряду с развертыванием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию атомной бомбы в США многое делалось для создания ракетного оружия. С прибытием из Европы первых транспортов, доставивших немецкие ракеты, расширялись и заново переоборудовались испытательные полигоны. Оборудование каждого полигона — в Уайт-Сандс (штат Нью-Мексико), на полуострове Флорида (ныне полигон имени Дж. Кеннеди) и Тихоокеанского испытательного полигона с центром на бывшей авиационной базе Ванденберг — оценивается в сотни миллионов долларов. Они являются центрами сосредоточения военизи-

рованной науки, где окончательно проверяются и испытываются образцы сложной ракетной техники.

За период с 1939—1940 годов до 1963—1964 годов рост затрат на науку для нужд войны вдесятеро превзошел рост общих затрат США на научные исследования и разработки.

О расширении до невероятных масштабов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, об огромном росте ассигнований на создание новой военной техники, о сращивании национальной науки, военного ведомства и частных промышленных фирм, работающих на подготовку истребительной ракетно-ядерной войны, и рассказывает фундаментальная монография Ю. М. Шейнина «Наука и милитаризм в США».

От описания зарождения милитаризма автор переходит к анализу сложной взаимосвязи современной науки и техники с военной машиной первого государства капиталистического мира. Уже к 1961 году в атомной, авиаракетостроительной и радиоэлектронной промышленности США, получивших развитие после второй мировой войны, было занято свыше двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рабочих и инженерно-технических работников. Все эти отрасли промышленности, как и многие другие, заняты производством орудий смерти. Подготовка войны превратилась в общий бизнес промышленников и ученых.

Некоторые ученые-атомники еще до испытаний первой бомбы в пустыне Аламагордо предвидели опасность использования новейших научных открытий в военных целях. Известный физик доктор Л. Сцилард в апреле 1945 года в специальном докладе президенту США предупреждал, что первая же взорванная атомная бомба положит начало гонке вооружений и конкуренции в этой области. К таким же выводам пришел в своем секретном докладе и Комитет по социальным и политическим аспектам атомной проблемы при Чикагском университете во главе с авторитетным ученым Джеймсом Франком. Однако американское правительство игнорировало эти грезвые голоса.

Вслед за созданием первой атомной бомбы в США началось конструирование еще более разрушительного оружия. Водородное устройство, испытанное американцами на острове Бикини в марте 1954 года, превосходило по мощности первые образцы атом-

ных бомб почти в пятьсот раз. «Мы сделали работу за дьявола»,— признал бывший руководитель Лос-Аламосской лаборатории ядерных исследований доктор Роберт Опенгеймер.

Техника — основное связующее звено между наукой и обществом. Только через технику наука становится непосредственной силой созидания или разрушения. И поэтому вполне правомерно, что большое место в рецензируемой книге уделено кадрам, их подготовке и использованию в США после второй мировой войны. Помощник министра обороны США П. Фут заявил в 1957 году, что более половины американских ученых и специалистов заняты разрешением военных проблем. Автор приводит цифры, показывающие огромный рост затрат высококвалифицированного труда на создание военной техники. Так, если на постройку тяжелого бомбардировщика времен второй мировой войны Б-17 затрачивалось двести тысяч инженерных человеко-часов, то на создание современного среднего бомбардировщика Б-58 затрачивается уже девять миллионов триста сорок тысяч инженерных человеко-часов.

Развитие науки и технический прогресс находятся в прямой зависимости от социально-экономических условий страны. Ярво выраженный милитаристский характер американской науки отнюдь не создает подходящего климата для ее процветания. Анализируя факты последнего времени, Ю. М. Шейнин показывает, как милитаризм США ведет к сужению перспектив развития американской науки. Подтверждаются вещи слова Дж. Бернала о том, что «ученых в великие периоды прогресса вдохновляло убеждение в том, что они работают ради общего блага общества. Это вдохновение грозит исчезнуть в условиях культуры, целями которой являются частная прибыль и война».

Вполне обоснованно говорится в книге о том, что ненадежность американской автоматики в ракетном оружии увеличивает опасность случайного возникновения войны.

Милитаризация науки не ограничивается сферой создания ракетно-ядерного оружия огромной разрушительной силы. Тысячи ученых США вовлечены в изыскание новых средств массового уничтожения. Широко используются бактериология, химия, свойства всевозможных излучений и другие достижения современной науки. Все это открыло

глаза многим ученым и политическим деятелям в самих США, некоторые из них начинают понимать необходимость заключения соглашений о запрещении производства и применения средств массового поражения, о всеобщем и полном разоружении. Однако все сильнее звучат в США призывы «бешеных» развернуть термоядерную войну против социалистических стран.

Научно-технический переворот в военном деле, использование значительной части производительных сил для производства средств истребительной войны создают предпосылки неизбежности кризиса милитаризма. Эти предпосылки обусловлены прежде всего безудержной гонкой вооружений. Общих запасов ядерного оружия в мире достаточно, по замечаниям издателя журнала «Сайентифик Америкэн» Ж. Пиля, чтобы уничтожить жизненные центры всей земли семь раз.

«Тенденция развития ракетно-ядерного оружия на нынешнем этапе военно-технической революции,— пишет Ю. Шейнин,— свидетельствует о таком гипертрофированном милитаристском злоупотреблении наукой, которое вплотную подводит к исчерпанию потенций дальнейшей гонки вооружений. Решающую роль играет при этом опережающее развитие советской науки и техники, ускоряющее созревание объективных предпосылок кризиса милитаризма».

Исторический опыт доказал, что без науки не может существовать ни одно цивилизованное государство. Наука по своему содержанию и предназначению призвана помочь людям преобразовать природу, всесторонне приумножить богатство человеческого общества, дать людям изобилие материальных благ при минимуме затрат труда, украсить их быт и духовный мир.

Наука нашего замечательного века — века фундаментальных открытий и бурного технического прогресса — уже дала человеку возможность проникнуть в тайны атомного ядра, создать ракетные двигатели мощностью в десятки миллионов лошадиных сил, необходимые для смелых космических полетов, и обеспечить радиоэлектронное управление космическими средствами на сотни миллионов километров. Человечество стоит на пороге еще более грандиозных научных открытий и технических преобразований во всех сферах деятельности. На очереди проблемы широкого внедрения радиоэлектронной аппаратуры и комплексной ав-

томатизации в производство, овладения тайнами управления термоядерными реакциями и создания новых, не виданных до настоящего времени энергетических установок, полеты к другим планетам Солнечной системы, коренные преобразования в обла-

сти химии и биологии. Наука призвана служить процветанию, а не уничтожению человечества.

**И. ЖЕЛТИКОВ,**

*полковник, кандидат военных наук.*

★

## ПОМОЩЬ? НЕТ, ЗАКАБАЛЕНИЕ

**З. И. Романова. Экономическая экспансия США в Латинской Америке. Соцэкгиз. М. 1963. 270 стр.**

Советские ученые, изучающие развитие национально-освободительного движения в Латинской Америке, уделяют существенное внимание вопросам экономической экспансии США в этом районе. Империализм янки — главный эксплуататор, главный угнетатель народов латиноамериканского континента, стремящийся целиком подчинить все обширные природные и людские ресурсы этого района интересам американского монополистического капитала.

Рецензируемая книга — не первое печатное издание по данной теме. В 1952 году вышла в свет работа Э. Л. Шифрина «Экспансия американского империализма в Мексике после второй мировой войны». В 1954 году была издана написанная в более широком плане монография М. А. Гречева «Империалистическая экспансия США в странах Латинской Америки после второй мировой войны». В последующем отдельные аспекты проблемы неоднократно освещались в журнальных статьях, в материалах сборников, посвященных Латинской Америке, однако наиболее обстоятельным исследованием по данной теме явилась работа З. И. Романовой.

Десятилетие, отделяющее нас от выхода в свет предыдущих крупных публикаций на тему об экспансии США в Латинской Америке, было насыщено глубокими изменениями в международной обстановке. Рост могущества и международного авторитета мировой социалистической системы стимулировал освободительную борьбу народов колониальных и зависимых стран. На развалинах бывших колониальных империй в Азии и Африке возникли десятки молодых суверенных государств. Могучие волны освободительного движения прокатились и по латиноамериканскому континенту. Выдающимся событием в этом районе стала

победа кубинской революции, возникновение и консолидация первого в Западном полушарии социалистического государства — Кубинской республики. Усиливается борьба против американского диктата в Бразилии и некоторых других латиноамериканских странах. В конце 1962 года к двадцати политически независимым государствам в этом районе примкнули еще две небольшие страны — бывшие английские колонии Ямайка и Тринидад и Тобаго.

Новая ситуация в Латинской Америке не на шутку встревожила империалистические круги США. Представители мозговых трестов монополий — идеологи внешней политики США — наперебой заговорили о необходимости «нового подхода» к проблемам латиноамериканского континента. На свет божий появилась «программа помощи» Латинской Америке под крикливым и лицемерным наименованием «Союз ради прогресса». Экономическая, а также военно-политическая экспансия США в этом районе стала приобретать более замаскированный характер; существенное изменение претерпевают методы и формы осуществления этой экспансии.

Но главным орудием экономического закабаления стран Латинской Америки, подчеркивает автор рецензируемой книги, по-прежнему остается экспорт частного капитала. Это и понятно. В отличие от долгосрочных государственных кредитов частный капитал имеет возможность выбирать по своему усмотрению наиболее выгодные, наиболее доходные в каждый данный момент сферы приложения сил. Непосредственное внедрение крупнейших монополий янки в латиноамериканскую экономику позволяет им оказывать «изнутри» серьезное влияние на все стороны хозяйственной, а также общественно-политической жизни той или иной страны. Немаловажное значе-

ние для укрепления позиций США имеют прямые контакты представителей крупного американского бизнеса в этом районе с местной буржуазией.

В книге приводятся подробные данные, характеризующие объем, направление и главные формы экспорта частного американского капитала в Латинскую Америку. Только за период с 1950 по 1961 год прямые капиталовложения США в данном районе увеличились почти вдвое — с 4,4 миллиарда долларов до 8,2 миллиарда. Инвестиции США в Латинской Америке значительно больше американских капиталовложений в Азии, в Африке и даже в Западной Европе. Обилие ценного сырья, дешёвая рабочая сила, более слабое конкурентное давление на местном рынке, наконец льготы и привилегии, выторговываемые у неустойчивых правительств, — вот главные причины, побуждающие монополии явни интенсивно экспортировать капитал в латиноамериканские страны.

Автор обращает внимание читателя на известную эволюцию в методах осуществления экономической экспансии североамериканского капитала. Захват латиноамериканского рынка осуществляется не только путем расширения экспорта товаров в этот район, но и таким более замаскированным методом, как создание непосредственно в латиноамериканских странах дочерних компаний, очень часто выступающих под вывеской «национальных» или так называемых «смешанных» (с частичным участием национального капитала) предприятий. В этой связи в книге приводится любопытное высказывание деловой американской печати: «Наиболее консервативный способ (захвата внешних рынков.— *И. Ш.*) заключается в ожидании экспортных заказов и затем в отгрузке покупателю товаров... Именно таким образом и действовали в прошлом американские компании. Но в современных условиях, когда английские, немецкие и другие фирмы вышли на внешние рынки и предоставляют льготные кредиты, продолжение этой традиционной практики означало бы уход с внешних рынков... Сейчас все большее и большее число американских компаний строит свои производственные предприятия за границей».

Вот красноречивые данные, приводимые в книге в подтверждение этого важного факта. В форме товарного экспорта США сбывают в Латинской Америке нефть и

нефтепродукты на относительно небольшую сумму — всего лишь на 85—95 миллионов долларов. Между тем обороты филиалов и дочерних компаний нефтяных монополий США в этом районе достигают трех миллиардов долларов. США ежегодно экспортируют в Латинскую Америку химических товаров на 400 миллионов долларов, а оборот подконтрольных им химических компаний, обосновавшихся в этом районе, составляет 590 миллионов долларов. Американский экспорт сельскохозяйственных товаров в Латинскую Америку оценивается в 360—400 миллионов долларов, оборот же контролируемых Соединенными Штатами местных сельскохозяйственных предприятий достигает 540—600 миллионов долларов...

В 1961 году компании США получили в Латинской Америке от своих прямых капиталовложений 910 миллионов долларов, или примерно одну четверть всех своих зарубежных прибылей. При этом только одна нефтяная промышленность Венесуэлы дала им 377 миллионов долларов прибыли.

В последние годы наряду с экспортом частного капитала империалистические круги США расширили также и экспорт государственного капитала в латиноамериканские страны. Его главной формой являются долгосрочные кредиты, предоставляемые правительственными и подконтрольными США «международными» банками.

Империалистическая пропаганда широко рекламирует такие займы и кредиты как одну из «эффективных» форм помощи слаборазвитым странам в деле их экономического и социального развития.

З. И. Романова приводит обширный фактический материал, разоблачающий лживость подобных утверждений апологетов американского империализма. Их действительный расчет строится на том, чтобы посредством так называемой экономической «помощи» укрепить политические и экономические предпосылки для дальнейшего развертывания экспорта частного капитала в этот район. Подчеркивая это важное обстоятельство, З. И. Романова пишет: «Основная задача государственного кредитования — поощрять частные капиталовложения, а не заменять их. Государственные кредиты и займы используются для создания в странах Латинской Америки благоприятного политического и инвестиционного режима. Они подготавливают условия, расчищают

дорогу для последующего притока частного капитала».

Расширение экспорта капитала по государственной линии, дополняемое теперь небольшими подачками в виде безвозвратных субсидий или так называемых даров, — это в известной мере вынужденный шаг со стороны правящих кругов США. Сейчас, когда социалистические страны в возрастающих размерах оказывают бескорыстную экономическую помощь бывшим колониальным и зависимым странам, империалистические страны и прежде всего богатейшая среди них — США в целях поддержания своего пошатнувшегося политического престижа вынуждены подчас экспортировать капитал на «смягченных условиях». К тому же усиление антиимпериалистических настроений в латиноамериканских странах увеличивает опасность национализации частных американских компаний в этом районе.

Государственные кредиты и займы предоставляются в первую очередь тем странам Латинской Америки, которые послушно следуют в фарватере американской политики. К таким странам относятся, например, Венесуэла и большинство центральноамериканских республик. Крупными долларовым подачками агрессивные круги США стремятся создать из этих стран своеобразный кордон вокруг революционной Кубы, вовлечь их в свои опасные авантюры.

Значительный интерес в рецензируемой книге представляют ее завершающие разделы, посвященные проблемам внешнеторговой экспансии США в Латинской Америке и созданию регионального общего рынка. В этих разделах убедительно показаны огромные трудности, с которыми приходится сталкиваться подавляющему большинству латиноамериканских стран в результате их односторонне развитых внешнеторговых связей. Зависимое, неравноправное положение этих стран в капиталистической системе международного разделения труда приводит, в частности, к тому, что они несут значительные потери на неэквивалентном товарообмене с промышленно развитыми капиталистическими странами. Такие потери стали особенно ощутимыми начиная с середины прошлого десятилетия, когда цены на основные товары латиноаме-

риканского экспорта — минеральное и сельскохозяйственное сырье — стали заметно снижаться, а цены на импортные товары (машины, оборудование и другие готовые промышленные товары) возросли. Такое движение цен означало, что за прежнее количество импортируемых товаров латиноамериканские страны должны были отдавать гораздо большее количество своих товаров. Так, в 1955—1957 годах для того, чтобы приобрести один импортный трактор, Аргентина была вынуждена продавать около ста тонн пшеницы; между тем в 1937 году такой эквивалент составлял пятьдесят тонн, а в 1928 году — сорок две тонны.

Как видно уже из сказанного, работа З. И. Романовой — содержательное, весьма ценное научное исследование экономических проблем современной Латинской Америки. К сожалению, некоторые весьма интересные положения не получили в книге достаточного развития или объяснения. В иных случаях текст оказывается излишне перегруженным второстепенным фактическим материалом, за которым теряются выводы и обобщения автора. Наиболее существенный пробел в рецензируемой книге, на наш взгляд, заключается в том, что в ней почти не намечена тема усиливающейся борьбы демократических и патриотических сил Латинской Америки против экспансионистских устремлений американского империализма в данном районе. Между тем есть немало фактов, свидетельствующих о растущем сопротивлении народов экономическому натиску монополий. Так, усиливается движение в защиту естественных богатств латиноамериканских стран; предпринимаются попытки выдворить иностранные компании из некоторых ключевых отраслей хозяйства; усиливаются требования регламентировать вывоз прибылей и т. д.

В целом же книга, несомненно, обогатит читателя новыми знаниями о современном мире, в котором проблемы экономического развития современной Латинской Америки занимают немалое место.

**И. ШЕРЕМЕТЬЕВ,**

*кандидат экономических наук.*

## ПРИСТАЛО ЛИ ЭТО «ЗНАНИЮ»?

**Аркадий Ваксберг. Преступник будет найден. Рассказы о криминалистике.**  
Издательство «Знание». М. 1963. 158 стр.

У этой книги интригующее название, а обложка... Такой обложке позавидовал бы и дореволюционный издатель Каспари, наводнявший в свое время книжный рынок самым низкопробным бульварным чтением.

На обложке изображено все, чего он, Каспари, мог бы потребовать от художника: лупа, какой-то ключок с отпечатками пальцев, полустертый золотой царской чеканки, новенький ключ от английского замка, обрывок записки с грозным текстом: «Меня не любишь, так берегись любви моей»... Выпустило эту книжку издательство «Знание».

Кто не знает, что марка издательства — капитал, наживаемый в результате выпуска сотен, а то и тысяч книг, что это ручательство издательства за добротность и полезность книги. Растратить этот капитал куда легче, чем нажать его. Издательство Общества по распространению политических и научных знаний известно многолетней деятельностью, направленной на популяризацию достижений советской и мировой науки. Не раз встречалась в печати и фамилия автора книги — московского юриста Аркадия Ваксберга; его перу принадлежит ряд основанных на подлинных судебных делах беллетризованных рассказов и очерков.

Итак, под крикливой обложкой перед нами сборник именно такого рода рассказов, объединенных общей темой: криминалистика.

Что ж, любому научно-художественному рассказу можно порадоваться — жанр этот остродефицитен, а каждая наука, если она достойна ею называться, бесспорно, вправе претендовать на популяризацию.

Но вот взгляд падает на выходные данные книжки о криминалистической науке «Преступник будет найден»... Тираж — 700 (семьсот!) тысяч экземпляров!

Даже для наиболее массовой литературы — и то подобный тираж не столь уж част: его надо заслужить! Чем же объясняется, что издательство Общества по распространению политических и научных знаний решило так щедро расходовать свои далеко не безграничные лимиты бумаги на распространение знаний именно о криминалистике?

Этот вопрос возникает еще до того, как принимаешься за чтение книжки. Ее тираж и соответственно этому проникновеннее ее в широкие читательские массы сразу настаивают на то, чтобы отнестись к ней особенно требовательно.

Итак, перед нами книжка рассказов о криминалистике. Каждый из них самостоятелен, но все они преследуют общую цель, отчетливо сформулированную в самом названии сборника: «Преступник будет найден». Автор, преданный своей науке, стремится убежденно и живо рассказать о том, что современная криминалистика располагает всем необходимым, чтобы раскрыть каждое преступление, сколь бы загадочным оно ни выглядело поначалу.

Однако щедро высыпанные на читателя факты и анекдоты из самых разных областей жизни далеко не всегда имеют прямое отношение к криминалистике как к науке. Вот эпизод, в котором главную роль играет Народный артист СССР Н. К. Черкасов, причем — что придает рассказу особый интерес — играет не на сцене, а в жизни. Черкасову, совсем еще молодому человеку в ту пору, о которой идет речь, сплошь и рядом уступали место в трамвае: готовясь к роли профессора Полежаева в «Депутате Балтики», он «примерял» на себя образ героя и ходил по Ленинграду, загримированный стариком. Случай занятный, но какое отношение имеет он к криминалистике?

Вот рассказ о том, как М. М. Герасимов восстановил по черепу скульптурный портрет Улугбека, внука Тимура, знаменитого астронома XV века. Тут А. Ваксберг принимается рассказывать о технологии этой работы, хотя для криминалистики она совершенно не важна: ей нужен лишь результат работы М. М. Герасимова.

Конечно, есть в книге немало интересного материала и строго на тему о том, как криминалистика использует в своих целях достижения самых разных, причем весьма на первый взгляд далеких от нее наук. Ей могут понадобиться и теория условных рефлексов Павлова, и качественный спектральный анализ, и фотографирование в инфракрасных лучах. Вместе с тем современная криминалистика и сама помогает другим весьма далеким от нее наукам: допу-

стим, искусствоведению, археологии, истории.

Но криминалистика — наука не только «точная» (о чем не раз говорит в своей книге А. Ваксберг), а в той же мере и «общественная». Это и понятно: разве наука о том, как раскрыть преступление, может абстрагироваться от конкретных обстоятельств объективного характера, которые способствовали совершению преступления? Поэтому невозможно сводить криминалистику только к техническим ее средствам или особым приемам исследования.

В нашей стране, где государство не только не противостоит народу как аппарат насилия над ним, а, напротив, является детищем самого народа, криминалистика всегда может рассчитывать на полную поддержку масс, и это необычайно расширяет ее возможности. Для нас всякое преступление антиобщественно.

А. Ваксберг недостаточно, я полагаю, акцентирует эту существенную особенность советской криминалистики, ее глубокую партийность и связь с народом, хотя они того заслуживают.

Вот, например, в рассказе «Джентльмены удачи» А. Ваксберг не жалеет красок для изображения высшего торжества криминалистики.

Между тем обстоятельства описанного в этом рассказе преступления таковы, что, если бы даже ни одно из средств криминалистики не было в данном случае применено, преступники неизбежно были бы изобличены. Достаточно лишь было глубже вникнуть в психологию тунеядца Нефедова и его собутыльников.

Просчет А. Ваксберга в этом рассказе, мне кажется, в том, что он, желая еще и еще раз прославить криминалистику, в угоду только этой цели (причем узко понятой) прошел мимо другого — и куда более важного! — что заключено в деле «джентльменов удачи»: мимо его общественного значения.

Нельзя обойти молчанием и цветисторазвязный язык, к какому порой прибегает автор. Сказать с зверском душегубстве едва ли не с иронической улыбочкой: «Коварный водевиль, довольно лихо разыгран-

ный молодыми убийцами», — значит не быть озабоченным тем, чтобы в твоём произведении все (включая, конечно, и язык) работало только на ту идею, которую ты как будто бы отстаиваешь.

Детективный рассказ, повесть, роман пользуются большим спросом читателя, в первую очередь молодежи, и потому каждый промах, допущенный в таком произведении, вызывает отклик особой силы.

Есть и удачи в книге А. Ваксберга — когда он обращается к теме и рассказывает о криминалистике как о науке.

Большую часть книги, к счастью, составляют не рассказы вроде таких, как «Джентльмены удачи», а главы полуочеркового-полустатейного плана, в которых автор доступно, приводя выразительные примеры, знакомит читателя с некоторыми важнейшими достижениями сегодняшней криминалистической науки. Сведения эти не дают, правда, стройного представления о криминалистике, но книжка Ваксберга не учебник, требовать от нее этого неправомерно, хотя, потрудись автор над нею посерьезнее и понастойчивей, он мог бы, конечно, добиться большей систематичности изложения материала, и это пошло бы только на пользу книжке (а значит, и читателю).

Специальная глава — «Чудак-человек» — посвящена, скажем, судебной фотографии, ее возникновению и борьбе ее основоположника Е. Ф. Буринского с тупым судебским ведомством царской России. Это, пожалуй, одна из лучших глав книги.

Содержательная глава «Могучие союзники», посвященная использованию в криминалистике химии, ультразвука, баллистики, «прирученного» атома и т. д. Одна из важнейших глав посвящена опровержению антинаучного тезиса, будто бы признание преступника в совершенном им преступлении есть наиболее исчерпывающее доказательство его виновности.

Именно эти главы наиболее ценны и интересны в книжке, именно из-за них автору стоило над нею еще потрудиться. А издательство напрасно форсировало ее выпуск да еще таким большим тиражом.

Руд. БЕРШАДСКИЙ.



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ОБ ОДНОМ ЗАМЫСЛЕ ГОРЬКОГО

Не так давно в «Правде» было опубликовано письмо ленинградских рабочих к советским писателям с призывом создать к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции документально-художественную эпопею, отображающую исторический путь, пройденный советским обществом. «Речь идет о серьезнейшей задаче советских литераторов — увековечении в эпической форме полувекковой вдохновенной, созидательной деятельности народа, руководимого ленинской партией», — заявил К. А. Федин в письме, направленном им от имени секретариата правления Союза писателей СССР литераторам страны.

В связи с этим представляют несомненный интерес сохранившиеся в Архиве А. М. Горького материалы, относящиеся к

одному из значительных замыслов Горького — изданию пятитомника «Две пятилетки». Особенно важна так называемая «Ориентировочная программа работы», которая явилась результатом обсуждения проблем пятитомника на совещании у А. М. Горького в марте 1935 года и составлена на основании выступлений и указаний писателя.

В значительно большем объеме материалы, относящиеся к пятитомнику «Две пятилетки», будут опубликованы в сборнике архивных документов «Горький и советская печать», который подготовлен к изданию Архивом А. М. Горького и выпускается в ближайшее время издательством «Наука».

Публикация подготовлена кандидатом филологических наук В. С. Бараховым.

## ЛЮДИ ПЯТИЛЕТКИ<sup>1</sup>

### Ориентировочная программа работы

#### Задача книги

В ходе социалистического строительства вырастает и выковывается человек нового типа. Характерными его чертами являются: сознание себя активным строителем жизни, борцом за социализм, участником коллектива, класса. Это тип человека с новым отношением к труду как к творчеству, осваивающего технику, науку, культуру, искусство, воспитавшего и развившего в своем характере отвагу, преданность партии и социализму, могучую волю и упорство в преодолении препятствий и трудностей, революционный размах, знание техники.

Такой тип человека формировался и формируется в годы первой и второй пятилеток и стал распространенным в среде рабочих, Красной Армии, пролетарской технической интеллигенции и колхозников. Он стал массовым, и, будучи ведущей фигурой

в нашей действительности, он является ее положительным героем.

Основная задача книги: изобразить тип новых людей советской страны во всем многообразии и разнообразии их характеров, индивидуальных черт, свойств, личных переживаний, показать процесс роста нового человека под влиянием революционного гурда

Иначе: изобразить процесс воздействия коллективно организованного разума людей на силу и матерью природы и процесс влияния практических результатов этого воздействия на «природу человека».

Еще иначе и проще: работа людей по созданию культуры и обратное влияние созданного на тех же людей.

#### Общая установка

Книга должна явиться цельным произведением, которое отобразит типические процессы, события и людей эпохи создания со-

<sup>1</sup> Одно из первоначальных названий пятитомника.



циалистического общества. Она должна явиться как бы «человеческой комедией» нашего времени.

Русская классическая литература создала галерею типов старой России. «Люди первой и второй пятилетки» должны дать сложившиеся и слагающиеся новые типы советских людей.

Введением в книгу явится исторический литературный очерк, идейно цементирующий галерею героев книги. Автор очерка — А. М. Горький.

Коллектив рассматривает себя как художественно целостный творческий организм и видит единство книги в общем для всех идейном направлении, в общем миропонимании, основанном на учении Маркса—Ленина, в творческом методе социалистического реализма, базирующемся на критическом овладении культурой прошлого, на социалистическом опыте и утверждающем новую социалистическую действительность.

Именно это единство в основном, главном и решающем позволяет и обязывает требовать от каждого члена коллектива наиболее полного развертывания его индивидуальных творческих сил и возможностей, своеобразия его литературной манеры, художественного интереса к тем или другим явлениям социалистической действительности, являющимся для него органическим мотивом творчества. Книга в целом должна быть продуктом художественных интересов каждого участника коллектива, давая ему полную возможность наиболее эффективно проявить себя как художника.

Общая композиция материала книги решается коллективом. Работа писателя обсуждается в коллективе. Каждый писатель будет делать на коллективе сообщение и по отдельным вопросам, которые возникнут в процессе его работы, и по общим проблемам.

В работе над книгой следует исходить из того, что книга не является некоей иллюстрацией к уже готовым, добытым положениям, к уже зафиксированным типам и характеристикам, к проблемам, уже полностью исчерпанным. Книга должна давать не литературную инвентаризацию выявленных в прессе типов, а должна дать глубокий разрез нашего общества, и в этом случае мы должны заниматься не натуралистическим описанием, а художественно раскрывать действительность и людей нашей эпохи.

Коллектив должен исходить из того, что

мы очень мало знаем наше общество, его «личный состав», и, занимаясь изучением объектов работы, мы еще как следует не изучили субъекта революции — пролетариата, коммунистов, армии, комсомола, пионеров, работников науки, техников, изобретателей, колхозников и т. д. в художественно-социологическом освещении. В литературе существует много грубых штампов, приблизительных и просто неверных, устаревших представлений о поколениях 20—30-х годов, о процессах и новых отношениях внутри нашего общества, и разрушить эти штампы на основе глубокого, самостоятельного, смелого исследования жизни — есть первая задача книги. Она должна дать настоящий правдивый материал жизни и, в известном смысле, должна явиться художественной энциклопедией нашей действительности.

#### Герой книги, формы его изучения и изображения

Так как книга должна дать художественную типологию эпохи, то, естественно, мы должны показать самых разнообразных людей... но отобразив их с существенной стороны, что в целом и даст типологическое художественное и философское единство книги.

Но именно для того, чтобы дать типы людей нашего времени, мы должны построить изучение и изображение этих людей вокруг конкретно-исторических проблем пятилетки так, как они стояли в определенные периоды раньше и развиваются теперь. Поэтому задача нашей ближайшей работы — проработать общие проблемы, проблемы второй пятилетки таким образом, чтобы они в нашей книге (напр., проблема транспорта, не говоря уже о проблеме освоения и овладения техникой) выступили как литературные темы, как поэтические мотивы нашей действительности. В своей работе мы должны идти от факта, от материалов, от знания действительности, всего ее конкретного богатства и исходить из того, что мы должны изобразить типы людей в их типовых отношениях между собой и в отношениях к природе.

Формой жизнедеятельности и развития личности в нашей стране является коллектив — человек в коллективе, поэтому мы в книге должны выразить эти новые общественные связи в их конкретности с тем, чтобы эта новая общественная

связь выступила основой сюжетного построения книги.

Главным предметом изучения и отображения должны явиться социальная практика людей реконструктивного периода, их поступки, их действия, но так, чтобы это раскрывало и сознание людей нашего времени, их интересы, намерения, стремления, и не только производственные, но и «потребительские»: чего человек хочет для себя, как он планирует свою жизнь, круг его симпатий, личных вкусов, тяготений и т. д. Предметом изучения должны явиться новые мотивы человеческого поведения, новые чувства, страсти, понятия, так как они возникали в процессе социалистического строительства и получили новое историческое развитие. Наша задача — открыть то исторически своеобразное в людях нашей эпохи, которое складывается не под влиянием стихийного развития, а формируется силами и теми же перестраиваемой действительности.

Особенно мы должны бежать от «сусальщины» в изображении людей, от наигранной патетики и «геронизирования» избранной темы, от поспешного стремления бумажно-газетной фабрикации героев. Однако героем книги ни в коем случае не является некий арифметический «средний человек» подобно ходовому герою современной западноевропейской литературы. Либеральная и сентиментальная мелкобуржуазная литература на Западе и у нас (даже и советская литература) изображала мелкого и среднего героя с точки зрения его «места под солнцем». Мы не должны забывать, что основная идея, возбудившая чудовищную энергию лучших людей нашей страны, отрицает право на место под солнцем для целого класса людей. Героев нашей книги можно, правда, грубо, но в основном распределить на три группы.

В первую группу мы отнесем людей, наиболее полно воплотивших в своей работе и жизни черты нового человечества, людей волевых, сильных, энергичных, людей, воплотивших новое отношение к труду (ударничество, соцсоревнование), новые взаимоотношения в коллективе, в семье и т. д. Старая Россия почти не знала людей этой формации и закалки, литература готова была считать обломовщину национальным русским явлением, ей противостояли Штольцы и т. д. Герои нашей книги, которых можно отнести к указанной первой группе, вместе с тем не единообразны. Люди по-разному

проявляют себя в разных условиях. Единство типа и диалектика кадров революции. Большевизм как процесс, формирующий новое человечество.

Во вторую группу надо отнести типаж, характеризующий всю сумму явлений, противостоящих социалистической перестройке общества. Это силы капитализма. Типы врагов, вредителей, кулаков. Тип меньшевика, троцкиста, оппортуниста. Сюда же надо отнести людей, которые не вступили на путь борьбы с революцией, но по всей природе своей являются инородным вкраплением в советскую среду, «механическими гражданами» и т. д. В книге должен быть описан и современный обыватель, мир его интересов и настроений. Мир этого «мелкого человека» очень изменила революция. Раньше такой «мелкий человек» скулил от серости и скуки или умственно чудачествовал. Освещенный круг его сознания был очень мал. Ныне советский обыватель живет в окружении больших событий, в атмосфере идейных страстей. Он должен обороняться от идеологии. Он по-своему приспособляется к необходимости жить в революционной среде.

Здесь перед нашим коллективом стоит задача разработки новых для литературы отрицательных типов.

Третью группу героев книги составит обширный мир людей, проделывающих путь от капитализма к коммунизму. Это, в известном смысле, резервы революции, постепенно вовлекаемые в бой. Типаж этой группы самый пестрый. Существенно показать в нем две стороны: перековку, обновление человека и своеобразие путей включения в дело строительства социализма. В этом последнем смысле интересно наряду с обычным подходом со стороны професии показать самоопределение в революции людей со своеобразным, часто индивидуалистическим душевным складом, фантазеров, романтиков, бродяг. В старину в России немало было таких людей, не уживавшихся в своей среде. Чаще, например, странничество было проявлением слабостей человека, но иногда «чуждость» оказывалось проявлением изобретательских сил. В книге надо будет показать и советских «чудаков»: всевозможных колхозных умельцев, изобретателей, затем зимовщиков, энтузиастов геологоразведывательных партий, завоевателей природы и т. д.

Равное место в книге должен занять тип советской женщины, главным образом женщины революционной формации. Затем в

книге должны быть показаны новые люди, которых выдвинула революция в национальных республиках, типы организаторов, большевиков, ученых и т. д. Старая Россия угнетавшая десятки народов, в сущности, даже не знала эти национальности и их культуру. А в прежней литературе почти совсем нельзя встретить изображения людей из небольших народностей, входивших ранее в состав империи.

#### Коллектив и работа над книгой как университет

«Надо действительно знать, как будто сам ее делал» — эти замечательные слова Горького должны стать основным лозунгом в работе коллектива.

Первый период работы над книгой будет для каждого периодом сбора материала и обдумывания своей темы. Но вместе с тем от каждого члена коллектива потребуются продумывание проблематики книги в целом, ее философской и научной стороны. Нужно, чтобы коллектив был на уровне громадных и для большинства новых вопросов, которые будут решаться в книге. Эта книга должна давать обобщения, идущие от действительности, от факта, от материалов, а не подгонять материал к заданной теме. Мы будем открывать, а не описывать. Вот почему работа над книгой от каждого писателя требует в первую очередь знаний, знаний людей, знания того опыта, который накоплен в различных звеньях советского общества. Для этого коллектив должен стать университетом или философским и техническим институтом изучения эпохи в тех разрезах, которые мы себе намечаем.

Помимо привлечения в качестве консультантов ученых, экономистов и т. д. в специальных случаях, коллектив заслушает серию лекций и проведет ряд бесед и встреч с командирами пятилетки. Работа начнется именно с изучения опыта рабочего класса в строительстве социализма. Ближайшая работа будет заключаться в том, чтобы с привлечением ряда консультантов основной аппарат редакции разработал «карту совет-

ской страны» с нанесением опорных пунктов книги «Люди пятилетки», наиболее типичных объектов предприятий, научных учреждений, колхозов и т. д.; разработал бы проблемологический календарь событий первой и второй пятилеток, расположив их во «времени» и «пространстве», установил бы очередность работ и расставил бы писательские силы по определенным тематическим маршрутам — в соответствии с творческими тяготениями каждого и интересов к проблеме. От общего обсуждения плана коллектив может перейти к конкретной работе...

#### Работа коллектива и опыт советской литературы

Коллектив рассматривает свою работу как дальнейшее развитие всего опыта советской литературы. В изучение явлений нашей действительности также включается и изучение развития советской литературы, подытоживание и анализ того, что уже литература дала, ее типов, характеров, образов людей советской страны. В связи с этим работа критиков в коллективе должна — помимо тех или иных личных художественных заданий, которые возьмет на себя тот или иной товарищ, — должна заключаться в обобщении опыта советской литературы, в анализе творчества писателей, входящих в коллектив. Критики должны подходить к творческой задаче каждого члена коллектива не изолированно, а с точки зрения его творческого развития, художественной манеры, стиля и т. д.

Критика должна в коллективе изучать как явления жизни, так и литературные проблемы, связанные с работой над книгой, — вопросы стиля, языка, сюжета, композиции, типа, характера, жанров и т. д., ставя и обсуждая доклады по этим проблемам и т. д.

Задача создания «человеческой комедии» нашего общества возможна при условии критического анализа и усвоения того, как создана «человеческая комедия» общества буржуазного, ее типов и синтетических образов. И здесь критика должна обогатить этим знанием весь писательский коллектив.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. ИВАНОВ.** Фриц Платтен. Госполитиздат. М. 1963. 79 стр. Цена 9 к.

В биографии В. И. Ленина, вышедшей не так давно вторым изданием, есть немало строк, посвященных Фрицу Платтену.

«Когда Владимир Ильич возвращался с митинга,— читаем мы на странице 397,— автомобиль, в котором он ехал, был обстрелян террористами-контрреволюционерами. Спутник Владимира Ильича — швейцарский коммунист Ф. Платтен — быстро наклонил вниз голову Ленина. Платтен был легко ранен, Владимир Ильич, к счастью, остался невредим».

Можно добавить, что, к счастью, рядом с Лениным был в те минуты его верный друг Фриц Платтен. И если бы он ничего больше не сделал в своей жизни, кроме того, что совершил в тревожный день 1 (14) января 1918 года, уже одного этого поступка было бы достаточно, чтобы каждый, кто носит в сердце образ Ленина, с благодарностью называл имя Платтена. Брошюра А. Иванова рассказывает о революционере огромного благородства и беспредельного мужества. Это о нем Владимир Ильич написал: «Платтен — друг рабочих и враг капиталистов всех стран».

Кто из революционеров, близких в ту пору Ильичу, не хотел бы увидеть эти ленинские слова рядом со своим именем? Вся жизнь Платтена, все, во имя чего он жил, — в этой предельно короткой строке.

Автор рассказал нам о рабочем вожаке, ораторе, подпольщике, организаторе трудного переезда русских политэмигрантов во главе с В. И. Лениным из Швейцарии в Россию, видном борце международного коммунистического движения, создателе сельскохозяйственной коммуны швейцарских рабочих на родине Ильича, научном сотруднике и педагоге.

Платтен не избежал участи многих и многих — он стал жертвой клеветы и репрессий в 1938 году. С болью мы читаем заключительные строки брошюры о безвременном уходе из жизни замечательного борца за счастье трудящихся.

**А. Лазебников.**

**КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.** Политиздат. М. 1963. 288 стр. Цена 58 к.

Эта книга понятна даже и тем, кто впервые знакомится с основами экономики сельского хозяйства. Читатель найдет в ней много фактических сведений, характеризующих состояние сельскохозяйственного производства и перспективы его развития, получит достаточно ясное представление о наиболее важных экономических вопросах развития сельскохозяйственного производства.

В книге уделено большое внимание проблемам интенсификации производства как главному пути дальнейшего развития сельского хозяйства. В главе «Каждому хозяйству — свое направление» изложен интересный материал об особенностях и формах специализации сельского хозяйства, о том, как правильно определить выгодность специализации. Эта глава подводит читателя к мысли о том, что решающее условие интенсификации — наиболее рациональное использование земли.

На примере колхоза «Гвардия» Свислочского производственного управления Гродненской области показано огромное значение удобрений в интенсификации сельского хозяйства.

В книге рассказывается о механизации сельскохозяйственного производства, рассматриваются вопросы организации и оплаты труда в колхозах и совхозах, методы планирования и управления хозяйствами.

Что такое себестоимость сельскохозяйственной продукции и какова ее структура? Что означает хозрасчет как метод социалистического хозяйствования и рентабельности производства? Ответ на эти вопросы читатель найдет в главе «Вести хозяйство расчетливо, экономно».

Издательство политической литературы проявило хорошую инициативу, выпустив эту полезную книгу. Приходится лишь сожалеть, что тираж ее крайне мал — всего шестьдесят семь тысяч экземпляров.

**В. Поляновский.**

**М. И. ЛАЗАРЕВ.** Империалистические военные базы на чужих территориях и международное право. Издательство Института международных отношений. М. 1963. 255 стр. Цена 1 р. 5 к.

Более полувремени тому назад американский коммодор Ричард Мид принудил царька Оау-О-Мага подписать договор о предоставлении Соединенным Штатам главенствующего положения и морской базы на Гавайских островах. Этот подписанный под дулами тяжелых орудий «договор» и положил начало созданию системы военных баз США на чужих территориях. Но настали другие времена. Народы, освобождающиеся от колониальной зависимости, все настойчивее требуют ликвидации иностранных военных баз. Поэтому империализм пытается обосновать законность сохранения своих баз на чужих территориях ссылками на международное право. Разоблачению несостоятельности юридических концепций империализма, имеющих целью «легализовать» военные базы, и посвящена книга М. И. Лазарева.

Автор доказывает, что неравноправный характер договоров о военных базах маскирует уступку территории слабого государства сильному и потому не укладывается в рамки современного международного права. Этот тезис книги обосновывается конкретными примерами, показывающими, как военные базы империалистических держав нарушают принцип мирного сосуществования и Устав ООН.

На примере одного вопроса о военных базах книга объясняет читателю, как действует механизм международного права, как растет и развивается современное правосознание народов.

Значительное место уделяется доказательству юридической недействительности договоров о военных базах. Как решать вопрос об объявлении международного договора недействительным? Буржуазные юристы решают этот вопрос чисто формалистически. Большинство из них считает, что договор недействителен, если при его заключении над представителями одной из сторон было совершено насилие. А насилие над самим государством или его народом, по их мнению, не имеет юридического значения. Но такой подход означает признание правомерности разбоя и насилия на международной арене!

По-иному, в духе подлинного гуманизма и в соответствии с современным правосознанием народов, рассматривает этот вопрос советская наука права.

Автор рассказывает о борьбе Советского Союза и других социалистических стран за ликвидацию всех иностранных военных баз и вывод иностранных войск с чужих территорий.

Книга М. И. Лазарева — это научная монография, написанная с привлечением многочисленных иностранных и отечественных источников, десятков договоров о военных базах, документов и протоколов ООН. Од-

нако представляется, что она будет интересна не только для юристов-международников и практических работников в области внешней политики, но и для более широкого круга читателей, интересующихся проблемами международного права и международных отношений.

**С. Богатов.**

★

**ГЕРХАРД ЗАВОРКА.** Психологическая война НАТО (Организация, способы и методы ведения психологической войны). Сокращенный перевод с немецкого. Воениздат. М. 1963. 311 стр. Цена 93 к.

Опираясь на многочисленные факты, на высказывания идеологов империализма, автор рецензируемой книги публицист из ГДР Герхард Заворка приходит к выводу, что «психологическая война — это особый вид подготовки и ведения империалистических войн, позволяющий господствующим классам империалистических государств, используя пропаганду, террор и другие средства, оказывать влияние на собственные народы, народы «вражеских», союзнических и нейтральных стран в политико-идеологическом, моральном и психологическом отношении для достижения целей своей агрессивной стратегии».

Строгая документальность, аргументированность выводов — основные достоинства книги. Читатель найдет в ней обширный материал об огромном аппарате, ведущем психологическую войну.

Вербовка агентов, шпионаж, запуск в сторону социалистических стран воздушных шаров с клеветническими листовками, саботаж, диверсии, организация контрреволюционных мятежей — вот виды деятельности таких, казалось бы, мирных институтов, как печать, радио, телевидение... И процесс Пеньковского, обнаруживший весьма далекие от дипломатии дела сотрудников посольств Англии и США; и мятеж в Венгрии, спровоцированный при активнейшем участии американских, западногерманских и некоторых иных секретных и открыто действующих служб; и пресловутые «дни икс»; и военные базы на чужих территориях; и «Корпус мира» в странах Африки, Азии и Латинской Америки; и политические убийства; и фальшивка ЦРУ о темпах развития советской экономики; и заурядная клевета — все это и есть психологическая война в действии.

В то же время империалистам приходится постоянно опасаться трудящихся в своих государствах. Борьба за мир, за социальные преобразования, против гнета монополий и всевластия капитала усиливается внутри капиталистических государств день ото дня.

Клевета, дезинформация, культ силы, культ секса, откровенный расизм — словом, отравы во всех возможных видах изливаются на головы и души читателя блестяще изданных журналов и пухлых газет, зрителя кино и телевидения, слушателя радио...

Но, как справедливо отмечает автор, «пропаганда — это только одна из форм ведения психологической войны, которую стратеги НАТО ведут против народов империалистических государств. Другой формой является жестокое преследование полицией, органами юстиции и террористическими организациями борцов за мир, всех передовых и демократических элементов».

Становится все более очевидным, что действия империалистов представляют собой реальную опасность для человечества и требуют к себе самого пристального внимания мировой демократической общественности. К этому и призывает книга Герхарда Зазворки.

К. Слободин.

★

**А. Н. ЩЕРБАНЬ, А. А. РУТЕНКО.** Страницы летописи Донецкой. Издательство Академии наук Украинской ССР. Киев. 1963. 171 стр. Цена 52 к.

Сегодняшний Донбасс по уровню техники превосходит лучшие угольные районы Западной Европы и Америки. Он олицетворяет собой индустриальную мощь нашей страны, творческую энергию народа, строящего коммунизм. На службу труженику-шахтеру советские ученые поставили передовую технику — врубовые машины и комбайны, мощные электровозы и породопогрузочные агрегаты. Каждую минуту Донбасс добывает 166,6 тонны черного золота. Побывавший на донецких шахтах шотландский горняк Джон Маклин посоветовал английским рабочим посетить Советский Союз и посмотреть, «как можно добывать уголь из недр машинами, а не ценой крови и пота людей».

В далеком прошлом канули и каторжный труд подземных рабочих дореволюционной России, и такие шахтерские специальности, как газожеги, саночники, коногонь, а вместе с ними — и примитивная техника тех времен.

В центре внимания авторов книги «Страницы летописи Донецкой» находится один из важных угольных районов Донбасса — Рутченковка. Ее история — это сложный и тернистый путь с трудностями и тревогами, испытаниями и надеждами, это жизнь, отрадившая радость освобожденного труда, созидания и счастья. В Донбассе прошли детские и юношеские годы Н. С. Хрущева, здесь он делал первые шаги в революционном движении.

Повестью об истории одного из главных угольных районов Донбасса — Рутченковки, авторы знакомят читателя с малоизвестными, а зачастую и новыми фактами и документами об участии шахтеров в революционном движении, в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы войны, об их героических усилиях в восстановлении и развитии социалистического Донбасса.

А. Костецкий.

**МОЙ КАЧКАНАР.** Свердловское книжное издательство. 1963. 148 стр. Цена 26 к.

Авторы очерков, вошедших в этот сборник, — жители юного города, расположенного у подножья горы Качканар, строители мощного горнообогатительного комбината. Семь лет назад пришли они в глухую уральскую тайгу, чтобы построить город и комбинат. Многие из них еще не имели профессии; здесь они приобретали специальность, учились, становились опытными строителями молодого города.

Эту книжку нельзя назвать летописью стройки. В ней нет последовательного и полного изложения событий. Но она дает представление о людях, их делах, мыслях, рассказывает много интересных эпизодов, которые помогут читателям ближе узнать качканарскую жизнь.

Вот Николай Алесев в очерке «Я кладу бетон» пишет, как он старался стать бетонщиком, как это было трудно и как все-таки ему удалось быть не хуже других в бригаде. «Самая опасная и трудная работа, — говорит автор, — раскладывать железные брусья и вешать на них хомуты — та самая, когда под тобой пустота в двенадцать метров... Как альпинисты, висим на веревках у высокой стены, укрепляя опалубку... Наш крикливый бригадир в такие дни совсем умолкает. Распоряжается почти шепотом, опасаясь расшуметься».

Из рассказа Н. Алесева о своих верных друзьях по бригаде — шести Серехах, пяти Витях (которые для отличия называют «мохнатая шапка», «серая шапка», «малокровный Сергей» и т. п.) и других ребятах складывается достоверная картина жизни на стройке с ее радостями и бедами.

Есть в сборнике и стихи, и письма к родным, и отрывки из дневников, и рисунки.

В книге много авторов. Среди них Василий Михайлов — взрывник, выпускник Нижне-Тагильского горного техникума, Александр Богданов — бригадир путеукладчиков, Владимир Шелкопогов — плотник, Степан Копылов — журналист, Игорь Попов — монтажник. Естественно, что эти люди неодинаковы по своей наблюдательности и одаренности, с разной литературной подготовкой. Однако, читая сборник, удивляешься его стилистическому однообразию. Возможно, виновата в этом редакторская рука, которая «пригладила» материал. И получилось, что плотник, журналист, монтажник, студент говорят одним и тем же языком, употребляют сходные обороты речи. К сожалению, индивидуальность авторов, их своеобразный мир в книге потеряны.

Г. Павлова.

★

**НАТАЛЬЯ ТАРАСЕНКОВА.** Как это все сказать. «Советский писатель». М. 1963. 208 стр. Цена 30 к.

Это вторая книга молодой писательницы, имя которой уже известно читателю. В книгу вошли рассказы, знакомые нам по журнальным публикациям, и ряд новых вещей.

Беря в руки второй сборник, естественно ищешь в нем то новое, что отличает эту работу автора от прежних его произведений. Такие отличия, признаки роста заметны в книге. Некоторая расплывчатость и идилличность более ранних рассказов, таких, как «Алексея», «Попутчики», рассказов, написанных с добрым сердцем, но малозначительных, страдающих изобразительной и тематической бедностью, — сменяется более глубокой и тревожащей интонацией в рассказах «Сергей, сын Марии», «Чужие сны», «Поймите меня правильно».

В «Сергее, сыне Марии», например, привычная история незадавшейся семейной жизни: Николай Маркушин вернулся с войны, а жена, Мария, прижила без него ребенка, и он бросает Марию, уходит навсегда, — история эта превращается в историю характеров, судьбы человеческой. Автор показывает нам и превосходный, немногими штрихами нарисованный образ Марии, и муку Николая, продолжающего любить жену, но так и не сумевшего вернуться к ней. Болью отзывается в нас вопрос уже стареющего Николая, вопрос-рефрен, с которым он, когда «выпывал частенько», обращался ко второй жене: «Зинуша, ведь ладно с тобой живем. Ну, скажи, а?»

Думается, Н. Тарасенковой надо продолжать поиски именно на этом пути — уходя от некоторой искусственности и прекраснодушия к все более полному отражению правды жизни, к все более глубокому проникновению в психологию героев.

М. Рошнн.

★

**НИКОЛАЙ БРАУН. Живопись. Новые стихи.** «Советский писатель». М.—Л. 1963. 138 стр. Цена 21 к.

Так часто бывает, что в поисках некоей «живой воды» поэты вновь и вновь обращаются к природе. В книге Н. Брауна она — главное действующее лицо. И надо отдать справедливость поэту, ему удаются картины северной русской природы с задумчиво глядящимися в зеркало вод белыми ночами, шуршащими снегопадами и, конечно же, березками. Поэт живет природой: радуется упрямо пробивающемуся сквозь мерзлую почву юному ростку, тоскует по веточке тульской полыни, учится красоте у цветка, «что незримым художником создан». В эти зарисовки постепенно вплетаются мысли и чувства, всегда волнующие поэтов, — о назначении художника, об искусстве как о чуде, воскрешающем душу, о справедливости и стремлении человека быть верным самому себе, быть личностью.

Лирике Николая Брауна присущи острое ощущение жизни, жажда действия и познания, однако зачастую ей не хватает интеллектуальной насыщенности, драматизма. Иногда поэт грешит приближенностью изображения, длиннотами.

Нам представляются спорными и некоторые поэтические решения Брауна. Так, в стихотворении «Память» говорится о това-

рище-солдате, который «не дожил и не долюбил, не надыхался прохладой земной...» И вдруг тут же — «И я никогда не скажу: — ты был! Я жив — ты вместе живешь со мной». Предложенное решение трагической коллизии слишком легкое, привычно риторическое. Есть у Брауна и строки о том, что мир еще «не весь пересказан» и что он «с его правдой навеки согласен». И это риторические и оттого неточные строки.

Как далеко сегодня то время, когда Николай Браун выпустил первую книжку стихов «Мир и мастер». Прошло тридцать семь лет, изданы десятки сборников... И вот «Живопись», где читатель найдет немало выверенных, запоминающихся строк, — критерий подлинного в поэзии.

Ю. Шилов.

★

**О. ЧАЙКОВСКАЯ. Болотные огни. Роман.** «Советский писатель». М. 1963. 332 стр. Цена 58 к.

Это роман о двадцатых годах, герои его — работники уголовного розыска; история, в нем рассказанная, проходит на фоне жизни небольшого уездного городка и совсем крохотного поселка, в котором было всего четыре улицы, но где тем не менее произошло подряд несколько драматических убийств. Подобных произведений немало у всех на памяти, поэтому, естественно, новый и к тому же большой роман на ту же тему раскрываешь не без опасения: будет ли оправдана смелость автора, решившего пойти по достаточно проторенной дороге?

Постепенно, узнавая героев книги, мы убеждаемся: О. Чайковская не просто добросовестно восстанавливает обстановку тех лет, пишет не одну лишь детективную историю — нет, ради этого, конечно, не стоило бы братья за перо, — она рисует нам людей, которым приходится испытать свою веру друг в друга. Мы видим, как начальник угрозыска Берестов, многим кажущийся рохлей и мягкотелым человеком, рискуя своим авторитетом, проявляет в то горячее и безжалостное время максимум твердости и доброты. Для Берестова крайне важно, чтобы ни в малейшей степени не были извращены или опошлены законы молодой советской власти, чтобы ни один из его работников «не зарывался», не злоупотребил своим правом блюстителя закона.

Работники угрозыска побеждают, бандиты в конце концов пойманы (сделать это было непросто, ибо главарь шайки Левка, этаким «интеллигентный» атаман, очень хитер, ловок — кстати, его козней с избытком хватает на поддержание детективной линии романа), но не перипетии сюжета, повторяю, существенны в этой книге — дорога мысль о справедливости, о бережном и добром отношении к человеку. Она хотя и тоже не нова, но воплощена в книге с сердечным волнением, которое заражает читателя.

М. М.

**ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА.** Вечерний день. Стихи. «Советский писатель». М. 1963. 118 стр. Цена 17 к.

Новая книга стихов Веры Звягинцевой «Вечерний день» — не творческий отчет поэта, первая книга которого появилась более тридцати лет назад, а искреннее стремление поделиться своими мыслями и чувствами с современниками. Молодость духа, молодость восприятия — вот характерные черты книги.

Я пишу, как дышу.  
...Но дышу-то я воздухом века,—

так определяет направленность своих стихов сама поэтесса в строках, открывающих сборник.

В таких стихах, как «Искусство», «Кто может подумать бесстыдно...», «Сон и пробуждение», «Земля», «Долго мы судили и рядили...», поэтесса старается показать читателям все то ценное, что накопили за свою трудную жизнь ее сверстники, все то, что они хотели бы передать своим наследникам. Она стремится, чтобы эти наследники правильно судили о людях ее поколения, об их делах и свершениях, чтобы помнили вечно о том, что было завоевано такой дорогой ценой («Солдатские стихи», «Преодоление»).

Есть в этом разделе и собственно лирические стихи («Нет, не заменит ничто», «Тишина»), и пейзажные зарисовки, и воспоминания о дальнем путешествии. Но надо всем доминирует единая тема поиска истинной ценности жизни.

Во втором разделе книги — «Посвящения» — поэтесса обращается к своим друзьям, людям своего поколения, которые «счастье пили с горем пополам»:

Но такая нам дана закладка,  
Что ничем с пути нас не собьешь.  
Если нам самим себя не жалко —  
Пусть нас не жалеет молодежь!

(«Павлу Антокольскому»)

Большое место в творческой работе В. Звягинцевой занимает тема Армении: ее культура, ее литература, переводы стихов ее поэтов. И в этой новой книге поэтессы есть цикл стихов «Еще об Армении», где она раскрывает перед русским читателем красоту природы и духовную красоту народа этой древней страны.

Серьезность мыслей и чувств, ясность стиха, отсутствие вычурности и нарочитости превращают книгу «Вечерний день» в простую и сердечную беседу с читателем

Л. Фейгина.

★

**В. БАХТИН.** Александр Прокофьев. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 281 стр. Цена 54 к.

От ладожских песен, ставших известными в 1927 году, и до поэтических сборников последних лет («Приглашение к путешествию», «Стихи с дороги») — таков путь Александра Прокофьева, прослеженный в книге В. Бахтина. Особенно широко разработана в книге проблема фольклоризма Прокофьева, при этом автор подчеркивает

художественную самобытность поэта, заставляющую по-новому звучать традиционные мотивы народной лирики.

Сильной стороной книги является выяснение места, занимаемого Прокофьевым в советской поэзии. В критике были попытки «привязать» его творчество то к суриковской школе крестьянских поэтов, то к деревенской лирике орешинского типа. Общим для этих попыток явилось желание ограничить его поэтический мир жизнью деревни, круг образов его поэзии — крестьянскими парнями. Между тем совершенно очевидна широкая, общенародная основа творчества Прокофьева, живая связь его с эпохой. Бахтин правильно делает, устанавливая творческое родство Прокофьева с Маяковским (разговорно-ораторский стих), Тихоновым (балладно-романтический пафос), Исаковским (песенность), Багрицким (приподнятость, мелодичность).

Правда, в этой части своей работы критик не всегда последователен и точен. «Прокофьев любит Маяковского» — читаем мы в книге, как будто это обстоятельство характеризует творческое лицо изучаемого поэта (любят Маяковского и многие другие поэты и люди, вовсе не пишущие стихи). Для данного же случая гораздо важнее другой факт: Маяковский знал и ценил ранние стихи Прокофьева, хотя к моменту смерти Маяковского не было еще ни одной книги молодого поэта. Жаль, что факт этот, дважды сообщенный в печати, не отражен в книге.

На нескольких страницах своей книги В. Бахтин анализирует слова Горького по поводу «гиперболизма» Прокофьева, сказанные на Первом всесоюзном съезде писателей. Истокование этих слов в общем справедливо, но рассказ явно не завершен. Ведь после съезда состоялась непосредственная встреча Прокофьева с Горьким, которая многое прояснила в отношении великого писателя к «весьма даровитому» — как он называл Прокофьева — поэту.

Почти вся работа В. Бахтина проникнута стремлением показать индивидуальное своеобразие Прокофьева, определить специфику его поэтического слога. И здесь исследователь — на верном пути. Однако критику еще предстоит серьезнее разобраться в существе прокофьевской романтики (об этом в книге сказано вскользь, и то применительно лишь к поэме «Россия»), глубже проанализировать его литературно-эстетические позиции (глава «Стихи о стихах» носит, к сожалению, слишком описательный характер), проследить связи поэзии Прокофьева с развитием братских литератур.

И. Эвентов.

★

**Г. СОЛОВЬЕВ.** Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова. Гослитиздат. М. 1963. 288 стр. Цена 57 к.

Со страниц этой книги перед нами встает реальный образ Добролюбова — Добролюбова, не поучающего, не затвердившего раз и навсегда известные положения, но захваченного страстными поисками истины. Книга Геннадия Соловьева привлекает к себе вни-



мание свежестью мысли, влюбленностью в Добролюбова,— весьма возможно, что именно эта влюбленность приводит автора в иных случаях к некоторым крайностям.

Первая глава посвящена проблеме народности. Что нового внес в разработку ее Добролюбов?

Общечеловеческое, писали Белинский и Чернышевский, не существует вне национального. Однако общечеловеческий элемент в национальном зависит от того, какую роль играет данная нация во всемирной истории. Россия представлялась им страной, еще ничем существенным не обогатившей другие народы. В связи с этим при самой высокой оценке Пушкина как национального поэта они не решились назвать его мировым поэтом. Добролюбов иначе решает эту проблему. Для него главное в художнике — выражение интересов трудящейся массы. И потому истинно народный поэт в его глазах является и национальным, и вместе с тем мировым поэтом.

Во второй главе разбирается понимание Добролюбовым художественной правды. Это самая философическая глава. Она чрезвычайно интересна в общетеоретическом плане, но в ней ощущается недостаток конкретного материала, образцов добролюбовского критического анализа. Вот концепция Добролюбова, как ее доносит до нас книга Соловьева: народ является движущей силой истории, главным содержанием жизни; следовательно, тот художник достигает подлинной художественной правды, который изображает человека в свете народности. Так перед нами открывается связь художественности не только с народностью, но и с гуманностью. Заслуживают внимания соображения Соловьева о решении Добролюбовым проблемы метода и мировоззрения.

В третьей главе охарактеризована критическая практика Добролюбова, статьи о Тургеневе, Гончарове, Островском, о писателях демократического направления. Автор книги хорошо передает перспективность добролюбовской эстетики. Однако здесь есть и натяжки. Нельзя признать убедительными слова о том, что в дальнейшем крупнейшие русские писатели не только шли по пути, намеченному Добролюбовым, но просто «решили его вопросы». Русский литературный процесс оказался богаче и сложнее, чем представлялось Добролюбову, но это несколько не снижает значения и роли Добролюбова.

Натяжкой и крайностью является также, на мой взгляд, предположение, высказываемое автором в последней главе, о том, что Добролюбов был большим диалектиком и материалистом, нежели Чернышевский. Достаточных оснований для этого утверждения нет, а действительная самостоятельность и оригинальность эстетики Добролюбова, друга и соратника Чернышевского, убедительно и наглядно показана в книге Г. Соловьева.

**Б. Бурсов,**  
*доктор филологических наук.*

**Н. Е. ПРЯНИШНИКОВ.** Записки словесника. Оренбургское книжное издательство. 1963. 144 стр. Цена 47 к.

Имя Николая Ефимовича Прянишникова не так уж часто встречалось на страницах центральных газет и журналов. Он жил в Оренбурге, там преподавал многие годы литературу, там же и была издана его первая книга. Литературной критикой, литературным краеведением он занимался давно. Одна из статей, помещенных в этом посмертно изданном сборнике, датирована 1930 годом. В книге собраны статьи разных лет, написанные на разные темы, по разным поводам: тут и сообщения об архивной находке («Записная книжка уральца-шестидесятника»), и исследования о публикациях в герценовском «Колоколе» оренбургских материалов, и статьи о баснях Крылова на литературные темы, о редакторской переписке Короленко и другие.

Любопытна статья Н. Прянишникова «Мужицкое» в искусстве Толстого». Автор приводит известное высказывание Ленина: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было» — и стремится на основании анализа произведений Л. Толстого, его поэтики раскрыть «мужицкое начало» в творчестве великого писателя. Рассматривая описания вещей и явлений у Толстого, Н. Прянишников заключает, что многие так называемые «развенчивающие» описания «делались Толстым с мужицких позиций»; то же можно сказать и о сравнениях, к которым писатель прибегает сравнительно редко, но которые чрезвычайно метки, а большая часть их взята «из крестьянской жизни, из сферы крестьянского труда и обихода».

Говоря об изображении Толстым самих крестьян, мужиков, автор приходит к выводу, что он никогда при этом не допускал ни малейшей елейности и сусальности. «У Толстого не было народнического умиления перед народом, потому что он смотрел на него не со стороны, а сам был частью народа, сам был «подлинным мужиком».

Категоричность, в какую Н. Прянишников порой облакал свои рассуждения, может вызвать у некоторых читателей и несогласие и желание в чем-то поспорить с критиком. Но при этом покоряет убежденность, с какой автор отстаивал свои взгляды, упорство, с каким он искал новые и новые доказательства своим мыслям.

Много внимания в своих работах исследователь уделял вопросам формы художественных произведений. Наблюдения над поэтикой «Капитанской дочки» дали возможность Н. Прянишникову создать небольшую, но чрезвычайно насыщенную и интересную статью об этой «лучшей из русских повестей, безыскусственной от великого искусства».

В сборнике есть еще одна статья, тема которой характерна для всего творчества Н. Прянишникова — «О некоторых штампах в языке литературно-критической прозы». Он неоднократно выступал в печати с критикой банальностей, а также неправильно-

стей в русской письменной и устной речи. Заботу Н. Прянишникова о чистоте языка современной литературы чувствовали многие молодые писатели, к которым он не раз лично обращался в своих письмах и выступлениях. Не случайно сборник Н. Прянишникова назван «Записки словесника», то есть записки человека, изучающего и любящего слово, речь, правильный язык.

Г. Койранская.

★

**Ю. ОВСЯНИКОВ.** *Перо Жар-птицы. «Советская Россия». М. 1963. 188 стр. Цена 1 р. 18 к.*

История и современное состояние русского народного искусства — тема весьма благодарная не только для исследователей, искусствоведов, но и для популяризаторов-журналистов. Сколько бы специальных, рассчитанных на знатоков, и сугубо популярных, обращенных к массовому читателю, книг об этом ни выходило — спрос на них не уменьшается. Книга Ю. Овсянникова, которую он сам именуется «невыведанными рассказами» о прошлом и настоящем народных промыслов, — нечто вроде путевода: здесь сообщается много интересных фактов, излагаются наблюдения и заметки автора, итоги его размышлений и собственных, пусть небольших «открытий».

Последнее обстоятельство («хочется докопаться до всего самому, почувствовать хоть ненадолго себя «первооткрывателем»), выделяет работу Ю. Овсянникова среди других, ей подобных; читатель оказывается спутником пытливого любителя, сопровождает его по музеям, библиотекам, мастерским художников. Как и подобает рассказам путешественника-энтузиаста, который сам до всего доискался и додумался, рассказы Ю. Овсянникова способны разбудить любознательность, вызвать и более прочный интерес, желание самому познакомиться с произведениями мастеров Палеха и Мстеры, Федоскина и Хохломы, Гжели и Дымкова.

Конечно, в книге такого рода нельзя поставить со всей глубиной сложные проблемы дальнейшего развития народных промыслов; они и затронуты по необходимости бегло. Нельзя также не отметить, что лучшие страницы книги — те, где автор, что называется, основателен и серьезен, а наименее удачны — где он завлекает читателя «беллетристическими» ухищрениями, побасенками «на старинный лад». Возможно, сам материал толкал к «узорчатому» словесному обрамлению, но сказка про искусницу МARYЮШКУ, обратившуюся в Жар-птицу, так и не вошла органично в популярное изложение.

З. Куторга.

★

**ВРУБЕЛЬ.** *Переписка. Воспоминания о художнике. «Искусство». Л.—М. 1963. 361 стр. Цена 1 р. 71 к.*

В последнее время вышли многие сборники, посвященные известным живописцам, актерам или комзотворам. Тип такого сбор-

ника вполне определен. Большая вступительная статья. Мемуары самого художника. Переписка. Сборник воспоминаний о нем. Комментарии, иллюстрации.

В книге о Врубеле нет его мемуаров — он не писал их. Но есть обстоятельная статья Э. Гомберг-Вержбинской, многочисленные письма художника и воспоминания о нем, тем более интересные, что вообще о Врубеле написано немного, за последние четверть века особенно. А интерес к нему растет. Для любителей живописи, для художников каждая его картина необыкновенно важна. Теоретики искусства не могут обойтись без Врубеля, говоря об искусстве на рубеже века, о монументальной живописи, о реализме, символизме, декадансе...

И при жизни, и после смерти за Врубелем тянулось определение «декадент». В качестве такового он был моден в 1900—1910 годах. Потом слово «декадент» стало пугающим, а другому слову — «реализм» — придавался иногда такой узкий и плоский смысл, что сложнейшее творчество Врубеля, естественно, в него не вмещалось.

Конечно, прав автор вступительной статьи, говоря: «Односторонность в оценке приводит к грубым искажениям облика Врубеля... Недопустимы попытки истолковать его наследство как идеалистический балласт... Наивны пути превратить его в последовательного реалиста». И все же как много именно от «последовательного реализма» в самих картинах и портретах Врубеля, в его взглядах и художественных пристрастиях.

Письма Врубеля, помещенные в книгу, очень конкретны и обыкновенны, что кажется неожиданным. Это письма человека, любящего родителей, сестру, жену, живо интересующегося маленькими домашними новостями. Письма художника, влюбленного в реальность, в плоть жизни. И в воспоминаниях встает тот же простой, общительный, без всякого «демонизма» человек. Сестра рассказывает о семье, о подробностях быта, художники — Головин, Нестеров, Остроухов — о его работе. С изумлением вспоминают они о непостижимой щедрости, легкости творчества Врубеля и одновременно о величайшей его взыскательности к себе, о вечной неудовлетворенности и вечной влюбленности в «природу», или «натуру». Все окружающее он ощущал как проявление могучей, единой жизненной силы, которую и старался передать в демонах, в «Ночном», в портрете жены на фоне тонких березок. Сказочное, фантастическое становилось у него земным, земное сплеталось со сказочным.

Среди воспоминаний о Врубеле особенно интересны записки доктора Усольцева. Врач-психиатр, долгие годы наблюдавший большого художника, следивший за разрушением его психики, за потерей зрения, за учащавшимися страшными припадками, уверенно констатирует, словно ставя бесспорный диагноз: «Часто приходится слышать, что творчество Врубеля — большое творчество. Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я

считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить... Он знал природу, понимал ее краски и умел их передавать, но он не был рабом ее, а скорее соперником». Это, пожалуй, самое точное определение секрета Врубеля, силы его воздействия и на художников, и на «просто зрителей», которых сегодня он волнует, может быть, больше, чем в сумрачное безвременье той эпохи, когда прошла его недолгая жизнь.

Е. Полякова.

★

**М. М. ФИЛИППОВ.** Этюды прошлого. Избранные очерки, научные работы, художественная проза, литературно-критические статьи. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 368 стр. Цена 1 р. 47 к.

В прошлом году исполнилось шестьдесят лет со дня гибели автора этой книги во время научного опыта.

Михаил Михайлович Филиппов был ученым-энциклопедистом, пропагандистом трудов Маркса, Дарвина, Лобачевского, редактором журнала «Научное обозрение», представившим страницы этого издания для выступлений ссыльного Ленина, эмигранта Плеханова, безвестного «фангаста» Циолковского.

Даже сборник, о котором идет речь, вобравший в себя лишь малую часть творческого наследия ученого, поразителен по своему разнообразию. Для комментирования включенных в него работ потребовалось участие самых разных специалистов — от физиков до литературоведов (случай достаточно редкий!). Тут и фрагменты из капитального двухтомного труда М. М. Филиппова «Философия действительности» — «Биологические работы Аристотеля», «Космология и космогония в конце XIX в.». Тут и популярные очерки о Леонардо да Винчи, Паскале, Ньютоне, Лейбнице, Лессинге. Включены в книгу также литературно-критические работы автора и главы из его романа «Осажденный Севастополь».

В предпосланной книге статье сына ученого, Б. М. Филиппова, отмечено, что «корни» творчества М. М. Филиппова уходили в эпоху шестидесятых годов. Но если бы даже не существовало этого авторитетного свидетельства, это ощущалось бы в книге весьма часто — например, в страстной апологии Некрасова как литературного деятеля.

Даже когда М. М. Филиппов обращается к явлениям позднейшей русской литературы, в нем ощущается «закваска» шестидесятых годов, отзвуки боевых статей Чернышевского и Добролюбова (последнему он в свое время посвятил биографический очерк). Он выступал отнюдь не как «эпигон шестидесятников», напротив — над чертами «прогрессивного шаблона» в статьях Скабичевского М. М. Филиппов очень зло смеялся. Но разве не слышатся знакомые нотки, когда, описав бесславное любовное приключение горьковского приваг-доцента Полка-

нова с Варенькой Олесовой, автор замечает: «Я уверен, что и в тысяче других дел Полканов оказался бы такою же мокрою тряпкой». Ну, разумеется, это то же стремление — и умение! — разглядеть за «частным» эпизодом «личной» жизни героя его общественную суть, которую столь блистательно демонстрировал Чернышевский в разборе тургеневской «Аси».

Широкая научная эрудиция М. М. Филиппова накладывала своеобразный отпечаток и на его критические работы. Так, говоря о том, что «в поэзии Пушкина скрывались уже зародыши некрасовских мотивов» (вспомним, что это замечание сделано шестьдесят лет назад, когда творчество поэта было еще мало изучено!), критик пишет: «В литературе, как и в биологии, есть «пророческие» типы, предвещающие далекое будущее».

Очень хорошо, что работы М. М. Филиппова снова увидели свет. Своеобразная и яркая личность этого ученого, наверное, заинтересует многих.

А. Турков.

★

**МАРК ПОПОВСКИЙ.** По следам отступающих. «Молодая гвардия». М. 1963. 256 стр. Цена 57 к.

Малоизвестное с первого взгляда наименование книги и наряду с этим яркое, интересное содержание.

«Над картой человеческих страданий» — так называется вводная глава. Вместе с автором читатель совершает большую экскурсию по стране, и он видит, что все меньше и меньше остается мест, где распространены «болезни».

Причиной многих страданий оказываются гельминты (глисты). В книге хорошо рассказано о поисках и находках советской школы гельминтологов, возглавляемой ее создателем Константином Ивановичем Скрябиным.

Все, конечно, слышали о чуме, но очень многие не знают о ее «двоюродной сестре» — туляремии. С большим интересом читаются страницы, посвященные одному диагнозу профессора С. П. Боткина. В его времена туляремия была еще совсем не известна, и Боткин, обследуя одного больного туляремией, определил его заболевание как легкий случай чумы, чем произвел в Петербурге целый переполох. Против Боткина началась травля, и это, несомненно, стало одной из причин, приведших к преждевременной смерти большого ученого.

Шли годы, и тайну раскрыло советское поколение ученых — врачи А. А. Вольферц, С. В. Суворов, Д. А. Голы и другие.

В главе «Восемьдесят семь процентов радости» рассказывается о выдающихся успехах советской медицины в борьбе с трахомой, которая долго являлась бичом для целых районов. Молодой ученый А. Шаткин заражает себя в экспериментальных целях трахомой и на себе прослеживает весь процесс заболевания, вплоть до полного исцеления.

Последняя глава знакомит читателя с зачетом профессора Н. И. Ходукина. Этот выдающийся ученый, чувствуя, что дни его сочтены, оставил своим ученикам завещание, в котором указал пути разгадки тяжелой заразной болезни — кала-азара. Но воля ученого помогла ему побороть свой недуг и довести начатое дело до конца...

Медицину нередко называли травматической специальностью. И действительно, многие эксперименты медиков кончались их заболеванием, а в ряде случаев и смертью. Но не о драматической, а об оптимистической медицине говорит вся книга Поповского, о медицине, которая борется за здоровье человека, за продление его жизни.

**Л. Сухаревский,**  
*доктор медицинских наук.*

★

**ДРЕВНЕРУССКАЯ ЖИВОПИСЬ В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ.** Альбом репродукций. Изогиз. М. 1963. 38 л. илл. Цена 2 р. 10 к.

Ни один самый полный, самый совершенный по воспроизведению комплект репродукций не заменит подлинных полотен, не даст той полноты ощущения, которая приходит в картинной галерее. И все-таки они очень нужны. И тем, кто живет вдали от музеев, и тем, кто много раз видел картины в подлиннике и хочет глубже проникнуть в смысл виденного.

Просматривая книгу «Древнерусская живопись в собрании Государственной Третьяковской галереи», мы сначала огорчаемся, что здесь «мало текста» — небольшая вступительная статья (А. Свирина) и очень краткие комментарии. Но огорчения оказываются преждевременными. При всей своей краткости, автор рассказывает о многом: почему сравнительно недавно русское общество познакомилось с древнерусской национальной живописью (первая выставка была устроена лишь в 1913 году); как трудна была судьба старых картин, темнеющих от времени и от вмешательства усердных «реставраторов». Мы узнаем об одном загадочном на первый взгляд явлении — почему так радушно были встречены на Руси и много веков строго чтились как свои святыни «пришлые» картины, создания иноземных мастеров. Автор помогает рассмотреть исконно русские тенденции даже там, где их меньше всего ждешь: оказывается, не случайно была так популярна на Руси привезенная из Константинополя «Владимирская Богоматерь»: «Нежная лирика, мягкость и глубина выраженных в ней чувств — явления не типичные для византийского искусства в целом — оказались очень созвучны складывающемуся в русском искусстве стремлению к большей человечности и простоте». Мы начинаем понимать, что именно это человеческое тепло родило талант неповторимого Рублева с его «Троицей» и «Спасом».

В статье есть положения — только брошенные, не получившие никакого истолко-

вания. Так, автор считает «одним из самых интересных и загадочных произведений древнерусской живописи конца XIII — начала XIV века» икону «Толгской Богоматери». Но что же озадачило ученых в этой картине? И хотя понятно, что в сопроводительной статье к альбому репродукций невозможно раскрыть все проблемы, волнующие современных искусствоведов, — в такой форме упоминать о них тоже бесполезно.

Много раздумий вызывает книга, а может быть, это не книга, а само искусство — древнее и мудрое, к которому нас приблизил умный и тактичный проводник. Он не навязывает своих толкований, но заинтересовывает, рождает множество вопросов. Он побуждает ближе знакомиться с подлинными картинами, следовательно, цель его достигнута.

**Е. Еленина.**

★

**Л. ЛЕВИН.** Владимир Луговской. Книга о поэте. «Советский писатель». М. 1963. 400 стр. 86 к.

Те, кто любит поэзию, не могут не радоваться появлению интересной и обстоятельной книги о Владимире Луговском, поэте, без которого трудно представить себе советскую поэзию двадцатых—пятидесятых годов. Автор книги — Л. Левин, хорошо знавший поэта еще с двадцатых годов, — один из первых критиков Луговского и редактор его последних сборников.

«Книга о поэте» раскрывает большой мир поэзии Луговского.

Поэт неустанно размышлял: что же такое человеческое счастье, и тревожился о том, как бы тяга к земному счастью не заслонила в душе человека стремления к борьбе, творчеству, полету:

Нет! Есть борьба, бессонная борьба,  
Ответ перед людьми, перед судьбой  
И перед совестью. Есть справедливость,  
Не подкупить, не расстрелять ее,  
Быть твердым, не сдаваться ничему  
И в этом горькую увидеть радость  
Быть человеком и самим собой.

Ощущая свое единство с миром, Луговской стремился поэтически осмыслить законы бытия, веря в великую силу разума. Жизнь восхищала его движением, изменчивостью, многообразием, и он не мог писать «будничным языком». Л. Левин находит удачные примеры, утверждающие эмоциональность и приподнятость стиля как основное свойство поэтической манеры Луговского, подмечает порой едва уловимые оттенки в настроении поэта и прослеживает их дальнейшее развитие. При этом он обнаруживает стойкость многих поэтических образов (ветра, тревоги, звериной теплоты), превратившихся в своего рода символы, передающие мироощущение поэта.

Автор книги раскрывает философский характер творчества Луговского последних лет, в особенности его книги «Середина века», где важнейшие события XX века

изображаются в целостном единстве, как звенья одной цепи.

Анализируя сборники «Солнцеворот» и «Синяя весна», Л. Левин относит первый к философской, второй — к историко-революционной лирике. Свою мысль, однако, автор теоретически обосновывает недостаточно, ссылаясь главным образом на высказывания самого Луговского, и потому это утверждение представляется спорным и легко уязвимым, ибо понятие историко-революционной лирики не исключает, а скорее предполагает неизбежность философских раздумий и обобщений, если речь идет о настоящей поэзии.

В книге Левина Луговской-поэт предстает в общем русле литературного движения нашей эпохи. Читатель убеждается в том, что его поэзия несла в себе ошибки и достижения времени. Творчество Луговского неровно, и автора книги нельзя упрекнуть в стремлении обойти это, хотя причины творческих неудач Луговского раскрываются им не всегда глубоко.

В целом книга Левина о Луговском раскрывает своеобразие поэта, учит любить и понимать поэзию.

Л. Чеченева.

★

**B. TOUGAN-BARANOVSKAÏA. Proverbes et dictons russes avec leurs équivalents français. Éditions en langues étrangères. М. (Б. ТУГАН-БАРАНОВСКАЯ. Русские пословицы и поговорки с французскими эквивалентами. Издательство литературы на иностранных языках. М.) 104 стр.**

Сборник, составленный Б. Туган-Барановской, полезное и интересное чтение для весьма широкого круга читателей. И специалисты-филологи, и переводчики, и люди, изучающие французский язык, прочтут этот сборник с несомненной пользой.

Большое значение, думается мне, имеет этот сборник для советских переводчиков, работающих в области русско-французского и французско-русского устного перевода. Здесь знание русских пословиц и поговорок и умение подобрать точный французский эквивалент — особенно важно; это — предмет специального изучения. Подобный справочник окажет переводчикам серьезную помощь.

Автор сборника стремится как можно более точно передать на французском языке не только самый смысл, но и образ, выражающий его, и ритм русской пословицы. Поэтому в некоторых случаях, когда русские и французские пословицы одного и того же содержания не эквивалентны по форме выражения, автор рекомендует нам вместо подлинной французской пословицы — перевод с русского на французский, сохраняющий «национальный колорит». Это спорно. Французский эквивалент пословицы «Не сразу Москва строилась» — «Париж не за один день был выстроен» (Paris n'a pas été fait (bâti) en un jour). Надо ли предпочесть перевод, в котором

во французском варианте Париж был бы заменен Москвой? Пословица «Язык до Кнева доведет», которой во французском соответствует «У кого есть язык, тот до Рима дойдет» (qui langue a, à Rome va), также не требует буквального перевода. Иногда автор предлагает нам «на выбор» — подлинный эквивалент и перевод пословицы. В этих случаях особенно очевидно, что поиски буквальной точности зачастую разрушительны даже для «национального колорита» пословицы. Мне кажется, что переводчику вовсе не надо стремиться «русифицировать» французские эквиваленты.

Перевод пословиц целесообразен только там, где эквивалент отсутствует, или же как способ толкования и разъяснения смысла пословицы, при очень значительном образном расхождении.

Как правило, в тех случаях, когда пословица переведена, это в скобках указано. Однако некоторые пословицы, предлагаемые нам как эквиваленты, звучат несколько искусственно. Вместо пословицы-эквивалента, возможно, отсутствующего, автор приводит иногда «крылатые слова», к сожалению, без ссылки на источник.

Разумеется, это лишь частные замечания, но так как сборник, на наш взгляд, заслуживает переиздания в расширенном виде, желательнее, чтобы автор, подготавливая новое издание, обратил внимание и на эти моменты.

И. Сергеева.

★

**Н. Н. ЯКОВЛЕВ. Загадка Пёрл-Харбора. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 148 стр. Цена 23 к.**

Седьмого декабря 1941 года главная военно-морская база Тихоокеанского флота США Пёрл-Харбор (на острове Оаху в Гавайском архипелаге) жила обычной жизнью мирного времени. Утром на палубах многочисленных кораблей, стоявших в бухте, выстроились на подъем флагов моряки. Вдруг ритуальная тишина была нарушена ревом многочисленных самолетов и грохотом взрывов.

В результате внезапного массированного удара японской авиации линейные корабли, считавшиеся главной силой американского Тихоокеанского флота, менее чем за час были выведены из строя: четыре линкора потоплены, четыре — тяжело повреждены. Сильно пострадали и другие корабли. Потери личного состава Тихоокеанского флота и Гавайского военного округа составили более двух с половиной тысяч убитыми и более тысячи ранеными. Менее чем через сутки после налета на Пёрл-Харбор президент США Рузвельт, требуя от конгресса объявления войны Японии, назвал 7 декабря 1941 года датой, которая войдет в историю как символ позора США.

Вокруг причин «дня позора» в зарубежной печати ведутся жаркие споры между сторонниками различных точек зрения, за спиной которых, как правило, стоят опреде-

ленные враждующие политические группировки. Заявление Ф. Рузвельта о том, что США «не хотели вступать в войну», а «оказались втянутыми в нее», что нападение на Пёрл-Харбор было неожиданным, в первое время ввиду недостатка конкретных сведений не подвергалось сомнениям. Но позже, когда в печать стали проникать подробности этого события, появились новые версии. Авторы иных статей договорились даже до того, будто Ф. Рузвельт сознательно подставил флот под удар, чтобы вовлечь миролюбивый американский народ в войну.

Каковы же подлинные причины дня позора США? Кто же настоящий виновник Пёрл-Харбора? На эти вопросы читатель найдет ответы в работе советского историка Н. Н. Яковлева.

На основе анализа многочисленных документов, с позиций марксистско-ленинской историографии автор показывает, почему японская агрессия застала военнослужащих Пёрл-Харбора врасплох. Дипломаты и государственные деятели США задолго до 7 декабря 1941 года имели точные сведения о планах милитаристской Японии. Американцы длительное время имели возможность расшифровывать важнейшие японские документы и следить за настроениями и планами правительства «страны восходящего солнца». Но до самого последнего момента определенные круги в США надеялись, что им удастся направить японскую агрессию против СССР. Вот почему и произошла катастрофа в Пёрл-Харборе.

**С. Осокин.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

Ленин и книга. 512 стр. Цена 1 р. 2 к.

Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрого увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое единогласно 15 февраля 1964 года. 32 стр. Цена 3 к.

Н. С. Хрущев. Интенсификация производства — главное направление в развитии сельского хозяйства. Речь на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года. 80 стр. Цена 10 к.

Н. С. Хрущев. О коммунистическом воспитании. 349 стр. Цена 62 к.

Н. С. Хрущев. Успешно осуществить решения февральского Пленума ЦК КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства. Доклад на совещании руководящих работников партийных, советских и сельскохозяйственных органов 28 февраля 1964 года. 94 стр. Цена 11 к.

М. Волин. Ленинская «Искра». 1900—1903. 256 стр. Цена 50 к.

И. Воловченко. Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрого увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 10 февраля 1964 года. 64 стр. Цена 6 к.

Коммунизм и труд. Справочник. 136 стр. Цена 19 к.

Л. Левин. Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса в литературном наследии В. И. Ленина. Библиографический очерк. 68 стр. Цена 8 к.

Ю. Лидер. НАТО. Очерки истории и доктрины. Сокращенный перевод с польского. 232 стр. Цена 50 к.

Международные отношения после второй мировой войны. В 3-х томах. Том 2 (1950—1955 гг.). 744 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Пальгунов. Тридцать лет. Воспоминания журналиста и дипломата. 352 стр. Цена 62 к.

Д. И. Ульянов. Воспоминания о Владимире Ильиче. 64 стр. Цена 7 к.

М. Шипилов. Жилищный вопрос при капитализме и социализме. 192 стр. Цена 30 к.

### «МЫСЛЬ»

Братское сотрудничество народов СССР. 1922—1936 гг. Сборник документов и материалов. 440 стр. Цена 73 к.

О. Воробьева, И. Синельникова. Дочери Маркса. 152 стр. Цена 19 к.

К. Гельбиг. В стране в Карибского моря. Перевод с немецкого. 304 стр. Цена 89 к.

С. Дзержинская. В годы великих боев. Воспоминания. 447 стр. Цена 98 к.

М. Загоруйко, А. Юденков. СССР от XXI к XXII съезду партии. 271 стр. Цена 42 к.

Крестьянское движение в России в 1861—1869 гг. Сборник документов. 952 стр. Цена 1 р. 71 к.

Некоторые проблемы интенсификации сельского хозяйства. 284 стр. Цена 1 р.

Советский рабочий класс на современном этапе. Сборник статей. 188 стр. Цена 81 к.

Я. Этингер, О. Меликян. Нейтрализм и мир. Нейтралитская политика стран Азии и Африки. 119 стр. Цена 24 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адалис. Города. Стихи. 140 стр. Цена 17 к.

Н. Адамян. Новый сосед. Рассказы. 336 стр. Цена 46 к.

В. Аксенов. Катапульта. Рассказы и повесть. 264 стр. Цена 52 к.

А. Атаджанов. Степь — колыбель моя. Стихи и поэмы. Перевод с туркменского. 60 стр. Цена 10 к.

Б. Вагаб-заде. Высота. Стихи. Перевод с азербайджанского. 104 стр. Цена 16 к.

Н. Вагнер. Берег и море. Из жизни Петра Губанова. 232 стр. Цена 31 к.

К. Ваншенкин. Армейская юность. Рассказы. 168 стр. Цена 23 к.

Воспоминания о Борисе Горбатове. Сборник. 496 стр. Цена 73 к.

В. Гросс. Продается недостроенный индивидуальный дом. Роман. Перевод с эстонского. 320 стр. Цена 62 к.

Г. Гулям. Спор сердец. Стихи и поэмы. Перевод с узбекского. 156 стр. Цена 26 к.

Н. Замошкин. Спутники нашей жизни. Сборник статей и рецензий. 436 стр. Цена 98 к.

О. Иваненко. Пути Тараса. Роман. Перевод с украинского. 868 стр. Цена 1 р. 84 к.

М. Исаковский. Ты по стране идешь... Избранные стихи и песни. 232 стр. Цена 52 к.

М. Карим. Реки разговаривают. Стихи. Сказки. Поэмы. Перевод с башкирского. 160 стр. Цена 19 к.

М. Сергеев. Шпалы. Стихи. 88 стр. Цена 11 к.

М. Талалаевский. Солнечная осень. Стихи. Перевод с еврейского. 88 стр. Цена 12 к.

Я. Хелемский. Улица Луны. Новые стихи. 132 стр. Цена 19 к.

Ф. Чув. Год рождения. 41-й. Стихи. 76 стр. Цена 12 к.

В. Шаламов. Шелест листьев. Стихи. 128 стр. Цена 13 к.

Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. Идеи и образы. Творческий метод. Жанры. Стиль и мастерство. Поэтика. 856 стр. Цена 2 р.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ж. Алексис. Деревья-музыканты. Роман. Перевод с французского. 312 стр. Цена 80 к.

Е. Винокуров. Стихотворения. 288 стр. Цена 42 к.

Д. Гулиа. Стихи и поэмы. Перевод с абхазского. 248 стр. Цена 41 к.

Инь Фу. Слова. омытые кровью Стихи и поэмы. Перевод с китайского. 144 стр. Цена 22 к.

А. Казбеги. Элисо. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 344 стр. Цена 36 к.

**И. Лавров.** Встреча с чудом. Повесть. 224 стр. Цена 56 к.

**В. Незвал.** Лирика. Перевод с чешского. 168 стр. Цена 25 к.

**О. Россиянов.** Матэ Залка. Критико-биографический очерк. 260 стр. Цена 36 к.

**Н. Рыленков.** Стихотворения. 320 стр. Цена 42 к.

**К. Сейтлиев.** Стихотворения. Перевод с туркменского. 214 стр. Цена 38 к.

**Ч. Сноу.** Возвращения домой. Роман. Перевод с английского. 360 стр. Цена 1 р. 10 к.

**П. Якубович.** В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том I. 420 стр. Цена 77 к. Том II. 415 стр. Цена 75 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Жоржи Амаду.** Кастро Алвес. Перевод с португальского (Жизнь замечательных людей). 253 стр. Цена 55 к.

**Д. Голубнов.** Зов. Стихи и поэма. 144 стр. Цена 21 к.

**Ю. Давыдов.** Вижу берег. Повести. 176 стр. Цена 30 к.

**А. Кардашова.** Горячий чай. Рассказы об Англии. 79 стр. Цена 11 к.

**И. Кобзев.** Шпага чести. Стихи и поэма. 151 стр. Цена 17 к.

**М. Колесников.** Розовые скворцы. Повесть. 286 стр. Цена 57 к.

**В. Прибытков.** Иван Федоров (Жизнь замечательных людей). 302 стр. Цена 64 к.

**А. Пришвин.** Юность не умирает! Роман. 398 стр. Цена 74 к.

**Смена комсомола.** Документы, воспоминания, материалы по истории Всесоюзной пионерской организации имени Ленина (1917—1962 гг.). 323 стр. Цена 1 р. 6 к.

**В. Шнловский.** Лев Толстой (Жизнь замечательных людей). 864 стр. Цена 1 р. 52 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**З. Воскресенская.** Встреча. Повесть о Марии Александровне Ульяновой. 128 стр. Цена 44 к.

**М. Ефетов.** Граната в ушанке. Повесть. 190 стр. Цена 39 к.

**В. Комаров.** По ту сторону тайны. 144 стр. Цена 30 к.

**Л. Платов.** Секретный фарватер. Роман. 512 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Родной и близкий.** Рассказы о Владимире Ильиче Ленине. 256 стр. Цена 63 к.

**И. Смольников.** Сердце художника. Повесть о Валентине Серове. 224 стр. Цена 70 к.

**А. Феличе.** Клуб тетюшки Сидони. Историческая повесть. 273 стр. Цена 46 к.

**О. Черный.** Повести о русских музыкантах. 400 стр. Цена 86 к.

**Г. Шмагелова.** Карлинская. 5. Повесть. Перевод с чешского. 176 стр. Цена 38 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Азия и Африка. 1950—1960 гг.** Статистический сборник. 704 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Л. Алаев.** Южная Индия. Социально-экономическая история XIV—XVIII веков. 352 стр. Цена 1 р. 30 к.

**И. Казакевич.** Аграрный вопрос в Южной Корее. 158 стр. Цена 55 к.

**Н. Симония.** Буржуазия и формирование нации в Индонезии. 148 стр. Цена 42 к.

**Современная японская деревня.** 132 стр. Цена 45 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Ежегодник кино.** 1961. 349 стр. Цена 1 р. 92 к.

**Из истории строительства советской культуры. Москва 1917—1918.** Документы и воспоминания. 384 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Научно-популярный фильм.** Сборник статей. Выпуск 2. 284 стр. Цена 1 р. 4 к.

**Д. Синг.** Драмы. Перевод с английского. 288 стр. Цена 55 к.

**С. Эйзенштейн.** Избранные произведения. В 6-ти томах. Том I. 695 стр. Цена 2 р. 25 к.

#### «НАУКА»

**А. Арзуманян.** Борьба двух систем и мировое развитие. 460 стр. Цена 1 р. 87 к.

**Война за независимость в Латинской Америке. 1810—1826.** 318 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Вопросы размещения производительных сил и развития экономических районов.** 220 стр. Цена 70 к.

**А. Девдариани.** Измерение перемещений земной поверхности. 248 стр. Цена 1 р. 33 к.

**Р. Иванов.** Авраам Линкольн и гражданская война в США. 495 стр. Цена 2 р. 23 к.

**Г. Игнатев.** Октябрь 1917 года в Москве. 144 стр. Цена 44 к.

**В. Косточкин.** Государев мастер Федор Конь. 176 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Лан.** США в военные и послевоенные годы. 1940—1960. 688 стр. Цена 2 р. 89 к.

**В. Лельчук.** Создание химической промышленности СССР. Из истории социалистической индустриализации. 384 стр. Цена 1 р. 41 к.

**Новгородская харатейная летопись.** 344 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Партии в системе диктатуры монополий.** 411 стр. Цена 1 р. 52 к.

**Первый групповой космический полет.** Научные результаты медико-биологических исследований, проведенных во время группового орбитального полета кораблей-спутников «Восток-3» и «Восток-4». 156 стр. Цена 92 к.

**Проблемы эволюционной и технической биохимии.** К 70-летию академика А. И. Опарина. 364 стр. Цена 2 р. 34 к.

**Рабочее движение в новое время.** Сборник статей. 544 стр. Цена 2 р.

**Г. Ратиани.** Конец Третьей республики во Франции. 284 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Л. Седов.** Галилей и основы механики. К 400-летию со дня рождения. 40 стр. Цена 15 к.

**Н. Серебров.** Генрих Манн. Очерк творческого пути. 296 стр. Цена 85 к.

**С. Успенский.** Арктика глазами зоолога. 144 стр. Цена 23 к.

**400 лет русского книгопечатания.** В 2-х томах. Том I. Русское книгопечатание до 1917 года. 664 стр. Цена 4 р. 25 к. Том 2. Книгоиздательство в СССР. 1917—1964. 583 стр. Цена 3 р. 75 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Н. Асанов, Ю. Стуритис.** Янтарное море. Роман, написанный по следам действительных событий. 416 стр. Цена 80 к.

**Ц. Галанов.** Первый снег. Повести. 144 стр. Цена 16 к.

**И. Изъяров.** Жизнь молодая. Повести. 160 стр. Цена 20 к.

**А. Коваленков.** Выше любви. Рассказы. 96 стр. Цена 11 к.

**Г. Красильников.** Олександр Кабышев Роман. 200 стр. Цена 48 к.



**С. Олейник.** Позвольте заверить! Сатирические стихи. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 15 к.

**Отвечаем труженикам села.** Беседа академика ВАСХНИЛ И. И. Синягина. Что такое химизация сельского хозяйства. 40 стр. Цена 4 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Кравченко.** Добровольные общества в СССР и их правовое положение. 116 стр. Цена 14 к.

**Ю. Лившиц.** Меры пресечения в советском уголовном процессе. 140 стр. Цена 23 к.

**Ф. Махов.** Преступность несовершеннолетних в США и Англии. 156 стр. Цена 19 к.

**И. Середа.** Право приусадебного землепользования колхозного двора. 60 стр. Цена 7 к.

**О. Смирнов.** Природа и сущность права на труд в СССР. 212 стр. Цена 90 к.

#### ГОСЛИТИЗДАТ УзССР

**М. Асимов.** Послы. Историческая повесть. Перевод с узбекского. 155 стр. Цена 32 к.

**Мирмухсин.** Нукра. Рассказы. Перевод с узбекского. 63 стр. Цена 5 к.

#### ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**И. В. Мичурин в воспоминаниях современников.** Сборник статей. 216 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Сергеев-Ценский в жизни и творчестве.** Воспоминания современников. 192 стр. Цена 1 р. 6 к.

#### ТУРКМЕНГОСИЗДАТ

**Молланепес.** Лирика. Перевод с туркменского. 87 стр. Цена 10 к.

**Туркменские сказки.** Переводы. 302 стр. Цена 1 р. 76 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 5-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 3/III 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/IV 1964 г.  
А 02056. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)  
Зак. 447. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636